СЛОВО О ТОВАРИЩАХ

Слово о товарищах

Воспоминания об уральских писателях

Свердловск
Средне-Уральское книжное издательство
1980

8Р2
С48

В книгу вошли воспоминания о писателях-уральцах, чей творческий путь начинался в двадцатых и тридцатых годах, о литературной жизни нашего края — и в частности Свердловска — с первых лет Советской власти до послевоенных пятилеток. Центральное место в сборнике занимают воспоминания о творце «Малахитовой шкатулки» Павле Петровиче Бажове. Читатель найдет здесь также воспоминания о А. Бондине, И. Панове, А. Савчуке, А. Исетском, К. Рождественской, Н. Поповой, О. Марковой, И. Ликстанове, Н. Куштуме, К. Мурзиди, Ю. Хазановиче, М. Пилипенко и ряде других уральских литераторов. Освещается в книге и деятельность на Урале М. Шагинян, Ф. Гладкова, А. Караваевой и других видных советских писателей, живших в нашем крае в годы Отечественной войны.

Авторы «Слова о товарищах» — писатели и журналисты старшего поколения. Имена многих из них — таких как покойные К. Боголюбов, О. Коряков и ныне здравствующие Е. Хоринская, В. Стариков, Б. Рябинин, Б. Дижур, Е. Долинова — хорошо знакомы уральскому читателю. Некоторые из вошедших в книгу воспоминаний ранее печатались, но основная часть материалов публикуется впервые.

«Слово о товарищах», разумеется, не претендует на «всеобъемлющий охват» событий, фактов, писательских судеб, однако материалы сборника освещают многие важные страницы многогранной литературной жизни Урала. Думается, что книгу эту с интересом встретят не только литераторы, журналисты, филологи, но и все любители литературы, все интересующиеся историей культуры родного края.

Общественная редколлегия:
М. А. Батин, И. А. Круглик, Л. Л. Сорокин

Составитель Б. С. Рябинин

С $\frac{70202-072}{М\ 158(03)-80}$

БЫЛО ЭТО ТАК...

Эта книга воспоминаний в живых образах писателей рисует картину литературной жизни Урала, позднее — Свердловска, на протяжении многих лет. Перед нами — портретная галерея людей, участвовавших сначала в создании уральских литературных организаций, а затем — Свердловской писательской организации. Не всех, к сожалению: в одной книге всего не охватишь, да авторы «Слова о товарищах», естественно, и не ставили перед собой такой задачи. Но во всяком случае мы найдем здесь воспоминания о тех, без кого трудно представить себе литературное движение Советского Урала.

Литературное движение в нашем регионе формировалось тогда, когда в СССР развертывалась культурная революция. Тысячи участников и живых свидетелей революции и гражданской войны взялись — порой совершенно неумелыми руками — за перо и бумагу, чтобы написать о революционных событиях. Первым значительным произведением на эту тему была пьеса тагильского рабочего Алексея Бондина «Враги».

История литературных организаций областей и краев нашей страны имеет большое общественное значение. История каждой из этих организаций имеет свои особенности, без осмысления которых невозможно по-настоящему понять историю советской литературы в целом. Где же еще, если не на Урале, могли возникнуть такие произведения, как бессмертная «Малахитовая шкатулка» П. Бажова и «Улица сталеваров» О. Марковой, «Малышок» И. Ликстанова и «Дело» Ю. Хазановича, «Лога» А. Бондина и «Уральская рябинушка» М. Пилипенко, «Зарницы», «Атаман Золотой» К. Боголюбова и «Заре навстречу», «Дело чести», «Верность» Н. Поповой.

Когда страна выполняла 1-ю пятилетку, то, конечно же, только на Урале могло появиться издание с лозунговым названием «За Магнитострой литературы!». Сначала это был журнал, выходивший в Магнитогорске, а затем — свердловская газета.

Однако в то время уральский отряд литераторов практически еще не мог осуществить этот лозунг. В 1933 году один из зачинателей советской поэзии на Урале Н. Куштум очень верно говорил: «Чего не хватает нам для того, чтобы на Урале появились крупные произведения? Прежде всего, конечно, культуры, смелости, умения нащупать основные черты нашего времени. Наши произведения страшно благонравны и чрезвычайно скучны» («Штурм», 1933, № 11—12).

Поэт лишь подтвердил слова А. Фадеева, сказанные несколько раньше: «Во всех концах Союза, а особенно в крупных промышленных центрах, растет крепкий литературный молодняк (к сожалению, малокультурный, но, к счастию, сознающий свою малокультурность и стремящийся преодолеть ее)...»

Слова обоих писателей обещали появление значительных произведений литературы. Правда, пока их создавали не уральцы. Романы, достойные великих свершений на Урале — «Время, вперед!» и «Люди из захолустья», написали В. Катаев и А. Малышкин. Но появились заметные произведения и литераторов-уральцев: стихи Б. Ручьева, роман А. Авдеенко « Я люблю», очерки из истории Надеждинского завода, написанные А. Маленьким. Словом, как говорил П. Железнов:

Мы первой пятилетки повесть
писали дружно всей страной.

На памяти старшего поколения литераторов, написавших воспоминания, собранные в книге,— усилия Коммунистической партии, огромная организаторская и воспитательная работа, направленная, в частности, на то, чтобы из литературы столиц и центральных губерний России русская советская литература превратилась во много-

областную, во всесоюзную, и в то же время стала бы в идейном отношении единой, какой она никогда не бывала и не могла быть до Великого Октября. Единой и в то же время вобравшей в себя тысячелетний опыт многих национальных литератур.

Припомним, что озабоченность проблемой создания литературных организаций в краях и областях отразилась еще в речах А. М. Горького на I Всесоюзном съезде писателей (1934). В докладе Г. М. Маркова на VI съезде (1976) читаем: «Тогда (в 1934 г.— *М. Б.*) писательские организации в областях и краях были большой редкостью, теперь почти все области и края Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Узбекистана, все автономные области страны имеют активно действующие писательские организации».

Процесс формирования региональных писательских организаций в СССР был довольно сложным и длительным. С. Васильев в 1973 году писал: «Сначала Смоленск, затем Свердловск, потом Вологда, Новосибирск, Горький, Ярославль и другие города России решительно встали в почетный ряд «поставщиков прекрасного». (Васильев С. Зарубки на память. М., «Современник», 1975.)

Этот процесс растянулся на десятилетия.

Первый уральский литературный еженедельник (с 1925 г.— двухнедельный), выходивший в Свердловске в 1923—1925 годах, назывался «Товарищ Терентий» и в течение многих месяцев нес на первой странице обложки (на всю страницу — в формате «Огонька») портрет названного Терентия. По словам П. Бажова, название журнала и рисунок на обложке отражали «простодушие тех дней». Но дело, конечно, не только в «простодушии». Портрет Терентия — в понимании художника А. Парамонова — изображал типичного рабочего с местного завода «Металлист» и был как бы наглядным выражением программы журнала.

Наличие литературного журнала (пусть пока «тонкого»), выпускавшегося по тем временам

громадным тиражом — от восьми до двадцати четырех тысяч экземпляров,— было, в сущности, заявкой на создание уральской литературной организации. По свидетельству П. Бажова: «Товарищ Терентий» с 1923 по 1926 год (в 1926 г. он назывался «Уральская новь».— *М. Б.*) был центром, около которого группировались существовавшие тогда литературные объединения, кружки и отдельные литераторы». «Я начинал тоже в «Товарище Терентии»,— писал позднее Бажов, имея в виду первую публикацию очерков «Уральские были». Огромную роль в собирании литературных сил региона сыграло созданное в 1920 году областное книжное издательство.

Именно тогда, в первой половине 20-х годов, зарождаются в Свердловске и области многочисленные литературные кружки, предварившие возникновение областной писательской организации. В частности, это была крайне пестрая по составу и идеологическим «установкам» и потому быстро распавшаяся Улита — Уральская литературная ассоциация, которая «вынуждена была,— писал П. Бажов,— сдать позиции кружку «Мартен». Существовал рабфаковский «Словострой» и молодежный «На смену!» — при областной комсомольской газете того же названия. Литературные кружки создавались и в окружных городах огромной Уральской области тех лет (с центром в Свердловске), объединявшей территории пяти современных областей Урала и простиравшейся от Магнитки до Ледовитого океана. Из этого кружкового «коловращения» возникли пролетарские литературные организации.

Сначала, в конце 1923 года, таковой провозгласил себя «Мартен». В его декларации было заявлено: «Главная цель — собирание творческих сил уральского пролетариата, организованная защита молодых творцов от мелкобуржуазного влияния и организованное нападение на мелкобуржуазное творчество». Но и эта ассоциация быстро распалась, так как не получала — да пока и не могла получить — никакой под-

держки ни «сверху», ни на месте; к тому же сказалась ее неоднородность: вскоре из нее ушли «представители чистого искусства», как об этом сказано в номере «Товарища Терентия» за 23 декабря 1923 года.

Однако процесс консолидации творческих сил продолжался. Поступали предложения об объединении различных литературных кружков. 27 января 1926 года была образована инициативная группа при «Уральском рабочем», а спустя два месяца, 4 апреля, состоялось организационное собрание, провозгласившее создание Уральской ассоциации пролетарских писателей (УралАПП) [1]. Вначале она была малочисленна. Так, кружок «На смену!» в разное время объединял от десяти до тридцати человек. Но уже в октябре 1927 года правление провело первую областную конференцию пролетарских писателей, на которой присутствовали делегаты из Свердловска, Нижнего Тагила, Перми, Златоуста, Сарапула, Тобольска, Шадринска. В 1929 году в УралАПП входили уже двенадцать окружных организаций.

УралАПП, заявившая себя частью РАПП, проводила большую работу по воспитанию и сплочению молодых литературных сил Советского Урала. Но на всей этой работе, к сожалению, не могло не отразиться то обстоятельство, что многие творческие «установки» рапповцев были путаными и противоречивыми. Осужденные Центральным Комитетом нашей партии «комчванство» в пролетарских литературных организациях, охаивание попутчиков и их произведений, методы литературной команды по отношению к писателям, увы, имели место и на Урале...

В те годы советское литературоведение только еще формировалось и путаница в вопросах теории была объяснимой. И если так было в Москве и Ленинграде, то, как замечает современный литературовед С. Шешуков, «члены

---

[1] Автор благодарит свердловского журналиста А. Пудваля, сообщившего эти факты, установленные им при изучении архивных материалов.

местных организаций... мало что понимали во всех этих премудростях». Недаром в статьях и выступлениях той поры настойчиво говорилось о крайней нехватке критиков и историков литературы. Это тем более относилось к периферийным организациям.

В ноябре 1930 года по рапповскому «внушению сверху» УралАПП провела совершенно несостоятельный по существу призыв рабочих-ударников и колхозников-ударников в литературу. Конечно, вместо шумихи, связанной с этим «призывом», следовало настойчивей вести кружковую работу с действительно одаренными товарищами. (Она, эта работа, разумеется, велась, но недостаточно планомерно и целенаправленно.) В дальнейшем УралАПП, в погоне за «пролетарским процентом» и стремясь освободить организацию от балласта, проводила одну за другой чистки. Да и что было делать, если на территории тогдашней Уральской области одно время числилось до 700 «писателей», в большинстве своем беспомощных в литературном отношении. Достаточно сказать, что в наши дни на той же территории, т. е. в современных пяти областях Урала, насчитывается около ста тридцати членов Союза писателей СССР. Так это ведь уже после десятилетий широчайшей культурной революции, огромной воспитательной работы партии.

Погоня за «пролетарским процентом» выражала известное недоверие рапповцев к дореволюционной интеллигенции, стремление как можно скорей взрастить новую интеллигенцию — плоть от плоти рабочих и крестьян. Но пусть руководители РАПП действовали из самых хороших побуждений, однако прав был Ю. Либединский, заявив позднее, что «неистовые ревнители пролетарской чистоты» защищали ее «с такой яростью, что дай им волю, и нежные ростки будущего советского искусства были бы выполоты начисто!» (Либединский Ю. Современники. М., «Сов. писатель», 1961).

К счастью, партия своевременно приняла необходимые меры.

Постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года ассоциации пролетарских писателей были ликвидированы. Начался новый этап в развитии литературного движения в стране. И, естественно, на Урале тоже.

Охарактеризованный выше сложный период развития литературных организаций на Урале отражен в нашем сборнике в воспоминаниях П. Бажова и К. Боголюбова. П. Бажов сжато, но весьма выразительно передает атмосферу, общее направление литературного развития на Урале в первой половине двадцатых годов — и далее. К. Боголюбов, приехавший в Свердловск в 1926 году, в большом очерке конкретизирует личные наблюдения, не ставя перед собой историко-литературных целей. Автор, пожалуй, недостаточно четко включает местный, уральский, материал в характеристику литературного движения в стране, а поэтому недостаточно глубокими оказываются порой описания и местных явлений. Однако борьба нового со старым показана в воспоминаниях зримо. Невольно вспоминаются здесь слова И. Панова: «Стройка рождала героев... Если кто хочет искать чудес, то их искать нужно именно здесь (т. е. на Урале.— *М. Б.*). Чудеса делали люди».

Да, не все в нашей литературе развивалось неуклонно-поступательно. Противники партийности литературы пытались создать в Свердловске своеобразный филиал «Перевала». Действовали весьма активные лефовцы, яростно защищавшие уже отметенные жизнью левацкие установки,— напоминает К. Боголюбов. Он называет и прямых противников советской действительности, вроде Вл. Буйницкого, в своих стихах выразившего непримиримое неприятие новой жизни. Кстати, до революции Буйницкий владел в Екатеринбурге магазином книг, нот, портретов. Можно было бы процитировать из его сборника «Я — распятый» слова, достаточно точно объясняющие, почему автор в 1924 году чувствовал себя распятым:

Уста молчат, сомкнутые печалью,
Разбитых грез дней прошлых не вернуть.

Да, не вернуть, конечно.

То, что происходило в те годы в литературной жизни Урала, было отражением общих для страны процессов и, в частности, того, что происходило в столице. Литературные связи Свердловска с Москвой были постоянными, прочными и многосторонними. Журнал «Товарищ Терентий», публикуя произведения местных авторов (прежде всего Бондина и Бажова), из номера в номер печатал произведения кого-либо из писателей, известных всей стране — В. Маяковского, В. Каменского, Н. Асеева, А. Неверова, А. Толстого, А. Жарова, А. Безыменского и других. В большинстве это были перепечатки, но не всегда. В. Маяковский несколько своих статей впервые опубликовал в «Товарище Терентии».

Как можно судить по приведенному выше перечню имен, журнал был весьма пестрым по содержанию. Наряду с «космическими» «железопоэмами» поэтов пролеткультовского направления (позднее — прозой и поэзией членов «Кузницы») печатались реалистические и сатирические произведения; дельным очеркам из прошлого и настоящего Урала сопутствовали «перенаселенные» мистической нечистью «на местном материале» рассказы писателей безнадежно запоздалого декадентского пошиба. Было и такое: в июне 1923 года последышу декадентства В. Буйницкому было отказано в публикации, а через два года журнал напечатал его безнадежно унылое стихотворение «Расплавились снега». Впрочем, в конце того же 1925 года дана разгромная рецензия на стихи этого автора: «Не нужны они рабочему читателю».

В 20-х — начале 30-х гг. на Урал приезжали Демьян Бедный, В. Маяковский, А. Луначарский, В. Вишневский, А. Жаров, Н. Дементьев, Ф. Панферов, Л. Сейфуллина, И. Эренбург — это тоже были живые нити, связывавшие наш край с главным литературным пульсом страны.

В воспоминаниях К. Боголюбова мы найдем любовно сделанные портреты зачинателей литературного движения на Советском Урале —

А. Бондина, И. Панова, П. Бажова и литераторов, работавших рядом с ними: А. Маленького, В. Бирюкова, А. Савчука, В. Занадворова и других.

Читая очерк К. Боголюбова, вспоминаешь слова из статьи «Правды»: «На Урале идет большое, еще далеко не зрелое, но талантливое литературное движение» (1933, № 311). И еще вспоминается из «Литературной газеты» характеристика свердловского журнала «Штурм»: «Основное в «Штурме» — это многообразно радостное ощущение социалистического строительства, романтически-приподнятое воспевание гражданской войны и революции, осмысление явлений дореволюционной российской действительности» (1933, 5 авг.).

Важнейшее место в очерке Боголюбова отведено воспоминаниям о встречах свердловчан с В. Маяковским. Он воспроизводит главнейшее из сказанного великим поэтом: «Если стихи мои совпадают с партийными директивами, я только горжусь этим».

Вообще строй мыслей, проходящих через сборник, отражает партийное самосознание его авторов.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года в том же году был организован оргкомитет Союза писателей СССР. Был проведен прием в Союз — по личному заявлению каждого и строго индивидуально, с учетом того, что сделал товарищ в литературе. Организационно Союз окончательно оформился в 1934 году. Свердловские литераторы выступали теперь уже как члены Союза писателей СССР.

30-е годы ознаменованы книгами, нашедшими путь к широкому читателю, ставшими весомым уральским вкладом в развитие советской литературы,— сказами П. Бажова, сборниками стихов Н. Куштума, повестью О. Марковой «Варвара Потехина», романом И. Панова «Урман», первыми книгами Н. Поповой, Б. Рябинина, романом А. Савчука «Так начиналась жизнь».

40-е годы — время выхода в свет ряда круп-

ных произведений И. Ликстанова, Н. Поповой, В. Старикова, Ю. Хазановича, время мужания литературы Урала.

Б. Рябинин в обширном очерке «Говорит Урал» рассказывает о деятельности писательской организации Свердловска в годы Великой Отечественной войны. «Музы не молчали» — таков лейтмотив его воспоминаний.

В условиях невообразимой перенаселенности, когда в Свердловске, как говорит Рябинин, и мышь не сумела бы найти себе «жилплощадь», писатели — и местные, и эвакуированные — работали с невиданным напряжением. Б. Рябинин нашел весьма точные и выразительные слова для характеристики их труда в те годы. Особенно хорошо он рассказал о М. Шагинян, П. Бажове, Л. Скорино, о неистощимой инициативности, энтузиазме и вдохновении, с какими они трудились.

Жилищная теснота, плохая одежда, скудное питание — таковы были условия, которые стали надолго постоянными и в которых создавались художественные произведения, проводились встречи с рабочими, колхозниками, учеными, творческие вечера, диспуты, работали секции, обсуждались книги, созданные не только здесь, в глубоком тылу, но и в Москве, и на фронте. И еще организовывались субботники и воскресники.

И выпускался альманах «Уральский современник». И коллективный сборник «Говорит Урал» — более 300 страниц.

О Павле Петровиче Бажове Б. Рябинин (как и ряд других участников сборника — К. Боголюбов, Е. Багреев, В. Стариков, Б. Дижур) говорит особенно обстоятельно, и всякому ясно, что иначе быть и не могло. Но он говорит и о других книгах, о других авторах, труд которых воистину был подвигом. И очень верны его слова о том, что «слово «Урал» стало в те годы символом трудолюбия нашего народа, символом любви и беззаветной преданности Родине. Было почетно называться уральцем».

Читая воспоминания Б. Рябинина, чувству-

ешь, что в годы войны Свердловская писательская организация была организацией в большей мере, чем когда-либо раньше. Людей сплотили любовь к Родине, общегосударственные заботы, общие дела, которых оказалось больше, чем когда бы то ни было.

В известном смысле продолжением очерка Б. Рябинина являются воспоминания Е. Багреева. Здесь речь идет о сотрудничестве писателей в военные годы в газете «Уральский рабочий». Еще в 1932 году в журнале «Штурм» К. Боголюбов писал, что уральская областная печать сыграла огромную роль в деле собирания и воспитания литературных кадров. В годы войны газетные «площади» сократились, но они превратились в трибуны для публицистики, в том числе и художественной, очерков, стихов, рассказов. Е. Багреев рассказывает о писателях, которые были постоянными помощниками газеты. Это прежде всего П. Бажов, К. Мурзиди, а также многие из эвакуированных в Свердловск писателей. Автор особо выделяет М. Шагинян, А. Караваеву, Ф. Гладкова. Именно газета «приучила» многих писателей к рабочей теме, теме труда. Из очерков выросли такие крупные полотна, как «Клятва» Ф. Гладкова, «Огни» А. Караваевой, написанные в годы войны на Урале.

Есть в «Слове о товарищах» и материалы, посвященные коллективным литературным работам. Это воспоминания Е. Хоринской «Урал — земля золотая» и А. Ермакова «Документы эпохи».

Первое — о том, как создавалась «ребячья» книга «Урал — земля золотая» (1944), а позднее (1952) — вторая книга — своего рода продолжение первоначальной. Опыт создания этих книг, написанных детьми, поучителен в плане воспитательном. И нельзя не присоединиться к создателям книги, заключившим ее словами: «До новой встречи, читатель!» Может быть, есть смысл создать новую книгу, написанную современными девчонками и мальчишками?

По-своему интересен стоящий в книге не-

сколько особняком очерк А. Ермакова о вышедшем в горьковской серии «История фабрик и заводов» известном сборнике рассказов тагильских рабочих о старой и новой жизни — «Были горы Высокой». В 1963 году в Москве была издана книга «Новые были горы Высокой». (А. Ермаков был ее составителем.) Автор рассказывает, в частности, о поездке в составе делегации тагильчан к М. А. Шолохову, написавшему по их просьбе предисловие к «Новым былям», как когда-то дал свое предисловие к первой книге А. М. Горький. Этот двойной опыт заставляет подумать и понять, как следует привлекать ударников к участию в литературе.

Остальные воспоминания, вошедшие в книгу, являются, так сказать, монографическими.

Тепло написала Б. Дижур о писателе и прекрасном редакторе Клавдии Васильевне Рождественской. Ей посвящены и воспоминания живущего ныне в Иванове писателя В. Великанова, которому Рождественская помогла сделать первые шаги в литературе. Эта мудрая женщина была воистину учителем и воспитателем многих писателей. Она была и организатором детской литературы на Урале.

Глубоко прочувствованный очерк написала Е. Хоринская о Н. Поповой, о которой она и начинает-то говорить сказочными словами: «И жили они дружно тридцать лет и три года». Писательница приводит слова Н. Поповой, предельно точно характеризующие смысл ее жизни: «Все мои мысли, желания и стремления я вкладываю в трилогию о рабочих родного Урала». Очерк Хоринской — это и биография, во многом драматичная, и психологический портрет большого человека, и характеристика главных черт творчества писательницы.

Точные слова для характеристики М. Пилипенко, его творческого пути нашел М. Найдич. Это рассказ о том, как сын Украины очень естественно стал поэтом Урала, как он шел к Уралу, к уральской теме через войну, через муки ее и через победу над войной. Шел через уралмашевскую трудовую и комсомольскую закалку,

шел через газету с таким выразительным названием — «На смену!». И Урал запел его песни!

Главная мысль воспоминаний М. Найдича — о том, что настоящая поэзия всегда одновременно интернациональна и национальна.

Яркий литературный портрет О. Марковой дали Е. Долинова и О. Коряков. Перед читателем оживает образ этого «песенной души» человека, чуткого, тонкого художника, знатока уральского фольклора, мастера языка.

Душевно рассказала Е. Долинова о Константине Мурзиди. Ее воспоминания удачно дополняет материал М. Найдича, в центре внимания которого творческий облик поэта.

Всех, кому посвящены вошедшие в сборник воспоминания, называть в предисловии нет ни возможности, ни необходимости. Читатель познакомится здесь с воспоминаниями о Н. Куштуме и К. Реуте, А. Исетском и И. Ликстанове, Ю. Хазановиче и Е. Ружанском, познакомится — хочется надеяться,— с тем чтобы продолжить знакомство по их книгам.

Мы намеренно не выделяли тех или иных писателей по литературным достоинствам их произведений. Главным в данном случае представляется другое: рассказать об истории и работе писательской организации как коллектива. Главное — то общее, что делали и сделали люди, о которых рассказывается в книге. Задача живущих — достойно продолжить начатое ими. В этом смысл заключающего сборник очерка Л. Сорокина, председателя сегодняшнего правления Свердловского отделения СП СССР. Он говорит о связи «дней нынешних и дней минувших», призывает не забывать, что залог писательских успехов — и в памяти о «традициях, заложенных теми, кто был до нас».

М. Батин

П. Бажов

В НАЧАЛЕ ПУТИ

В 1923 году в Свердловске (он тогда еще назывался Екатеринбургом) было организовано книжное издательство «Уралкнига» [1]. Тогда же стал выходить журнал-двухнедельник «Товарищ Терентий», в подзаголовке которого стояло: «Приложение к газетам «Уральский рабочий» (Екатеринбург), «Звезда» (Пермь), «Советская правда» (Челябинск), «Трудовой набат» (Тюмень).

Журнал отводил место «тайнам мироздания», «возрасту земли», бронтозаврам и прочим просветительным ящерам, печатал текущую информацию, давал хронику спорта, но в основном все-таки его надо считать литературно-художественным. Здесь помещались стихи, рассказы, очерки, иногда библиография по литературно-художественному разделу и даже обзоры литературной жизни других городов.

Странное, на современный взгляд, название журнала по-своему показательно для характеристики простодушия тех дней.

Художнику А. Н. Парамонову, который тогда один обслуживал рисунком и резьбой по дереву (цинкографии не было) все городские издания, было поручено «нарисовать типичного уральского рабочего» для обложки организуемого журнала. Художник выполнил это задание по-газетному быстро. Он пошел к мастерской, которая тогда преобразовалась в завод «Металлист», и выбрал «натуру». Это оказался человек среднего возраста с подстриженной клинышком бородой, засученными рукавами рубахи, в сбитой на затылок шапчонке, в холщовом фартуке и тяжелых болотных сапогах, стянутых ремешками под коленками. По одежде он мало походил на основного рабочего старых уральских заводов — на доменщика или пудлинговщика. Скорей это был мастеровой мелких предприятий, плотничный десятник или даже хозяйчик из неоперившихся. И позу художник дал «соответствующую»: стоя одной ногой на каком-то пне, рабочий опирался локтем согнутой

[1] Уралгосиздат был создан в июне 1920 г. В 1923 г. Уралгосиздат влился во вновь созданное издательство «Уралкнига» (*прим. ред.*).

руки на колено, придерживал пальцами этой руки раскрытый кисет и свернутую цигарку, а другой рукой насыпал махорку.

Парамонов славился быстротой рисунка, но все же стоять целый час с кисетом и цигаркой рабочему надоело, и он поспешил уйти в мастерскую, как только кончился сеанс. Художник тоже не стал задерживаться, он лишь спросил у случайного зрителя о фамилии ушедшего рабочего. Ответ получился не полный:

— Не знаю его фамилии-то. Зовут его товарищ Терентий.

Художник так и записал на обороте листка.

Организаторы журнала приняли рисунок, и чем-то им понравилось и сочетание слов: товарищ Терентий. Это сочетание и стало заголовком журнала и оказалось довольно живучим. Сменился рисунок: вместо кисета и цигарки появился рычаг и стрелка манометра, совершенно изменились облик и костюм рабочего, а сверху стояло неизменное «Товарищ Терентий», вызывая у многих справедливое недоумение: какой Терентий? почему Терентий?

Сменившиеся редакционные работники и сами не знали этого и с глубокомысленным видом стали сближать Терентия с... Козьмой Прутковым. Некоторые простодушные этому поверили, и в уральских газетах того времени не редкость встретить разоблачительный материал за подписями: «Сын Терентия», «Внук Терентия» и даже «Племянник Терентия».

Так это случайное название и продержалось чуть не до конца существования журнала. Лишь последние восемь номеров в 1926 году были выпущены под названием «Уральская новь», что, впрочем, едва ли не было хуже: новое название, во-первых, повторяло старый заголовок газеты, выходившей здесь до 1923 года, во-вторых, сильнее подчеркивало разрыв между заголовком и содержанием журнала, который стал в значительной степени заполняться творчеством авторов, имевших лишь отдаленное отношение к уральской действительности.

Как бы то ни было, «Товарищ Терентий» с 1923 по 1926 год был центром, около которого группировались существовавшие тогда литературные объединения, кружки и отдельные литераторы. По крайней мере, Пермь, издававшая до того времени литброшюры под гордым заголовком «Мы», перестала это делать, и пермские поэты и прозаики стали печататься в «Терентии». Нередко на страницах

2 Заказ 133

журнала появлялись вещи и писателей челябинской группы.

Понятно, много тут было художественно незрелого, порой вовсе уродливого. Теперь, задним числом, отчетливо видишь в очерковой политинформации и руку врага. В «Терентии» второй стадии (с манометром) немало помещалось вредного слововитья в стихах и нарочито изломанной прозы. Однако наряду с этим хламом появлялись и неплохие вещи начинающих уральских писателей, которые на 30—40 печатных листах журнала нашли первую площадку для показа своего творчества.

Проходя ныне по длинным коридорам Дома печати, отказываешься верить себе, что в 1923 году редакции «Уральского рабочего», «Крестьянской газеты», «На смену!», «Товарища Терентия» вместе с аппаратом «Уралкниги» и экспедиции всех изданий помещались в двухэтажном 5—7-оконном домике на улице К. Либкнехта (теперь на месте этого домика и двух других построен один, где в нижнем этаже помещается кафе).

Хотя в каждой редакции было занято «не особенно много» работников, все же народу набралось до густоты, даже на лестничной площадке стояли два редакционных стола. Вскоре, однако, устроились попросторнее, перебравшись всем составом на улицу Вайнера, 12, где сначала заняли лишь часть здания. Простор получился все-таки «без излишества». В частности, в единственной комнате, отведенной для редакции «Крестьянской газеты», поместили и стол секретаря редакции «Товарища Терентия». В силу этого мне, работавшему тогда в «Крестьянской газете», приходилось видеть и в какой-то мере соприкасаться с жизнью уральского литературного журнала в первой его стадии.

Сначала за столом секретаря сидел какой-то вовсе замкнутый человек, который имел дело лишь с рукописями да рассыльной. Оживлялся этот работник только для рассказов об историческом значении... Пензы и Пензенской губернии. По этим рассказам, Пенза выходила чем-то вроде гнезда знаменитостей, но слушатели все же не особенно увлекались. Одни отмалчивались, другие отмыкивались: «м-м, да... это, может быть, интересно», третьи откровенно подшучивали, кивая на соседа Пензы: «Тамбов на карте генеральной...»

Посетителей у редакционного стола не было ни днем, ни вечером. Впрочем, секретарь и сам редко появлялся ве-

черами. Занимался, может быть, изучением материалов о знаменитых пензяках прошлого.

Исчез этот сверхпатриот Пензы как-то совсем незаметно. Сотрудники «Крестьянской газеты», глядя на опустевший стол, шутили:

— В Пензу, видно, уехал.

Потом говорили, что этот незадачливый секретарь «Терентия» стал автором сценариев двух очень заметных кинофильмов, но так ли это — не знаю.

На смену «пензяку» пришел некий Хмара (это, конечно, псевдоним, подлинную фамилию не помню).

Это был уже «определенно организатор», даже ходил нарочито четко «полководческой» походкой. Шпор, правда, не было, но казалось, что привычка носить их имелась.

Около Хмары уже появились люди. Больше всего, однако, толклись какие-то поэтессы довольно подержанного вида. Сначала они пытались соблазнить Хмару «то бурным, то нежным звучанием слова», но Хмара требовал «производственного образа». Поэтессы хитрили, подсовывали стихи:

«Как уголь, черные глаза у кузнеца».

Хмара, однако, без труда разгадывал эту хитрость и свирепо кричал:

— А у плотника? Как стружка белые? У сталевара — красные? И чем только вы думаете!

Хмара настолько не стеснялся с поэтессами, что порой сотрудникам «Крестьянской газеты» приходилось вмешиваться с разговорами о твердом отказе без применения двусмысленностей и похабщины.

Поэтессы все-таки не отлипали и мало-помалу стали «достигать». Появились у них и «динамитные взрывы дней», и «расплавленные в топке революции ночи».

Реже приходили молодые люди решительного вида и неопределенных профессий. Эти, не в пример поэтессам, держались независимо и на Хмару смотрели свысока. Авторитетов они вообще не признавали. Даже с Пушкиным распростились, предварительно укорив великую тень поэта в том, что он не оказался в числе казненных декабристов.

Темой эти люди нисколько не стеснялись. Один какой-то с высокогорной фамилией — Памиров? Гималаев? — объявил даже, что он «творит песнь об Эр-Ка-Пэ», и тут же зачитал «фрагменты запевного звена экзордиального цикла».

Может быть, впрочем, и не совсем так это называлось, но во всяком случае обычные подразделения на главы и части были заменены какими-то «новообразованиями», вытащенными из архива риторик. Из содержания, разумеется, ничего не осталось в памяти, так как слова сначала были вывернуты, потом изломаны и в таком виде согнаны в пустозвонные сочетания.

К чести Хмары надо сказать, что он со всей решительностью отказался печатать эти «экзордиальности».

«Лучше,— кричал он,— буду помещать мокреть, которую они вон (кивок в сторону поэтесс) мне подтаскивают, чем такую штуковину».

Выражения были даже еще более грубыми. Хмара был неисправим и, похоже, считал грубость признаком «настоящего пролетарского тона». Молодые люди не употребляли «непечатных слов», но в долгу не оставались, язвительно говоря о «колодах» на пути «настоящей поэзии», о дубинно- и медноголовых поклонниках примитива и т. д.

Резкие столкновения были в те дни обычным явлением. По сути это была борьба двух литературных групп: давно уже существовавшей Улиты и нарождавшегося «Мартена».

Улита, по мысли изобретателей этого названия, должна была обозначать уральскую литературную ассоциацию, фактически же вышла вроде той, о которой говорится в присловье: «Улита едет, когда-то будет». Впрочем, она даже и не ехала, а безнадежно топталась на месте.

Входили в Улиту относительно грамотные люди, считавшие себя литераторами, а свою группу чем-то вроде «Серапионовых братьев», «Петрополиса», «Цеха поэтов» и других «очагов священного огня».

Улитовцы справедливо возражали против печатанья в журнале таких, например, простодушно рифмованных строк:

Он вступил в ряды из подвала,
Когда вышел боевой приказ.
Мать долго-долго рыдала,
Истомила тоской глаз...

Не менее правы были улитовцы и в нападках на некоторые из «рассказов», но сами взамен ничего путного дать не могли. В лучшем случае это была авантюристика (видимо, как отрыжка проглоченной в школьные годы пинкертоновщины), в худшем — кровосмесительные новеллы в

арцыбашевско-розановском роде, а чаще всего вымученные стихи.

Тянувшаяся к литературе молодежь фабрик и заводов тогда еще не имела опыта в выступлениях, но все же в редакции газет начали поступать письма с протестом против «обморошных стихов» и требованием актуальной тематики в прозе. Около Хмары стала появляться молодежь другого типа, сначала поодиночке, потом группами, и Улита вынуждена была сдать позиции литературному кружку «Мартен», Хмара некоторое время оставался в руководстве, но недолго. Он, видимо, был совсем случайным человеком в художественной литературе и перешел, кажется, на финансовую работу. Бесследно исчезли и поэтессы, но из бывших улитовцев кой-кто остался, и от этого, помоему, было больше вреда, чем пользы. Как грамотные люди, они, конечно, облегчали борьбу с примитивом, но в то же время неправильно ориентировали в учебе. Кружковцы заводов и фабрик хотели идти «от азов», «от подошвы», а улитовцы, отвергая «птичку божию» и «прочие обветшалости», звали идти «ввысь» от достигнутых вершин, под которыми в поэзии подразумевалось творчество не дальше последнего десятилетия прошлого века. Этим, конечно, сбивали с пути рабочую молодежь, прививали легкомысленное отношение к учебе и к тому же еще портили вкус своими «сверхвершинными» изделиями.

Эта довольно длинная справка из истории литературного движения дорапповского периода в Свердловске мне кажется необходимой, чтоб ясней представить, в каких условиях А. П. Бондину приходилось делать свои первые шаги в литературе. Писать, правда, он начал раньше, еще в дореволюционную пору, но это было не более как свойственное многим юношеское стихослагательство. Сам он вспоминал, писал о березке, а что и как, ничего в памяти не сохранилось.

После Октябрьской революции А. П. Бондина потянуло в литературу уже по-серьезному. Он написал свое первое драматическое произведение «Враги». Тагильчанам пьеса понравилась, и ее решили поставить в театре.

Понятно, все это делалось в условиях тех дней довольно упрощенно. Один из работников театра Н. В. Успенский недавно рассказывал такую, например, забавную подробность:

«Мне первому пришлось вести пьесу. Там по ходу действия в одной картине нужна горячая похлебка. Чтоб пар

шел! А тогда с продуктами в Тагиле было еще после голодного года туговато. Я и предупредил артистов:

— Смотрите, ребята! Мне оставьте похлебки-то,— с утра не едал.

Ну, вот!.. Подали похлебку... Едят, разговаривают, а ссоры, которая должна начаться, что-то долго нет. Вдруг прибегает за кулисы Петрович. Голову захватил:

— Что они делают! Вовсе не по пьесе разговор у них! Мелют ерунду какую-то!

Оказалось, разговор сочинялся, пока оставалась похлебка, и только когда до крошки съели, перешли к сцене ссоры».

— В следующий раз,— добавил т. Успенский,— я умнее стал: оставлял им похлебки на три реплики, остальное себе забирал. И Петрович был доволен: так, говорит, им и надо! Только артисты ворчали:

— Что это за ужин! Хлебнуть не успеешь, а уж в чашке скрипит. Сценично это, из пустой-то чашки хлебать? Зритель может заметить!

Но зритель, как видно, не замечал ни этой «несценичности», ни других более существенных недостатков пьесы, зато чуял большое знание рабочей жизни, и пьеса ставилась много раз, а это по условиям тех дней был большой успех.

Узнав из газет и от железнодорожников об организации при «Товарище Терентии» литературного кружка, Алексей Петрович приехал к объявленному дню собрания. Привыкший к строгой дисциплине в депо, он явился точно к назначенному времени, когда еще никого из писательской группы не было. Огляделся, спросил,— туда ли попал? — обменялся еще парой слов и стал спокойно ожидать, не отвлекая других от работы, и как-то сразу почувствовалось, что это профессиональный рабочий, привыкший к жизни цеха. Внешне это не было подчеркнуто. Ни расстегнутого ворота, ни замасленной куртки, ни грязных рук, что по обычаям того времени считалось чуть не обязательным для рабочего. Наоборот, явился подтянутым, даже слегка прифранченным, а все-таки видно было, что это рабочий, из тех самых, о которых много говорилось на собраниях писателей и которых пока что пытались подменить поэтессы, с одной стороны, и улитовцы — с другой.

Была полоса, когда улитовцы еще чувствовали себя сильными. На собрании после первой же читки начался обычный спор. Алексей Петрович держался в стороне,

внимательно слушал, но в разговор не вмешивался. Когда писатели разошлись, окончательно переругавшись, он подошел к моему столу и с удивлением спросил:

— Эти тоже в газетах работают?

Услышав отрицательный ответ, он с удовлетворением отметил:

— Я так и думал.

Разговорились. Оказалось, что он слесарь тагильского депо. Написал пьесу, готовит материал для повести. Сюда приезжает довольно часто, ищет литературной учебы. Чутье подлинного художника подсказало ему, что хмаровская группа ему не по пути. Помню, прощаясь, Алексей Петрович коротко определил свое отношение к ней:

— А пошли они к черту, пустоплясы!

С этой памятной мне встречи у нас завязалось знакомство, перешедшее в дружеские отношения, тем более что у нас оказалось много близкого в работах по вопросам уральской старины.

При посещении города Алексей Петрович неизменно находил время, чтобы заглянуть ко мне в редакцию или на квартиру и поговорить по вопросам литературы. Не один раз совместно посещали мы новый кружок, который возник при «Уральском рабочем» и не имел особого названия. На первый план здесь выдвигалась литературная учеба, но руководители кружка тоже ориентировались «на освоение последних», имея в виду писателей и особенно поэтов предреволюционного периода.

В этом кружке Алексей Петрович читал отрывки из своей новой повести. Как раз перед этим была читка Андрея Белого.

После словесных вихляний и всякого рода фокусов простые бесхитростные слова о жизни на старом демидовском заводе прозвучали по меньшей мере неожиданностью. Руководители кружка, пожалуй, склонны были взглянуть на это свысока, очернив произведение словом «бытовщина», но положение Алексея Петровича, как рабочего-профессионала, сдерживало. Усердные поклонники эстетов в стиле Андрея Белого не забывали все-таки окружающую обстановку и критиковали работу Алексея Петровича осторожно, стараясь направить «начинающего» на «верный путь». Что они разумели под этим путем — понятно.

Но у Алексея Петровича в кружке нашлось немало и таких сторонников, которые говорили, что это как раз и

есть самый верный путь. По нему и надо идти дальше, правдиво рассказывая о той жизни, которую до сих пор описывали чаще с чужих слов или мимолетных впечатлений. Доказывали, что основное преимущество писателя-рабочего перед всеми остальными заключается в том, что он на себе и на своих близких полностью испытал всю тяжесть капиталистического гнета, все формы эксплуатации, бескультурье и темный быт, который тоже нес немалую нагрузку капиталистической системы. В силу этого рассказ Алексея Петровича является новым в том смысле, что здесь явления и факты осмысливаются революционным сознанием самого рабочего, и те мелочи, которые порой мало заметны постороннему наблюдателю, здесь получают другое значение, другой смысл и вызывают иные обобщения и выводы.

Примерно в таком же порядке шел спор о языке рассказов. Одни, ориентируясь на изысканно построенные фразы, очень усердно возражали против местных слов, другие, наоборот, доказывали, что местные слова придают нужную окраску всему рассказу.

Сам Алексей Петрович после кружка сделал по этому поводу решительный вывод:

— Обязательно назову эту повесть «Связчики». Чем плохо это наше слово?

Этот спор не раз потом вспоминался, когда мне пришлось редактировать первое издание романа «Лога». Может быть, в противовес именно наседанию на «устные» слова, в первом издании их оказалось с излишком. Впоследствии автор сам кое-что сократил.

Не остались безответными и те, кто возражал тогда на кружке в 1923 году. Теперь они, правда, носили более сложную маску. Живые картинки старого быта, прекрасно нарисованные Алексеем Петровичем, старались подтащить под порочную рубрику натурализма. Против местных слов выступали даже в печати, прикрываясь лживыми ссылками на авторитет великого пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького.

Но Алексей Петрович был тверд.

— Раз пишешь на Урале и об Урале, должен отразить и особенности речи.

И в этом была исключительная обаятельность его личности.

Алексей Петрович глубоко чувствовал свое призвание и крепко верил в правильность своего творческого пути.

Редко редактору приходилось работать с таким автором, как Алексей Петрович. Он удивительно легко и спокойно относился к поправкам и редакторским требованиям, где видел попытку улучшить рукопись. С одинаковой охотой он шел и на сокращение, и на расширение частей, иногда делал даже по нескольку вариантов одного и того же.

Теперь, когда смерть так неожиданно и нелепо оборвала прекрасную жизнь Алексея Петровича, хочется вместо последнего «прости» товарищу и другу сказать об этих кусочках живой мысли Алексея Петровича.

Эти варианты должны быть тщательно собраны. Они должны еще сделать большое дело — помочь будущему поколению осознать, каким подлинным, большим художником надо было быть, чтобы из темного прошлого, минуя все препятствия, которые стали на пути, сделаться писателем, известным всей нашей великой стране.

Смерть еще далеко не конец Алексея Петровича. Он долго будет жить в своих произведениях.

1939 г.

К. Боголюбов

С КЕМ ШЕЛ РЯДОМ

У ИСТОКОВ

Бывают встречи, которые навсегда остаются в памяти, так как с ними связан какой-то поворотный момент в жизни. К числу таких относится моя встреча с Иваном Степановичем Пановым.

Это было в декабре 1925 года, во время зимних каникул в Мокино-Хуторской школе Сивинского района (в Прикамье), где я работал тогда учителем. Однажды в солнечный морозный денек, когда я репетировал с моими учениками пьесу, среди зрителей появился молодой человек в борчатке из шинельного сукна. Незнакомец слушал и улыбался. Когда репетиция кончилась, он подошел ко мне и с той же веселой улыбкой отрекомендовался:

— Панов.

Мы пошли в учительскую и разговорились. Он оказался студентом Урало-Сибирского Коммунистического университета (комвуза), приезжал в соседнюю деревню в гости к родным. Разговор коснулся литературы. Я прочел ему кое-что свое. Панов сказал, что он тоже пописывает и даже напечатал два рассказа в журнале «Студент-рабочий», что в Свердловске в комвузе и на рабфаке есть литературные кружки и недавно создан общегородской при газете «На смену!».

— Надо вам перебраться в Свердловск... Хотите, помогу?

Предложение было слишком заманчиво, чтобы отказаться. И когда вскоре пришло письмо от Панова, сообщавшего, что договорился насчет работы,— я поехал в Свердловск.

В комвузе действительно работал литературный кружок с несколько претенциозным названием «Словострой». Организаторами его были Панов и сибиряк Савва Кожевников, человек кипучей энергии. Преподаватель Н. В. Клементьев был шефом кружка и бессменным докладчиком по вопросам истории и теории литературы. Узнав о моем

интересе к литературе, Николай Васильевич любезно, но настойчиво предложил мне несколько тем. У меня до сих пор сохранились конспекты к докладам «Версификация», «Форма и содержание», «Генрих Гейне». Готовился я к этим выступлениям очень усердно, проштудировал множество источников и говорил, отчаянно смущаясь, очень неуверенный в том, то ли говорю, что нужно.

Но мне не терпелось выступить с собственным произведением — повестью о гражданской войне в Сибири. Как на грех, роковой вечер оказался свободным не только у комвузовцев, но и у студентов рабфака. Собрание получилось многолюдное. Я читал, и с каждой главой тревожней становилось на душе. Вот что-то записывает Кожевников, Николай Васильевич строго хмурится. А рабфаковец Ефим Петров, ярый спорщик, сам начинающий прозаик, так и пожирает меня взглядом сквозь иронически поблескивающие очки. Этот наверняка выступит против. Одна надежда на Панова, но тот сидит с замкнутым лицом и даже не смотрит на меня...

Кончил — и, как по команде, посыпались вопросы: действительно ли так было, как написано, и если было, то когда и где, какими источниками пользовался автор, участвовал ли сам в изображаемых событиях, кого лично знал из упомянутых командиров отрядов? Большинство слушателей сами были участниками гражданской войны и хорошо помнили пережитое. Началось обсуждение, и последовал разгром. Били за недостаток жизненной правды, за плохое знание исторических фактов. Николай Васильевич критически прошелся по языку повести, побранил за банальность и литературщину. К моему удивлению, Ефим Петров горячо выступил «за», обвинил моих критиков в чрезмерной придирчивости. Тогда кто-то бросил реплику:

— Так ведь он преподаватель! (Я преподавал в комвузе русский язык.)

— А-а, преподаватель,— протянул Ефим и замолчал.

Панов за меня не вступился и сказал коротко:

— Вещь надо в корне переработать. Сесть и писать заново.

Я сидел посрамленный. После я понял, как полезен бывает такой ушат холодной воды на молодую горячую голову. Тогда, однако, мне было не до того. В полном смятении чувств я бродил по улицам вечернего Свердловска и в сотый раз спрашивал себя: зачем я сюда приехал? Сырой мартовский ветер трепал полы моей потертой армейской

шинели. На углу улиц Ленина и Карла Либкнехта от нечего делать зубоскалили продрогшие извозчики. Свежие красочные афиши приглашали на новый кинобоевик «Багдадский вор» с участием Дугласа Фербенкса, и более скромные — на оперу «Самсон и Далила» с участием Фатьмы Мухтаровой. Из дверей фешенебельного ресторана «Гранд-отель» (сейчас на том месте управление Свердэнерго) доносились ноющие звуки танго. А с соседней улицы слышался тупой стук чугунного била, как еще во времена Геннина и Татищева.

Придя домой, я разорвал рукопись в мелкие клочки и сжег. До сих пор убежден, что поступил правильно.

Весной 1926 года студенты-выпускники комвуза получили назначения в разные города. Панов уехал в Тобольск. На прощание я рассказал ему о кончине своей рукописи. Иван Степанович пришел в ярость.

— Ты с ума сошел! Разве можно жечь черновики?! Восстанавливай и перерабатывай.

С отъездом самых активных членов «Словострой» распался, часть товарищей вообще отошла от литературной жизни, часть перешла в литературную группу при молодежной газете «На смену!». На протяжении ряда лет эта литгруппа являлась центром литературной жизни не только Свердловска, но и всей Уральской области, включавшей в себя Пермь, Челябинск, Тобольск, Шадринск, Курган, Сарапул, Златоуст, позднее — Магнитогорск и Березники.

Вспоминаются наши собрания в тесной комнате — помещении редакции (ул. Вайнера, 12) с знакомым запахом табака и типографской краски. Как часто отсюда мы шли в заводские цехи, рабочие клубы, библиотеки, школы. Нашими критиками являлись читатели газеты, а первыми наставниками в литературном деле — педагоги-литераторы Н. В. Клементьев, П. Н. Нестеров, М. П. Маркачев.

Николай Васильевич Клементьев, моложавый, несмотря на свои сорок с лишним лет, всегда подтянутый и корректный, умевший при случае зло высмеять, запомнился мне всегда окруженный молодежью. У Николая Васильевича была великолепная библиотека. В литгруппе «На смену!» он пользовался непререкаемым авторитетом. Удивляло одно: почему этот широко эрудированный человек, так хорошо разбирающийся в литературных течениях и теоретических вопросах, ни разу не выступил в печати? Даже Панов, глубоко уважавший своего преподавателя, возмущался:

— Черт его знает, то ли не может он писать, то ли уж так занят, то ли чего боится.

В Павле Никитиче Нестерове мы видели старшего товарища, с которым можно было говорить по душам, не соблюдая дистанции, положенной для ученика.

Михаила Павловича Маркачева знали все букинисты города. В его библиотеке можно было найти редкие издания, вплоть до таких, как «Солнце России», «Аполлон», «Скорпион», «Золотое руно». Я бывал не раз в его уютной квартире на улице Розы Люксембург. Михаил Павлович показывал мне тематические альбомы с иллюстрациями из разных журналов к сочинениям Гоголя, Тургенева, Л. Толстого. Играл он на скрипке, преподавал математику, русский язык, литературу. Был, в сущности, дилетантом, но лекции его слушали с удовольствием, он их сопровождал мастерским чтением отрывков из литературных произведений. Вот кто умел привить любовь к художественному слову.

Что нас, насменовцев 20-х годов, идейно объединяло? Прежде всего то, что мы безоговорочно приняли литературно-политическую платформу московской литературной группы «Октябрь», провозгласившей своей целью борьбу за развитие пролетарского литературного движения, за партийность в литературе, за создание произведений, отвечающих интересам рабочего класса, за участие писателей в строительстве социализма.

Состав нашей группы, разумеется, не оставался постоянным. Основное ядро состояло человек из десяти, но «На смену!» как магнит притягивала к себе начинающих авторов и просто любителей литературы.

Душой литгруппы стал Александр Исетский, обладавший настоящим организаторским талантом. Так же, как и я, начал он со стихов. Потом перешел на прозу.

Вообще в 20-е годы насменовцы выступали главным образом как поэты. Чаще всего появлялись в печати стихи В. Макарова, С. Васильева, Е. Медяковой. Ведущими у нас были двое — Вася Макаров и Сережа Васильев. Оба рабочие парни, рабфаковцы. К ним примыкал прозаик Ефим Петров. Этот паренек, очень интеллигентного вида, в пенсне, пришел на рабфак с поста секретаря сельсовета. Писал он очень много и, вероятно, добился бы успеха, но заболел чахоткой, слег и вскоре умер.

Вася Макаров, белокурый, довольно плотный, живой и общительный по характеру, был чистейшей воды лирик.

В 1929 году он уехал к себе на родину, на Южный Урал. Работал в газете «Магнитогорский рабочий» и перешел на производственную тематику. Сергей Васильев — черноволосый, худощавый, молчаливый. Лучшее его произведение — поэма «Шурка» — было посвящено героике гражданской войны. До сих пор помню первые ее строки:

У черной речки вечер мечет
Заката серую икру.
У черной речки человечий
След заметает на ветру.

Непременным участником собраний литгруппы был Алексей Васильевич Баранов, тридцатилетний мужчина с орлиным носом, смелыми глазами, с манерами митингового оратора, человек вообще очень эмоциональный.

Литературу он любил до страсти, но больше тянуло его к театру, он хотел стать драматургом. Как и многим в то время, ему недоставало культуры. Деревенский паренек из Подмосковья, он в первую мировую войну был моряком, служил в Кронштадте, активно участвовал в революции. Учился в воскресной школе графини Паниной вместе с будущими поэтами-пролеткультовцами. Здесь он и приобрел вкус к художественной литературе. В Свердловске Баранов выпустил книжку «На костре» — об одном из вожаков восстания башкир в первой половине XVIII века Тойгильде Жулякове, сожженном на площади в Екатеринбурге. В 1930 году на сцене Свердловского драматического театра шла написанная Барановым совместно с И. Келлером пьеса «Боевики», посвященная событиям революции 1905 года, уральским боевым дружинам. Однако следующие две пьесы «Лейся, металл» и «Причины» не увидели света рампы. Столь же неудачными оказались попытки в жанре комедии. А ведь Баранову нельзя было отказать и в даровании, и в трудолюбии.

Существовали у литгруппы «На смену!» и недруги. Наиболее активным из них был Валерьян Шипулин, бледный, болезненного вида юноша, всегда хорошо, даже щеголевато одетый. Обвинял он нас в невежестве и бескультурье, мы же его критиковали за формалистические трюки и гнилые настроения. Пытался Шипулин организовать в противовес нам, насменовцам, некий «Новый перевал», но из этого ничего не вышло.

Среди эстетствующих (и анекдотических) личностей этого периода обращал на себя внимание Владимир Буй-

ницкий. С мефистофельским профилем, длинными седыми волосами, в старомодном костюме, он выглядел живым анахронизмом на фоне боевой и кипучей действительности тех дней. Буйницкий являлся одним из членов Улиты (Уральская литературная ассоциация), просуществовавшей очень недолго. Издал книжку декадентских стихов (за собственный счет) под фатальным названием «Я — распятый». Свое поэтическое кредо он сформулировал в следующих строках:

Мертвый средь жизни — не вижу просвета,
Страждущий — жажду заснуть вечным сном.

С аналогичными стихами Буйницкий стучался в двери редакций и горько обижался, что их не печатали. Он был менее агрессивным противником нашей группы и вынашивал свое презрение молча. Мне, например, он не мог простить статьи, в которой я назвал его последышем буржуазной литературы, распятым советской эпохой.

Конечно, может быть, лучше было бы, если бы шипулины и буйницкие не мешали работать, но, с другой стороны, в борьбе с ними члены литгруппы приобретали политическую закалку.

Одним из наиболее крупных событий в общественно-литературной жизни Свердловска явился приезд Маяковского.

Помню: морозное январское утро двадцать восьмого года. Иду на занятия в комвуз и вижу у витрины на углу улиц Ленина и Карла Либкнехта кучку людей. Яркая свежая афиша, на ней крупными буквами рдеют слова: «Владимир Маяковский».

Для меня и, думаю, не для одного меня образ великого поэта революции сливался с образом разрушителя старых канонических форм. И вот тут-то начинались сомнения. Моему поколению, воспитанному на стихах Пушкина и Некрасова, было трудно быстро отрешиться от привычного ритма и строя поэтической речи. Набатный язык стихов Маяковского резал ухо, но в нем была сила, и скоро мы ее почувствовали. Буквально чуть ли не на другой день после приезда поэта мы уже читали в «Уральском рабочем» стихотворение «Екатеринбург — Свердловск», в котором Маяковский так лестно для нас назвал наш город работником и воином, так пророчески заглянув в его боевую судьбу.

Вскоре состоялась встреча поэта с рабкорами в редакции газеты «Уральский рабочий». Задолго до назначенного

часа зал был уже переполнен, стояли даже в проходах. Маяковский на несколько минут запоздал. Но вот появилась в дверях его огромная фигура, знакомое по снимкам лицо с крупными чертами, широким волевым ртом, несколько бледное и усталое. Маяковский шел, на ходу разматывая шарф и извиняясь. Если говорить о первом впечатлении, то его можно было бы сформулировать в одном слове — необычный. Необычно в Маяковском было все: громадный рост, звучный голос, манера держаться, самый способ выражать свои мысли. Он без всякого вступления начал беседу с самого главного — с вопроса об общественной роли поэзии, о «месте поэта в рабочем строю». Говорил о партийности литературы, о связи ее с жизнью, с текущими задачами строительства социализма.

— Если стихи мои совпадают с партийными директивами, я только горжусь этим,— сказал он в заключение.

Затем он перешел к характеристике современной литературы. Очень одобрительно отозвался о стихах Демьяна Бедного, «агитационных и злободневных», и жестоко высмеял «гитарную» лирику мелких мыслей и мелких чувств. Даже несколько неожиданно пропел строфу из стихотворения Уткина на мотив жалостного романса. Добрался и до критиков.

— Есть у нас такой журналишко, «На литературном посту» называется. Сидишь, пишешь, а он бубнит над ухом: «Нет, не так. Нет, не так».— «А как?» — «Я и сам не знаю».

Говорил он с полемическим задором, никого не оставляя равнодушным.

Кто-то из слушателей зло «сострил»:

— Вы ставите себя рядом с Пушкиным: вы на М, он на П. Так ведь между этими буквами еще две: НО.

Не помню дословно ответ Маяковского, но смысл заключался в том, что дело, мол, не в алфавите, а в стихах, и потомки в этом случае лучше разберутся.

Какая-то молодая женщина выкрикнула тоненьким голоском:

— Рабочие не понимают ваших стихов.

— А вы не библиотекарь? — в упор спросил Маяковский.

Та смутилась.

— Да... А что?

— Представьте. Второй такой случай у меня. Выступал я как-то перед рабочими, читал свои стихи. Кончил, спра-

шиваю: «Кто не понял? Поднимите руку!» Поднялась одна рука. Оказалось — библиотекарь заводской библиотеки.

И уже совсем сердито прогремел:

— Вы должны быть пропагандистами книги, а не книжными регистраторами! И как вы смеете говорить от лица рабочих!

Дальнейшая беседа протекала в самой дружеской атмосфере. Рабкоровская молодежь явно была за Маяковского, и даже те, кто раньше скептически относился к нему, увидев и услышав его «живого, а не мумию», ушли с чувством глубокого расположения к поэту. Покоряли его простота, ясность и твердость взглядов и особенно мужественное отстаивание своих убеждений.

Второй раз мне пришлось видеть Маяковского в другой аудитории,— уже не в редакции, а в Деловом клубе (ныне филармония). Если в первом случае поэта слушала преимущественно рабочая молодежь, то сейчас он выступал перед широкой публикой, среди которой было немало хулителей его таланта, ненавистной поэту мещанской «дряни», присутствовали и просто любопытные, любители литературных скандальчиков.

...В зале ни одного свободного места. Нетерпеливые хлопки, шум. И вот на сцене появляется Маяковский, спокойный, но готовый к бою. Молча он обводит взглядом лица сидящих, точно спрашивая: «Друг или враг?» Снимает пиджак, вешает на спинку стула. По рядам пробегает смешок. Маяковский серьезным тоном поясняет:

— Когда рабочий становится к станку, он снимает лишнюю одежду, чтобы не мешала работать. Я тоже работаю.

Тут же он наводит порядок в зале. Заметив, что один мужчина в первом ряду все время вертится и болтает с соседями, Маяковский громко говорит:

— Гражданин, пришейте ваши брюки к стулу!

Плохо помнится начало его доклада. Видимо, поэт был не в ударе, к тому же он предупредил, что у него было несколько выступлений и он будет говорить тихо. А говорил он о культуре быта, о мещанстве, о дурных привычках и традициях. Из публики раздавались иронические возгласы, колкие реплики и ехидные вопросы.

— Вот вы называете себя рабочим поэтом, а берете плату за билеты.

— До меня у вас выступала балерина. Вы ей платили в два раза дороже. Что же, по-вашему, рабочий поэт хуже балерины?

3 Заказ 133

Одна пожилая дама заявила во всеуслышание:

— Я прочитала вашу поэму «Хорошо!» и ничего не поняла.

— Почему вы берете вещи не по возрасту? — молниеносно парировал Маяковский.— У меня есть другая поэма «Что такое хорошо, что такое плохо»,— читайте, поймете.

Все, кто слышал тогда Маяковского, воочию убедились, какой это был блестящий полемист. Он не защищался, он нападал. Его громовой голос звучал в полную силу — так, что звенели стекла в огромных окнах зала. Говорил он гневно, страстно, не стесняясь в выражениях.

— Не советую совать мне палец в рот, могу отхватить всю руку.

Нужно сказать, что охотников проделать такой эксперимент становилось все меньше и меньше. Дружный смех всего зала сопровождал очередное поражение противников поэта.

После перерыва Маяковский приступил к чтению стихов. Начал он с сатирических. «О дряни», «К любимой Молчанова, брошенной им»,— все против мещанства.

Впоследствии мне приходилось много раз слышать превосходное исполнение этих стихов, но ни одно из них не могло изгладить впечатление от чтения стихов самим поэтом. Ни у кого слово не являлось таким послушным инструментом мысли и чувства, как у него. Никто не умел так свободно распоряжаться своим голосом, как он, но самое главное было — в большой и искренней взволнованности поэта. Я убедился, что не понимал его потому, что не умел его читать.

В заключение Маяковский прочел отрывки из поэмы «Хорошо!». Все слушали как завороженные, точно шли за поэтом сквозь бурю великих событий, сквозь годы гражданской войны и разрухи к победе и созиданию. То, что читал Маяковский, звучало вдохновенным гимном «весне человечества, рожденной в трудах и в бою». Последние строфы он произнес речитативом, нараспев.

Большое дело — личный контакт поэта с народом. Многие из нас после этих встреч открыли Маяковского заново, многих он заставил задуматься над высокой ответственностью писателя, над тем, что «слово — полководец человеческой силы», что высшее счастье для художника — «каплей литься с массами». В этом смысле приезд Маяковского сыграл большую воспитательную роль, для нашей молодой организации это было особенно полезно.

Однажды светлым майским утром под окном моей квартиры раздался знакомый голос:

— Здорово живете, хозяева!

Я выглянул в окно и увидел конопатое лицо, рыжеватые волнистые волосы и смеющиеся серые глаза Вани Панова. Обрадовались мы друг другу несказанно. Он мне сообщил, что снова переезжает в Свердловск, будет работать в редакции газеты «Уральский рабочий».

Возглавив в «Уральском рабочем» отдел культуры и быта, Панов добился выхода в свет литературного приложения к газете — тонкого, в несколько страничек, журнала «14 дней»[1]. После выходившего в начале 20-х годов журнала «Товарищ Терентий» это была новая попытка создать общеуральский литературно-художественный печатный орган для выявления и консолидации литературных сил Урала. Одновременно начало выходить сатирическое приложение к газете — «Веселая кузница», в котором главную роль играли журналист А. Москалев и художник-карикатурист Г. Ляхин. Помню, нашумело разоблачение одного увеселительного заведения, скрывавшегося под скромным названием «Столовая домохозяек». Появилась едкая карикатура. Разъяренные «домохозяйки» пригрозили Ляхину расправой, на что тот ответил еще более язвительной карикатурой.

Моему сотрудничеству в «14 днях» предшествовал разговор с Пановым, на долгие годы определивший профиль моей литературной работы.

— Читал я твои рецензии в «На смену!», статью о Горьком в «Уральском рабочем». Знаешь что: берись-ка ты за критику всерьез. Прозаики у нас есть, поэтов больше чем достаточно, только критиков нет, а они нужны.

И он тут же выложил передо мною ворох стихов.

Так я заочно познакомился со многими поэтами Урала. Среди них наиболее интересным показался мне Санников (Н. Куштум). С ним у меня завязалась вскоре дружеская переписка. Молодой поэт руководил в Златоусте литературной группой «Мартен», работал в газете «Пролетарская мысль», редактировал литературное приложение к ней и сам писал романтические стихи с глубоким лирическим настроением и комсомольским накалом.

Газеты «Уральский рабочий» и «На смену!» превращались в центр притяжения литературных сил Урала.

[1] Начал выходить с октября 1928 г. (*прим. ред.*).

Насменовцы наладили связь почти со всеми существовавшими в то время в области литературными кружками, среди которых самым крупным был нижнетагильский, руководимый А. П. Бондиным. А Уральская область тогда была огромная, включала в себя нынешние Свердловскую, Пермскую, Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области.

Речь теперь шла о том, чтобы придать литературному движению на Урале организационные формы.

Наступил октябрь 1928 года, солнечный, холодный. Ветер мел по улицам желтые листья. В клуб имени Горького на Первомайской улице сходились на первую областную конференцию участники пролетарского литературного движения [1]. Делегаты приехали из Перми, Златоуста, Тагила, Шадринска, Сарапула.

Панов, как всегда, был в окружении друзей и знакомых. Тут и там мелькала маленькая юркая фигурка Исетского — этот хлопотал, как обычно, что-то организовывал, Сережа Васильев застыл в меланхолической позе с вечной папиросой во рту. Вася Макаров о чем-то возбужденно разговаривал с рябеньким невысокого роста тонкоголосым пареньком.

— Знакомьтесь. Поэт Санников из Златоуста.

У стола президиума стоял крепко сложенный, румянолицый здоровяк с яркими карими глазами, с подбритыми усиками и добродушно улыбался, когда Панов знакомил с ним одного за другим активистов из «На смену!».

— Мате Залка.

Панов делал доклад [2].

Очень жарко в прениях выступил Санников (Куштум). Его «безусый энтузиазм» расшевелил и других. Но многие говорили вяло и большей частью не по существу. Слушая

---

[1] Как установил на основании архивных данных журналист А. Пудваль, 1-я конференция уральских пролетарских писателей состоялась 23—24 октября 1927 г. («Уральский рабочий», 1927, 25, 26, 30 окт. (*прим. ред.*).

[2] На 1-й конференции уральских пролетарских писателей И. С. Панов (работавший тогда еще в Тобольске) присутствовал и был избран в правление УралАПП, однако с докладом не выступал. И. С. Панов выступил с отчетным докладом на 2-й конференции УралАПП, состоявшейся 16—17 февраля 1929 г. На этой же конференции выступил с речью Мате Залка («Уральский рабочий», 1929, 21 февр.).

Как явствует из приведенных выше фактов, автор в данном случае рассказывает именно о 2-й конференции УралАПП (*прим. ред.*).

эту болтовню, Мате Залка не выдержал. Помню первые слова его выступления, сказанные с сильным акцентом:

— Довольно трепаться, товарищи!

Он кратко, но ясно рассказал о положении в современной литературе, о задачах пролетарской литературы.

Этот знаменательный день закончился у Панова, где я снова увидел Мате Залку, на этот раз уже в обстановке дружеской встречи. Он рассказывал почти фантастическую историю своей жизни. Действительно, кого бы не удивила судьба блестящего гусарского офицера, который, оказавшись в русском плену, стал большевиком, командиром интернационального отряда, партизанившего в сибирских урманах.

На всю жизнь осталось воспоминание о встречах с этим чудесным человеком (Мате Залка приезжал в Свердловск еще раз, уже в 30-х годах) [1]. Кто из нас предполагал тогда, что перед нами выступал будущий генерал Лукач, легендарный герой гражданской войны в Испании.

НАШ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

Так мы называли Ивана Степановича Панова в узком дружеском кругу. И не без основания: в течение десятка лет он руководил Уральской, а потом Свердловской писательской организацией. Был ответственным секретарем той и другой.

Круг литературных друзей у него был обширен: и в Свердловске, и в Москве, и в Ленинграде — везде приятели. Кто из писателей ни приезжал на Урал, обязательно заходили на улицу Февральской революции к Панову.

Все находили приют и угощение у гостеприимного хозяина. Из свердловчан чаще всего у него бывали Бондин, Исетский, Куштум и я.

Панов вообще быстро сходился с людьми. Человек по натуре жизнерадостный, он умел себя сдерживать, когда нужно. Любил и сплясать, и спеть в веселый час. Но умел и работать, не отходя от письменного стола.

Руководить писательской организацией — дело нелегкое. Часто приходилось ездить в командировки, выступать

---

[1] Мате Залка приезжал также в Свердловск в ноябре 1929 г. Он участвовал в расширенном пленуме правления УралАПП и был одним из докладчиков («Уральский рабочий», 1929, 22, 23 ноября) (*прим. ред.*).

с докладами. Все это отвлекало от прямой литературной работы, и иногда Панов горько жаловался:

— Говорю товарищам, чтобы писали больше, а сам-то не пишу... Стыдно!

Я ему все время советовал рассказать о родном крае, о людях, которых он знал с детства. Верил, что получится интересная книга. Он отвечал:

— Многое там изменилось, изменились и люди. Надо снова съездить на родину, набраться свежих впечатлений.

Да так и не собрался. Захватил его в свой снежный плен Уральский Север — Заполярье.

— Кто хоть раз там побывал,— говорил Иван Степанович,— того снова туда потянет.

Впечатления претворились в художественные образы. Так и вошел он в литературу как автор «Урмана», одной из лучших книг о советском Севере тех лет.

О Панове как о человеке, писателе, общественном деятеле можно писать много, но однажды Исетский очень коротко охарактеризовал его:

— Главное в том, что он был коммунист.

Как живой стоит он передо мной, кряжистый, сильный, с рыжеватой волной волос, со смешинкой в глазах, всегда деятельный, всегда чем-то занятый. Редкостное было у него умение подойти к человеку. Будь это солидный профессор или рыбак с Таватуя, с каждым он находил нить простого человеческого общения. Он был членом обкома партии, секретарем Уральской ассоциации пролетарских писателей, одной из крупнейших в Российской Федерации. Но не было в нем ничего начальственного. Его авторитет держался на уважении всех знавших его лично. Панова уважали и любили за честность и прямоту, за доброту и отзывчивость, за большевистскую принципиальность. Это был человек открытой и светлой души — один из миллионов тех, кто шел «к коммунизму низом». Таким был и его путь в литературу.

Лето 1918 года в Прикамье выдалось на редкость знойным. Обычно к концу дня на горизонте грудились сизые грозовые тучи. Вспыхивали слепящие молнии, слышались тревожные перекаты грома. Но лето было грозовым и в судьбах первой в мире рабоче-крестьянской республики. Черная туча белогвардейской контрреволюции надвигалась с востока, а в тылу полыхали кулацко-эсеровские мятежи, и нередко ударам грома отвечали удары орудий.

Вспыхнуло кулацкое восстание и в Сепычевской волости, неподалеку от села Екатерининского, где я в то время служил в красногвардейском отряде. На подавление мятежа двинулись конный отряд Красной гвардии из Верещагина и красногвардейские отряды из ближайших волостей. В Сивинском отряде был девятнадцатилетний коммунист из села Бубинского учитель Иван Панов. Он первым в селе записался в партию и первым пошел по ее зову в бой.

Мятеж был подавлен. Бандиты оставили после себя полсотни трупов местных коммунистов и советских работников, зверски растерзанных. Это было страшное зрелище кулацкой злобы и ненависти. Под свежим впечатлением Панов написал очерк о сепычевских событиях в оханскую уездную газету.

— С того и началась моя литературная деятельность,— говорил впоследствии Иван Степанович.— Правда, после этого долго не пришлось браться за перо.

По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год...

Военная дорога увела и молодого учителя-коммуниста. Навсегда простился он со школой, ушел на Воткинско-Ижевский фронт. Потом дрался с бандами Колчака за Каму и Пермь. Когда Колчака прогнали за Урал, Панова назначили комиссаром гарнизона в городе Усолье. Затем он стал военкомом в Перми. Здесь на него было совершено покушение. Пришлось по ранению покинуть ряды армии, перейти на политпросветработу. Но Панов тут же почувствовал, как мало у него знаний. Стал проситься на учебу и был направлен в Урало-Сибирский коммунистический университет имени В. И. Ленина в Свердловск.

Здесь в нем с новой силой ожила страсть к литературе. В журнале «Студент-рабочий» были напечатаны два рассказа Панова «Сапоги» и «Сон» из жизни советского студенчества. Избрали его редактором комвузовской газеты-многотиражки «Ленинская закалка». Панов, как уже говорилось, явился и одним из организаторов литературного кружка «Словострой».

К этому времени и относится мое знакомство с Иваном Степановичем, перешедшее затем в крепкую дружбу.

После окончания комвуза в 1926 году Панова направляют в Тобольск. Он становится редактором тобольской

газеты «Северянин», избирается секретарем окружкома по пропаганде. Жизнь в этом старинном городе на великой водной магистрали, командировки в отдаленные районы Заполярья много дали будущему писателю. Он побывал в далеких стойбищах, познакомился с бытом северных народностей. Уже тогда у Панова зародилась мысль написать повесть или роман об этом крае. При редакции он создает литературный кружок и печатает в нем роман «Тайна жилета» — коллективный труд семи авторов, членов литкружка. Впоследствии он вспоминал об этом юмористически.

В 1928 году Иван Степанович вернулся в Свердловск. Литературная жизнь с его приездом сразу закипела.

Панов был единогласно избран ответственным секретарем Уральской ассоциации пролетарских писателей (УралАПП). Он же стал фактическим редактором общественно-литературного журнала «Рост» (позднее — «Штурм»). Под его руководством журнал сыграл большую роль в сплочении литературных сил Урала.

У всех нас было страстное желание участвовать в создании новой пролетарской культуры. Но как ее создавать, было еще не очень ясно. Рапповских ошибок и заблуждений не миновала и УралАПП. И, однако, вспоминая те годы, думаешь прежде всего о добрых, хороших сдвигах, происходивших тогда в литературной жизни Урала. Вспоминаешь и о той большой работе, которую вел Иван Степанович Панов.

Как-то невозможно было представить его одного, всегда вокруг него были люди. И везде он был своим человеком — и в цехах Верх-Исетского завода, и в студенческой аудитории, и в деревенской избе-читальне.

Помню, зашел я однажды к Ивану Степановичу и застал его разговаривающим с худощавым пожилым человеком. У того узкое морщинистое лицо, седая бородка клинышком. Не то рабочий, не то служащий.

— Познакомься: товарищ Сарапулкин... изобретатель.

Сарапулкин сконфуженно улыбался. Бывший служащий конторы Березниковского содового завода, он в годы Советской власти отыскал способ изготовления из отходов содового производства высококачественного ячеистого бетона. Местные бюрократы затормозили нужное дело. И тут-то на помощь изобретателю пришел Панов. Он с присущей ему энергией и напористостью добился, чтобы изобретение Сарапулкина внедрили в производство. Впо-

следствии березниковский ячеистый бетон приобрел известность. Немалую роль в этом сыграл очерк Панова, вышедший отдельной книгой в 1932 году.

Горячо любил Иван Степанович Бондина. Не раз гостил у него в Нижнем Тагиле. Это была поистине братская дружба близких по духу людей.

Вдруг Алексей Петрович опасно заболел. Врачи подозревали рак горла. Панов обегал всех свердловских специалистов и наконец обратился в Ленинград, в онкологический институт. Добился путевки на лечение и взял с Бондина слово, что он не «сбежит».

— А то я тебя знаю: как запахнет весной, так тебя и потянет к глухариным токам.

Алексей Петрович дал слово. У самого у него не хватило бы настойчивости добраться до Ленинграда...

Всякого рода оргвопросы, бесконечные заседания, командировки отнимали у Панова столько времени, что для творческой работы его почти не оставалось. Не раз он мне с горечью говорил:

— Обидно, я руководитель, а ничего крупного не написал.

И взялся за повесть из рабочей жизни.

В верховьях Камы есть старый город Усолье, бывшая строгановская вотчина. Сохранились в нем старинные церкви, каменные дома строгановских служащих, здание заводской конторы. Догнивали покосившиеся соляные варницы. Здесь в 1919 году Панов прожил несколько месяцев, здесь и женился. Не раз он бывал в Усолье и в последующие годы, имел там много знакомых среди рабочих.

В результате многолетних наблюдений возник первоначальный замысел, а в 1930 году в Уральском книжном издательстве вышла повесть Панова «Кукушка». Герой ее — пожилой рабочий, привыкший делить труд между заводом и собственным маленьким хозяйством. Заводу — положенные часы, а «домашности» — все свободное время. Старинные часы с кукушкой — своего рода символ нерушимости мелкособственнического уклада жизни. Но вот в цех поступает срочный заказ, люди работают так, как никогда еще не работали, и первый раз в жизни старик забыл о своем огороде. Первый раз по-новому взглянул на свое отношение к заводскому труду, к рабочему коллективу.

Однако литературным событием книга не стала. Схематизм, которым грешили тогда многие произведения молодых, оказался присущ и повести Панова.

В 30-е годы литературные ряды наши значительно пополнились. Но наряду с такими одаренными прозаиками, как О. Маркова, А. Савчук, поэтами В. Занадворовым, К. Реутом в писательскую организацию проникло немало случайных людей вроде С. Балина, С. Морозова и им подобных. Н. Куштум однажды остроумно назвал их «Серопановыми братьями» (по аналогии с «Серапионовыми»).

Действительно, кое-кому из них Панов первое время покровительствовал. Видимо, он надеялся, что рабоче-крестьянское происхождение поможет им найти свое место в литературе. Увы, надежды не оправдались. А между тем они усиленно лезли к Панову в друзья, отрывали от дела.

Морозову, автору серых антихудожественных рассказов, Иван Степанович однажды прямо заявил:

— У тебя политический барометр — брюхо. А на литературу ты смотришь как на кормушку.

Не помню точно, после этого собрания или после другого Панов пригрозил, что договорится с Бабкиным, языковедом из пединститута:

— Пусть он займется с вами, повысит ваш литературный уровень.

Действительно вскоре нас собрали, и Бабкин устроил нам ехидный проверочный диктант. Написали и, конечно, осрамились. Ошибок наделали уйму. Куштум обозлился и сказал, что это не учеба. Панов его резко оборвал, на следующий день в газете «На смену!» появилась карикатура под заголовком «Зазнавшийся поэт». Но занятия наши по русскому языку на том и закончились.

А тут как раз подоспела директива рапповского руководства. Она была строга и требовала неукоснительного выполнения. Пришлось скрепя сердце проводить «призыв ударников в литературу».

Панов собрал писателей, разъяснил суть полученной директивы, предложил разбиться на бригады и идти на заводы призывать ударников. Я пошел на завод «Металлист», где вел литкружок. Среди ударников там выделялись трое: пожилой рабочий Бортников, человек малограмотный, но неизлечимо болевший болезнью сочинительства; комсомолец Залесский, острый критик рапповского толка, и молодой котельщик Алексеев, недавно демобилизованный, грамотный парень с литературными наклонностями. Писал он и печатал в «Росте» стихи, а затем выпустил книжку «Литейщик Ермоленко». Это был средней руки

очерк, но товарищ почувствовал себя «мобилизованным и призванным» в большую литературу, бросил работу на заводе, взялся за скороспелые поделки... Разочарованный, покинул он Свердловск, и мы потом навсегда потеряли его из виду.

Но эти трое, по крайней мере, действительно тянулись к литературе. А кое-где поступали проще: брали у начальников цехов списки ударников и записывали всех оптом как литераторов. Неудивительно, что цифра «писателей» по всей области выросла до астрономической — 700.

Положение у Ивана Степановича было трудное. Хотелось сесть за письменный стол и отдаться любимому делу, оторваться от заседательской суетни, от житейских мелочей.

— Уеду на Таватуй. Там и отдохну и поработаю.

Но и тут оказывались неизбежные спутники — друзья. Работать приходилось урывками.

В клубе имени Горького нам отвели две комнаты. В одной из них висела карта Уральской области, на которой синим и красным были отмечены бездействующие и действующие литературные кружки. То и дело цвета приходилось менять, причем бездействующих кружков становилось все больше.

Впрочем, и без того было ясно, что балласта в организации накопилось много.

— Проведем чистку,— заявил Панов.

Однако даже чистка не улучшила общее состояние организации. Рапповские методы руководства явно обнаруживали свою непригодность. Особенно тяжелое положение создалось, когда Панова перевели в отдел печати обкома партии, а его место занял Н. Андреев. Это был способный и очень активный рабкор, ставший затем работником редакции. Но у него не было ни опыта, ни авторитета, какими обладал Панов. К тому же он возомнил себя писателем и начал публиковать в «Росте» свой роман «Кирпич обжигается» — произведение сумбурное и крайне сомнительное в идейном отношении. В организации росло недовольство. Протестовала и общественность. Назревал кризис.

...Январский день, снежный и серый. Захожу в наше правление (его к тому времени перевели в Банковский переулок). Навстречу — встревоженный Бажов.

— Читал сегодняшний «Уральский рабочий»?

— Нет, еще не успел.

— Почитай-ка.

И протягивает газету. Большая подвальная статья посвящена руководству писательской организации. Руководство обвинялось в кастовой замкнутости, зажиме самокритики и других ошибках. Постановлением обкома Панов снят с работы с партийным взысканием. Андреев исключен из партии. Хотя этого и следовало ожидать, но удар есть удар. Я тотчас же помчался к Панову.

Ивана Степановича застал в постели.

— Ты что же спишь? Не знаешь, что случилось?

— Раньше тебя знаю.

— Ну и что же ты думаешь делать?

— Думаю на Север ехать... За материалом... Ты знаешь, какая там красота! Кто раз побывал, непременно туда вернется.

Панов, как всегда, не терял присутствия духа. Постановление обкома воспринял как суровое, но справедливое.

Он действительно вскоре уехал в Заполярье и прожил там два года. В это время произошли события, повернувшие советскую литературу на путь нового подъема. Постановление ЦК от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» вдохнуло свежую струю и в жизнь Уральской литературной организации. А Иван Степанович в это время ездил на оленьих упряжках по стойбищам необъятного Ханты-Мансийского края, по просторам Ямальской тундры.

Север захватил, взволновал его суровым величием своей природы, своеобразием жизни людей. Дважды побывал писатель за Полярным кругом и оба раза не как «природы праздный соглядатай», в погоне за экзотикой, а как партийный и советский работник, как агитатор и пропагандист, как борец за советскую правду.

Многие сотни километров проехал он по бескрайней тундре, ночевал в ненецких чумах, ел строганину, наблюдал весеннюю путину, принимал участие в выборах Советов. Этого неугомонного, непоседливого, желающего все видеть и знать человека встречали как друга оленеводы Ямала, грузчики в Новом Порту, рабочие Самаровского рыбоконсервного завода, матросы обских пароходов. А он заполнял записями блокнот за блокнотом, писал о встречах с бывалыми людьми, о местных обычаях и преданиях.

Так создавался «Урман» — первое крупное произведение о советском Приполярье. Действие его происходит в Тасымском пуголе, где безраздельно господствует послед-

ний хантыйский князек Неунко Локыс. А в селе Полуденном такой же властью пользуется русский торговец Андрон Квашнин. Оба они беспощадно эксплуатируют местное население. Оба довольны царской властью и колчаковской управой. Когда отряд красных партизан под командованием зырянина-коммуниста Антона Чупина устанавливает в Тасымке и Полуденном Советскую власть, кулачье вступает в открытую борьбу. Но поднимается и беднота, организуется рыболовецкая артель. «Совет-закон» торжествует победу.

Из своей северной экспедиции Иван Степанович привез ворох впечатлений и рассказов, не вошедших в роман. Работал он над ним, прямо говоря, неистово, с наслаждением. Не оставлял времени даже для поездок на Таватуй.

Но ему удалось тогда написать лишь первую часть «Урмана». Все, кто знал его, помнили его заслуги в развитии литературного движения на Урале. И на очередной писательской конференции первой назвали его кандидатуру. Он снова стал руководителем правления, на этот раз уже председателем правления Свердловского отделения Союза советских писателей.

С большой неохотой согласился Панов занять этот трудный и ответственный пост. Еще два года был он вожаком литературного Урала, а потом снова уехал на полюбившийся ему Север.

В 1939 году вышли наконец обе части «Урмана». Готовил Иван Степанович и второй роман «В песцовой пустыне», но так и не закончил его. «Урман» остался его единственной крупной вещью и большой творческой удачей. Уже после смерти автора роман выдержал несколько изданий.

Началась Великая Отечественная война. Иван Степанович жил в то время в Верх-Нейвинске. Работал на заводе.

В 1941 году в альманахе «Прикамье» я прочел его очерк «Конец Лосиной пади». Один из тех очерков-рассказов, которые были его любимым жанром. Писатель рассказывал о труде, тяжелом и опасном, и о человеке, преодолевающем любые препятствия.

Вспоминается наша последняя встреча осенью сорок второго. Зашел он ко мне ненадолго. Попрощаться. В солдатской шинели, стриженый, необычно серьезный, сумрачный и молчаливый, со взглядом, как будто обращенным внутрь. Сказал, что пошел добровольцем.

— Как же ты с поврежденной рукой?

— Хватит еще силы фашистов бить. К тому же я сапер — самая мужицкая специальность.

Расставание наше было печальным.

— Жалко, что «Песцовую пустыню» не пришлось закончить.

— Вернешься — закончишь.

— А если не вернусь?

Было ли это предчувствием, не знаю. Ему шел сорок третий год. Оставлял семью. А время было трудное. Враг стоял у берегов Волги. В Сталинграде шли ожесточенные бои. Туда, под Сталинград, был направлен и саперный полк. Там, на фронте, и сложил свою голову писатель-коммунист Иван Панов. Бойцом он начал свой литературный путь, бойцом и закончил его.

ПЕТРОВИЧ

Электричка подходит к Нижнему Тагилу. Редеет ельник, и в зареве разноцветных огней, багрового дыма, розоватых вспышек над домнами чувствуешь дыхание большого города.

Каждый раз, подъезжая к Тагилу, я думаю об Алексее Петровиче Бондине. Многое здесь напоминает о нем. Недалеко от вокзала школа его имени. Солнечные зайчики играют на пруду, и волны лениво шуршат прибрежной галькой. Здесь, на самом берегу, на Красноармейской, 8, мемориальная доска и литературный музей его имени. А дальше — Уральская улица, где в здании бывшей земской тюрьмы в 1906 году сидел «за политику» рабочий Алексей Бондин. Недалеко и завод, где он начал свой трудовой путь. В городском парке, в тени старых тополей, памятник из серого уральского гранита. Здесь похоронен человек многотрудной судьбы, писатель-рабочий, певец Нижнего Тагила Алексей Петрович Бондин.

В городской библиотеке говорят:

— Книги его не залеживаются на полках.

Многие старожилы помнят его еще живого, неутомимого следопыта, веселого собеседника, товарища по охоте и рыбной ловле. В музее его имени вас встретит маленькая старушка, жена писателя, его друг и помощник Александра Самойловна[1]. Она покажет его рабочий кабинет, где он

[1] А. С. Бондина умерла в 1975 г.

писал свои книги, расскажет о том, что приходилось ему жить и в подвале, в большой бедности.

У Бондина было много друзей, среди писателей он пользовался общим уважением, и звали мы его запросто — Петровичем.

...В клубе имени Горького открывалась первая конференция писателей Урала. Большей частью это была молодежь. Первые литературные кадры Советского Урала.

— А вот и товарищи из Тагила,— сказал Панов.

Товарищей было двое — Алексей Петрович Бондин[1] и Нина Аркадьевна Попова. Из делегатов Алексей Петрович выделялся и возрастом, уже зрелым, и внешностью. Чувствовалось, что это человек бывалый, много видевший и переживший.

— Единственный на Урале пролетарский писатель,— полушутя отрекомендовал его Панов.— Пишет о рабочих и сам работает на производстве, слесарем железнодорожного депо.

По тем временам было в моде подчеркивать свою принадлежность к рабочему классу хотя бы внешне — гимнастерка, рабочая блуза. Бондин же был в отутюженном костюме с белоснежным воротничком и при галстуке. Это меня удивило. Вот тебе и пролетарий! Передо мной был мужчина лет сорока пяти, с лицом, изрезанным морщинами, худощавый, высокого роста, быстрый в движениях. Чувствовался человек, легкий на ногу. А в общем рабочий интеллигент. Поразило меня то, как он заразительно смеялся. Так смеются люди открытой души. Впоследствии я понял, что искренность, скромность и простота были основными чертами его характера. Слесарь железнодорожного депо, он хотя и говорил, что работает на двух станках — в депо и за письменным столом,— но никогда этим не кичился.

Бондин и Горький — это тема для научного исследования. Она проливает свет и на отношение Горького к Уралу. Бондин называл Алексея Максимовича своим учителем и говорил о нем прямо с каким-то благоговением.

Несколько раз он встречался с Горьким, делился своими творческими планами. Это было и на Первом Всесоюзном съезде писателей, и позднее на встрече с Горьким

---

[1] Судя по приводимым фактам, речь идет о 2-й конференции УралАПП (февраль 1929 г.), где А. П. Бондин был избран членом правления (*прим. ред*).

авторов «Былей горы Высокой». Именно Алексей Максимович подсказал Бондину новый вариант образа его любимой героини Ольги Ермолаевой. В первоначальной редакции Ольга была инженером.

— Не надо инженера,— сказал Горький.— Дайте простую работницу.

Сам он написал душевное предисловие к книге старой уральской работницы Агриппины Корevановой, рассказавшей о своей жизни. Бондин был для него писателем-самородком. Но Алексей Максимович хотел сделать из него настоящего писателя и сурово говорил о его недостатках — о литературном неумении, о языковой неряшливости и штампах. Так он встретил первую книгу «Логов», но зато «Мою школу» включил в рекомендательный список литературы для юношества.

Надо было видеть, как обрадовался Петрович. Но чуть ли не в тот же год ему пришлось выступить с самозащитой, невольно связанной с именем его любимого писателя...

Я редко видел Бондина на трибуне. Как-то на одной из конференций Панов чуть не полчаса уговаривал его выступить как старейшего писателя. Петрович отшучивался:

— Язык хоть и на полом месте, а как выйду на трибуну, так и примерзнет. Ничего не могу сформулировать. Мысль не поспевает за словом.

Так и не выступил.

А тут не выдержал. Докладчик, преподаватель литературы, разбирал его роман «Лога» и уличал автора в эпигонстве, в слепом подражании Горькому. Получилось так, что Бондин не кто иной, как переписчик Горького.

Алексей Петрович попросил слова. С трясущимися от волнения губами он говорил:

— Я учился и учусь у Горького... И горжусь этим. У него я учился черпать материал для своих произведений из жизни трудового народа. Всем я обязан ему, моему учителю. В жизни нашей было много общего. Как же не будет общее в произведениях? Только вот что я списываю у него — это уж вранье!.. У меня своя тема, свои герои. В свете старого нельзя показывать новый мир. И этому я учусь у Горького... Да, больше ничего!

Махнул рукой и сошел с трибуны. Никогда я не видел Петровича таким взволнованным и негодующим.

К критике Алексей Петрович относился уважительно. В недостатках, которые замечал, сам признавался. Когда вышла вторая книга «Логов», он говорил:

— Поторопился... Не так надо было писать... Вот только буду посвободнее, обязательно возьмусь за переделку...

Двадцатилетие его литературной деятельности мы решили отметить. Вечер состоялся в декабре 1938 года. Я делал доклад. После доклада слово предоставили Алексею Петровичу. Он был очень растроган и сказал всего две фразы:

— Постараюсь оправдать ваше доверие, товарищи. Постараюсь исправить недостатки в моих произведениях.

Мне же на ходу бросил:

— Мало ругал... Надо было больше.

Но несколько дней спустя я получил от него сердечное письмо:

«Возникла настойчивая потребность написать Вам несколько строчек,— писал Петрович.— Прежде всего поблагодарить Вас за сделанный Вами доклад на вечере, посвященном моему творчеству. Передо мной прошел весь путь моей творческой работы и создалось цельное представление о всем, что я сделал. До этого все было распылено. Многое уже забылось — затерялось в прошлом. Как-то радостно думается, что все-таки, черт возьми, не зря прожил пятьдесят с лишним лет; сделал что-то хотя маленькое, но полезное обществу. Хочется на остатке своей жизни еще кое-что делать хорошее, устранить из произведений прошлого плохое — охорошить их, сделать более совершенными... Я думаю, что есть одна из главных заповедей писателей, которую мы строжайшим образом должны выполнять: чем больше хвалят, тем строже относись к себе, и тем более тогда будешь полезным всему честному, что есть в человечестве...»

Алексей Петрович был человеком исключительно и многообразно одаренным. «Писатель-рабочий» — эти слова указывали не только на социальную принадлежность, он был по духу рабочий и художник. Тридцать лет производственного стажа — эта цифра говорит сама за себя, как и то, что все эти годы он «не слезал с Красной доски». Он был человеком творческого труда и потому с любовью писал о таких людях, как Малышенко в «Логах», изобретатель Катышев в «Моей школе», Ольга Ермолаева в одноименном романе, становящаяся многостаночницей. Насквозь автобиографичен его рассказ «Машинка», которым так восхищался Бажов. Здесь писатель стремился проникнуть в психологию творческого труда. Ему не нужно было

 4 Заказ 133

наблюдать со стороны или что-то выдумывать, он сам прошел этот путь. Его станок для обточки цапф действует и по сию пору.

Бондин был кровно связан с рабочим классом, знал его жизнь. В этом была его сила как писателя. Когда мы сейчас говорим о рабочей теме, мы не можем не вспомнить Бондина и его неписаный завет: без глубокого и всестороннего знания рабочей среды нельзя и поднять рабочую тему.

Для меня Алексей Петрович был как бы воплощением душевной силы и талантливости рабочего человека. В самом деле, чего он только не пережил! Раннее сиротство, тяжелый заводской труд с малолетства, безработица, полуголодное существование, полицейские преследования,— и, несмотря на все, сумел сохранить бодрость духа, жизнерадостность и широту интересов.

Я знал, что он увлекался театром, выступал в любительских спектаклях, сам писал пьесы. Как-то, будучи в Свердловске, он зашел ко мне и начал увлеченно говорить о собирании фольклора, о том, что в этом должны быть прежде всего заинтересованы писатели.

— Это наше дело, ребята!

И тут же на память записал мне две старинные уральские песни. Я сказал, что использую их в одной из исторических повестей. Алексей Петрович с живостью добавил:

— А ведь я тоже задумал историческую... о братьях Салаутиных... Это восемнадцатый век... Придется порыться в архивах.

В другой раз Панов вернулся из Тагила и сообщил новость:

— Петрович написал былину... Он и эпиграммы пишет.

Мы и рты разинули.

Панов часто соблазнял Петровича переехать в Свердловск, обещал квартиру в центре со всеми удобствами. Тот только отмахивался:

— Ну что я у вас тут буду делать? Вот вы жалуетесь на бестемье, а я в Тагиле о темы запинаюсь... Приезжайте-ка лучше ко мне. У меня и лодка есть, поедем рыбачить. Такой ухой угощу, что пальчики оближешь... А леса-то у нас какие! А воздух какой! Каждое лето брожу по лесу. Не могу без этого.

Он и в самом деле не мог без этого. Даже статью написал «За что я люблю Тагил?». Там была родина его и героев его книг, весь он был там, коренной уралец.

Сидим мы однажды у Панова — Исетский, Куштум, я и Петрович. Он в ударе и рассказывает нам одну за другой истории своих охотничьих приключений. Вспомнил, как когда-то, спасаясь от дождя на кладбище, прикрылся лежащим в сторонке надгробием и чуть не до смерти напугал кладбищенского сторожа, принявшего его за мертвеца, вставшего из могилы.

— Сторож-то могилу рыл. Подхожу я к нему, а он со страху и вылезти не может, молится: «Да воскреснет бог...» Хотел я ему помочь. А он на меня как замахнется лопатой. «Засеку, говорит, нечистый дух!» Все-таки сам вылез и ну бежать, только лапти мелькают.

Хохочем мы, хохочет и сам рассказчик. А рассказчик он был великолепный. Прошел год, и в Свердловском книжном издательстве вышел сборник охотничьих рассказов Бондина «В лесу» — веселая талантливая книга. В ней мы узнали то, что слышали от Петровича. Исетский догадливо заметил:

— А ведь он на нас проверял читательское впечатление.

Может быть и так.

Последний раз я встретился с Петровичем в конце октября 1939 года. Встретил недалеко от Дома печати. Еще издали в глаза бросилась особенная бондинская легкая и быстрая походка. Поздоровались. Показалось мне, что он похудел, резче обозначились морщины около рта, но живые карие глаза светились по-прежнему молодо, и по-прежнему в глубине их блестели веселые искорки. Он был радостно взволнован.

— Вот скоро сдам «Ольгу». Как гора с плеч свалится. А работы еще много. Не все еще сделал... Слушай сегодня меня по радио!

Он был как всегда бодр и полон энергии. Однако работа над «Ольгой Ермолаевой» — длительная, упорная — отняла у него много сил. Это было заметно.

Вечером я услышал в репродукторе знакомый сиповатый басок, характерное уральское «о». Петрович просто и сжато рассказывал о себе, о своем творческом пути, о том, как Советская власть помогла ему, рабочему, встать в ряды литераторов. Закончил он свое выступление проникновенными словами, прозвучавшими как завещание:

— Хочется работать и работать, чувствуя внимание читателей к моим книгам. Хочется оставить после себя хорошее литературное наследство, чтобы будущее поколение помянуло Алексея Бондина добрым словом.

А восьмого ноября утром раздался телефонный звонок. В трубке — прерывающийся голос Савчука:

— Вчера... скончался... Алексей Петрович.

Мы с женой заплакали. Не хотелось верить, что Петровича, любимого писателя и друга, нет в живых.

Когда-то Мамин-Сибиряк писал: «Каждая книга является живой частью самого автора». Эти слова целиком относятся к Бондину. Он вложил в свои произведения самого себя. Деятельный сам и зовущий к деятельности других, он сегодня живет в своих книгах.

...Идешь по Тагилу, и кажется, вот-вот встретишь знакомую суховатую фигуру с легкой и быстрой походкой, с лицом в сетке морщинок и с такими удивительно молодыми, смеющимися карими глазами. Подойдет он, как бывало, крепко пожмет руку, хлопнет по плечу и скажет сиповатым баском:

— Гляди, как улыбается наш Тагил... Растем, брат, растем!

КУПАЯСЬ В ГЛУБИНАХ ЖИЗНИ

Среди уральских писателей в 30-е годы ярко выделялась фигура Алексея Маленького. Что составляло характерную особенность его творческого лица? Прежде всего умение «вгрызаться» в жизнь. Это был человек неспокойной души. Совсем юным пришел он в печать и с тех пор на долгие годы связал себя с газетной работой. Вырос в крупного очеркиста. Изъездил чуть не всю Сибирь и Урал. Побывал в Якутии, на Вишере, на золото-платиновых приисках, на крупных уральских заводах, в колхозах и везде находил социально значимый материал. Жадное любопытство к событиям всегда владело им. В редакции «Уральского рабочего», где он работал в 30-е годы, его не видели по неделям. Это значило, что Маленький отправился в очередную командировку, из которой, разумеется, не возвратится с пустыми руками.

В одном из очерков он писал так: «Мой чемодан уклеен бумажками багажных камер. Я люблю чемодан и никогда не срываю наклеек. В свободное время я переворачиваю его перед глазами и читаю по наклейкам занятную книгу о странствованиях газетчика. Поезда — почтовые, скорые, «максимки» несут меня на север, юг, запад, восток, замухрышенная крестьянская лошаденка с трудом в бурю

отыскивает дорогу в нужное мне село, весело вздрагивают пароходы, и поют бубенцы на российских дорогах. Галерея людей, с которыми газетчику в своей работе приходится иметь дело, встает передо мной в дивном виде. Я купаюсь в глубинах жизни».

Нужно было страстно любить свою профессию, чтобы бесконечно «купаться в глубинах жизни». Такая любовь и отличала Маленького, точно так же, как активное отношение к действительности, острое и точное видение мира. Меньше всего он походил на бездушного регистратора фактов.

Литературное наследство его богато и разнообразно. Правда, не все в нем равноценно. Отдавая дань «злобе дня», он иногда спешил и не отрабатывал написанное, но лучшие его вещи — это живые куски действительности.

Алексей Георгиевич Попов (Маленький — псевдоним) родился в 1904 году в Барнауле, в семье крестьянина. Отца он лишился рано и так же рано ушел из дома. Шестнадцатилетним юношей он уезжает в Новосибирск и становится сотрудником газеты «Путь молодежи», а в дальнейшем и редактором ее. Позднее он работал в газете «Советская Сибирь». Был редактором литературно-художественного журнала «Пролетарские побеги». Сотрудничал в журналах «Настоящее», «Сибирские огни».

Товарищи по работе в своих воспоминаниях нарисовали выразительный портрет молодого журналиста.

«Сколько в нем было энергии и инициативы! С каким размахом мог работать этот поистине «маленький» человек Алеша Попов... Когда он успевал спать? Ночью при переменном вздрагивающем свете электричества, где-нибудь в типографии склонившегося над набором или в комнате пишущего статью,— но я его всегда видел за работой» (Б. Шишакин. «Путь молодежи», 1923, 24 июня).

«У Попова: планы, кипа идей, колесо работы... «Путь» на моем попечении. Попова заедает типография. Но он ходит козырем — своя типография.

Издаем вовсю. Каждый день: листовки, плакаты, лозунги.

Попов с утра до вечера крутится около машин. Заканчивается установка американки. Спешно белят стены. Попов от извести в крапинках.

Так каждый день.

Попов кипит издательской деятельностью, а типографские машины лист за листом выбрасывают: «Пролетарские

побеги», «Думы юности», «Путь молодежи», «Юный пропагандист» и другие творчества юных лет» (Удонов Б. Редакционные картинки.— «Путь молодежи», 1924, 24 июня).

30-е годы открывают новый этап в творческом пути Маленького. Это был период идейного и литературного роста писателя. И не случайно он совпал с пребыванием Маленького на Урале (с конца 1928 года), где начиналось строительство мощных предприятий социалистической промышленности. Создавался Урало-Кузнецкий комбинат. Один за другим вставали в строй действующих заводы-гиганты.

Маленький постоянно в командировках. Интересен документ, характеризовавший активное его участие в жизни Урала тех лет,— это постановление президиума Свердловского облисполкома от 20 июня 1934 года: «За создание худ. произведений, отражающих борьбу уральских пролетариев за социализм, выдать А. Маленькому за очерк о социалистическом строительстве на Урале премию 1000 руб.».

Со времени Первого съезда писателей Маленький начинает принимать активное участие в литературном движении. Его избирают членом редколлегии журнала «Штурм», где печатается ряд его произведений.

В декабрьской книжке журнала за 1934 год была напечатана критическая статья Маленького «Литературный год». В ней он резко выступил против болезненных явлений в жизни Свердловской литературной организации («богемщина и групповщина»), против устремления многих прозаиков в быт и, наконец, против провинциальной ограниченности и связанного с ней натуралистического изображения действительности. «...Некоторые авторы,— писал он,— рассуждают примерно так: «Я живу на Урале, пишу на уральском материале», но забывают при этом, что Урал есть какая-то часть целого и что экономические, политические и культурные процессы, происходящие на Урале, есть те же процессы, что и по всей стране, но с особенностями, обусловленными своеобразием обстановки Урала».

Для очерков Маленького характерно сочетание публицистического элемента с художественным. Горький писал, что «очерк лежит где-то между исследованием и рассказом». Большинство очерков Маленького ближе к исследованию. Рядом с материалами, посвященными отдельным людям, у Маленького шли очерки о заводах. Например, в

очерке «Гибель Шайтанки» показано рождение Первоуральского новотрубного завода. Противопоставляя новый советский Первоуральск старой, дореволюционной Шайтанке, автор подчеркивает прежде всего новые качества людей: их трудовой героизм, чувство локтя, высокую политическую сознательность. В очерке «Короли грызут ногти» также показан рабочий коллектив. Благодаря энергии, талантливости и сметке рабочих борьба за советский никель кончается полной победой.

Откликнулся писатель и на призыв создать историю фабрик и заводов. Маленький взялся написать историю Надеждинского завода. Первые главы были опубликованы сначала в журнале, а в 1936 году в Свердлгизе вышла отдельная книжка.

Очерки и рассказы явились на творческом пути Маленького подступами к созданию цикла повестей «Соседи». Одним из первых в литературе Урала 30-х годов Маленький поднял тему рабочего класса, роста организованности и сплоченности его рядов, роста его политического сознания. Слов нет, задача сложная, и до конца реализовать ее автор не смог, но в решении этой задачи он шел от жизненной правды. Нужно было много ночей просидеть в рабочих бараках, посмотреть, как жили рабочие семьи в почерневших от времени избах, побеседовать со стариками, участниками событий первой русской революции, побывать на металлургических заводах Урала, на мелких предприятиях, вроде пимокатной фабрики в Шадринске, чтобы написать о прошлом рабочего класса, о его трудах, о его жизни и борьбе так правдиво, как написал Маленький в повестях «Смерть Прокопа» и «Вдова».

Написанный в конце жизни роман «Покорители тундры» — наиболее значительное из его произведений. Действие происходит в Заполярье, на строительстве железной дороги.

Там, на Севере, Маленький провел последние годы жизни. Не удалось ему закончить работу над рукописью «Детство Лаврентия» (последняя часть трилогии, посвященной судьбе рабочей семьи) и над повестью о Севере.

Он скончался 26 августа 1947 года.

В памяти остался образ этого неутомимого газетчика. Маленький, коренастый, с белобрысой челкой, выбившейся из-под кепки, в потертой кожанке с блокнотами в карманах, в болотных сапогах — таким он запомнился. И всегда он куда-то спешил.

«ДЕД» С УЛИЦЫ ЧАПАЕВА

Говорят, прежде чем человека узнать, надо с ним пуд соли съесть. Но бывает и так: пуд соли съешь, а человека все-таки до конца не узнаешь. Так вот вышло у меня с Павлом Петровичем Бажовым. Мы с ним работали вместе в одной организации двадцать лет. Часто я бывал у него, и говорили мы, что называется, по душам. Но если бы кто спросил меня, знаю ли я по-настоящему Бажова, я бы, положа руку на сердце, ответил: знаю и не знаю.

Как-то Павел Петрович сравнил Мамина-Сибиряка с полноводной рекой. Говоря о Бажове, я бы добавил: и глубоководной. Это был человек большого сердца и большого ума, широких знаний и огромного житейского опыта. Но прежде всего он был коммунист. Старый и вместе с тем всем своим существом человек нового мира.

Впервые я встретился с Павлом Петровичем зимой 1928 году в Уралогизе — Уральском областном книжном издательстве. Оно помещалось тогда в одноэтажном домике на улице Гоголя. В трех комнатах-клетушках было людно, но по-домашнему уютно. Потрескивали дрова в голландке, стрекотал «Ундервуд», пахло табаком. Когда приходили авторы, сесть было некуда.

Однажды в морозный и ясный уральский день зашел я туда. Редактор мой, грузный мужчина с гривой седых волос, взглянув в окно, пробасил:

— Вон наш дед идет.

Действительно по улице неторопливо шел дед. В шубе, в шапке. Русая окладистая борода с проседью. Настоящий русский мужик. Откуда-нибудь из-под Шадринска или Ирбита, черноземных наших районов. Видимо, селькор, подумал я.

Он вошел в комнату с клубами морозного пара и сразу внес какую-то атмосферу простоты и добродушия.

Я тогда не знал, что «дед» было что-то вроде клички. Впоследствии Павел Петрович вспоминал, когда получил ее: «Сорока лет не было, а уже звали «дедом»... За бороду».

Итак, передо мной стоял среднего роста уже пожилой мужчина. Удивительны были его глаза — серо-голубые, почти прозрачные, с пристальным, цепким взглядом, не без лукавинки, впрочем.

Протянул руку и глуховатым голосом сказал:

— Бажов.

Мне это имя в то время ничего не говорило.

Редактор спросил:

— Вы из командировки, Павел Петрович?

— А как же! Побывал где надо. У меня в Туринске, Байкалове, Манчаже — везде почтовые станции, везде знакомцы... Любопытны эти наши уральские места... Вот послушайте-ко, как я по району с ямской старухой ездил.

И Павел Петрович повел рассказ о том, как он путешествовал по деревням, с кем встречался. Рассказ пересыпался острыми шутками, народными поговорками, а «любопытные места» вставали такими, как будто рассказчик прожил в них всю жизнь. Слушали мы как зачарованные. Сначала я думал: какой талантливый селькор, а потом уже ничего не думал, только слушал, слушал, боясь пропустить хоть одно слово.

Вообще вспоминать он любил.

Как-то — мы были тогда уже хорошо знакомы — весенним вечером идем после заседания по Береговой улице. Павел Петрович вспоминает:

— Была такая улица — Косой порядок... Именно «порядок»... На берегу Исети стояло, вероятно, несколько избушек... Вот и вся улица!

Около цирка сворачиваем направо. Впереди громадное кубообразное здание бывшей единоверческой церкви. Белеют ампирные колонны рязановских особняков.

— Рязановых-то я хорошо помню,— говорит Павел Петрович.— Чудили в свое время... Вот ведь была единоверческая церковь [1] в старом Екатеринбурге, да и не одна еще. Под давлением начальства даже такой столп, как Рязанов, качнулся в единоверие. Богачом был и главой старообрядческой общины. И все же пошел на компромисс. Царские чиновники старались по этой части. В Кыштыме, например, управитель завода (заметь, поляк!) ретиво обращал кержаков в единоверие. А у рязановского попа вышла ссора с другим екатеринбургским тузом — Толстиковым. Поп-то что делал? Во время обедни на ектении возглашал: «Мир всем, кроме Яшки Толстикова». Тот терпел, терпел да и выстроил свою церковь. Это на теперешней улице Степана Разина... Были и другие чудаки. Вот помню барыньку одну — генеральшу Тиме. Так эта барынька завела двенадцать собачек и прогуливалась с ними... Ну чем не маминский тип?

---

[1] Старообрядческая церковь, признававшая православную церковную иерархию и подчинявшаяся архиерею (*прим. ред.*).

Павел Петрович усмехнулся:

— Чертополох!

О «чертополохе» он всегда говорил с саркастической усмешкой. Зато с увлечением рассказывал о «мужицких заводах» на Исети, Нице, Пышме, о старинном ковровом мастерстве «искровщиц», о строителях Екатеринбургского завода, положившего начало городу.

Как-то идя по плотине, он размышлял вслух:

— Прочное сооружение. Долгонько держится. Более двухсот лет миновало. А кто строил? Простой человек, демидовский плотинный мастер Леонтий Злобин... Да и плотинное-то дело исконно русское. Геннин, вон, хвастает своим заграничным. По его словам, выходит, что без немцев на Урале и заводов бы не построили. А вот как дошел он в своей истории заводского устройства до плотинного дела, так и пошли русские наименования: вешняк, вешняный прорез, водяной ларь, ряжи, понурный мост. Ни одного слова немецкого!

Прошли годы. В Уральском государственном университете имени Горького открывалась научная конференция, посвященная двухсотдвадцатипятилетию Екатеринбурга — Свердловска. Вступительное слово произнес Павел Петрович Бажов. Это было одно из его последних и, пожалуй, самых ярких выступлений.

— Историкам надо направить свои поиски в сторону тех творческих исполнителей, которые мало или вовсе не показаны в материалах генералов-строителей,— говорил он.

Сам человек труда, он жалел о том, что так мало осталось сведений о великих делах простых людей — умельцев. «Были знаменитые мастера, да только в запись не попали»,— с горечью писал он в одном из сказов.

Свои ранние вещи Павел Петрович любил подписывать псевдонимами. Среди них был один, несколько неожиданный — Колдунков. Он ввел меня в заблуждение, и, когда появилась «Зеленая кобылка», я написал положительную рецензию о «молодом» авторе, вступившем в детскую литературу. Надо мной в издательстве смеялись. Бажов заступился:

— Ну хорошо... Я и в самом деле в детской литературе молодой автор. Константин Васильевич прав.

Спустя некоторое время у меня с Павлом Петровичем возник разговор о происхождении наших уральских фамилий.

— Надо бы этот вопрос осветить пошире,— сказал Бажов.— Тут ведь целая география... Истоки колонизации Урала. Тверитиновы, Олонцевы, Воложанины, Устюжанины... В Сысерти у нас попадаются соликамские фамилии, Пермяковы, например... Пермяков ведь Турчанинов-то вывозил, вот и пошли Пермяковы... А то еще есть у нас Чепуштановы, их называют «береговики». Вот и суди, почему это так. Оказывается, у Даля «чепуштан» — это береговой лес для сплава... А то еще Темировы — фамилия. Понятно, татарского происхождения. По-татарски «темир» — значит железо. Жил, наверное, на заводе какой-нибудь татарин Темирко, вот и пошли от него Темировы. Да вот хотя бы моя фамилия Бажов. Ведь она от слова бажить, то есть предвещать, колдовать...

«Э,— подумал я,— вот откуда взялся Колдунков».

В 30-е годы мне нередко случалось бывать в угловом доме на улице Чапаева. Привычно было видеть Павла Петровича у его конторки с «негасимой» трубкой в руке. Разговоры у нас велись главным образом вокруг историко-революционного материала. В то время Бажов работал над книгой «Бойцы первого призыва». В журнале «Штурм» был опубликован его очерк «В кадетской крепости» о предреволюционном Камышлове, написанный до того сочно, с такой сатирической солью, что я ему как-то сказал:

— Ведь это только начало, а где продолжение?

Павел Петрович сдвинул брови, помолчал.

— Начало и осталось началом. Сказали мне: «Так историю не пишут», а по-моему, только так и надо писать историю.

Часто вспоминал он о людях своего поколения — бойцах первого призыва. Вспоминал с гордостью, а иной раз и с усмешкой.

— Был у меня один знакомый — бывший комиссар финансов... в районном масштабе. Казалось бы, интеллигентный человек. Так он в тысяча девятьсот восемнадцатом году приехал в свое село, пошел в церковь, надел на себя ризу и сплясал в алтаре. Вот ведь какая психология! И люди-то ведь были неплохие. Чистые сердцем, преданные делу революции. Но культура была другая... Теперь не то. Если раньше поколение измерялось десятилетиями, так теперь оно измеряется пятилетками. Каждый год приходят на производство сотни тысяч высокообразованных молодых людей. А что будет через десятилетия, мы даже представить себе не можем...

Меня поражала способность Бажова поворачивать предмет какой-то новой, чаще необычной стороной и тем самым еще ярче освещать его.

— Думаешь, Ермак-то с Дона? Нет, с Чусовой он, наш земляк...

— Андрей-то Плотников, атаман Золотой, предшественник Пугачева был, а ведь крепостной интеллигент, заметь...

— Трагедия Андрея Лоцманова — трагедия революционеров-одиночек.

— Первых Демидовых уважаю — с разумом люди были...

Свой подход был у него к истории Екатеринбурга. Он, например, критически относился к историческим трудам Чупина и Мамина-Сибиряка. Ему хотелось отчетливей видеть основную фигуру истории — рабочего и его труд. О тружениках Урала он не забывал никогда.

В 30-е годы мне открылась еще одна сторона личности Бажова — деятельность его как редактора. Мы видели его в эти годы за редакторским столом ОГИЗа, где он заведовал отделом сельскохозяйственной литературы, затем редактировал книги в Свердловском отделении Гослесотехиздата. Особенно запомнилась его редакторская работа в связи с выпуском серии произведений Мамина-Сибиряка, предназначенной для библиотек леспромхозов.

Это была инициатива Бажова: и выбор автора, и отбор произведений. Павел Петрович рекомендовал «Бойцы», «Три конца», «Горное гнездо» и «Охонины брови». Мне он поручил написать небольшие вводные статьи к трем последним произведениям, предупредив:

— Для лесорубов будешь писать... Пойми.

Заботу о читателе он проявлял во всем: книжки были снабжены его комментариями, объяснениями малопонятных слов. Характерно одно из замечаний Павла Петровича по поводу оформления «Горного гнезда», специфически бажовское по трактовке предмета с народной точки зрения. Иллюстрировал книгу художник А. Кикин, по жанру плакатист. Мне довелось присутствовать при обсуждении рисунков. Павел Петрович указывал иллюстратору на громоздкость его фигур и тут же дал тему для обложки «Горного гнезда», указав на следующее место в романе: «Летняя короткая ночь любовно укутала мягким сумраком далекие горы, лес, пруд и ряды заводских домиков. По голубому северному небу, точно затканному искрившимся

серебром, медленно ползла громадная разветвленная туча, как будто из-за горизонта протягивалась гигантская рука, гасившая звезды и вот-вот готовая схватить самую землю».

Художник вынес рисунок на обложку. Он изображал тучу в виде протянутой над заводом руки. Так было найдено решение, передающее основное идейное содержание романа.

Павлу Петровичу рисунок понравился.

— Это подходяще. Это по Мамину. Идею отражает точно.

Бажов редактировал первую книгу Бондина «Лога».

Последние годы жизни Павел Петрович возглавлял свердловский литературно-художественный альманах «Уральский современник».

Большую помощь Бажов оказывал начинающим авторам. Мне лично он помогал в работе над историческими повестями, читал мои рукописи и делал на них пометки. Любопытно, что он избегал писать многословные реплики на полях, а обращался к сигнализации, которая была рассчитана на то, чтобы автор сам подумал, как исправить написанное.

Особое внимание он уделял документальной точности, фактической стороне.

Помню, на одну из моих рукописей пришла рецензия из Москвы. В ней содержался такой упрек автору.: «В некоторых случаях в работе даются малоупотребительные слова, которые следовало бы сопроводить объяснениями или же заменить другими, более известными. Кстати, по Далю, «вешняком» называется окольная дорога, пролагаемая в весенний разлив».

Показал я эту рецензию Павлу Петровичу. Он с ней не согласился.

На одном из литературных четвергов Павел Петрович сунул мне бумажку. В ней я и прочел ответ на мой вопрос о «вешняках».

«Тут, видимо, у Даля в числе прочих значений вешняка указано: «Запор, творило, ворота с подземным заслоном в плотинах и запрудах для пуска лишней весенней воды».

Меня просто тронула эта заботливость. Среди множества дел не забывал он и о таких мелочах.

Человек подвижнического труда, он и к искусству подходил с тем же критерием, ища в каждом отдельном случае

«живинку в деле». И когда не обнаруживал ее — говорил об этом прямо, не кривя душой. Припоминается эпизод с неким С. Уже будучи в годах, поступил этот товарищ в университет, что-то писал и был горячим поклонником творца «Малахитовой шкатулки». В честь 70-летия Бажова он решил подарить ему деревянную скульптуру, изображавшую Бажова в обществе змея-полоза, ящерок и еще каких-то пресмыкающихся. Павел Петрович посмотрел и сказал:

— Зряшная работа.

Против бесполезного труда он не только возражал, но и высмеивал таких «тружеников». Как-то в беседе он рассказал:

— Жил старик один. Каждую ночь у него огонь горел. Стали искать плоды его трудов. И что же оказалось? Он подсчитывал, сколько букв в библии... Вот тебе и ученый.

Однажды пришлось ему выступать перед многочисленной аудиторией — несколько сот ребят из ремесленных училищ собрались в зрительном зале клуба имени Дзержинского. Я должен был делать доклад о Бажове.

— Очередной некролог,— пошутил Павел Петрович.

В зале было очень шумно, пока не вышел на авансцену дедушка Бажов. Говорил он ясно и просто — так, как будто каждый из присутствующих был его собеседником. Любимой темой его выступлений был труд народный.

— Вот вы слышали, что я пишу сказы, а ведь, строго говоря, творец этих сказов — народ. Он все создает своим трудом. А где труд, там и поэзия труда.

Коренной уралец, Бажов любил свой край неизменной горячей любовью.

— То, что сказы мои уральские,— вот в чем главное,— говорил он, делая ударение на слове «уральские».— У нас на Урале сколько профессий! Возьмите хотя бы горщиков. Ведь это коренная уральская профессия, и сколько в ней поэзии. У нас ведь и мастерство здесь коренное. Еще в давно прошедшие времена столько было настоящих самородков, крупнейших талантов. Любопытна, например, история с золотом. Найти-то его нашли, а вот что с ним дальше делать — не знают. Стали плавить, выплавили в год восемьдесят пудов. Простой штейгер Брусницын предложил свой способ дробить и промывать руду. Сразу счет на сотни пошел. С той поры так и стали называть — брусницынское золото... Нигде в мире нет лучше каслинского литья. А в чем его секрет? То ли чугун особенный,то ли

опоки, то ли руки такие у каслинских мастеров. Все дело в том, что литье-то художественное, значит, и здесь уральское мастерство сказалось.

Впрочем, любя Урал, Павел Петрович едко высмеивал тех, кто напирал на уральскую исключительность.

— Урал, товарищи, не удельное княжество,— говорил он,— и никогда им не был. Вот один горе-исследователь насчитал семнадцать коренных уральских слов, а на поверку-то вышло, что они все у Даля имеются... За исключением «молоконки», да и та под сомнением: есть у нас на ВИЗе местность такая — Малый конный называется.

У Павла Петровича была собрана богатая литература об Урале. Особенно интересовал его фольклор. Интересовала его и топонимика. Мечтал он написать историческую трилогию на уральском материале, отразив в ней этапы истории труда и борьбы работных людей и приписных к заводам крестьян. Придумал уже и название для трилогии — «Предгрозье». Однако сделал только наброски. Увлекла работа над «Малахитовой шкатулкой».

Помню, как-то на слете учеников ремесленных училищ он выступил с речью в защиту собирателей фольклора.

— Мне молодые фольклористы говорят: «Вам хорошо, Павел Петрович, вам старики все рассказывают, а нам нет...» И мне старики не все тоже рассказывают. А рассказы их собирать нужно. Ведь у нас на Урале заводское-то население — коренное. Заводы-то еще при первых Демидовых строились. Поезжайте в Невьянск, там из одних Поляковых можно конференцию собрать. Ведь это тоже целая история завода. Спроси о старине, и в любой семье ответят: «Это мне дедушка рассказывал, про это бабушка говорила». У нас на Урале и фольклор-то не успел отстояться...

Ценил он собирателей фольклора. Когда я в 1949 году собрался на родину в Чердынь, Павел Петрович наказывал:

— Ты там обязательно разыщи Илью Лунегова. Музеем заведует. Поклон ему передай. Это настоящий энтузиаст. Мы с ним еще по «Крестьянской газете» знакомы. Тогда он был селькором и, кроме того, собирал всякую чердынскую старину. Это фольклорист нашей советской формации.

Интересны высказывания Павла Петровича о литературе и литераторах. Прежде всего о предшественниках. К Решетникову и Мамину-Сибиряку он относился различно.

— Мамин рабочего человека хуже знал, чем Решетников.

Помню, как мы с ним отбирали избранные произведения Мамина. Когда я предложил «Легенды», он их отверг.

— Не наша философия.

Два автора (А. Баранов и В. Цам) совместно написали пьесу, читали ее в присутствии Бажова. Он сидел в своей обычной позе, опустив голову, но, видимо, не одобрял. Кончилось чтение, и Павел Петрович взял слово:

— Вот у вас герой пьесы падает в шурф и сразу же произносит монолог. А представляете вы глубину шурфа? Пишете о том, что за Полярным кругом создают оранжереи, целые «зеленые цехи», и выдаете это за новинку. А знаете ли вы, что еще сто лет назад русские ученые занимались проблемой озеленения Севера?

В произведении одного молодого писателя, талантливом и интересном, рассказывалось, как председатель колхоза разрешил юным туристам взять бревна для сооружения плота. Павел Петрович сердито сказал:

— Если бы где-нибудь был такой председатель, так он или дурак, или преступник, которого надо судить за расхищение колхозной собственности. Вот к чему приводит незнание действительности!

На одном из писательских «четвергов» обсуждали рукопись очерков о Карпинске. Автор нагромоздил кучу сырого материала, очень небрежно обработал его и, естественно, сразу же вызвал резко отрицательную реакцию со стороны участников обсуждения. Но в горячих выступлениях критиков этой вещи трудно было отыскать главное, что помогло бы автору найти кратчайший путь к исправлению ошибок. Помог Павел Петрович.

— Надо ведь о читателе думать,— говорил он своим слегка глуховатым голосом.— Очерк-то ведь художественная литература... Вот я и спрашивал об историческом прошлом. У другого города двести лет истории, а сказать нечего. Карпинск — особая статья. Почему, например, когда в России было всего сто горных инженеров, один из них, Карпинский, попал в Богословск. Значит, чем-то отличался Богословск от других заводов. Неспроста это... А сборник что ж... Сборник надо перелопатить.

Углубленно занимался Бажов вопросами истории. Эта тема проходит буквально через все его творчество. Простой русский человек всегда был в центре его внимания. Простой человек и его труд.

— Вот профессор один сказал насчет Ивана Калиты: «От лемеха пошла Москва». Я думаю, что в этом есть рациональное зерно... Или так: «Пришел атаман с пятьюдесятью товарищами и покорил Камчатку». Шутка ли! Значит, не только в оружии дело, а в том, что новое, лучшее несли наши люди. То же и на Урале. Пришел монах Долмат и основал монастырь... Ну хорошо... А ведь дело-то, наверное, было в лемехе. Ключевский добросовестно исследовал прошлое, но он был человеком другой эпохи. Так же и в отношении Чупина: не всему нужно верить у него. Другими глазами он глядел. Вот я думаю, что заводы наши строили нижегородские да павловские мастера, а немцы тут ни при чем...

Однажды, выслушав юмористический рассказ Горбунова, сказал с досадой:

— Не люблю я его. Это с его легкой руки пошли Ваньки-Таньки. Просто неприятно, когда слышишь, как большие артисты читают: бонба, оттедова... Высмеивают фонетические неправильности. Вон, мол, как они говорят, сиволапые... А кого высмеивают? Народ.

Возможно, это очень субъективное, личное мнение, но таков был Бажов, читатель ревнивый до пристрастия.

Как-то перед выборами в Верховный Совет Павел Петрович пришел на агитпункт. Молодой человек, должно быть студент, проводил беседу с избирателями на тему «Настоящее и прошлое Урала». О настоящем он рассказал бойко, а о прошлом стал запинаться. Увидев патриархальную бороду Павла Петровича, агитатор обратился к нему за помощью.

— Вот ты, дедушка, долго жил...

— Подходяще,— подтвердил Бажов.

— Так расскажи нам, как раньше рабочим жилось.

— Что ж, можно...

И «дедушка» начал рассказывать о прошлом рабочего класса Урала. Рассказывал увлекательно, и, по мере того как он говорил, лицо у агитатора вытягивалось: уж больно складно говорил старик.

— Кто это? — в смятении спросил он у соседа.

— Бажов Павел Петрович, писатель.

После окончания беседы молодой человек сконфуженно поблагодарил «дедушку» и извинился.

— Простите, не знал, кто вы.

— Пустяки,— отвечал Павел Петрович.— История мой хлеб.

5 Заказ 133

В феврале 1951 года мне довелось побывать в селе Балакино в колхозе «Победа», где разводят знаменитых «тагилок». Председатель колхоза Алексей Георгиевич Гаврилов вспомнил, как в Балакино в 1944-м приезжал Бажов.

— Созвал он наших дедов и давай расспрашивать про старину, а сам больше их рассказал. Здесь, говорит, у вас Ермак останавливался. Название села произошло от того, что тут первым Балакин поселился.

Постоянно напоминал Павел Петрович уральским литераторам о связи с жизнью, с людьми.

— Надо, чтобы на наши «четверги» ходили люди и нелитературные. Из самой гущи жизни. У них есть чему поучиться. Почему мы пишем слабо. От бедности впечатлений.

О себе, о «Малахитовой шкатулке», вообще о своем творчестве говорил неохотно.

...И вот уже последние встречи. Все так же сидит Павел Петрович за столом среди книг и рукописей. Так же седая борода ложится на грудь. Он красив той благородной старческой красотой, какую дает людям честно прожитая большая жизнь.

До последних дней жизни сохранил он интерес к событиям, к людям, к литературе.

КОМСОМОЛЕЦ ДВАДЦАТОГО ГОДА

Конец двадцатых и начало тридцатых годов отмечены у нас на Урале появлением нового типа литератора — писателя-журналиста. Очерк как наиболее мобильное литературное оружие становится господствующим жанром, а газетчик — самой популярной личностью. Характерной фигурой тех лет был Паша Соломеин.

Был он человеком нелегкой судьбы. Деревенский паренек, рано осиротевший, беспризорничал. Потом попал в Шадринскую трудовую коммуну. Побыв в ней некоторое время, вернулся в родную деревню, вступил в комсомол. Потянулся к книге, к газете, стал селькором. В «Крестьянской газете» в то время работал Бажов, которого Паша называл своим учителем. О своей первой встрече с ним он рассказывал так:

«С трепетом переступил я впервые порог редакции «Крестьянской газеты». В углу за большим письменным

столом сидел заведующий отделом крестьянских писем Павел Петрович Бажов. Меня поразил взгляд его больших открытых глаз. От такого взгляда нельзя отвернуться, а глядя в эти глаза, нельзя солгать,— казалось, он видит тебя насквозь.

Неласково встретил меня заведующий отделом крестьянских писем!

— Ах, вот ты какой! — сказал он, внимательно оглядев мою тощую, бледную физиономию, мою потрепанную шинель колониста.— Приехал, наверное, справиться, почему не напечатаны твои заметки? А я вот письмо написал тебе. Хотел сегодня послать. Пишу тебе, что критиковать может только человек с чистой совестью, а хулиганов мы на страницы газеты не пускаем! Почему же ты не написал о том, как бил окна у Ивана Степановича? Как сломал гармошку у Володьки Хромого?

Я почувствовал, что у меня покраснели сначала уши, а потом все лицо. Я даже знал, что написала об этом моя подружка по селькоровскому кружку, секретарь нашей комсомольской ячейки Аннушка Соломеина. Ведь она говорила мне, что напишет, а я не поверил.

— Все это правда, Павел Петрович,— твердо сказал я и взглянул ему в глаза».

Эта встреча явилась переломным моментом в судьбе селькора Павла Соломеина. Бажов увидел в трудном характере деревенского комсомольца черты настоящего газетчика, честного и преданного Советской власти человека. Он устроил его на работу у себя в отделе крестьянских писем, учил и воспитывал его. Из Павла Соломеина вырос способный журналист.

Когда я познакомился с Пашей, внешность его показалась мне несколько странной: карие неулыбчивые глаза, бледное одутловатое лицо. А рассказывал он юмористически о совсем неюмористических вещах. Например, о том, как в 1929 году был мобилизован в счет пяти тысяч коммунистов и получил путевку в коммуну «Красный день» Покровского района. Время было трудное. Начиналась коллективизация. На смелого комсомольца несколько раз устраивали покушения.

— Чудом спасся от смерти,— говорил он и при этом весело улыбался.

«Ну и отчаянный малый»,— подумал я, слушая, с каким беспечным видом повествует он о своих столкновениях с кулаками.

Потом речь зашла о литературе. Оказалось, Паша написал повесть «Пути-дороги». Бажов принял отрывок из нее в сборник «Колхозные огни».

Весть о злодейском убийстве кулаками пионера Павлика Морозова взволновала всех. И первым корреспондентом, отправившимся в далекую и глухую деревню Герасимовку, был Соломеин. Он расследовал все обстоятельства преступления, ходил на место убийства, беседовал с учительницей местной школы, с учениками — друзьями Павлика, наконец, присутствовал на суде над убийцами. В общем, Соломеин собрал большой материал, узнал все подробности этой драматической истории и, вернувшись в Свердловск, по заданию обкома ВЛКСМ сразу же написал повесть о Павлике Морозове, о его геройской жизни и смерти.

Помню, я встретился с ним вскоре после его возвращения из Герасимовки. Он был как динамитом заряжен мыслью о повести.

— Назвал я ее «В кулацком гнезде» и думаю послать прямо Горькому.

— Ты только не торопись.— Я знал его литературные возможности.— Пошлешь Горькому — осрамишься... Пусть материал отлежится, отредактируется.

Но отговорить его от раз принятого решения было совершенно невозможно. Повесть издали в Уралогизе, Соломеин послал экземпляр книги Горькому и вскоре получил от него суровый ответ. Горький упрекал автора в поверхностном и легкомысленном отношении к ответственнейшей теме. Впрочем, посылка книги сыграла и положительную роль: Горький привлек внимание широкой советской общественности к подвигу Павлика Морозова, показав все его политическое значение.

На Соломеина отзыв Горького подействовал как ушат холодной воды. Однако мысль о создании новой книги на том же материале он не оставил.

После Великой Отечественной войны мы встретились с ним уже в Первоуральске, где он работал мастером на Новотрубном заводе. Паша сообщил мне, что начал перерабатывать «В кулацком гнезде». На этот раз он не торопился. Помог ему Олег Коряков, один из самых близких ему людей. Книга вышла в нашем издательстве под новым заглавием «Павка-коммунист». Это была уже литературно отработанная вещь, которая завоевала популярность у юного читателя и потом не раз переиздавалась.

Соломеин прислал мне экземпляр с трогательным посвящением. Можно сказать, что он и вошел в литературу как автор одной книги, но зато такой, которую выносил в своем сердце.

ВЕТЕР МУЖЕСТВА

Удивительное это было время — тридцатые годы! Годы нашей молодости, поисков и дерзаний, годы романтики и трудовых подвигов. Ветер мужества звал вперед, и не случайно люди этого поколения первыми ринулись в бой с фашистскими ордами. Многие не вернулись с тысячеверстных фронтов. Одни сложили головы под Москвой, другие в степях Украины, третьи на берегах Волги. Среди тех, кто не вернулся, Владислав Занадворов, самый молодой из литераторов-уральцев, ушедших в огонь Великой Отечественной.

...Помнится уголок в клубе строителей, отгороженный книжными шкафами, кабинет рабочего автора. Заведовал им преподаватель пединститута, добродушный кудрявый толстяк в больших роговых очках. Помощником у него был скромный заикающийся паренек Слава Занадворов. Он учился в геологоразведочном техникуме, работал здесь по совместительству и, видимо, для души, потому что рвения к работе обнаруживал гораздо больше, чем его зав.

Однажды Занадворов обратился ко мне с просьбой прочитать его стихи. Стихи были ученические. Автор еще не овладел формой, элементарной техникой, на что я ему и указал. Последующие стихи оказались значительно лучше. Чувствовалась в них поэтическая жилка, а главное — свое, подлинно личное, что и делает поэта самим собой, а не подражателем. На наших глазах рос и развивался истинный самородный талант.

Из бесед с Занадворовым я узнал, что он мой земляк — уроженец Перми, что, несмотря на молодость, изъездил весь Урал, побывал в Западной Сибири и Казахстане, с шестнадцати лет работая в геологоразведочных партиях. Слава был подлинным сыном своего беспокойного времени. Позднее в автобиографии он писал:

«Это были годы первой пятилетки, когда нас, подростков, властно влекла к себе жизнь, и нам, конечно, не сиделось дома. Потрепанные учебники были закинуты в

угол, а на ноги обуты походные сапоги, и ветер скитаний обжигал щеки».

Ветер скитаний заносил его на Кольский полуостров, за Полярный круг. В Ленинграде Занадворов вступил в литературную группу «Резец» и печатал стихи в одноименном журнале. Как поэт он определился очень рано,— первые стихотворения были опубликованы, когда автору было восемнадцать лет, но уже в 1936 году Занадворов выступает как прозаик. Всех нас приятно удивила вышедшая в Свердлгизе повесть для юношества «Медная гора», рассказы, напечатанные в журнале «Октябрь». Все это были добротно сделанные вещи.

Думается, что раннему литературному созреванию Владислава Занадворова во многом помогла и та обстановка, которая в 30-е годы сложилась в нашей писательской организации. В ней росло сильное поэтическое ядро. Приехал из Златоуста Николай Куштум, из Магнитогорска — Константин Мурзиди и Борис Ручьев, из Челябинска — Константин Реут.

Можно сказать, что большинство писателей-уральцев, теперь уже ставших писателями старшего поколения, начали свою литературную деятельность в 30-е годы. Как правило, они были людьми не литературной профессии: Бондин — рабочий, Дижур — химик, Ликстанов и Маленький — газетчики, Ладейщиков — педагог, Тарханеев — геолог. Никто из них в те годы не был литератором-профессионалом. Таким же остался и Слава Занадворов.

На писательских собраниях он обычно молчал, то ли из скромности, то ли из-за заикания, но внимательно слушал выступления товарищей.

Последние предвоенные годы, после окончания геологического факультета университета, Владислав Занадворов работал в Верх-Нейвинске. В Свердловск теперь он приезжал редко.

Однажды случайно я встретился с ним на Каменном мосту. В руках у него был свернутый в трубку журнал. Увидев меня, он заулыбался:

— Константин Васильевич! П-поздравляю. В «Резце» на Вашу книгу «Песни уральского революционного подполья» напечатана положительная рецензия... Возьмите журнал...

Меня тронула его искренняя радость за успех товарища. Не такое уж это частое явление в нашей литератур-

ной среде. Но Занадворов был весь в этом эпизоде, с его дружеским расположением, открытой душой. Таким он, вероятно, был и под брезентовой палаткой геологоразведчиков, и в студенческой аудитории, и впоследствии на поле боя в подразделении минометчиков.

Трудно и горько писать о тех, кто на заре жизни, в расцвете творческих сил, ушел и не вернулся. Пал в бою под Сталинградом и двадцативосьмилетний Владислав Занадворов, талантливый поэт, любимец пермских и свердловских читателей. Незадолго перед войной в Перми вышел его сборник стихов «Простор» — первый и единственный при жизни. Человек, может быть, самой мирной профессии, геолог Занадворов стал солдатом. Но еще за несколько лет до того, как он стал им, мы читали его стихотворение «Шлем», в котором молодой поэт пророчески писал:

О мать родная! Ведь и мне,
Как брату и отцу,
Не раз испытанный в войне
Придется шлем к лицу!
А коль со знаменем в руках
Меня убьют враги,—
Ты шлем, зашитый в трех местах,
Для сына сбереги.

Когда Отчизна призвала Занадворова выполнить свой долг, он пошел на передний край воином и поэтом. Его фронтовые стихи нельзя читать без волнения. Я не знаю ничего, что бы с такой силой передавало атмосферу боя, накал патриотических чувств и гордую веру в победу, как его «Последнее письмо». Кровью сердца написаны строки, которыми умирающий герой заканчивает письмо любимой:

Я теряю сознанье...
Прощай! Все кончается просто,
Но ты слышишь, родная,
Как дрогнула разом гора?
Это голос орудий
И танков железная поступь,
Это наша победа
Кричит громовое «Ура»!

После войны стихи Владислава Занадворова издавались в Свердловске, Перми, в Москве. Стихи остаются в строю!

В ПОИСКАХ ЖИВОГО СЛОВА

Мне кажется, я давным-давно знаю Владимира Павловича Бирюкова... Человек он оригинальный, и почему-то воспоминания о наших встречах с ним связываются с зимой. Идешь по улице, а навстречу мужчина в легком «семисезонном» пальто, без головного убора, только уши повязаны платочком — это в наши-то уральские морозы!

— Живу по законам природы,— говорит он в ответ на мой изумленный взгляд.

Сам он шадринский. Местность, откуда вышло немало талантливых людей.

В Свердловск Владимир Павлович приезжал тогда часто. Шадринск не мог его обеспечить помещением под музей и архив. Помню, с какой душевной болью рассказывал он о гибели драгоценных архивных материалов, хранившихся в сыром церковном подвале.

— Ведь там были грамоты XVII века!

Зато с какой радостью переехал он в Свердловск, где мог наконец разместить свои краеведческие сокровища.

— Summa summarum [1],— говорил он, указывая на стеллажи, где хранились редкие издания газет и журналов.

Тесновато, правда, было и здесь...

О Бирюкове я узнал первоначально от Бажова.

— Он известный уральский краевед. Со странностями, правда. Кладет в свою «наберуху», что на глаза попадется. Но есть в его куче и жемчужное зерно, да и не одно, пожалуй. А так простой, хороший человек...

Не раз встречался я потом с Бирюковым на конференциях фольклористов. И на каждой конференции Владимир Павлович обязательно брал слово. Выступления его носили всегда сугубо практический характер. То он рассказывал, как нужно вести картотеку, то говорил о методике собирания материала. Было в нем что-то детски наивное. Можно было подумать, что это человек односторонний, целиком ушедший в фольклористику. Но за плечами у него была большая интересная жизнь, огромный житейский опыт.

Как-то он рассказал мне один из эпизодов своей биографии.

---

[1] Окончательный итог (*лат.*).

...Вероятно, это была единственная в своем роде новогодняя проповедь, какую привелось слышать прихожанам церкви села Першино. Хотя бы потому, что начиналась она необычно:

— С Новым годом! С новым счастьем! Прошлый год, несмотря на это доброе пожелание, был несчастлив...

Становой пристав и церковный староста хмуро переглянулись: кровавый 1907 год действительно принес много горя: порки, расстрелы, виселицы, тысячи брошенных в тюрьмы и угнанных в ссылку, на каторгу.

— В чем же истинное счастье, братья и сестры? — с увлечением продолжал с амвона кудрявый юноша в одежде семинариста.

И выходило по его словам, что царство божие на земле осуществится тогда, когда не будет ни богатых, ни бедных, когда все будут трудиться, а земля станет общим достоянием. При этом молодой человек ссылался на евангелиста Луку, на Иоанна Златоуста. Все вроде бы по священному писанию и в то же время явно крамольно. Становой видел, что крестьяне слушают семинариста с величайшим вниманием, и это больше всего убеждало его в том, что сегодняшняя проповедь не что иное, как восхваление социалистических идей. В тот же вечер становой написал в Пермское жандармское управление донос на сына дьячка семинариста Владимира Бирюкова, а заодно и на настоятеля першинской церкви, разрешившего семинаристу произнести эту проповедь.

Началось следствие, но духовные власти, соперничавшие с светскими в «уловлении душ», решили не выносить сор из избы и дело замяли. Семинарское начальство не знало, что Владимир Бирюков печатал на гектографе и распространял подпольный журнал «Наши думы». Узнай оно это — на защиту надеяться было бы нечего, пришлось бы распроститься с духовной семинарией, так и не закончив последнего курса, посидеть в тюрьме и по большому Сибирскому тракту отправиться в места не столь отдаленные. То было время столыпинской реакции.

Владимир Бирюков не пошел по окончании семинарии в священники. В университет дорогу закрыл императорский указ, решил поступать в Казанский ветеринарный институт, куда выпускников семинарии принимали, так как не больно много было желающих стать ветеринарами.

Есть такая русская пословица: «Где родился, тут и

сгодился». В родное Першино Владимир Павлович приехал молодым ветеринаром с женой Ларисой Николаевной, верным другом и помощником во всех начинаниях. А начинаний было немало. Так, еще в 1910 году он организовал в Першине первый в Зауралье сельский краеведческий музей. По тем временам явление исключительное. Сколько потребовалось энергии, упорства, знаний, чтобы такое начинание провести в жизнь.

Интерес к коллекционированию пробудился у Бирюкова еще в раннем детстве. Началось с собирания старинных монет. «Неходячих» медяков в деревне было много, и крестьяне всячески старались от них избавиться. Так попадали они и к дьячку, а тот отдавал сыну. И так как за всякое дело сын брался с увлечением, то получилась со временем солидная нумизматическая коллекция. Впоследствии музейная работа приобрела у Владимира Павловича и научную основу: он закончил Московский археологический институт.

Но главной его страстью, определившей весь жизненный путь, был фольклор. Увлечение это также зародилось еще в детстве. Отцовский дом был местом, куда прихожане шли за советом и помощью, рассказывали о своем горьком житье-бытье. Дети слушали бывальщины и сказки, пробуждавшие любовь к живому народному слову. Но одно дело было слушать, другое — собирать, записывать. На это натолкнула книжка о говоре одного села. Сразу пришла мысль: «Раз напечатали, значит, нужно». Владимир Павлович стал записывать народные слова и выражения, почти всегда характерные и меткие. Как-то услышал: спрашивает земляк земляка, сможет ли он выпить четверть водки.

— Сразу — нет, а впросяд могу.

Интересное слово «впросяд», что значит «медленно, с перерывами», тотчас попало в блокнот. Начал с родного села, потом в орбиту поисков попал уже весь Шадринский уезд, а так как Владимир Павлович по характеру работы объездил и исходил всю губернию, то круг наблюдений еще более расширился.

Знатоки высоко ценят изданную в 1953 году книгу Бирюкова «Урал в его живом слове». Но первый составленный им сборник «Дореволюционный фольклор на Урале» вышел еще в 1936 году. Редактировала ее Блинова, редактор придирчивый и недоверчивый к местным авторам.

— Почему у вас, на индустриальном Урале, нет рабочего фольклора?

— Я человек деревенский и собираю материал у крестьян...— ответил Бирюков.

На выручку пришел Бажов. С ним Владимира Павловича связывало давнее знакомство. Сдружила же их общая любовь к живому народному слову, к народному творчеству.

— Как же нет рабочего фольклора на Урале? — возмутился Бажов и предложил в сборник три сказа — о Хозяйке Медной горы, о девке Азовке и о великом Полозе.

Так впервые уральский читатель познакомился с творчеством ставшего вскоре знаменитым автора сказов. Бажов, кстати, и заканчивал редактирование сборника Бирюкова.

«Дореволюционный фольклор на Урале» не только открыл многим сокровищницу уральской народной поэзии, но вдохновил и самого автора на дальнейшие поиски. Появилась новая книга «Поэты второй половины XIX века», и в ней новые открытия — забытые и полузабытые имена наших земляков-литераторов.

Очень интересна книга «Записки уральского краеведа», восьмая по счету книга Бирюкова, вышедшая в 1964 году. В ней автор делится своим полувековым опытом краеведческой работы.

Сколько за это время было интересных знакомств! Вспоминает Владимир Павлович встречу со своим земляком художником и скульптором Иваном Шадром. Произошла она в Московском археологическом институте.

— Шадр к тому времени уже и за границей побывал, в мастерской Родена. Почему он попал в археологический институт, я не знаю. Вообще это была увлекающаяся натура. В институте он пробыл недолго. Я же был свидетелем его изгнания. Уволили за карикатуру на одну уважаемую персону. А потом пришла громкая слава... Знал я и тех, с кого он писал свои портреты... Талантливый человек! Умер в расцвете творческих сил.

В Москве же встречался Владимир Павлович с писателем Лидиным, с профессором Юрием Матвеевичем Соколовым — крупнейшим ученым-фольклористом. Но главным делом его жизни было собирание уральского фольклора, «где родился, там сгодился».

В предисловии к сборнику «Урал в его живом слове» Владимир Павлович высказал свою заветную мысль:

«Писатель, собравши материал, как-то по-своему перерабатывает его, домышляет и прочее. Не то в нашем деле. Здесь требуется прежде всего: точность записи, умение отобрать ценное и надлежаще изучить его, а потом уже давать читателю. Выходит, что это — работа ответственного секретаря. Да, собиратель устного творчества и материалов по народному языку — именно «Ответственный секретарь народа». Какое высокое звание!

Это высокое звание Владимир Павлович Бирюков оправдал десятилетиями подвижнического труда. В живом народном слове, собранном в бирюковской «копилке», перед нами встает история Урала, история труда и борьбы поколений уральцев.

РЕДАКТОР — ДРУГ

Банковский переулок, 3. Унылое кирпичное здание — бывший склад. Здесь в 30-е годы помещалось Уральское областное государственное издательство (УралОГИЗ). По этому адресу я был вызван однажды зимой 1932 года для переговоров. Вызов подписала К. Рождественская — новый редактор издательства. Мы еще не были знакомы.

Поднимаюсь на второй этаж. В большой полутемной комнате с низким потолком несколько столов — тут все отделы. За одним столом молодая женщина с лицом несколько нерусского типа, с подстриженными черными волосами, с внимательным взглядом серых глаз — Клавдия Васильевна Рождественская.

Она заведовала вновь организованным отделом детской литературы. Задумала издать книгу избранных рассказов Мамина-Сибиряка и попросила меня написать предисловие к ней. Я согласился и довольно быстро написал несколько страничек. Принес, показываю, думая, что сказал в предисловии все, что нужно. Клавдия Васильевна, прочитав, посмотрела на меня долгим взглядом.

— Не пойдет.

Указала, что и почему ее не устраивает, что, по ее мнению, следует добавить и что убрать.

Переделал, приношу и снова слышу нерадостное заключение:

— А не лучше ли вот так?

Приходим к соглашению, что так действительно будет лучше. Сажусь, пишу все заново, приношу в третий раз и снова выслушиваю замечания, правда, теперь уже требующие лишь незначительной доработки, но все же... Начинаю злиться на себя, на редактора, на те несколько страничек, которые я переписываю четвертый раз. Однако сажусь, пишу, отношу в издательство. Клавдия Васильевна читает и, улыбаясь, говорит:

— Вот теперь получилось.

Эта книжка с моим предисловием была переиздана потом в Казани на татарском языке. Она впервые знакомила татарских читателей с творчеством «певца Урала».

Не все понимали (каюсь, и я в том числе), что высокая требовательность — это и есть лучшая помощь начинающему литератору в его дальнейшем многотрудном пути. Немало в то время печаталось вещей конъюнктурных — автор брал горячую тему, а писал наспех, халтурил... Как тогда нужен был строгий, знающий, авторитетный редактор! А с редакторскими кадрами в Уральском издательстве обстояло плохо. Попадались среди них люди случайные и просто невежественные. Помню, как один из них не на шутку испугался, когда я в книге о Мамине-Сибиряке назвал его писателем-демократом.

— Знаете, политически это сегодня звучит очень двусмысленно. Вдруг читатель подумает, что Мамин-Сибиряк был социал-демократом...

Пришлось прибегнуть к авторитету ленинских статей.

Положение изменилось, когда за редакторский стол сели писатели — Бажов, Ладейщиков, Попова. Но особо хочется сказать о редакторской работе Рождественской. Она и сама в то время начинала свой путь прозаика. Сама творчески росла, но прежде всего помогала росту других.

Шестнадцать лет она проработала в Свердловске, сначала редактором детской и художественной литературы, потом главным редактором.

В 1949 году переехала в Пермь и здесь возглавила литературную организацию.

В литературном движении Урала Рождественская сыграла крупную роль. Соединяя требовательность с чуткостью, широкий круг знаний с тонким художественным вкусом, она с любовью, терпеливо работала над рукописью, если видела в ней какое-то зернышко. Многим обязаны ей как редактору Бондин, Панов, Попова, Ста-

риков, Рябинин. Да пожалуй, каждый из нас, писателей старшего поколения.

По-настоящему помогла она стать писательницей Клавдии Филипповой, редактируя ее книги «В гимназии» и «Между людьми». Она «открыла» в Перми А. Н. Спешилова с повестью «Бурлаки» и Е. Ф. Трутневу с ее чудесными стихами для детей. По инициативе Рождественской начал издаваться в Свердловске детский альманах «Боевые ребята».

В сущности, Клавдия Васильевна стала организатором детской литературы на Урале. А создавать ее практически приходилось на пустом месте. «Взрослые» писатели считали для себя чуть ли не зазорным писать для детей, молодые не имели навыка.

Клавдия Васильевна не растерялась. К тому же у ней был опыт работы с детской и юношеской литературой в Гослитиздате (Ленинград). Она проявила решительность и смелость, привлекая в литературу бывалых людей, и не помышлявших о писательстве. Ободряла их, практически помогала сделать вещь. В результате появились хорошие, нужные книги для детей (да и для взрослых), такие, как «Записки горнорабочего» П. П. Ермакова, старого большевика, участника гражданской войны, «Яблочный пир» садовода-мичуринца Д. И. Казанцева, книжки о маленьких рыбаках Ю. Цехановича, сотрудника краеведческого музея, «Мои друзья» Б. Рябинина.

Рождественская расшевелила и старых писателей. Она вдохновила Бондина написать для детей повесть о своем детстве «Моя школа». По ее же совету Бажов написал повесть «Зеленая кобылка», тоже для детей.

Вскоре к отряду детских писателей примкнул старый геолог Ф. К. Тарханеев. Так в литературной организации Свердловска вырос внушительный отряд детских писателей. Родилась даже секция детских писателей, руководить которой было поручено Б. Рябинину.

В своей последней книге «За круглым столом» — отличном руководстве для редактора, для писателя (и не только начинающего) — Клавдия Васильевна писала: «Редактор-организатор может оказать заметное воздействие на литературное движение в области — убыстрить и расширить его ход и до известной степени повлиять на его общее направление. Надо только действовать совместно с писательской организацией».

Эти слова, несомненно, подытоживали ее собственный

опыт. Еще не будучи членом Союза писателей, она принимала живейшее участие в работе Свердловской писательской организации. Запомнились ее выступления по вопросам теории литературы, ее статьи на литературоведческие темы, ее исследовательские работы о Чупине, об ученом-математике Первушине. Весом ее вклад и в дело собирания уральского фольклора.

С глубоким уважением отзывался о Рождественской Алексей Петрович Бондин (Клавдия Васильевна редактировала все его крупные произведения). При ее непосредственном участии вышли в Свердловске пятитомник избранных произведений Мамина-Сибиряка и пять сборников «Литературного наследства Урала».

Писатели видели в Рождественской умного организатора литературного процесса и, главное, редактора-друга.

Правда, кое с чем можно было и поспорить.

Мне пришлось вместе с ней работать над одной рукописью. Когда я старался сохранить текст автора во всей неприкосновенности, Клавдия Васильевна категорически возражала:

— Правьте все, что нуждается в правке.

И после моей правки еще раз правила текст. Вообще она довольно решительно вмешивалась в творческий процесс, нередко становясь как бы соавтором. Конечно, делалось это с добрым намерением, но не всем это нравилось.

«Клавдия Васильевна слишком деспотичный редактор»,— говорили одни. Другие жаловались: «Она помогает только новичкам».

Когда была напечатана моя повесть «Человек без имени», я послал ее в Пермь Рождественской. Клавдия Васильевна по-товарищески и по-редакторски указала мне на положительные стороны и промахи моей книги. За строками письма я увидел всегдашнюю ее заботу о литературе, об интересах читателя.

Вскоре мы встретились в Свердловске на межобластной писательской конференции. Я давно не виделся с Клавдией Васильевной. Показалась она мне сильно постаревшей. Поседела голова. Говорить стала еще медленней, чем всегда. Разумеется, я стал спрашивать о наших общих знакомых — пермяках. Спросил между прочим о М., старом моем приятеле, который в последних письмах жаловался мне и на местное отделение Союза, и на издательство.

— Жаль его, конечно,— ответила Клавдия Васильевна,— но ведь на себя он не жалуется. Не хватает ему культуры, не понимает, что писать так, как писали в двадцатых и тридцатых годах, уже нельзя.

Чувствовалось, что ей действительно жаль писателя, что она обеспокоена его дальнейшей судьбой. И мне вспомнились заключительные строки ее записок редактора:

«Вот еще подходят новые, художественно одаренные люди. Каждый со своим опытом переживаний... Им хочется сказать свое толковое слово о жизни. Ничего, что эти люди еще не овладели литературной техникой. Было бы желание да упорство в достижении цели. Придут с годами и зрелость и необходимое мастерство».

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Однажды летом 1934 года зашел я по делам в наше книжное издательство. Все редакторы помещались в одной большой комнате. Я беседовал с одним из них, а у соседнего стола сидел незнакомый товарищ и тоже вел разговор по поводу своей рукописи. Выговор у него был явно не уральский, скорее украинский. Точеный профиль, узкий разрез глаз, энергичная складка рта. Красивое мужественное лицо. На вид ему было лет тридцать.

Вышли мы с ним вместе и разговорились. Товарищ, оказывается, приехал сюда из Новороссийска, хорошо знал Мурзиди и Куштума. Устроился пока на работу в одном хозяйственном учреждении. Рассказывал он о себе охотно и откровенно. Сказал, что жил в Сибири и на Дальнем Востоке. Побывал в тех же местах, где и я. Нашлись даже общие знакомые. Узнал я, что он выпустил в Ростове-на-Дону книжку очерков «Родная земля», работает сейчас над романом. В общем произвел он на меня очень хорошее впечатление.

Так началось мое знакомство и дружба с Александром Федоровичем Савчуком.

В Свердловске он как-то быстро акклиматизировался, будто всю жизнь прожил на Урале. Простой и общительный, он сразу завел широкий круг знакомых, а в писательской среде его приняли как родного. Общее признание он завоевал своим романом «Так начиналась жизнь».

Книга эта неоднократно переиздавалась и в сокращенном виде была переведена на французский язык. Рассказывала она о революции и гражданской войне, о первых комсомольцах. Главный герой — сын паровозного машиниста Саша Яхно — проходит тот же путь, что и его литературный брат Павка Корчагин.

Как-то у себя на квартире Савчук показал мне пожелтевший от времени фотоснимок, где в группе юношей с винтовками стоял высокий худощавый паренек, гордо глядевший в объектив.

— Это Саша Яхно с друзьями?

— Да, это я с отрядом нижнеудинских комсомольцев. Отправляемся на семеновский фронт.

Роман был автобиографичным. Именно потому так отчетливо запечатлелись исторические события, куски жизни и быта тех незабываемых лет. Тяжелое детство, первая мировая война, эвакуация сначала на Украину, потом в Сибирь, чехословацкий мятеж, колчаковщина, партизаны, дальневосточный фронт... «Штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни» были для Савчука не только словами песни, а частью биографии. Под Волочаевкой Савчук был ранен. Потом служил в органах ЧК. Везде и всюду на переднем крае.

Все это вошло в книгу. Читали «Так начиналась жизнь», а вспоминали «Как закалялась сталь».

— Эх, напрасно ты, Саша, не поторопился,— говорили ему друзья,— была бы у твоей книги иная судьба.

Савчук сердился.

— А почему нельзя писать на одну тему? Такие характеры, как Корчагин и Яхно, рождала эпоха.

Впрочем, на судьбу своей книги ему жаловаться не приходилось. Она завоевала популярность в широких читательских массах, и прежде всего у молодежи. Жаль, что до сих пор эта вещь не экранизирована.

В 1938 году Александр Федорович стал руководителем нашей писательской организации. Через два года его избирают депутатом Свердловского городского Совета. Он был первым из свердловских писателей, удостоенным такого доверия.

Дом литературы и искусств при Савчуке полностью оправдывал свое назначение. Здесь выступал каждый приезжавший в Свердловск деятель искусств. Дал концерт композитор Глиэр, выступали заслуженная актриса Корчагина-Александровская, поэт В. Каменский. Тогда

6 Заказ 133

же начал создаваться литературный музей имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, прошла первая Маминская научная конференция.

В каждое дело Савчук вносил «живинку». Всегда лучащийся простотой и добродушием, он был, однако, вспыльчив и самолюбив. Фальшь и неискренность приводили его в бешенство. В этих случаях он, что называется, рубил с плеча.

Когда С. Корольков инсценировал и поставил в театре юного зрителя «Малахитовую шкатулку», не упомянув даже имени Бажова, Савчук буквально рассвирепел, созвал правление.

— Это гнусный плагиат! Какую нужно иметь наглость, чтобы присвоить себе чужое произведение? Гнать за это надо из организации,— гремел он.

Корольков бледнел и что-то бормотал в свое оправдание. Вскоре он навсегда уехал из Свердловска.

Зимой 1940 года, в разгар финской кампании, возникла мысль создать добровольческий лыжный батальон. Конечно, первым заявление подал сам Александр Федорович, но ему заявление вернули, сказав, что заменить его на посту руководителя писательской организации некем. Из остальных писателей откликнулись самые молодые. Все восхищались их патриотическим поступком. Но жена одного из этих литераторов, узнав о заявлении мужа, явилась к Савчуку и закатила истерику.

— Вы знаете, что у него больное сердце. Его даже в армию не взяли. Верните его заявление.

Савчук побелел от ярости.

— Возьмите его заявление. А с вами я не хочу больше разговаривать!

Летом сорокового года мы отдыхали на писательской даче в Шарташе. Каждый был занят творческой работой. Савчук писал роман «Крушение». Произведение обещало быть интересным. Действие романа развертывалось в годы гражданской войны на Кубани.

Савчук читал нам отдельные сцены, они написаны были мастерски. Работал он систематически. Бывало проснешься чуть свет, а на соседнем балконе уже сидит Савчук, пишет.

— Что ты, Саша, поднимаешься в такую рань?

— А знаешь, по утрам хорошо работается... Да и восход чудесный... Так бы и вставил в роман.

Увы, не все выходит так, как хочется...

— С «Крушением»,— говорили остряки,— Савчук потерпел крушение.

Вмешались «привходящие обстоятельства». Кто-то решил, что в тогдашней сложной международной обстановке публикация романа, где описывалась, в частности, немецкая интервенция 1918 года, «не ко времени». Из-за этого автор поссорился с редактором К. В. Рождественской, хотя она была ни при чем. Роман так и остался незаконченным...

Зима 1940/41 года была на редкость лютая. Стояли сорокаградусные морозы. Однажды поздно вечером послышался знакомый стук и голос:

— Пустите драматурга!

Оказалось, Савчук принес рукопись пьесы «Семья Гончаровых». Он был радостно взволнован, как человек, успешно закончивший работу, и, конечно, ему хотелось поскорее выслушать приговор друзей.

— Читай, Саша,— сказали мы с женой, предварительно отогрев его стопкой водки.

Хотя пьеса и называлась «Семья Гончаровых», в ней ясно проступали черты семьи Яхно из романа «Так начиналась жизнь». Деспотичный отец, мать — мещанка, сын — коммунист. Начинается гражданская война и вносит раскол в семью. Сын уходит сражаться за советскую правду. Наиболее драматичной была сцена, где отец слишком поздно прозревает и видит свою неправоту.

Александр Федорович кончил читать и окинул нас взором победителя, но моя жена огорчила его:

— Да ведь это же «Дети Ванюшина»!

Савчук нахмурился.

— Нет, у меня совсем другое.

И он был прав: у Найденова морально-бытовая драма, у Савчука на первый план выступал социальный конфликт. Посоветовали автору предложить пьесу драмтеатру, что он и сделал незамедлительно. Однако театр почему-то не заинтересовался «Семьей Гончаровых», она так и не увидела сцены. А жаль!

Наступил грозный 1941 год. В конце лета я снова встретил Савчука, уже в военной форме:

— Мобилизовали?

— Нет, добровольцем пошел. Политрук роты народного ополчения. Скоро едем на фронт.

Вспомнилась пожелтевшая фотокарточка, с которой гордо и радостно смотрел на меня доброволец нижне-

удинского комсомольского отряда Александр Савчук. И через двадцать лет он остался таким же отважным патриотом.

В октябре сорок первого в Свердловск приезжал А. А. Фадеев. По-военному подтянутый, уже побывавший на фронте. Говорил с нами о задачах, стоящих перед писателями в столь ответственный для Родины момент, о создании произведений, достойных героев фронта и тыла. Кто-то из свердловчан выразил сомнение в наших творческих возможностях.

Фадеев возмутился:

— Как вам не стыдно, товарищи! У вас есть такие талантливые писатели, как Бажов, Савчук...

А Савчук уже воевал и, как выяснилось, не расставался с пером и блокнотом.

Наступила зима 1942/43 года. Суровы, голодны и холодны были эти военные зимы. У репродукторов собирались толпы, жадно слушавшие очередную сводку Совинформбюро. Каждая из них теперь согревала душу: шли последние решающие бои в районе Сталинграда; армия Паулюса агонизировала в железном кольце советских войск.

Однажды, когда я вот так же слушал на улице сводку, сзади кто-то осторожно взял меня под руку. Оглянулся — Савчук. Весь какой-то праздничный, помолодевший. Обрадовались, конечно, друг другу необычайно.

— Ты, Саша, как здесь?

— На побывку.

Как всегда при таких встречах, разговор шел по ломаной кривой, но одно мне запомнилось:

— Обязательно напишу книгу о войне, о наших солдатах... Ты не представляешь себе, какие на фронте встречаются великолепные люди, какие характеры!..

Не знал я, что это наша последняя встреча.

В одном из писем жене он так говорил о своих фронтовых впечатлениях:

«Когда нужно писать о героизме русского воина, надо его видеть в окопе, в дзоте, в засаде и в бою. И я обязан идти к нему, если хочу быть честным и правдивым перед читателем. Если бы ты знала, как здесь раскрываются чудесные стороны души нашего народа. Сколько благородства, чистоты, преданности и самопожертвования во

имя победы! Что бы ни случилось, но такой народ победить нельзя».

Его фронтовые рассказы — прекрасная иллюстрация к этим словам. Один из них называется «Большое сердце» — рассказ о воинской дружбе и самопожертвовании. Человеком с большим сердцем был и сам Александр Савчук, верный сын Родины, отдавший ей и свой яркий душевный талант и свою жизнь.

В. Стариков

СЛОВО О ТОВАРИЩАХ

Хотя Свердловск сейчас новыми каменными кварталами жилых домов вплотную приблизился к озеру Шарташ, когда-то огражденному от города плотным сосновым заслоном, оно еще сохранило чистоту воды, зеленую густоту прибрежных приветливых рощ, ощущение простора и покоя. Полоса дачных построек, окруженных цветниками и ягодниками, с обилием берез и дуплистых тополей, далеко тянется по берегу, смыкаясь с домами старинного кержацкого села Шарташ. В центре дачного поселка, в некотором отдалении от берега, и по сей день стоит красивый двухэтажный просторный дом, окруженный со всех сторон высокими густокронными березами, заглядывающими ветками в окна верхнего этажа.

В предвоенные тридцатые годы этот дачный дом был известен всем живущим в Шарташе как писательский. Каждое лето, едва только кончалась неустойчивая уральская весна, его до глубокой осени занимали прозаики, поэты, критики. Свердловский коллектив литераторов в ту пору был невелик, и в Шарташе практически могли поселиться для работы и отдыха почти все желающие. Холостякам предоставлялись самые маленькие комнаты, семейным попросторнее.

Внизу помещалась большая столовая. Во всю длину ее тянулся обеденный стол, вдоль одной из стен — громадный, внушительный старинный буфет, хранивший обеденную и чайную посуду, столовые приборы, скатерти, полотенца. Здесь завтракали, обедали и ужинали. Завтраки проходили быстро: большинство тотчас расходилось по комнатам для работы. Вечерами же после ужина засиживались, столовая и примыкающая к ней просторная веранда превращались в литературный и дискуссионный клуб. Жаркие споры, баталии, просто импровизированные литературные вечера, когда читались новые стихи, рассказы, прозаические отрывки, затягивались до самого позднего послеполуночного часа.

Шарташские летние дни всех нас очень сближали. Мы лучше узнавали друг друга, входили в курс творческих планов, становились как бы соучастниками литературной

работы каждого. Как жаль, что перестала существовать эта писательская дача и литераторы Свердловска теперь общаются лишь на собраниях, где не может быть былой раскованной обстановки, не регламентированной повесткой дня, узким кругом вопросов.

Тридцатые далекие годы... Время первых размашистых пятилеток, первых больших новостроек... Страна покрывалась строительными лесами. Чуть не каждый день вступали в действие новые домны, мартены, гремела Магнитка, строились Березники, Челябинский тракторный, цехи Новотагильского металлургического завода, в Первоуральске начинали прокатывать трубы высшего качества. Чувство личной сопричастности к индустриальной поступи страны являлось тем эмоциональным зарядом, который помогал созданию литературы, нужной читателю. Не ошибусь, если скажу, что две главные темы определяли тогда творчество самой активной части литераторов: ломка в сознании людей, тех, кто еще вчера ничего не знал, кроме собственного крестьянского хозяйства, личных интересов, а теперь становился сознательным строителем социализма, и осознание исторической важности пути, пройденного народом за годы Советской власти.

О традициях, влияниях, о сущности молодой советской литературы и разгорались споры в Шарташе. Особенно непримиримым был в своих, зачастую крайних, позициях, порой доходивший до сухих и упрощенных схем, главный «теоретический» спорщик — удивительно душевный и мягкий характером Андрей Ладейщиков. Но чем непримиримее становился он в спорах, тем более яростно наступали на него другие.

Особенно оживленными наши вечера становились, когда сходились поэты. Центром притяжения для них был лирик Коля Куштум, по житейской скромности и холостяцкому состоянию занимавший самую крохотную комнатушку под крышей, в которой умещались только кровать и шаткий трехногий столик. Его постоянными гостями, а следовательно и нашими, чаще всего бывали Костя Мурзиди, хрупкий, темный лицом, не так давно сменивший солнечный Новороссийск на индустриальный Урал и уже ставший патриотом края; Борис Ручьев, наезжавший из Магнитки, влюбленный в свой железный город, своих рабочих парней; Владислав Занадворов, высокий, с одухотворенным лицом, писавший возвышенные, полные романтики стихи, овеянные, казалось, ветрами

дальних странствий; Константин Реут, работавший в промышленном отделе «Уральского рабочего», громогласный, такой же, как и в своих кованых стихах.

Прозаики по возрасту были несколько старше поэтов, с бо́льшим жизненным опытом, и поэтому посматривали на «мастеров рифмы» несколько снисходительно. К тому же поэты, населявшие дачу и приезжие, свои произведения пока видели только в разных периодических изданиях, а прозаики уже являлись авторами заметных книг, имевших бо́льшую или ме́ньшую популярность у читателей. Из поэтов только у Куштума в писательском активе имелись три стихотворных сборника. Последний, с самыми певучими стихами, назывался «Лесная родина». Но он был, о чем многие сожалели, последовательным лириком. Свернуть Куштума на промышленные оды никак не удавалось.

Три писательские фигуры встают в памяти крупным планом: И. С. Панов, О. И. Маркова и А. Ф. Савчук.

У Ивана Степановича Панова, самого старшего по возрасту, был опубликован большой интересный роман «Урман», его первая часть. На Шарташе он работал над второй книгой. Был Иван Степанович невысок ростом, весь какой-то подбористый, подтянутый, внутренне по-партийному целеустремленный, смотревший на все как бы шире и глубже других. С увлечением рассказывал он о своих многодневных скитаниях по самым глухим уголкам Приобья, по тем местам, которыми теперь завладели нефтяники и газовики Тюмени.

Ольга Ивановна Маркова получала отовсюду многочисленные взволнованные читательские письма на свою первую книгу «Варвара Потехина». Красивая, стройная, с длинными черными волосами, которые она то заплетала в косы до пят, то укладывала короной на голове, она была из семьи коренных уральских рабочих. В разговорах, сильно окая, употребляла массу уральских словечек, поговорок. Обладала тонким музыкальным слухом, знала множество народных песен, любила их. Поэтому охотно отзывалась на просьбы спеть. В часы горячих споров Ольга Ивановна скромно сидела в сторонке, не вмешиваясь, но внимательно прислушиваясь, поблескивая загадочными глазами.

Позднее всех являлся к завтраку Александр Федорович Савчук. Автор романа «Так начиналась жизнь», он в ту пору писал новую большую книгу — о последних днях белогвардейщины на Северном Кавказе. Его роман «Так

начиналась жизнь» к тому времени выдержал три издания и главами публиковался во Франции.

Там, на Шарташе, и произошло наше сближение с Сашей Савчуком.

Он был старше меня всего на пять лет, но принадлежал, условно говоря, к другому поколению, тому, которое приняло участие в гражданской войне, защищая с оружием в руках революцию, необыкновенно быстро взрослея. В ту пору ему было пятнадцать лет. Позже, во время Великой Отечественной, я видел много парнишек, которые прямо со школьной скамьи, пройдя сквозь огонь, теряя своих товарищей, становились настоящими солдатами, забывая о возрасте. Суровая школа! Вот к такой суровой школе времен гражданской войны принадлежал Александр Савчук.

Помню один из летних вечеров, когда мы, уйдя далеко по берегу Шарташа, говорили о его романе «Так начиналась жизнь». Он вспоминал свое трудное детство.

— Порой не верится,— говорил Савчук,— что все это было со мной. Ведь родился в Варшаве, а где прошли детство и юность — даже трудно сказать. Через всю Россию проехали, и оказался на Дальнем Востоке. Потом обратный путь. На Кубани в станице работал заведующим библиотекой. Почти пять лет прожил в Новороссийске. Работал на цементном заводе. Был свидетелем, как трудно восстанавливались после разрухи цементные заводы. Те самые, о которых Федор Гладков написал роман «Цемент». Представляешь, сколько всего навидался в жизни, сколько интересных людей прошло за это время рядом.

Помолчав, он продолжал:

— Вообще время наше необыкновенное. Такие сдвиги происходят! Каждое мгновение хочется запечатлеть на бумаге. Ведь я почему начал писать? Судьба моя — судьба многих таких же ребят. Вот и захотелось рассказать, как начиналась наша жизнь. Может, правильнее было назвать роман — «Так начиналась наша жизнь»... В Новороссийске, в станицах я наслышался рассказов от очевидцев, как там шла гражданская война, как громили белогвардейцев, казачьих атаманов. О том времени на юге почти нет книг, разве только Алексей Толстой написал. А ведь там произошло крушение всех надежд белогвардейщины. Кончился их поход на Москву тем, что самих сбросили в Черное море. Вот и пишу «Крушение», ни о чем другом сейчас думать не могу.

У него было много и других творческих замыслов, писал пьесу «Семья Гончаровых», думал о повестях и рассказах. Но главное, самое важное — роман. О нем мог говорить часами. Помню, что несколько вечеров мы слушали главы из этого романа, сцены отступления белогвардейских частей через Кубань. Главы нам нравились. В них чувствовался размах повествования, широта замысла. К сожалению, вещь осталась незавершенной. Помешала начавшаяся Великая Отечественная война.

Как-то мы вместе с Савчуком поехали в Нижний Тагил. Саша ехал на встречу с читателями, я — по делам газеты «Известия», которую в те годы представлял на Урале.

Помню: приземистое здание барачного типа, украшенное у входа яркими плакатами. В нем помещался временный клуб металлургов Новотагильского завода. Парни и девушки пришли на встречу из цехов, со строительных площадок, не успев переодеться, в спецовках, стеганках, валенках. Рукавицы торчали из карманов. Девушки кутались в платки, парни сидели в шапках. В читальном зале окна затянуло морозным узором, у людей шел пар изо рта.

После короткого вступительного слова Савчука начался разговор о его романе.

Александр Федорович сидел за столом, подперев руками голову, внимательно слушал выступающих. Ему в ту пору было далеко за тридцать; широкоплечий, крупноголовый, с сильными залысинами. Для выступающих же он был молодым парнем героических двадцатых годов, из племени первых комсомольцев. Поэтому в зале сразу установился особый контакт, когда разговор идет свободно, раскованно.

Парни и девушки говорили о Сашке Яхно, герое романа, как о своем сверстнике, близком им по духу. Писателю вменяли в вину, что он оборвал свой роман, ограничив его военными годами; читателям хотелось видеть героя в мирных условиях, примерно в таких, в каких находились они сейчас, строителем и работником нового времени.

Ночью, в поезде, возвращаясь в Свердловск, мы делились впечатлениями от этой встречи с рабочими ребятами Нижнего Тагила.

— Совсем другие, чем в мое время,— говорил Савчук.— В них куда больше социальной зрелости, ясного

понимания значения личности в обществе. Какая требовательность друг к другу! Какое понимание рабочего долга! Помнишь того рыженького из прокатного? Как он сказал хорошо: «Коммунизм — это дело каждого человека. Если я сделал сегодня что-то плохо, то я нанес ущерб государству, создал для него дополнительную помеху, дополнительную трудность».

Савчук был взволнован встречей с читателями своего романа.

...Воскресенье 22 июня 1941 года, такое ясное, сверкающее, мы встретили на Шарташе. С утра купались, за завтраком сговорились, что вечером будем принимать гостей — актеров Свердловского драматического театра, которые хотели познакомить нас с концертной программой из произведений уральских писателей.

В полдень узнали о разбойничьем нападении фашистской Германии.

Вечером писатели собрались в своей комнате в Доме работников литературы и искусства на Пушкинской улице. Помню темное, словно разом постаревшее лицо Павла Петровича Бажова. Может, он больше других понимал, какой тяжелой будет эта война. Он чувствовал себя угнетенным еще и потому, что по возрасту не мог быть в армии.

Шел разговор о месте писателя в эти тяжелые дни. Кое-кто уже успел побывать в военкомате, где всех стереотипно просили пока обождать с заявлениями об отправке на фронт.

Так оборвалась дачная жизнь на Шарташе, оборвалась мирная жизнь.

Писатели, оставив свои рукописи, уходили на фронт. Обрывались многие связи.

О смерти Александра Савчука я узнал на Брянском фронте из письма Константина Мурзиди. Позже узнал, что за участие в боях с немецкими захватчиками Савчук был награжден медалью «За боевые заслуги».

На войне Александр Савчук пробыл недолго. Старый комсомолец, участник гражданской войны, он был из числа тех фронтовых журналистов, которые старались быть как можно ближе к бойцам, разделяя с ними все тяготы фронтового быта, подвергаясь тем же смертельным опасностям, что и солдаты. В этом было понимание высокого долга писателя-журналиста на войне. Это придавало такую достоверность всему, что они писали.

Савчук успел написать всего несколько военных рассказов, в которых были схвачены типические черты советского воина. Печатью талантливости отмечены такие его вещи, как «Большое сердце», «Розовый конверт» и другие. Недаром рассказ «Большое сердце» был напечатан в журнале «Советский воин», входит во все сборники Александра Савчука.

У вдовы писателя сохранились письма, которые она получала с фронта. В них Савчук писал о людях, с которыми встречался на войне, о их храбрости в боях. «Если бы ты знала, какие замечательные люди сидят в траншеях и ходят в бой. Как все это они делают спокойно, просто, с ясным сознанием своего долга перед Родиной. Был большой и тяжелый бой, но никто не дрогнул, никто не струсил и не подумал о своей шкуре».

Эти письма им писались в самые тяжелые дни боев на Калининском фронте (Савчук был там корреспондентом газеты «Сын Родины»).

Какие точные и весомые слова нашел писатель для выражения своих чувств!

Последнее письмо Александра Савчука к жене датировано 9 марта 1943 года.

«Трудное дело война. Восемь дней ходил я в промокшей одежде и промокших сапогах. Восемь дней не раздевался и не спал. За эти дни я исходил пешком несколько сот верст... Кашляю ужасно, но счастлив, что и мой труд, моя борьба помогают освобождать Родину от ненавистных фашистов».

Через четыре дня его не стало.

Ему не исполнилось к тому времени и сорока лет. Так рано оборвалась его жизнь.

— В 1952 году мы поехали с Валерой (сыном) туда, где покоится наш Саша,— рассказывала мне Людмила Семеновна, вдова писателя.— Когда добрались до деревни Суховарино, там нас встретили со слезами. Недалеко от деревни — братские могилы, где похоронены партизаны. И наш приезд всколыхнул чувства, как ветер поднимает волны. Многие помнили Савчука, так как редакция находилась в этой деревне.

Позднее останки Савчука перенесли в братскую могилу в деревне Репино Крапивенского сельсовета Ярцевского района Смоленской области. От деревни Суховарино до

Репино — семь километров. Над братской могилой установлен монумент.

В 1969 году Александру Савчуку была присуждена посмертно первая премия комсомола Среднего Урала за книгу «Так начиналась жизнь».

Товарищи моего поколения... Мы начинали с ними в литературе вместе. Склоняю голову перед всеми, кто мне был близок, перед своими товарищами-фронтовиками.

Е. Хоринская

СТАРЫЙ СОЛДАТ

1935 год. Июнь. Погожим солнечным днем произошла моя первая встреча со Свердловской писательской организацией и ее руководителем Иваном Степановичем Пановым.

Приехала я в Свердловск из Бурятии. Предстоящее знакомство с новыми людьми меня тревожило, тем более что здесь работали такие известные уже писатели, как Алексей Петрович Бондин, Николай Куштум. Вполне понятно, как я волновалась, впервые открывая двери отделения Союза писателей.

Предчувствия не обманули: передо мной предстал настоящий живой классик с длинными-длинными, черными-черными волосами. Очевидно, он и был здесь самый главный. Совсем оробела... Но оказалось, что ответственный секретарь отделения Панов сидел за другим столом, и не было у него ни важности, ни длинных волос.

Мое волнение моментально исчезло, как только я увидела этого простого, коренастого, чуть грубоватого, но удивительно доброжелательного, улыбчивого человека. Узнав, что я сибирячка, Панов сказал:

— Там у вас мой старый товарищ работает, Иван Искра. Знаете?

— Это мой друг. И первый мой редактор. Сейчас он секретарь крайкома партии.

Панов обрадовался, стал расспрашивать про Искру, про его творческие дела, и разговор у нас пошел так, как будто мы тоже старые товарищи. Оба они — Панов и Искра — были уральцами, оба воевали в гражданскую, были выдвинуты на партийную работу, оба оказались в числе первых организаторов литературного движения: один в Сибири, другой на Урале. Может быть, поэтому мы как-то быстро сдружились с Пановым.

Разбираю снимки тех лет. С фотографии смотрит доброе, улыбающееся лицо Ивана Степановича. Так ты и не вернулся из похода, старый солдат... И почему ты всегда

так мало и скупо о себе рассказывал — о своем голодном, бедняцком детстве, о том, как батрачил на кулаков, бурлачил на сплаве, работал монтером, как трудно было работать и учиться; и все-таки учился, настойчиво, упорно, жадно тянулся к знаниям. В семнадцать лет экстерном сдал экзамен и стал учителем. Можно бы спокойно жить в своей глухой уральской деревне, обучать детей арифметике и чистописанию. Но не то время. Прежде чем учить ребятишек, нужно было отстоять для них молодую Советскую Республику.

В 1918 году крепкий уральский паренек Иван Панов становится коммунистом и отправляется добровольцем на подавление белогвардейского мятежа. Тогда-то он и написал свой первый документальный очерк-рассказ «Современные инквизиторы». Его напечатали, но на этом в ту пору и кончилась литературная деятельность Панова: писать больше не удавалось, было не до того.

На фронтах гражданской войны пули миловали его. Страшное случилось позже, когда Панов в Перми участвовал в борьбе с бандитизмом. Очень коротко писал он об этом в своей биографии:

«В феврале 1922 года был захвачен бандитами и изрублен. Но большевики — народ живучий. Через несколько месяцев раны зажили, но стал я инвалидом. Из Красной Армии меня уволили с исключением с воинского учета».

А дальше была партийная работа, учеба в комвузе, беспокойные будни газетчика.

Но главным его делом стало руководство литературным движением на Урале.

Всегда по горло занятому партийной и общественной работой, писательскими делами, Панову удавалось писать гораздо меньше, чем он того хотел. Только в 1925 году появились его рассказы «Сон» и «Сапоги», и лишь в 30-м первая повесть «Кукушка». Потом были очерковые книжки «Изобретатель Сарапулкин», «История продолжается», сборник рассказов «Полярный круг».

Однако главным произведением писателя остается «Урман».

Первая часть романа вышла в 1936 году. Я всегда с каким-то волнением беру в руки эту книгу. Читаю надпись, сделанную рукой автора:

«Прекрасному товарищу и другу. В моей большой радости есть и Ваша доля».

«Доля» моя весьма невелика: просто в силу моих тогдашних более чем скромных возможностей я вместе с Иваном Степановичем отредактировала первый вариант рукописи. И конечно, вместе со всеми его друзьями радовалась, что книгу тепло встретили читатели, что появились хорошие отзывы в печати:

«...Среди книг о советском Севере роман Ивана Панова «Урман» выгодно выделяется глубоким знанием материала...»

«...Отдельные недостатки книги Панова не могут умалить того достоинства, что она едва ли не впервые рисует приобщение забитых, эксплуатируемых народностей к новой социалистической жизни».

Речь пошла о переиздании романа в Москве. Но решение этого вопроса там, видимо, затянулось. И вот Панов заключил договор в Ленинграде и после этого заехал в Москву. Его пригласили в издательство «Советский писатель», даже послали за ним машину, и предложили немедленно заключить договор. Иван Степанович ответил, что уже поздно, что у него договор с ленинградским издательством.

— Так откажитесь!

И вот выдержка из письма Панова:

«...Я сказал, что откажусь от договора с Ленинградом только тогда, когда меня обяжет СП. А в Союзе меня обозвали дураком, за то, что я так вел себя и не заключил договора с «Советским писателем». Это все очень лестно, но честь дороже. Я не хочу, чтобы говорили: «Не успел из яйца вылупиться и уже в десяти издательствах заключает договора. Это было бы подрывом всякого доверия ко мне. Неплохо получить лишние 30 тысяч рублей, но я не могу потерять свою совесть и честь».

Мое особое отношение к «Урману» объясняется еще и тем, что многие страницы, даже целые главы, мы знали задолго до опубликования по рассказам самого автора, переполненного впечатлениями Севера. Панов был интересным собеседником, великолепным рассказчиком, прекрасно понимающим юмор. Он умел неподражаемо изображать своих будущих героев.

У Пановых собирались самые разные люди. В их гостеприимном доме бывали и свердловские литераторы, и журналисты, и почти все приезжавшие в город писатели. В материальном отношении Пановы часто жили трудновато, но дом их всегда был открыт для друзей.

Самым дорогим гостем для Панова был Матэ Залка, будущий герой Испании, легендарный генерал Лукач. Панов говорил о нем с какой-то особой нежностью, даже пытался воспроизвести какую-то смешную песенку, которую тот напевал.

Панов был отзывчив на добро, на каждое дружеское слово. Съездил в Ленинград по поводу издания своей книги, его там тепло приняли, и, вернувшись, он был уже в восторге от редактора:

— Ты не представляешь этого парня — прекрасный, изумительный товарищ!

Иван Степанович был вообще очень увлекающимся. Быстро увлекался людьми, делами, рукописями... «Влюбившись» в чью-то рукопись, мог не заметить в ней серьезных недостатков. Отсюда, очевидно, и возникла шутка Куштума о «серопановых братьях», которую приводит в своих воспоминаниях К. В. Боголюбов.

Помню, написала я очерк об одной визовской работнице. Прочитала Ивану Степановичу, и он пришел в бурный восторг. Предложил обсудить. На обсуждении меня разгромили в пух и прах. И совершенно справедливо: очерк получился сентиментальным и просто плохим. Иван Степанович сидел с виноватым и смущенным видом и огорчился, кажется, больше меня.

Очень близко принимал он к сердцу и радость и беду. Смерть Горького воспринял как свое личное большое горе:

— ...Звонили из ТАСС: умер Алексей Максимович Горький... Смерть, проклятая смерть... Неужели и коммунизм будет бессилен побороть ее?!

Часто случались у Ивана Степановича неприятности, и маленькие и большие. Вот слова из его короткой записки, написанной в горькую минуту:

«...Сейчас на вокзале. Уеду куда глаза глядят с первым отходящим поездом».

Бывал Панов и резким, и строгим, мог срываться и, как говорится, «наломать дров», что с ним частенько и случалось. Но ему совершенно чуждо было равнодушие. Он, с его горячим сердцем, никогда не был и не мог быть в стороне от жизни, от людей, от событий. В нем удивительно сочетались внешняя грубоватость и душевная мягкость. И еще какая-то детская доверчивость.

В нашей семье Иван Степанович был своим человеком. У нас с ним были общие друзья. Это прежде всего Нина

7 Заказ 133

Аркадьевна Попова и, конечно, Бондины. Дружен был Панов с О. Марковой, А. Исетским, с писателем-геологом Ф. Тарханеевым. Очень любил Иван Степанович поэта Славу Занадворова. Вместе бродили они по берегам уральских озер, вместе остались навсегда где-то на берегах Волги...

Но самым близким другом Панова был Алексей Петрович Бондин. У них было много общего. Оба большие жизнелюбы, оба горячо любили Урал, его природу, леса и озера, охоту и рыбалку, и ночи у костров, и добрую шутку, и крепкое словцо, и — стихи. Мне просто повезло, что довелось бывать иногда в их рыбацкой компании.

Не тускнеет в памяти лучшая в моей жизни, по-настоящему веселая встреча Нового года в ДЛИ на Пушкинской; почему-то поехали потом не по домам, а к Пановым, причем в машину поместилось столько пассажиров, сколько теоретически никак не может поместиться... А потом была такая сложная выгрузка — из машины долго никто не мог выбраться,— и Бондин от смеха сел в сугроб, а Иван Степанович читал ему какие-то студенческие стихи:

Бойля, Миля, Конта, Канта
Сто раз легче прочитать
И дойти до их субстанта,
Чем тебя, мой друг, понять.

Как-то особенно запомнилась мне и наша поездка по уральским заводам. В бригаде были Бондин, Исетский, Ладейщиков и я. Руководил Панов. Мы побывали на многих предприятиях, встречались с читателями в цехах и клубах, в красных уголках и просто дома у рабочих. (Нужно сказать, что в то время мы и в Свердловске уже были связаны с заводами: у многих писателей были постоянные пропуска, «свои» цехи и, главное, «свои» стахановцы, к которым ходили домой, с которыми дружили.)

Меня тогда поразило умение Панова и Бондина разговориться с рабочим человеком, сблизиться с ним, вникнуть в его мысли и дела. Шло это, очевидно, от их простоты, душевности, искренней заинтересованности в судьбах людей. Почти после каждой встречи к нам приходили и засиживались до полуночи самые разные люди.

Панов был чутким и добрым товарищем. Помню, как строго «гонял» он нас навещать больную, одинокую писательницу Кореванову.

В конце тридцатого года опасно заболел Бондин. Дер-

жался Петрович мужественно, хотя и знал, что болезнь может оказаться смертельной. Панов слал тревожные письма:

«...Что с тобой? Лечись, лечись как можно упорнее. Ты нам нужен, очень нужен!»

«...Если нужна помощь — напиши. Если нужен курорт — тоже пиши. Примем все меры, чтобы тебе помочь».

Алексей Петрович справился с болезнью. По тем временам это было чудом. Чуду радовались все. Панов ликовал: «Петрович выздоровел! Петрович работает!»

А вот строки из другого письма, написанного совсем в другом ключе. Речь идет о работе Бондина над «Ольгой Ермолаевой» — его новым романом. «...Как поживает Ольга Ермолаева? Как ваши отношения с нею — крепнут или остывают?.. Думаем организовать твой большой творческий вечер в январе».

Летом 1937 года произошел случай, который привожу в изложении Ивана Степановича.

«...Ездил к А. П. Бондину, попал в веселую историю. Вечером сидим во дворе, а А. П. ушел выливать воду из лодки. Слышим крик: «Алексея Петровича бьют!»

Не помня себя, выскочил на улицу. Бондина спас, но хулиган весь свой гнев перенес на меня. Он мне так начесал... Паренька тут же взяла милиция».

Жена Бондина Александра Самойловна вспоминает о своем первом знакомстве с Пановым:

«В конце лета 1929 года Иван Степанович приехал в Тагил по каким-то литературным делам. Пришел к нам. Здесь я с ним и познакомилась. Был он тогда молодой, очень простой и скромный, какой-то свойский... Петрович был с ним знаком раньше.

Мы как-то сразу подружились. Приезжая в Свердловск, всегда бывали у Пановых. Иван Степанович был настоящий друг и товарищ.

Последний раз я его видела в сороковом году в Свердловске. Был он очень грустный, совсем не такой, каким я его знала. Вспоминал Алексея Петровича... Жалел, что не пришлось даже его хоронить».

А менее чем через два года произошла и моя последняя встреча с Иваном Степановичем.

...Весна 1942 года. Грозное, незабываемое время. Уходит на фронт и писатель-коммунист Иван Панов. Как удалось ему, искалеченному в гражданскую, этого добиться — неизвестно. Очевидно, помог уральский характер.

Перед отправкой на фронт Иван Степанович зашел попрощаться. Короткой была эта последняя встреча. Был он похудевший, в солдатской шинели. Сказал: «Не поминайте лихом...»

В сентябре 1942 года Иван Степанович Панов погиб под Сталинградом. Больше мы ничего о нем не знали.

И мне хочется низко поклониться бывшему писарю политотдела, нашему земляку, старшине Андрею Никаноровичу Мешавкину за то, что он, единственный, рассказал нам о последних днях нашего товарища, пытался найти его могилу. Вот его рассказ:

«...Сталинград в огне. Коричнево-багровое пламя, распластавшееся вдоль Волги, по ночам видно даже из-под Котлубани, где в степи держат оборону полки нашей 221-й Уральской стрелковой дивизии. Ночью опять отбита атака гитлеровцев. Во многих местах их артналетом разрушены ходы сообщения. Саперам, как вчера и как позавчера, пришлось поработать.

Вместе с нами не спал в эту ночь и парторг — тоже рядовой солдат — Иван Степанович Панов.

— Ничего, братцы, выстоим! — ободрял он бойцов.— Уж если сегодня не по зубам фашистам наше оружие, то завтра родной Урал пришлет еще не такое!

...Утром Панова вызвали в политотдел дивизии, расположенный в тесной землянке тут же на передовой. После короткой беседы с начальником политотдела Панов пристроился на ступеньку у нашей щели.

— Ну, как,— спрашиваем,— завербовали?

— Да нет, напрасный разговор!

А разговор у начальника политотдела был все тот же: уже не первый раз предлагал он Ивану Степановичу работать в редакции нашей дивизионной газеты.

— Мое место рядом с солдатом,— неизменно отвечал Панов. — Вот притрусь к окопной щели, книгу потом напишу о солдате-уральце.

И он ушел, прикрыв автомат измазанной в глине плащ-палаткой. Больше мы с ним не встречались...»

Не довелось Панову написать книгу о солдате. Верю, была бы это настоящая книга.

Е. Медякова

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

Если бы мы, читатель, могли вернуться на полвека с лишним — в далекий 1925 год...

Наша страна отмечала тогда только восьмую годовщину своего рождения. 8 лет, вдумайтесь в эту цифру! Мы прошли бы по проспекту имени Ленина всего три-четыре квартала, от нынешнего почтамта до центральной площади,— и увидели бы совсем другой город, вчерашний Екатеринбург.

На площади, где сейчас плещет фонтан «Каменный цветок», тогда возвышалась тяжелая уродливая громада Екатерининского собора. Как и сейчас, стояла напротив старинная горная аптека (теперь здание общества «Знание» и Союза писателей), а тогда — биржа труда.

Налево от узкой проезжей части плотины — невидный корпус гранильной фабрики. Далее шли вагоноремонтные мастерские (бывшая Монетка).

Мимо почти не изменившегося здания консерватории мы вступили бы на площадь, носившую имя Кафедральной. Здесь стоял кафедральный собор — сооружение, похожее на старые церкви Ленинграда. На месте горисполкома с курантами тянулись торговые помещения. Вот и небольшая площадь перед нынешним пассажем. Трехэтажное здание, не достроенное к 1917 году, получило у горожан название «Вавилонской башни».

Напротив «башни» верх двухэтажного дома (внизу там сейчас ресторан «Ермак») занимали в те годы редакции газет «Уральский рабочий», «На смену!» и журнала «Товарищ Терентий».

В городе уже работали тогда возрожденные энтузиазмом трудящихся Верх-Исетский завод, электростанция «Луч», завод «Металлист», ткацкая фабрика имени Ленина.

Дух созидания уже явственно чувствовался в 200-летнем городе, совсем недавно ставшем Свердловском.

Десятки молодых (и немолодых) поэтов приходили со своими стихами в редакции газет. Были поэты застенчивые, скромные, но были и самоуверенные, считавшие себя новаторами и мэтрами.

Чтоб как-то организовать стихотворцев и поток их стихов, редакция комсомольской газеты «На смену!» собрала их однажды в полупустой комнате, где были расставлены скамьи из простых досок. Здесь работал «Клуб рабкоров». В этой комнате и родилась в декабре 1925 года литературная группа, принявшая название молодежной газеты.

В числе организаторов были начинающие поэты В. Макаров, А. Исетский, С. Васильев, командир Красной Армии Ст. Птицын, преподаватель комвуза К. Боголюбов и я, тогда молодая поэтесса. Я только что кончила девятилетку, но имела уже некоторый опыт организационной работы: в школе им. Некрасова, где я училась, было настоящее самоуправление и самостоятельная школьная печать (стенгазеты, журнал, печатавшийся на стеклографе).

С первого собрания группы в ней проявился живой творческий дух, желание не только написать, но и вынести свои произведения на суд товарищей, поспорить о литературе. А в своем творчестве молодые поэты охватывали все — от мировой революции, интернациональной дружбы, классовой борьбы на селе до... футбола.

Лучшие стихи и рассказы «насменовцев» печатались на страницах «На смену!». Кстати, молодежная газета была тогда маленькой, форматом с «Пионерскую правду».

Но именно «На смену!» мы обязаны счастьем увидеть свои первые стихи набранными типографским шрифтом и напечатанными на газетных страницах.

Московские писатели, поэты, приезжая на Урал, считали своим долгом встретиться с членами литгруппы «На смену!». Так состоялись встречи с Маяковским, Мате Залкой, Анатолем Гидаш (так звали его тогда), Луговским, Безыменским, Жаровым.

Литературная группа организовала кружки на крупных (по тому времени) предприятиях — на ВИЗе, Ленинской фабрике, заводе «Металлист», на железной дороге.

После пяти лет совместной работы в литгруппе и в Свердловской литературной организации мы с Александром Исетским стали близкими людьми. Началась наша семья.

Александр Иванович Поляков (Исетский — его псевдоним) родился в 1896 году в Сысертском заводе. О родне он писал в автобиографии: «Пращуры мои — при-

писные демидовские крестьяне из Верхнего Тагила и заводские люди из Верх-Нейвинска. Родня моя жила в Рудянке, Невьянске, Верх-Исетске. Так что я коренной уралец».

Дед по матери, Петр Деев, был редкостным мастером — делал сундуки, обитые жестью «под мороз», шкатулки, старинные подносы. Но самые тайные секреты мастерства даже сыновьям не открыл.

Ф. П. Деева, мать будущего писателя, вышла замуж за вдовца с детьми. Своим неродным детям она старалась быть матерью, и они на всю жизнь сохранили к ней теплое отношение.

Но семейная жизнь не ладилась, и Федосья Петровна, забрав трехлетнего сына Шурку, уехала в Екатеринбург.

Жила в людях, то как швея, то как кухарка.

Здесь, в Екатеринбурге, Шурка начал ходить в приходскую школу. Потом поступил в высшее начальное училище (такое было название!), а позднее в Уральское горное училище, где наставником его был Модест Онисимович Клер.

Но жить Поляковым было трудновато. Александр начал свои трудовые «университеты» — работал табельщиком на заводе, десятником на шахте. Пел в хоре оперного театра (это уже больше для удовольствия!).

В годы первой империалистической войны был досрочно призван в царскую армию. На обороте фотографии, где Александр был снят безусым парнем в папахе, он сделал надпись для родных: «Молодой солдат, а плакать рад».

Гражданская война забросила молодого солдата на Дальний Восток. Там, как грамотный человек, он стал политпросветработником, писал инсценировки для красноармейского клуба. Там начал писать стихи.

Много позднее он вспоминал, что первое стихотворение «Млечный Путь», в котором было «много космоса и железа», он читал партизанам отряда Петрова.

Вернулся на родину. Работал в клубах, в органах Наркомфина. Продолжал писать стихи уже под псевдонимом Исетского. Был одним из активнейших членов литгруппы «На смену!».

В 1929 году, когда по инициативе И. Панова в Свердловске был создан первый «толстый» журнал «Рост», Исетский становится его ответственным секретарем.

Это было время, когда на Урале разворачивалась стройка заводов-гигантов, и редакция журнала хотела на его страницах запечатлеть героизм рабочего класса, создававшего Уралмаш, Магнитку, Уралвагонзавод.

...Вскоре «Рост» переименовывается в «Штурм». Исетский выезжает в Магнитогорск. Он пишет оттуда:

«Ты спрашиваешь, что я делаю? «Штурм». Бешеная работа. Магнитогорцы задерживают материал для номера.

Вчера дали мне машину и проводника, и мы объехали главные участки — домны, коксохимкомбинат... Чтоб объехать все — мало и суток.

Сегодня поеду еще на плотину, на гору Магнитную и в соцгород.

Не для очерка, а для себя хочу видеть все главное».

В те же годы на страницах «Роста», а потом «Штурма» появляются и первые прозаические произведения Исетского — рассказы о гражданской войне — «Чашка чая», «Тайгачи». В них Исетский воссоздает суровые дни партизанской борьбы в Приморье.

Весной 1930 года актив литгруппы совершил большую поездку по заводам Южного Урала (Кыштым, Касли, Карабаш). Выступали в цехах, в раскомандировочных, в общежитиях, в клубах.

По молодости лет мы называли себя писателями, хотя, конечно, не имели права на это высокое звание. Но мы не прославляли себя. Каждое выступление начиналось чтением стихов ведущих поэтов тех лет — Маяковского, Светлова, Безыменского, Уткина.

В литературных «боях» Исетский был принципиальным и напористым. Это по его инициативе вручена была перчатка (буквально!) с вызовом на диспут-турнир заезжим «гастролерам» А. Мариенгофу и Р. Ивневу. Диспут о роли литературы в СССР прошел при переполненном зале. Имажинисты не ожидали встретить в «провинциальном» Свердловске столь яростных противников их творчества и сложили оружие.

Жизнь нашей семьи складывалась так, что очень часто мы жили в разлуке. И тогда неоценимую услугу нам оказывала почта.

За тридцать лет совместной жизни мы обменялись сотнями писем.

В 1930 году ОГИЗ (Москва) прислал писателям несколько творческих командировок на предприятия Урала. Исетский поехал на старый Невьянский завод, я — на «Кудельку», в Асбест.

Редакция «На смену!» доверила нам по очереди редактировать литстраницу газеты. Исетский, С. Васильев, В. Макаров и я в назначенные дни приезжали в Свердловск, готовили литстраницу к выпуску.

А потом на несколько месяцев Исетский выезжает в Сухой Лог на строительство цементного завода. Пишет очерки «Цемент революции».

В начале тридцатых годов существовала такая организация — ЛОКАФ (литературное объединение Красной Армии и Флота). В эту организацию привлекались литераторы, за плечами которых были годы гражданской войны, работа в армии. Литорганизация и журнал командируют А. Исетского в военные лагеря, в Пермскую область. И снова письма...

«Белый палаточный город. Тысячи людей живут здесь под легким полотном...

Моя работа развертывается. Организую литературные кружки в полках. Готовлю конференцию прозаиков и поэтов...

Был у кавалеристов — писали письма в колхозы...

Комнату мне дали, но без мебели и света. Ночью в щели вижу звезды.

Зазвал к себе командира дивизии и вместо стула предложил ему стойку от топчана. Он пообзирал неуютность и ветреность моего жилья и предложил... переехать к нему на дачу. Но там я буду стеснен, не каждый красноармеец решится зайти ко мне...»

«Написал два очерка. Пишу с трудом — действительность новая, терминология особая.

И не писал бы пока, но ждут, глазами говорят и прямо говорят...

Жизнь людей напряжена.

Темами я богатею».

В литературной среде человеком, с первых встреч завоевавшим большое уважение Исетского, а потом и любовь, был Алексей Петрович Бондин. Их встречи по делам

писательской организации и журнала положили начало товарищеским отношениям, а затем и прочной творческой и человеческой дружбе.

Была еще одна причина, которая связывала Бондина, Исетского, Панова, а потом и Ф. Тарханеева: все они принадлежали к неуемному, непоседливому племени охотников и рыбаков.

Многие рассказы Бондина — об охоте, обитателях лесов. Этой же теме посвящены многие рассказы Ф. Тарханеева. А Панов и Исетский, если не писали столько же об охоте, то были мастерами на устные были и небыли, что рассказывались в дружеском кругу.

На одну охоту, в окрестности Верх-Нейвинска, вместе с Исетским и Тарханеевым поехала и я. Правда, я не караулила рассвет в лодке, в камышах, и если стреляла — так только в пень. Но на всю жизнь запомнилось озеро в дымке предрассветного тумана, пробуждающееся птичье царство, голоса полнокровной жизни, хор птиц, самозабвенно прославляющих радость мира.

В 1933 году вышла первая книга Исетского «Война без мира». Да, так вот вышло: годы журналистской круговерти, очерки по горячим следам событий, поездки, выступления, а первая книга — в тридцать семь лет... Она посвящена волнующим эпизодам гражданской войны на Урале, бойцам и командирам знаменитого полка Красных орлов.

В 1934 году выходит наша общая книжечка — очерки о депутатах горсовета «Государственная работа».

Работа над очерками и особенно над рассказами, требовавшими особенно чеканной отделки, всегда была для Александра Ивановича трудным, мучительным, хотя и радостным делом. Он писал медленно, по многу раз переделывая страницы, главы, иногда меняя все построение произведения. Наверно, потому еще и не успел многого...

В 1936 году по ложному обвинению Исетский был исключен из Союза писателей, снят с работы. А наша семья была уже немалой — двое детей, бабушка, мать Александра Ивановича.

Теперь муж был вынужден браться за самую разную работу — зав. литчастью в театре рабочей молодежи в Кизеле; клубный работник; редактор в научно-техническом издательстве.

...Жаркий летний день. Из-за поздней весны только в эту пору роскошно расцвела сирень. Многие горожане отдыхали за городом, в парках. И этот солнечный день, казалось, стал черным от внезапного сообщения: война.

...Война! Она коснулась всех, всего народа. Ушел в армию и мой муж.

Как это часто в те дни бывало, я стала работать на его месте — редактором «Металлургиздата».

Может быть, лучше всего, полнее, отражается человек в своих письмах, когда он пишет близким, когда он откровенен и прям.

Октябрь сорок второго:

«Не думал я, идя в армию, о рисовании, как об оружии. А получилось так, что журналист Исетский, будучи обучен военной связи, оказался на войне заправским бойцом другого вида искусства и вместо пера литератора взялся за карандаш рисовальщика. Работа эта интересная, увлекательная и, оказывается, нужная».

«Года ложатся на плечи чувствительным грузом. Третья война выпала на мою долю. Военные дела наши идут хорошо, и это ободряет. А зима еще велика, и мы фрицам покажем где раки зимуют».

Ранняя весна 1943 года. Часть, где служит Исетский, в тяжелом походе. И очередное письмо приходит в виде походного дневника.

«...Идем, идем вперед. Первые фашистские «сюрпризы». Все минируют. Нужна величайшая осторожность. Саперы работают не покладая рук. Мы остановились в глубоком овраге. Горизонт озарен пожарищами — немцы, отступая, жгут деревни...

...Немец бежит из города, бросая сотни машин, оружие. Дома заминированы, во многих — мины замедленного действия.

...Идем неотступно за врагом. На мине взорвалась машина, в которой ехал наш знакомый — писатель Ильенков и два кинооператора. К счастью, все отделались легкими ранениями».

«Теперь мой инструмент — готовальня, линейки, цветные карандаши. С короткими перерывами я стою, не разгибая спины, у стола, и из-под моей руки появляются леса, холмы, реки, дороги, города и села. Только в сумерках я возвращаюсь в дом, где ночую».

«Мы идем неудержимо на запад. Близок Днепр. Каждый день в наши руки попадаются пленные. Они уже ничем не кичатся, и разговоры у них тоскливые».

«У нас сегодня большая радость — наша дивизия получила наименование «Миргородская».

В городе нас встречали толпы народа, смеялись, плакали».

1943 год принес много горя в нашу семью. Не вынеся тягот военного времени, ушли из жизни мои родители. А в конце мая от неисправной проводки ночью вспыхнул пожар в нашем доме.

Я долго скрывала все несчастья от мужа, наконец сообщила. И вот ответ:

«Я часто и много думаю о вашем житье в обугленном доме и не могу представить вашу обстановку. Убраны ли горелые бревна? Как вы входите в квартиру? В адресе я пишу — квартира № 2. Но ведь других квартир уже нет. И как, наверное, тесно в вашей маленькой комнатке.

Родная моя, я и сам не знаю, как ты выносишь все эти несчастья...»

...А мне надо было работать, беречь детей. Мы жили в угловой комнате, в доме без крыши, и невероятно обильные в то лето дожди протекали к нам через верхний этаж.

Я всеми способами добивалась восстановления дома (в нем жили семьи фронтовиков) и поздней осенью узнала счастье, «когда есть крыша над головой». Но света не было, сидели с коптилкой, и при ней старшая дочь учила уроки.

А Миргородская дивизия шла все дальше и дальше.

В то время в письмах нельзя было указывать местоположения воинской части. Но старшина Поляков находил выход. В одном из писем он сообщал, что «Сашу Исетского недавно видели, спешил куда-то к Харькову. Сам я не мог с ним увидеться...»

В 1944 году военная судьба старшины Полякова повернулась неожиданным образом.

«Мы скромно отпраздновали наш праздник. К нему я написал песню о нашем соединении. На дружеском вечере, неожиданно для всех, я спел ее. Голос мой ужасен, простуженный, сиплый. Но вокальная сторона мне была про-

щена, сама песня захватила моих товарищей, командиров. Тут же решили издать ее листовками, чтобы солдаты пели ее. С ближайшими товарищами мы поем эту песню: я — как влюбленный автор, они — увлеченные словами и мелодией».

«Начальник клуба просит меня написать новую программу для юбилейного вечера нашей дивизии, который будет 15 июня. Но у меня боевой работы по горло. Товарищи хотят ставить вопрос, чтобы мне дали творческий отпуск».

«Родная моя! Минули тяжелые дни, я выжил и вот пишу тебе. Бои были ожесточенными, нервы испытывались до предела, проверялась воля. Были солнечные дни, но мы почти не видели солнца, оно было затемнено облаками дыма от взрывов бомб, снарядов и мин. Несколько дней дрожала земля. Все кругом выло и грохотало. Немцы неистовствовали, но не прошли».

Но оказывается, и на войне бывают «творческие отпуска»!

«Я сижу в чистеньком сельском домике и пишу юбилейную программу — походную песню, балладу о героях, застольную, сценки, частушки, конферанс. Нагрузка ничего себе, но с какой радостью я полностью отдался этой работе.

Солисты уже репетируют мои вещи, только что вышедшие из-под пера. Мы спешим — юбилей дивизии очень близок».

Войска 3-го Украинского фронта перешли государственную границу СССР.

Бои в Румынии. Величавый Дунай. А затем граница Болгарии.

«Мы идем по Болгарии, как по родной стране. На въездах в города и села стоят арки из дубняка с приветствиями. Всюду толпы народа. На привалах угощают самым лучшим. Спать кладут на чистые постели.

Родная! Как радостно на сердце. Кругом такое радушие. Интерес к России огромный. Ребята нас буквально щупают, обнимают. Сколько впечатлений, любопытных встреч!»

И опять граница — Югославия.

«На нашем боевом пути пало немало лучших сынов и дочерей нашей страны. Было тяжело их хоронить и остав-

лять далеко за пределами любимой Родины, в чужой земле.

Не было этого чувства здесь, в Белграде, среди чудесного народа с честным и добрым сердцем. Нет, это чувство не щемило наших сердец. В этой стране мы оставляли наших павших товарищей, как в родной стране, как своим близким родным и друзьям...»

«...В каждом занятом селении и городе — страшные следы зверств немцев — повешенные, расстрелянные...»

В Белграде Исетский познакомился с югославскими художниками, с семьей писательницы Десанки Максимович.

Поход продолжается. Теперь на пути — Венгрия.

И закончился боевой путь дивизии в Австрии. Оттуда полевая почта приносит мне не только листки писем, но и засушенные звездочки цветов, что растут высоко в горах,— эдельвейсов.

2/V 1945 г. «В фронтовом кинотеатре шел фильм «Иван Грозный». Почти перед концом сеанса, во время смены частей, на сцену поднялся политработник.

— Товарищи! Сейчас по радио передан приказ маршалам Жукову и Коневу. Берлин взят нашими войсками!

Зал горного отеля задрожал от криков «ура!»

Картина продолжалась. Русский царь отправлял свои войска против «немцев-ливонцев»...

Пала столица Германии перед русскими, перед нашей непобедимой силой...

Мы еще боремся, стволы пулеметов, орудий, винтовок все еще горячи. Разбойничьи засады, выстрелы снайперов, мины на дорогах... Но завтра-послезавтра мир огласит счастливая весть. Нас ждут наша Родина, наши подруги и дети...»

Возвращение домой.

Счастье встречи с семьей...

Открылась новая глава жизни Александра Исетского. Он начинает работать в редакции «Уральского рабочего». А было ему тогда уже 49 лет.

Еще живы в памяти трагические и радостные события — освобождение Югославии. На страницах «Уральского рабочего» печатаются очерки Исетского «Белград» (1946 г.). Позднее будут опубликованы навеянные памятью о великих битвах рассказы «Русская партия» и «За Москву!».

Но уже вторгаются в творчество события и люди нелегкого послевоенного времени. Исетский пишет статьи, очерки. Еще до войны он работал в выездных редакциях «Уральского рабочего» на севе, на уборочной. И теперь по заданиям редакции он переключается на темы, связанные с жизнью села.

Командировки в колхозы и совхозы... Там становятся особенно заметны трудности послевоенного сельского хозяйства.

Александр Иванович много читает, изучает проблемы земледелия и животноводства. При случае он может поспорить с агрономом, со знанием дела обобщить опыт специалиста-практика.

Вышедшая в 1950 году в Свердловске книга Исетского «Васса Лукина» знаменовала собой новый этап творчества писателя. Скромная звеньевая-картофелевод Лукина, председатели колхозов (очерк «Три соседа»), горький опыт прекрасного колхозного организатора, страдающего от своей малограмотности («Своим умом»),— вот герои и темы Исетского.

В творчестве его этих лет отчетливо видны сатирические мотивы. В «Уральском рабочем» он печатал острые проблемные фельетоны, в которых бичевал мещанство, корысть, очковтирательство. Написал цикл сатирических рассказов из жизни Гурьяна Побасыча, героя вымышленного, но имевшего реальный прообраз — старого шахтера из Дегтярки.

Разрешился наконец и «личный» вопрос писателя: Исетский был восстановлен в Союзе советских писателей как член с 1934 года.

Александр Иванович не изменил колхозной теме до конца дней. Он был неизменным участником совещаний «деревенских» писателей. Переписывался с Г. Радовым, встречался с Овечкиным и Троепольским.

В альманахе «Уральский современник» печатается его пьеса из колхозной жизни — «Родники». В 1955 году выходит книжка «Микита-маленький». Это лучший рассказ Исетского.

Строго, скупыми красками рисует писатель портрет невидного мужичонки, чья «ересливость» вызывает досаду и насмешки окружающих. Однако новый председатель колхоза сумел увидеть в Миките не только «обличителя» колхозных бед, но и рачительного хозяина, труженика по натуре.

Рассказ «Микита-маленький» написан с большой силой, с редким проникновением в душу человека...

И все же было обидно, что сельская тема отодвинула все остальные.

Исетский великолепно знал историю Урала, помнил его жизнь еще в те годы, когда Серов назывался Надеждинском, Кировград — Калатой, а на месте многоэтажного Первоуральска был медвежий угол — Шайтанка. В архиве писателя хранились богатейшие материалы по истории старообрядчества на Урале.

Замыслы были большие. Но они все откладывались на будущее. А будущего не оказалось. Тяжелая неизлечимая болезнь, трудная операция — и Александра Ивановича не стало. Осталась добрая память в сердцах друзей и товарищей.

Да еще остался вышедший в 1964 году, уже после смерти писателя, однотомник «Буран», где собраны лучшие произведения Александра Исетского.

П. Хорунжий

ДАЛЕКИЕ, ДОРОГИЕ ОГОНЬКИ...

Сначала об одном необыкновенном письме.

Молодые люди, кому в 2035 году будет около двадцати, узнав о существовании этого послания, вполне возможно, объявят его поиск. Оно написано в 1935 году, адресовано и отправлено им. А почтовым ящиком послужила ниша фундамента небольшого сооружения под Чебаркулем. В ней оно замуровано.

Писали его молодые люди, каждому из которых тогда было двадцать, чуть больше или чуть меньше, писали молодые строители страны социализма, мысленно шагнув через столетие, в XXI век, обращались к сверстникам, которым, как они полагали, посчастливится завершать отделочные работы в прекрасном здании коммунизма. В маленький конверт вложен простецкий рассказ о повседневных делах и заботах, думах и чувствах, планах и надеждах энтузиастов первых пятилеток.

Об этом событии тогда же рассказал нам поэт Константин Реут. Мы, его друзья, и все, кто слушал его рассказ, сразу догадались и о том, кто был инициатором послания в Грядущее. Это, конечно же, он, наш Костя Реут. Это так похоже на него, певца героев больших строек, выдумщика и заводилу в самом лучшем смысле этого слова, романтика, легко и свободно перешагивавшего в мечтах пределы своего века. Константин Реут был одним из тех, кто жил этим будущим и делал его собственными руками. Но куда бы ни устремлялся полет мысли поэта, он всегда был дома — в своем времени, среди своих собратьев, в самой гуще повседневных дел и забот.

...тот,
кто годы на стройке,—
не выдерживает тишины!

Это сказано Реутом о многих других, и о себе тоже. Не было в его жизни тишины и покоя, ибо кругом повсюду были стройки, рождалось новое, неожиданное, великое, а сам стихотворец был «поэтом скупейших смет и

 8 Заказ 133

пышных зданий». Говоря его же словами, он «каждый маленький кирпич, в проект укладывая, щупал» и «каждый камень наделял детально взвешенной нагрузкой». Могу только напомнить, что в двух скромных книгах — «Убеждение» и «Весеннее сердцебиение»,— выпущенных Свердловским издательством, написано обо всем, что волновало поэта, казалось порой невыразимым и все-таки находило свое счастливое выражение хотя бы в таких строчках:

Холодные ночи идут без тоски.
А к нашим постам
долетают свистки,
и вспомнишь
Свердловск или Киев.
Звенят на катках
беговые коньки.
Горят в городах
огоньки... огоньки...
Далекие, дорогие...

Вполне возможно, меня лично эти строки о людях, как живую свою плоть ощущающих всю жизнь молодой страны, трогают потому, что, по свидетельству другого поэта, «это было при нас. Это с нами вошло в поговорку». Но мне кажется, что здесь действует не только чувство истории. Взволнованным весенним сердцебиением Константина Реута живет каждый его стих, хотя они написаны сорок и больше лет назад. И потому нас так волнуют те его огоньки — «далекие, дорогие».

Первая наша встреча состоялась в Челябинске в августе 1932 года. Меня в то время вызвали из Магнитки и назначили зам. председателя правления писательской организации Урала. Я занимался собиранием сил «на местах» и много ездил.

Николай Иванович Харитонов, возглавлявший тогда писательскую организацию Урала (Уральская область еще не была разделена), на мой вопрос — чем я должен буду заниматься в роли зама, улыбаясь, ответил:

— Созидать Магнитострой литературы!..

По таким делам я приехал и в Челябинск.

И вот ранним, но уже достаточно знойным августовским утром 1932 года в одном из будущих цехов тракторного гиганта мы — поэт Семен Уланов и я — сидели на бревнах, приготовленных для возведения внутренних лесов, и беседовали о делах художественной литературы, о

челябинских литераторах. Сема рассказывал немногословно, но весьма охотно. Вдруг он как-то встрепенулся и сказал:

— А вот и Костя Реут.

Я взглянул в сторону, куда Сема указал кивком головы, и в перспективе огромного цеха увидел быстро шагающего к нам юношу — высокого, стройного, в клетчатой ковбойке, в зеленой шляпе бойскаута. Подойдя, он сразу же завел разговор о стихах.

— В стихотворении «Поезд» есть две завидно хорошие строчки.

— Какие? — спросил я (речь шла о моем стихотворении).

— «Белый дымок, зацепившись за куст, оторвался от паровоза»...

А дальше был темпераментный и острый обмен мнениями, после которого мы почувствовали себя словно бы давно знакомыми. Запомнилась одна его фраза: «Строки, вписанные в строфы «для мебели», я ненавижу и в собственных стихах борюсь с ними по мере сил»...

В последующие годы я много раз убеждался, как предельно искренен и честен был Костя в своих высказываниях о творчестве товарищей. Вот тут уж действительно его радовала не только каждая новая удача, а каждая удачная строка пусть даже и в неудачном стихотворении. Всегда живой и веселый, остроумный — в дружеской ли беседе или в яростном споре,— он то и дело читал полюбившиеся ему строки. Порой исправлял их и декламировал — проверял на нас: действительно ли так лучше, как предлагает он.

Когда ему самому или кому-либо из товарищей удавалось отлить прекрасную поэтическую пулю, Костя искренне ликовал. Он говорил: «Я прощаюсь с вами, друзья, ибо улетаю на седьмое небо!» А если в хорошем стихе не все было ладно, он убеждал нас: «Давайте, товарищи, сядем вокруг стола, доведем вещь до должного уровня!»

Так по его приглашению мы однажды сели вокруг стола втроем — Костя Рует, Борис Ручьев и я (к тому времени все трое жили уже в Свердловске) — и написали стихотворение об армейской спартакиаде, которая проводилась зимой 1934 года в окрестностях города. Так по его же идее мы коллективно написали пьесу с массой стихов (даже «пригласили в компанию» Владимира Маяковского с его «Мелкой философией на глубоких местах»).

Пьеса — я забыл ее название,— увы, похоронена где-то в архивах Свердловского драматического театра.

Поэзия для Кости всегда была поиском, тяжким трудом золотоискателя, умеющего отличить благородный металл от обманки. Он не любил тех, кто не давал себе этого труда и был слишком увлечен своим «я».

Песенный, я могу ли
Не радоваться весне?!

Костя прочел это стихотворение и спросил поэта:

— Слушайте, а где же посвящение: «Себе, любимому, талантливому и вдохновенному, посвящает автор»?

Когда ему читали серую вещь, Костя вежливо говорил автору: «Вы меня ничем не удивили». И старался убедить стихотворца, что труд, затраченный им, пока еще себя не оправдал. Но если автор начинал твердить о том, что он уже печатается, что он уже издал книгу, что другие мастера поэзии совсем другого мнения о его стихах,— в правом (всегда в правом!) уголке губ Кости Реута начинала змеиться усмешка. В этих случаях он не щадил.

Помню, один юноша, считавший себя мастером поэтических произведений на тему «раньше и теперь», принес ему стихотворение о колхознице-трактористке, которая, выступая на собрании, заявляла:

Меня, девушку, пропили
да на свадебном пиру.
А теперь я «Катерпиллер» [1]
разберу и соберу.

Костя попытался «разобрать и собрать» сочинение, чтобы по частям показать, что в нем плохо. Но самовлюбленный автор и слушать не хотел: он хвалил свой стих за сопоставление времен, за красочный народный язык, Косте пришлось использовать образец ответа, который он считал самым вежливым:

— Знаете, что сказал поэт Никола Буало королю Людовику, когда тот прочитал ему свои стихи? «Для Вашего Величества нет ничего невозможного. Вы, Ваше Величество, хотели написать плохие стихи. И Вашему Величеству это блестяще удалось!»

Я видел Константина Реута в творческом росте, в динамике развития таланта, в мужании его поэтического

---

[1] «Катерпиллер» — трактор на гусеничном ходу.

голоса. Он любил людей, тех, кто его окружал, с кем он встречался как журналист по заданиям редакций или просто сталкивался на дороге жизни. Он очень четко запоминал лица, мгновенно схватывал особенности характеров, подчеркивал и слабинки — с единственной целью: чтобы еще сильнее высветить сильные стороны той или иной натуры.

Но особенно любил детей. Он говорил нам, что если у него родится дочь, он назовет ее Глоди — именем внучки Кола Брюньона, составившей великую радость старого мастера. У Кости родился сын, он назвал его Феликсом, в честь деда. Мне довелось наблюдать, как Костя занимался физическим воспитанием своего крепыша и был очень счастлив.

Однажды в компании я в шутку сказал о Косте: «Юноша бледный со взором горящим!» Эти слова привились и вошли в обиход. Написал их Валерий Брюсов, рисуя образ вдохновенного поэта.

Но применяя эту характеристику к Косте Реуту, следовало учитывать «бледность» лишь символическую. Костя был весь в отца, человека крепкого и здорового, и румянцем обделен не был. Что касается «взора горящего» — тут все соответствовало истине. В серых холодноватых глазах Кости всегда блестел свет вдохновения.

...В один из воскресных дней сентября 1940 года мы сидели с Костей в тени павильона на плотине свердловского пруда, пили пиво и говорили о делах.

Еще утром, когда мы лишь встретились и протянули друг другу руки, Костя грустно сказал словами поэта Павла Васильева: «Не осталось от замка Тамары камня на камне...»

Да, не осталось. Бори Ручьева не было в Свердловске, и уже давно мы не получали от него ни строчки.

На плотине даже в ненастье, по обыкновению, многолюдно, а тут прекрасный осенний солнечный день, и почти никого не видно. Даже в палубном зале ресторана «Поплавок», покачивающегося поблизости на тихой воде пруда, почему-то пустынно.

Костя уже не говорил в шутку: «Выпьем пивка, как немецкие студенты в старину!» Не было уже ни той старины, ни добродушных немецких студентов, о которых мы столько читали. Были армии Гитлера, вторгающиеся то в одну, то в другую страну Европы, подминающие их железными траками танков.

Мы оба тогда работали в свердловских газетах: Костя в «Путевке», я в «Уральском рабочем», ни одно важное известие военного или политического характера не проходило мимо нас. Шесть лет назад Костя отслужил действительную, имел специальность связиста. И хотя, щеголяя среди нас тогда в военной форме и щелкая каблуками, представлялся во всеуслышание: «Рядовой Реут!»,— был он младшим командиром.

Словом, у нас нашлись темы для разговора в тот солнечный день на плотине свердловского пруда. Ни он, конечно же, ни я не знали, что это последняя наша встреча. Костя взволнованно говорил о большой поэме. Вступление к ней было написано давно, в 1932 году, еще на Челябинском тракторном. Его завершали такие строки:

Я ликовал:
чертеж простой и смету
носил, как стих,
сидел над ними дни,
как будто мы
готовили ракету
для срочного полета... в коммунизм!

Теперь, восемь лет спустя, Костя вновь вернулся к своему замыслу. Это будет, говорил он, не только взволнованная песнь строителям Челябинского тракторного. Это будет и тот железный рапорт, который завод-гигант, выстроенный в степи, теперь отдает полям.

— Знаешь, где меня посетила идея об этом «железном рапорте завода колхозным полям»? В кабинете Ивана Дмитриевича Кабакова, когда он беседовал с нами о том, что будет, когда мы двинем на поля сотни тысяч мощных тракторов. Мне эти слова запали в душу!..

Мы говорили и об угрозе войны — ее туча надвигалась неумолимо. Она могла сорвать какие угодно планы, мы понимали, насколько все это серьезно. Ну что ж! Мы были готовы честно выполнить свой долг перед Родиной.

...Глубокой осенью или в самом конце 1941 года я получил от Кости открытку. Он писал, кажется, с вокзала. Сообщал о скором отъезде на фронт. Короткое письмо завершалось словами, которые я привожу по памяти, излагая лишь их смысл: «Хочется совершить что-то такое, чтобы изменить все это!» («Все это», разумеется, был тогдашний ход военных действий. А под словами «Хочется совершить что-то» скрывалась мечта воина совершить подвиг во имя победы над заклятым врагом.)

Потом я оказался на Калининском фронте. И только по окончании войны и возвращении в Свердловск узнал о гибели Константина Реута в марте 1942 года под Ленинградом.

Никогда не забудутся те, кого мы потеряли. Все ими отдано ради счастья любимой Родины: жар души, заветные невоплощенные замыслы, жизнь!

Б. Рябинин

«ЯБЛОЧНЫЙ СЛЕДОПЫТ»

В середине тридцатых годов появилась на книжных прилавках Урала познавательная повесть для детей и юношества с заманчивым названием «Яблочный пир». Повесть рассказывала о садоводе, сумевшем вырастить прекрасный плодовый сад на суровой уральской земле. Рассказывалось здесь и вообще о развитии плодоводства, о том, как человек научился дружить с зеленой природой, превратив плодоносящее дерево в источник благополучия, здоровья и красоты. Первоначально опубликованная в 1935 году журналом «Уральский следопыт», повесть затем в короткий срок выдержала несколько изданий. Автором ее был известный мичуринец, пионер плодового садоводства в Свердловске Дмитрий Иванович Казанцев.

В био-библиографических писательских справочниках такой фамилии не найдешь,— и тем не менее это была фигура очень показательная для своего времени, когда научно-художественная литература, да и вся литература для детей, на Урале только зарождались. Мне запомнился он степенным, седовласым, с острой бородкой, слегка согнувшимся под бременем лет, с характерным резким профилем и умным строгим взглядом спокойных внимательных глаз, прикрытых очками в железной оправе. При Свердловском отделении Союза писателей, в двухэтажном каменном особняке на Пушкинской, 12, что напротив облисполкома, тогда существовала секция детских писателей, и Дмитрий Иванович регулярно посещал ее, участвовал во всех без исключения обсуждениях произведений своих товарищей. Приходил, постукивая тростью, садился в сторонке, чаще у стены, и, положив большие натруженные руки на ручку трости, внимательно слушал, ограничиваясь одним-двумя замечаниями или вопросами за весь вечер. Говорить не любил, но являлся пунктуально, из минуты в минуту.

Как и его вдохновительница К. В. Рождественская, побудившая его уже в преклонных годах взяться за перо и написать книгу о своем садоводческом опыте, Дмитрий Иванович большое значение придавал передаче накопленных знаний юному поколению, будущим хозяевам земли. Именно это заставило его написать позже еще одну кни-

гу — «Плодовый сад», уже научно-популярную, подобно «Яблочному пиру», много способствовавшую распространению и утверждению мичуринских идей на Урале.

Хочется напомнить, какое это было время. Бурные преобразования, индустриализация, стремительный прогресс во всех сферах общественной жизни, разумеется, не могли не отразиться и на литературе. Детской литературы на Урале, если не считать рассказов и сказок Мамина-Сибиряка, раньше, по сути, не было. Теперь она рождалась на глазах.

Именно в эту пору в библиотеках и на полках книжных магазинов появляется «Страна стальных великанов» (автора, к сожалению, не помню, кажется — Белобородов). В Москве появляется «Рассказ о великом плане» Ильина, у нас — «Страна стальных великанов» — книга, уже самим названием отражающая преобразования, происходящие на просторах обширного края.

Пробудившийся интерес к истории Урала находит свое отражение в появлении книг А. Г. Бармина, «уральского ленинградца» или «ленинградского уральца», часто наведывавшегося в Свердловск. Бармин был знаком с Рождественской еще по Ленинграду, где она училась и начинала свой редакторский путь. Одна за другой выходят в Свердлгизе и Детгизе его книги: «Сокровища каменного пояса», «Рудознатцы» и «Старый соболь», составлявшие единую эпопею «Руда». Появляются книги для юношества, связанные с различными отраслями знания, как и «Яблочный пир», созидающие в нашем крае важный раздел литературы — научно-художественный и научно-популярный жанры. Таковы были по своей направленности книги Ф. Тарханеева, И. Раухвергер, Ю. Цехановича и др.

Появился даже — хотя опубликован был уже после войны — научно-фантастический роман доктора Подсосова «Новый Гольфстрим». (Бажов, правда, относился к нему сдержанно; но ведь роман вышел, факт, и читался книголюбами самых разных возрастов.) В январе 1935 года начал выходить журнал «Уральский следопыт», также нацеленный в первую очередь на удовлетворение запросов и воспитание юного читателя, к сожалению, просуществовавший недолго и возродившийся уже после Великой Отечественной войны.

«Искательница молний» — первооткрывательница литературных талантов Клавдия Васильевна Рождественская и редактор «Следопыта» Владимир Алексеевич Попов си-

дели в одной комнате. Общение было самым тесным. Сперва Рождественская восприняла появление Попова несколько настороженно, как-никак он был из столицы (до этого В. А. Попов редактировал журнал «Всемирный следопыт»), но вскоре между этими двумя без преувеличения фанатически преданными делу людьми воцарился дух полного взаимопонимания и благожелательства; и в целом ряде случаев «Следопыт», предоставляя свои страницы новому автору, оказывался как бы преддверием, трамплином для следующего прыжка — в литературу, уже с собственной книгой (так вышло и с «Яблочным пиром»).

Добрая дружба связывала Рождественскую с Клавдией Владимировной Филипповой и, думается мне, не будь этой дружбы, неизвестно, родилась ли бы повесть Филипповой «В гимназии», тепло принятая уральскими читателями.

Секция детской литературы при отделении Союза писателей была в ту пору едва ли не самой многочисленной и деятельной. Не припомню, числился ли в ней тогда хоть один член Союза писателей, но что у всех на счету имелись напечатанные книги, получившие признание читателей, так это уж точно.

Характерно было и другое: почти все, пробовавшие свои силы в области детской литературы, являлись специалистами в какой-либо отрасли. Тарханеев — геолог, Раухвергер — ихтиолог (специалист по рыборазведению), Цеханович — биолог... Книга Юрия Цехановича «О маленьких рыбаках и больших рыбах», неоднократно переизданная,— теплая, умная, живая, которую читали и дети и взрослые,— несомненно обогатила скудноватую детскую литературу того периода и явилась серьезным вкладом в распространение биологических знаний, воспитание любви к родной земле.

Доброе слово хочется сказать обо всех этих людях, по праву заслуживающих быть названными первопроходцами юношеской научно-художественной литературы на Урале. Федор Константинович Тарханеев, всегда энергичный и всегда только что из очередной геологической экспедиции — пропадет на какое-то время, появится, опять пропадет, здоровяк и крепыш, характером из тех, про кого принято говорить, что с ним не соскучишься. Бывалый — историй в запасе масса! Истории эти и легли в основу его рассказов. Сын Тарханеева тоже стал геологом. «Геологическая династия», и, конечно, знаний, опыта и разных

занимательных вещей, почерпнутых из практики жизни, не занимать. Федор Константинович умел преподать их умно, интересно, умел и сам слушать, учиться у других. Юрий Владиславович Цеханович — внешне полная противоположность: худой, в очках, стеснительный, деликатный, в компании молчанушка, только поводит по сторонам, как бы боясь пропустить что-либо, своими поблескивающими окулярами; начнешь с ним разговаривать — слушает с напряженным вниманием, приблизив ухо к говорящему (сказывалась потеря слуха, ставшая заметной особенно в последние годы жизни). При всей внешней разнице имелось нечто общее, сближавшее их, это — интеллигентность. И предупредительность, уважение к людям. Каждый из них был своего рода полпредом своей отрасли в детской литературе, и, право, вспоминая их, всегда думаешь: самое трудное — начать, быть пионером, протоптать первую тропку, пусть на первых порах не очень заметную, и все же указывающую путь другим.

В складывавшейся научно-художественной литературе для детей и юношества Д. И. Казанцев представлял уже весьма многочисленный к тому времени отряд садоводов-мичуринцев, практиков-энтузиастов, споривших с природой, «приучавших» суровый и капризный уральский климат к потребностям мичуринского садоводства.

Далеко не всегда можно сказать, откуда к нам приходит та или иная страсть, сжигающая порой человека без остатка. Вспоминая Дмитрия Ивановича Казанцева, я думаю, что, может быть, тут сказалась власть земли, ее извечный зов...

Он был выходец из крестьян, уроженец села Северо-Коневское, что под Невьянском. Родился в 1875 году. Семья была громадная: от двух браков у отца насчитывалось 24 ребенка: от первой жены — восемь, да от второй шестнадцать; в избе постоянно качались две зыбки. В тринадцать лет юный Митя Казанцев уже пошел работать — как первенец, он был обязан помогать отцу прокормить семью. А прирабатывать, мальчиком на побегушках, в подсобниках в своем селе, он начал еще раньше, с девяти лет, сразу после окончания Конево-Аятского начального училища. В детстве много читал, читал все без разбора. Говорил: «Потом разберусь». Дед не разрешал жечь свечи для занятия чтением, свечи были дороги, а достатка не лишка, но Митя находил выход — запоем читал при луне.

Был не ленив, сообразителен. Крепкие руки да стара-

ние кормили. Женился. В 1912 году перебрался в Екатеринбург, а годом позднее, приобретя усадьбу на одной из тихих улиц (ныне улица Октябрьской революции, 40), заразившись идеями от замечательного нижнетагильского садовода К. О. Рудого, принялся строить дом (точнее, перестраивать по своему вкусу и потребностям) и заложил сад.

Был длинный путь побед, поражений, надежд и разочарований, путь, исчислявшийся десятилетиями. Десятилетия упорного труда. Казанцев ездил к Ивану Владимировичу Мичурину, учился у других, свел знакомство, наладил обмен опытом со многими мичуринцами Урала, Сибири, такими же фанатиками, как сам. Его цель была доказать, что и здесь могут расти плодовые. И — доказал. Сад получился что надо, стал плодоносить. С 1927 года Казанцев начал селекцию. Сад разрастался, приобретал новые формы.

Был Дмитрий Иванович дружен с писателем Бажовым, краеведом А. А. Анфиногеновым, фенологом Батмановым. Пописывал в журнал «Техника — смене», адресованный читателю-подростку. Когда и как судьба свела его с редактором детской литературы Клавдией Васильевной Рождественской, мне неведомо; не могут ответить на этот вопрос и близкие родственники. Ясно одно: это был еще один этап в его жизни. Рождественская — тоже одержимая — всюду отыскивала авторов книг, необходимых юному советскому читателю. Как говорится, человек приведет человека... В итоге на свет появилась книга «Яблочный пир». Насколько помнится, название книги было подсказано Рождественской; суть, однако, не в том. Книга оказалась, что называется, в жилу. Ее читал Мичурин, и, как пишет личный секретарь Ивана Владимировича — Бахарев, она лежала у него, Мичурина, на рабочей полке с пометками.

У автора происходили интересные встречи с детьми. «Видали,— сообщал он дома, вернувшись с одного из таких обсуждений,— они за изложение всех бед и неудач... это их не пугает!» Редактор во время работы над книгой, опасаясь неблагоприятной реакции читателей, несколько ограничил автора в показе трудностей. Дабы не расхолаживать... Жизнь показала, что опасения были напрасны, и автор с восторгом повторял: «Молодцы, ребята!»

В печати Казанцева называли «яблочным следопытом». Книга «Яблочный пир» открыла перед ее создателем еще одну увлекательнейшую и полезнейшую сферу деятельно-

сти. В бумагах его находим весьма симптоматичную запись: «Борьба за воспитание в детях любви и бережного отношения к растениям». Да это же программа нынешнего курса охраны природы в школах и отправной пункт, чтобы научить ребенка понимать язык природы! К сожалению, оставалось мало сил... Тем не менее по праву садовод Д. И. Казанцев может считаться и одним из зачинателей детской литературы на Урале, литературы познавательной и увлекательной, открывающей окно в большой светлый мир природы и приобщающей к радостному труду человека-мастера.

Право, когда я думаю о нем, о его книге с символическим названием «Яблочный пир», в воображении возникает великий, еще не виданный доселе пир природы, щедрой и прекрасной, направляемой доброй и умной рукой человека нового социалистического века.

Умер Д. И. Казанцев в июле военного 1942 года.

Остался сад...

Остался сад и — книги, увы, ставшие ныне уже библиографической редкостью. А жаль. Ведь садоводству отводится в наших планах заметное место; да и безмерно выросшие и обострившиеся проблемы охраны природы требуют пристального внимания к земле, воспитания любви к ней сызмальства. Без этого нынче не мыслится человеческая нравственность.

В. Стариков

МАСТЕР, МУДРЕЦ, СКАЗОЧНИК

Загадочна была непохожестью на другие эта книга.

Загадочен был и автор ее.

Книга называлась «Малахитовая шкатулка».

На обложке стояло имя автора — Павел Петрович Бажов.

На фоне суровой прозы тех давних лет, с преобладанием индустриального направления, без особой лирики, без разлета душевных чувств,— вдруг книга уральских поэтичных сказов, где действуют, словно извлеченные из прошлого, одухотворенные змеи, ящерицы, таинственная Хозяйка Медной горы, другие сказочные существа, вступающие в добрые отношения с мастеровым людом.

В ту пору я еще только-только приобщался к литературной жизни Свердловска и небольшой писательской организации, в которой Павел Петрович на первый взгляд не выделялся какой-либо активной деятельностью. Он обладал редкой уважительной особенностью с первого знакомства прочно запоминать имя и отчество человека. Так было и со мной. При каждой встрече он неизменно говорил:

— Здравствуйте, Виктор Александрович.

Этим все наши отношения тогда и ограничивались.

В первых числах ноября 1939 года рабочий Нижний Тагил провожал в последний путь своего рано умершего писателя А. П. Бондина, не дожившего трех лет до шестидесятилетнего юбилея, талантливого литератора, выходца из рабочих, замеченного в свое время А. М. Горьким. Через зал городского Дома пионеров проходили железнодорожники депо, в котором много лет проработал слесарем А. П. Бондин, рудокопы знаменитой горы Высокой, металлурги, старатели ближайших приисков, дети, много детей, городская интеллигенция.

Павла Петровича я увидел в уголке зала, чуть в стороне от родственников покойного. Он сидел в одиночестве, опершись руками на палочку, внимательно всматриваясь в лица проходивших людей. Приметив меня, он поднялся.

— Хорошо, что вы тут оказались. Давайте вместе встанем в почетный караул. На панихиде скажите несколько слов от имени журналистов. Вы же на Урале «Известия» представляете.

Он встал в изголовье Бондина, сумрачный, с влажными глазами. Горе его было истинно глубоким. Многолетняя дружба связывала этих двух самых старших по возрасту уральских писателей.

Хоронили А. П. Бондина в городском саду на берегу большого заводского пруда. После поминок мы с Павлом Петровичем возвращались в гостиницу.

— Заходите, коли желание будет,— предложил Павел Петрович.— Выпьем чайку, скоротаем вместе время до поезда.

Я воспользовался приглашением.

— Вот ведь штука-то какая,— говорил в гостиничном номере тихим приокивающим голосом Павел Петрович, осторожно разливая чай изящными руками.— Жил человек, книги писал хорошие. Глаз у него был зоркий, и наблюдать жизнь, как рекомендуют ныне всем молодым литераторам, ему не приходилось — он в самой гуще ее варился. И смотрите-ка, сколько народу собралось попрощаться! Хотели выразить признательность свою писателю и уважение.— Он вздохнул, пошевелил рукой бороду, словно успокаивая ее, добавил: — У меня одним близким человеком стало меньше. Это грустно. Особенно в моем возрасте. Вроде жизнь беднее становится...

Наш поезд в Свердловск уходил поздно — около трех часов ночи. Я собирался попросить в горкоме партии машину, чтобы добраться до вокзала, но Павел Петрович этому решительно воспротивился.

— Не такая крайность, чтобы машину одалживать. Пройдемся пешочком, полезно... А то полнеть начинаю, двигаюсь мало.

На вокзал мы отправились пешком через темный спящий город. Длинная неосвещенная улица, застроенная одноэтажными и двухэтажными домишками, деревянный гнилой тротуар. Кое-где в нем не хватало досок. Идти следовало с соблюдением крайней осторожности, дабы не споткнуться, не провалиться ногой в щель. Павлу Петровичу в ту пору шел шестьдесят первый год. Однако шагал он хоть неторопливо, но уверенно, постукивая палочкой.

Потом в Свердловске мне много раз случалось провожать Павла Петровича после излишне затянувшихся соб-

раний с Пушкинской улицы, где в ту пору помещалось отделение Союза писателей, до улицы Чапаева. Такие поздние, почти часовые, прогулки всегда были интересны. Павел Петрович не очень словоохотливый на собраниях, в многолюдье, становился разговорчивым попутчиком.

В ту ночь на улице Тагила, а потом в поезде Павел Петрович говорил, помнится, больше всего о Бондине. Вспоминал свою первую встречу с ним еще в 1923 году в литературном кружке «Мартен». Алексей Петрович с первого появления резко выделился из среды окололитературной и богемствующей публики тех лет своей рабочей твердостью и определенностью взглядов. Он пришел в кружок с литературными произведениями, крепко связанными с жизнью рабочих людей.

С той поры и начались дружеские отношения двух Петровичей, как их шутливо называли в писательской среде. Бондин при наездах в Свердловск бывал неизменным гостем у Бажовых. Павел Петрович редактировал его книги. По духу, настроениям он был Бажову наиболее близким в литературной среде человеком, и с годами эта близость все укреплялась.

Сейчас, в поезде, с горечью и болью Павел Петрович говорил о Бондине. Его преждевременная смерть стала большой и невосполнимой для него утратой.

Все же я решился отвлечь Павла Петровича и перевести разговор на «Малахитовую шкатулку». Может быть, не совсем ловко я заговорил о том, что сейчас все писатели заняты отображением огромных социальных сдвигов, происходящих в стране, грандиозных наращиваний производственных мощностей, коренной перестройки всего уклада деревенской жизни, а вы, мол, Павел Петрович, погрузились не просто в прошлое, а расцветили его волшебным сказочным вымыслом. Для этого ведь смелость нужна — требования сейчас совсем другие.

— Не всякий свою тропку в жизни сразу находит,— медленно заговорил Павел Петрович своим глуховатым голосом.— Вот и я тому пример... А сказы, да...— Он помолчал.— Выдалась такая невеселая полоса, что я оказался не у дел. Ну и взялся всякие давние задумки обрабатывать. Так и получилась эта книжка. Как говорится, велению сердца подчинился... Вы вот окиньте взглядом нашу нынешнюю литературную продукцию. Души-то в ней маловато, за редким исключением. Вот разве Бондин — он не забывал, что рабочий — это прежде всего человек...

И характер человеческий всегда на работе сказывается. Каков разум, каково сознание — такова и работа... А ведь многие писатели нынче живописуют муравьиную бездумность производства. «Даешь», «выполним», «нажмем» — и вся забота... Да и то сказать — время такое. Некогда сосредоточиваться. А у меня по стечению горьких обстоятельств, времени оказалось предостаточно... И, признаюсь вам, начал я сказы писать как бы для того, чтобы боль свою притушить... Думал, никому это, собственно, не нужно, сам себе сказки рассказываю,— все равно без своей работы жить не могу. А что сказы интерес вызвали, это меня даже удивило. Я, признаться, и не надеялся, что их опубликуют. Думал, может пойдут мои сказы в народе вроде побасенок, а кто их сочинил — важно ли? И так ладно... Вы Бакалейникова, заведующего музыкальной частью нашего драматического театра, знаете? Хорошо знаете? Вальс «Грусть» помните? А ведь его это музыка, Николая Романовича. Чуть ли не с русско-японской войны она звучит. Война четырнадцатого года прошла, революция, гражданская война. Такие события! А вальс этот звучит. Никто и не знает, что автор его — Николай Романович...

В Свердловске, когда прощались на вокзале, Павел Петрович сказал:

— Выберется вечерок свободный — милости прошу на стакан чая. Будем рады вас видеть.

Помнится, что под какими-то предлогами я дважды или трижды решился воспользоваться приглашением, ощутив особую атмосферу доброты и гостеприимства, которые были свойственны дому Бажовых, его верной спутнице Валентине Александровне. Тогда я почувствовал особую черту характера Павла Петровича. Он никак не подчеркивал нашей возрастной разницы (а ведь он вдвое старше меня, шестьдесят и тридцать, вроде перед ним — мальчишка) и своего литературного превосходства. Отношения складывались как бы на равных.

Изредка мы виделись на писательских собраниях и вечерах, обменивались двумя-тремя фразами и расходились.

Однажды раздался телефонный звонок, и я услышал глуховатый голос Павла Петровича:

— Извините, что, может, от дел отрываю. Приезжает Александр Серафи́мович Серафимович. Надо его встретить, а я транспортных средств не могу раздобыть. Не поможете? Да и присоединяйтесь, представительнее получится встреча.

9 Заказ 133

Мог ли я отказаться от возможности познакомиться с автором «Железного потока»? Я отложил все срочные и несрочные газетные дела и к назначенному часу был у дома Бажовых на улице Чапаева. Павел Петрович, одетый, поджидал на высоком крылечке. Мы приехали на вокзал как раз к приходу московского поезда.

Высокий старик в длинном пальто сошел со ступенек вагона и уверенно пошел навстречу Павлу Петровичу.

— Увидал вас — сразу решил, что вы и есть Бажов Павел Петрович,— добро усмехаясь, оглядывая Павла Петровича с высоты своего роста, говорил Серафимович.— Словесный портрет мне в Москве ваши знакомые нарисовали. Спасибо, что встретили,— и долго держал руку Павла Петровича, всматриваясь в его лицо.

Было это в начале 1941 года. В ту пору Серафимович приближался к восьмидесятилетнему возрасту. Но стариком его никак нельзя было назвать, просто человек преклонных лет. Держался он прямо, совершенно не сутулясь, выглядел бодро. В живости его движений было что-то от казачества. В речи — медлительной, неторопливой — интеллигентская мягкость.

В номер гостиницы был подан завтрак. Как полагается, мы выпили за приезд. Потом за здоровье Павла Петровича. Серафимович произнес маленький тост.

— Книжица ваша весьма основательная, Павел Петрович,— говорил он.— И судьба у нее будет самая добрая. Уж поверьте старому писателю и читателю. От истоков русского языка, русской народности идете. Глубокие у вас корни, на хорошей почве укоренились.

Надо было видеть, с какой предупредительностью Серафимович относился к Павлу Петровичу, ухаживая за ним на правах хозяина. Бажов улыбчиво похмыкивал, все поглаживал бороду, проводя рукой снизу от шеи.

— Не перехвалите, Александр Серафимович. Все-таки это ведь всего-то сказочки.

— Ан нет, дорогуша. Такие сказочки романа стоят!

Заговорили о том, что стоит посмотреть Серафимовичу на Урале.

— Каким временем располагаете и что вас интересует? — спросил Павел Петрович.— В каком направлении поехать: на север — это наша черная и цветная металлургия — Нижний Тагил, Кировград, Красноуральск. На юг — мои места: Сысерть, Полевское. На запад — очень рекомендую — Первоуральск: там рядом стоят старый

трубный завод и новый — молодец молодцом. Контрасты старого и нового поразительные. На восток — Каменск-Уральский — алюминщики. Это близкие поездки, а уж ежели подальше...

— Павел Петрович, это сколько времени надо! — притворно испугался Серафимович и рассмеялся.— Век с Урала не выбраться.

— Таков Урал. Что ни место — встреча старого с новым.

Все же гость, поддавшись уговорам, побывал в Ревде, где встретился с рабочими Среднеуральского медеплавильного завода и старого метизно-металлургического. Несколько его литературных встреч в Свердловске со студентами, рабочими на Уралмашзаводе, Верх-Исетском прошли с добрым успехом. Павел Петрович представлял автора «Железного потока» на этих вечерах читателям.

22 июня 1941 года. Воскресенье — первый день войны.

Писатели вечером собрались в своей маленькой комнате в Доме работников искусств, где над головами парил искусно сделанный из дерева разных пород отважный Буревестник.

Павел Петрович сидел во главе большого овального стола. Лицо сумрачное. Он, активный участник гражданской войны, конечно же, больше других понимал, какие испытания предстоят советскому народу, принявшему сегодня первый удар гитлеровского фашизма. Таким сумрачным мне видеть Бажова еще не приходилось. Помнится, из писателей тогда были А. Савчук, К. Мурзиди, И. Панов, Н. Попова, Н. Куштум, А. Исетский, К. Реут, А. Шмаков. Почти все члены немногочисленной в ту пору Свердловской организации. Некоторые из нас только что вернулись с заводских митингов, успели написать о них в «Уральский рабочий», «На смену!». Кое-кто побывал в военкомате. Двоим уже вручили повестки о призыве в армию. Им позавидовали: они уже определились. А остальные еще на распутье.

— Всем свое место найдется. Война эта — не на полгода,— пророчески сказал Павел Петрович.

И обвел всех внимательным взглядом, словно предвидя самое горькое. Да оно и случилось. Из присутствующих четверо с войны не пришли.

От газеты «Известия» я вскоре уехал военным корреспондентом в действующую армию.

Наша следующая встреча с Павлом Петровичем состоялась через год.

В июле 1942 года я приехал из армии на побывку в Свердловск. Город, в котором я прожил семь довоенных лет, поразил меня в первую очередь многолюдством. Никогда не бывало такой плотной толпы на центральных улицах, не бывали такими переполненными трамваи, кинотеатры, театральные залы, филармония. В городе «прописались» сразу два столичных театра: МХАТ и Театр Советской Армии. Сюда были эвакуированы газета «Труд», Госполитиздат, Московская 1-я образцовая типография. Масса эвакуированных москвичей, ленинградцев, украинцев. Появились десятки заводов на базе предприятий, перевезенных из центра страны на Урал. Расширились вдвое-втрое уральские заводы. Непонятно было, как и где разместилась вся эта масса людей.

В писательскую организацию влились десятки литераторов, приехавших сюда с семьями, главным образом москвичей, за ними шли ленинградцы, потом киевляне.

Несколько дней спустя после приезда я позвонил Павлу Петровичу.

Услышал знакомый тихий голос. Он поздравил с приездом, добавил:

— Буду рад вас видеть.

Вечером я отправился на знакомую улицу, в знакомый домик с высоким крылечком под козырьком.

Павел Петрович показался мне похудевшим, запали щеки. Поседела борода и вроде даже поредела. Лицо бледноватое, усталое.

— Трудно приходится, Павел Петрович? — не удержался я от вопроса.

— Не стоит об этом говорить,— сразу отвел этот разговор Бажов.— Тягости у всех одинаковые...— И тут же, не удержавшись, добавил: — Да вот беда — на немощного старика взвалили руководство писательской организацией. Ну и не справляюсь... Чувствую, что не справляюсь. А не освобождают. Ну, да не будем об этом толковать. Расскажите-ка, что повидали.

Мы сидели в тесной комнатке, выходившей окнами в сад, служившей Павлу Петровичу кабинетом и спальней. Валентина Александровна внесла на подносе знакомый дымчатый графинчик и рюмочки. На тарелках немудреная закуска тех лет: отварные картофелины, луковица, редька, капустка. Несколько тоненьких ломтиков темного хлеба.

— Редкой стала эта жидкость,— добродушно сказал Павел Петрович, наполняя рюмки.— Да хотелось вас по-русски чаркой встретить. Беседа под нее бойчее получается.

Я только что побывал в тылу врага у партизан Ленинградской области, был переполнен впечатлениями народной войны, встречами в боевых делах с народными мстителями и приехал в Свердловск с тем, чтобы, написав книгу, вернуться в армию.

О партизанском крае Ленинградской области я и рассказывал в тот вечер Павлу Петровичу.

Искреннее его внимание подогревало. Я рассказывал и рассказывал, не замечая времени. Опомнился что-то во втором часу ночи.

— Хорошо бы вам с нашими писателями встретиться,— сделал практический вывод Павел Петрович.— Вы свидетель весьма важного. Подвиг народа — это вы хорошо увидели, в живых и подлинных подробностях. Расскажите на встрече так, как сегодня рассказывали.

На мой вопрос о литературных делах самого Павла Петровича он, качнув головой, неохотно сказал:

— Что об этом толковать... Обдумываются мои сказы медленно, пишутся еще медленнее. Толкают меня со всех сторон, торопят, да проку от такой толкотни маловато.

Углубляться дальше в свои творческие дела он не стал.

Моя встреча с литераторами вскоре состоялась. Писательские собрания проходили тогда в особняке Дома партийного просвещения на площади 1905 года. Наш дом на Пушкинской улице был занят под госпиталь. Собралось много писателей. Сидели в зале Ф. В. Гладков, А. А. Караваева, О. И. Маркова, Н. Н. Ляшко, Д. Д. Осин, Е. А. Пермяк, Л. И. Скорино, Ю. Я. Хазанович и другие. Вечер вел Павел Петрович. Благодаря ему встреча не носила официального характера, а превратилась в хорошую беседу. Задавали много вопросов, расспрашивали.

В те месяцы, что я прожил в Свердловске, я часто видел Павла Петровича. Ежедневно он приходил в Дом печати, где помещалось отделение Союза писателей, отдавая свое время и силы тьме-тьмущей текущих дел. Я поражался порою терпению Павла Петровича, когда ему приходилось заниматься и никчемными делами, улаживать зачастую вздорные конфликты не в меру заносчивых людей, считавших себя в чем-то обойденными, чем-то обиженными. С перегруженностью самого старшего по возрасту пи-

сателя не очень-то считались. Ему шел шестьдесят четвертый год. Он начинал сильно прибаливать. Однако всю тяжесть забот о писательском быте возложили именно на него, всю жизнь трудно сводившего концы с концами в своей большой семье, совершенно беспомощного в практической жизни человека.

Помню такую, например, сцену. Сидит за столом, покорно склонив голову, Павел Петрович. Справа и слева от него молодые супруги, перебивая друг друга, не давая Бажову и слова молвить, жалуются, жалуются. Какие-то нелады с квартирой, с соседями, что-то с категориями карточек, что-то с платными выступлениями, что-то с неправильным к ним отношением собратьев по перу... Сцена тягостная, неприятная. Павел Петрович выдерживает пытку до конца. Поднимает голову, когда супруги уж окончательно выдохлись, даже голос сорвали, что-то тихо говорит им, находит какие-то успокаивающие слова.

Остаемся наконец вдвоем.

— Заметили? От ничтожных людей всегда шуму много,— говорит с оттенком некоторого благодушия Павел Петрович.— Бросьте на пол золотой лист, он не будет греметь, как медный.

Это не похоже на Павла Петровича. Никогда не слышал от него осудительных слов о ком-либо. Значит, даже его довели.

Большинство писателей переносили в Свердловске трудности той поры с достойной уважения выдержкой, перестроив свою жизнь, весь быт на военный лад. Многие стали в ту пору писателями-публицистами, отражая в очерках, статьях трудовой подвиг народа. Выступали перед ранеными в госпиталях. Выезжали на заводы Нижнего Тагила, Первоуральска, к горнякам Егоршина, к алюминщикам Каменска-Уральского, на север Урала, в колхозы и совхозы.

Возвращаясь из поездок (ездили обычно небольшими бригадами), писатели делились на собраниях своими впечатлениями.

Все это сложное и хлопотливое дело надо было направить, организовать. Этим и занимался Павел Петрович. Выезжал нередко и сам.

Мне довелось тем же летом 1942 года поехать в Нижний Тагил вместе с Бажовым и Гладковым.

Коллективу Уралвагонзавода, выполнявшему большие военные задания, вручали знамя Государственного Комите-

та Обороны. Павла Петровича и Федора Васильевича пригласили принять участие в общезаводском торжественном митинге.

Втроем мы прожили несколько дней в маленьком номере гостиницы «Северный Урал» в центре старого Нижнего Тагила. Распорядок установился такой: с утра в цехи Ново-Тагильского металлургического завода, Уралвагонзавода, к горнякам горы Высокой; вечером встречи с читателями в библиотеках, красных уголках, общежитиях. Возвращались в гостиницу поздно, порядком вымотанные. Федор Васильевич возил с собой два чайника: маленький для заварки, большой для кипятка. Я спускался в ресторан и там запасался кипятком. Чаепитие, со скромным ужином, с сахаром вприкуску, продолжалось долго.

Оба писателя, резко отличные в творчестве, душевно были близки. Федор Васильевич — человек трудного характера, способный раздражиться на весь вечер из-за мелочи, резко нетерпимый в спорах, был в этом полной противоположностью Павлу Петровичу. В своих литературных оценках и суждениях Гладков нередко бывал категоричен до крайности. Но оба были приверженцами русской классической литературы, особенно ее народного направления, отдавая дань восхищения таким знатокам и кудесникам народной речи, как Мельников-Печерский, Лесков. И конечно, в Нижнем Тагиле они не могли не говорить о Мамине-Сибиряке. Даже собирались поехать на родину писателя в недалекий поселок Висимо-Шайтанск. Но что-то помешало осуществить это намерение.

— Мамина не оценили в должной мере современники,— говорил Федор Васильевич.— Да и мы не очень жалуем. До сих пор не выпустили полного собрания сочинений. А в них — целая эпоха России. Он был художником яркого письма, знатоком русской речи, видевшим всю остроту социальных противоречий.

Замечу, кстати, что когда после войны в 1953 году Государственное издательство художественной литературы начало выпускать восьмитомное собрание сочинений Мамина-Сибиряка, Ф. В. Гладков написал к нему яркое предисловие, в котором выразил свое неподдельное восхищение этим русским художником слова.

Павел Петрович подходил с другого бока:

— Наши литературоведы,— говорил он,— с одной только стороны рассматривают его творчество.— И, тихонько посмеиваясь, добавлял: — Все ищут в его произве-

дениях, что Дмитрий Наркисович понял и чего не понял. Не заметил, дескать, например, приближения революции,— забывая, в какие годы он писал свои главные романы, не принимая во внимание исторические условия. А главное — о его художественной неповторимости, художественной ценности произведений забывают сказать. С косинкой глазок у них. Уж больно их социология заедает...

А когда Федор Васильевич заговаривал о бажовских сказах, Павел Петрович тушевался:

— Старое ворошу, старое. Это ведь легче, в старом-то разобраться. Виднее, что к чему становилось, что к чему прилаживалось. С горки-то оно виднее,— и тут же хитро переводил разговор на самого Федора Васильевича.— Вот вы на острие времени живете... Это посложнее, чем ворошить старое.

— Не скажите,— как его шевельнуть.

В марте 1943 года я опять уехал на фронт. В Свердловск вернулся только через пять лет.

Во главе писательской организации по-прежнему стоял Павел Петрович. Он же был редактором альманаха «Уральский современник». К этому добавлялись и другие нагрузки: депутат Верховного Совета СССР, член обкома партии. А Павел Петрович приближался к семидесятилетнему возрасту, здоровье и силы заметно убывали.

— Побольше организация стала,—сказал в первую встречу Павел Петрович, обеспокоенный творческими делами,— а все же силенок маловато. Нужно бы нам альманах почаще выпускать, но дело хлопотное, ведется на общественных началах, вот и не успеваем. Рукописи надо читать, а это для меня затруднительно по причине прогрессирующей слепоты.

Он предложил мне занять должность заместителя редактора альманаха на общественных началах, ибо никакими штатами альманах не располагал. С того времени встречи мои с Павлом Петровичем стали частыми. Мы решили приблизить альманах по регулярности выхода к журналу, выпускать его хотя бы четыре раза в год. Материала для этого было достаточно.

Наша работа строилась так. Я приезжал к Павлу Петровичу домой на улицу Чапаева обычно в вечерние часы. Рассказывал подробно содержание принятых рукописей, прочитывал отдельные куски, таким же образом шел отбор

стихотворений. Павел Петрович внимательно следил, чтобы альманах возможно шире освещал многостороннюю жизнь Урала, был бы не только литературно-художественным изданием, но и общественно-политическим, злободневным.

Такая подготовка каждого номера занимала не менее пяти вечеров. Как редактор Павел Петрович был внимательным и терпеливым. Никогда не позволял себе в чей-либо адрес резких замечаний. Для него не было писателей больших или маленьких. Уважительно относился ко всем. Я не знаю человека, обиженного Павлом Петровичем. Но были писатели, о которых он говорил с нотками нежности. К числу таких относился поэт Николай Куштум, о котором однажды Павел Петрович отозвался краткой и точной формулой, что у него хоть не такой уж большой, но свой, на особинку голос.

Послушав чьи-нибудь стихи, Павел Петрович советовал:

— Покажите их Николаю Алексеевичу. Он стихи хорошо понимает.

Николай Куштум был человеком неисчерпаемой доброты. Свердловск издавна — студенческий город, готовивший для промышленности самых разнообразных специалистов. Молодости поэзия обычно очень близка. Она-то и давала нам приток поэтов. Через душу Николая Куштума проходили тысячи поэтических строк. Он, как старатель, среди больших груд песка отыскивал блеснувшие зернышки. Студенты-поэты, получив инженерные дипломы, уезжали в ближние, а чаще дальние, вплоть до самых отдаленных восточных краев, места работы и, в большинстве случаев, быстро забывали «грехи своей молодости». Случалось, что, прожив годы деловыми людьми, порой достигнув высокого положения на производстве, они заезжали в город своей студенческой молодости и старались непременно повидаться с Куштумом. Можно было увидеть такую сцену: сидит в своем уголке кафе Николай Куштум, потягивая легкое вино, и беседует с полуседым, в годах, человеком.

Павел Петрович в подобных случаях, усмехаясь по-доброму, говорил:

— Отвадил человека от поэзии, а не обидел. Видите, и сейчас к нему тянутся. И на это талант нужен.

Таким талантом терпимости обладал и сам Павел Петрович. Авторы отвергнутых рукописей никогда не обижались на Бажова — так он умел объяснить человеку по-оте-

чески, по-доброму — что в нем самое ценное. Не всегда это было литературное призвание.

— Смотрите, как отлично вы чувствуете шахту,— говорил Бажов одному горняку.— Художественного описания у вас не получилось, но по-человечески вы очень болеете за свое дело. Это сразу видно. Вот в этом направлении и разрабатывайте свою жилу, здесь ваш талант — в вашей маркшейдерской работе. Не тратьте попусту жизнь на бесплодное занятие — писание плохих романов. Делайте главное дело, к которому у вас явный талант. Усовершенствуйте работу в шахте, будьте в этом смелы, неуступчивы. И вы добьетесь признания там, на шахте. А в литературе — что ж — вы написали хорошую докладную записку, а не повесть. И в ней сразу видно, какой вы умный инженер, какой дальновидный организатор. А художник — это дело иное. Оно не всем дано. И зачем рядиться не в свои одежды, когда есть костюмы, которые делают вас не смешным, а красивым человеком. Вот в эту точку и бейте. Здесь, на этом пласте, ваш успех и ценность. Трудно? А ведь и в настоящей литературе трудно. Трудно везде, если хочешь хоть немного улучшить жизнь. Вот вы потратили много времени и сил, написали о непорядках на шахте. Допустим, мы возьмем и издадим вашу работу. Но она никого не убедит и ничему конкретно не поможет. А если бы вы эти силы и упорство употребили для борьбы с неполадками там, на месте своей работы,— результаты были бы, несомненно, иные. Пользы больше было бы.

Много времени отнимали у Бажова депутатские обязанности. В переписке с избирателями Бажов был чрезвычайно щепетилен, не оставляя ни одного письма, ни одной просьбы без ответа. Один вечер в неделю он отводил встречам с избирателями в помещении облисполкома. Перед тем как отправиться туда, он заходил в Союз писателей. Мы к этому часу обычно собирались в своей комнате. Павел Петрович просил кого-нибудь сходить в кафе и разменять ему сторублевую бумажку на пятирублевые.

— Случается, обращаются с просьбами о мелкой помощи,— объяснил он однажды.— Приедет бывший солдат хлопотать о пенсии по военной инвалидности, а денег на обратную дорогу нет. Или же беда какая с человеком случилась, тоже выехать не может. Ну и поможешь человеку. Всякое бывает...

После окончания приема Павел Петрович непременно заходил в Союз решать всякие неотложные дела. Мы,

шутя, просили показать, сколько у него осталось от размененной сотни.

— Будет вам, ребята,— мило улыбаясь, говорил Павел Петрович.— Осталось, кое-что осталось...

Мы спускались в зал кафе и занимали столик. Обычно присутствовал Николай Куштум, Константин Мурзиди, Константин Боголюбов, Ольга Маркова, Александр Исетский. Павлу Петровичу нравились эти встречи за столом в обществе свердловских литераторов. Он, даже будучи больным, тяготился своим вынужденным домашним одиночеством, тянулся к людям. За разговорами незаметно пролетали два-три часа. Павел Петрович был душой таких вечеров. В его присутствии затевать болтовню о пустяках как-то было неприлично. Позже двое-трое из нас провожали Павла Петровича до крыльца его дома. Он мог вызвать машину из гаража облисполкома, но никогда, даже в самую скверную погоду, этим правом не пользовался. Вечера эти вошли у нас в те годы в традицию. С каким нежным, благодарным чувством вспоминаешь о них!

Теперь уж никого, кроме меня, из участников тех вечерних часов в кафе не осталось.

Была и еще одна традиция. Небольшая группа писателей получала билеты на гостевую трибуну на площади 1905 года в годовщину Октября, в майские праздники. На трибуне среди почетных гостей всегда выделялся сказочной необычностью Павел Петрович. Фотографы, кинооператоры наводили на него свои объективы.

После окончания праздничного шествия мы отправлялись на улицу Чапаева поздравить всю семью Бажовых с праздником. Дверь открывала Ридочка, всем обликом похожая на отца. В коридоре встречала всегда приветливая, с доброй улыбкой, не покидавшей ее лица, Валентина Александровна. Мы усаживались в тесной комнатке Павла Петровича, и на столе появлялся графинчик, домашние пироги,— обязательные: с рыбой, капустой, домашние грибки, домашнее разносолье. Сколько было ласки, настоящей приязни, улыбок. Казалось, что этот дом не покидает счастье, живут в нем самые доброжелательные на свете люди.

Над своими рукописями Павел Петрович работал чаще всего ночью. Днем он всегда читал. Опираясь коленом на стул, низко склонялся над книгой, водя сильной лупой по строчкам. Всякий раз он спешил поделиться каким-нибудь

открытием, обычно из истории Урала. Словно заново прочитанному, умел он радоваться и творениям классиков.

Однажды, лукаво засмеявшись, он спросил:

— Вы у Пушкина «Царя Никиту» читали?

— Не помню что-то, Павел Петрович,— не без смущения признался я.

— И не вспомните. Этого в общедоступные собрания сочинений не включают.— Он показал небольшой синий томик.— Только в академических... Коли не знаете — прочитайте-ка,— и протянул мне книгу.

Я начал читать вслух, и по мере моего чтения лицо его как бы все светлело от хитрого удовольствия.

Он начал смеяться, и мне приходилось прерывать чтение. Смеялся он с таким удовольствием, что даже вынимал платок и протирал глаза.

— Чувствуете, с каким милым озорством написано! А ведь это от народа идет. Так парни где-нибудь летним вечерком такие вот небылицы сочиняли — от радости жизни, от ощущения полноты ее, здоровья, силы.

В конце сороковых годов маршал Г. К. Жуков получил новое назначение — командующим Уральским военным округом, и поселился в Свердловске.

И вот — удивительно, но так это и было — он как-то сразу сблизился с Павлом Петровичем. Мы быстро привыкли, что на общегородских собраниях, на всяких торжественных заседаниях, в дни работы городских и областных партийных конференций Г. К. Жуков и П. П. Бажов сидели в президиуме рядом. И место за столом им словно было предусмотрено постоянное — самое крайнее от трибуны для выступающих. Сидя за столом, невысокий Жуков казался очень большим и широким, Бажов рядом выглядел как-то ниже ростом, но удивительно красивым своей выразительной бородой, сократовским лбом. Они оба были красивыми большой, человечески значительной красотой. Они наклонялись друг к другу, о чем-то перешептывались. Улыбались. В перерывах выходили вместе и опять усаживались рядом в укромном уголке, о чем-то переговариваясь, пока звонок не приглашал занять места.

При очередных выборах в Верховный Совет СССР Бажов совершал тяжелую в зимнюю непогоду продолжительную поездку по дальним избирательным участкам своего большого Красноуфимского округа.

Два дня спустя после его возвращения из Красноуфимска я пришел навестить Павла Петровича, чувствовавшего себя не совсем здоровым,— кстати и решить всякие неотложные дела.

Мы только выпили по крошечной рюмочке, когда в дверь заглянула Валентина Александровна.

— Георгий Константинович к тебе,— сказала она.

Павел Петрович, просияв всем лицом, поспешно направился, мягко ступая ногами, обутыми в валенки, в небольшую переднюю, где Георгий Константинович уже снимал с себя маршальскую шинель.

— Еду мимо,— заговорил он густым голосом,— вижу, окна светятся. Ну и осмелился на огонек заглянуть, осведомиться, как себя чувствуете после поездки. Не помешал?

Войдя в комнату, он окинул взглядом стол, прищурился и сказал по-домашнему:

— Доброе дело... Может и третья рюмочка найдется?

Выпил как-то очень вкусно, полузакрыв от удовольствия глаза, даже причмокнул. И стал расспрашивать Павла Петровича, как прошли его встречи с избирателями. В свою очередь и Павел Петрович поинтересовался впечатлениями Жукова от поездки.

— С военными людьми привык общаться,— медленно заговорил Георгий Константинович,— а тут вплотную с рабочими, колхозниками, женщинами. И не передать, как волнительно все получилось. На каждом собрании обязательно встречались бывшие солдаты, с которыми на разных фронтах вместе бывали.— Он помолчал.— Много инвалидов, много... А солдатских вдов... Войной пахнуло, народным горем, будто вчера все это было. Знал, что большие потери мы понесли. Но это разумом, а вот сердцем сейчас почувствовал. Но как говорят! Прекрасным языком, Павел Петрович!

Жуков не вдавался в особые подробности поездки. Умолчал он о том поистине народном празднике, каким стали его встречи для всех избирателей. Они происходили в разгар зимы. Выдалась она в том году на Урале особенно суровой, напоминая военную зиму 1941 года. Известны были маршруты поездки Г. К. Жукова по округу. Жители сел и деревень с утра выходили на заснеженные узкие дороги и ждали проезда маршала. Вереницы людей! Плечом к плечу. В домах культуры, сельских клубах, часто нетопленных, школах избиратели собирались с утра, занимая места поближе к сцене, хотя порой встречи происходили ве-

чером. Так выражалась любовь народа к своему замечательному полководцу.

— Мы с вами, Павел Петрович, люди пожилые,— говорил Жуков,— нам как-то виднее все самое хорошее в народе.

— Вы-то еще молоды, если со мной счет вести,— обронил Павел Петрович.

— В такой-то поре мы с вами почти одногодки,— возразил Жуков.— Обоим нам многое пришлось повидать, многому поучиться... Добрые мысли нахожу в ваших сказах. Ведь я вашу сказочку порой возьму и на ночь почитаю. Прочту и глаза закрою.

— Неужто ко сну преклоняет,— засмеялся Бажов.

— К хорошему...

Я не могу в точности передать всего разговора, полного полунамеков, понятных обоим и не понятных мне, улыбок, колючих искорок смеха. Несколько раз Георгий Константинович ласково накрывал своей большою ладонью маленькую руку Бажова.

Г. К. Жуков пробыл у Бажова с полчаса и, извинившись, что больше не может задерживаться, со всеми распрощался.

Павел Петрович долго не мог вернуться к прерванному разговору. Задумался, вздохнул.

— Эпическая фигура...— только и сказал.

...Это самое тяжелое в моих воспоминаниях о Павле Петровиче.

Свердловский вокзал. На перроне Павел Петрович, неизменная его спутница Валентина Александровна. Нас, провожающих, немного — К. Мурзиди, Ю. Хазанович и я. Холодно. Ветер несет по перрону легкую снежную пыль. Павел Петрович стоит возле дверей своего вагона. Лицо под низко надвинутой на глаза шапкой грустное. Говорим о каких-то пустяках, пытаемся даже шутить.

Мы начинаем прощаться. Павел Петрович со всеми целуется, поднимается на первую ступеньку, задерживается, оборачивается к нам и вдруг чуть слышно, только для троих, говорит:

— Ребята! Ведь я в Москву еду умирать,— и поднимается в вагон.

Его лицо появляется в широком окне. Оно словно врезано в рамку. Словно портрет.

Поезд трогается. Павел Петрович не отходит от окна, смотрит на нас.

Мы идем рядом с вагоном, медленно набирающим скорость, машем руками. Павел Петрович ответно поднимает руку. Последний жест!

Простились...

Потом пришел тот вьюжный и пронзительно морозный декабрьский поздний вечер, когда из хвостового вагона мы выносили гроб с Павлом Петровичем, потом были похороны, всенародные проводы писателя к месту его последнего успокоения.

Снова я в доме Павла Петровича. Поминки... Народу немного. Члены семьи, родственники, несколько свердловских писателей, представители Союза писателей из Москвы — В. Кожевников, М. Котов, П. Нилин. Еще не могу осознать, что хозяина этого дома нет в живых.

Кто-то вызывает Валентину Александровну. Она быстро возвращается и говорит:

— Георгий Константинович приехал.

Входит неторопливо Жуков. Мы его видели на кладбище. Он опускал гробовую крышку, прощаясь с Павлом Петровичем. Жукову освобождают место рядом с Валентиной Александровной. Он выпивает поминальную рюмку, берет руку Валентины Александровны и почтительно целует ее.

— Понимаю ваше горе, Валентина Александровна,— тихо говорит он.— Но мужайтесь. У всякого свой час.

Валентина Александровна, стойко державшаяся этот долгий трудный день, вечер, ухаживая за теми, кто пришел на поминки, только сейчас заплакала...

Б. Рябинин

«ГОВОРИТ УРАЛ»

С конца лета 1941 года потянулись на Урал эшелоны с эвакуированными. Все многолюднее становилось и в нашем отделении Союза писателей.

Одной из первых, кажется еще в августе, приехала из Киева известная украинская детская писательница Оксана Иваненко. Муж ее пропал без вести на фронте, в Киеве остались квартира, библиотека, все имущество; но эта маленькая, всегда приветливая, с мягкой располагающей улыбкой и лучезарными голубыми глазами женщина была мужественна, не теряла бодрости, уверенности в завтрашнем дне, работоспособности. Первой из эвакуированных литераторов она сдала в местное издательство написанную уже в Свердловске книжку рассказов для детей «Виктуар» и другую, название которой я уже не помню.

«Муж ее, конечно, погиб»,— говорили между собой писатели, знавшие ситуацию на фронте, но в глаза всячески старались поддержать надежду в то, что он вернется. Это были дни тяжких потерь, а муж Оксаны Дмитриевны был политруком и попал, что говорится, в самое пекло. Писатели, члены ВКП(б), избрали коммунистку Иваненко секретарем партийной организации Свердловского отделения СП (позднее ее на этом посту сменил П. П. Бажов).

Из Ленинграда приехали один из зачинателей советской поэзии Илья Садофьев, Ольга Форш, профессор-доктор, исследователь истории отечественной техники, принятый в Свердловске в члены Союза писателей, В. В. Данилевский, ряд других товарищей. Появились литераторы из Одессы, Харькова. Оправившись немного от пережитых потрясений, одесситы вскоре перекочевали в другой город, поближе к теплу. В Свердловске задержался лишь Н. Бокк.

Но наиболее многолюдный поток приезжих хлынул в октябре из Москвы. Ленинградцы избрали центром эвакуации Пермь. Там сосредоточилось больше всего писателей с берегов Невы. В Перми же обосновался знаменитый театр имени Кирова — колыбель русского классического балета. Свердловск стал основным пристанищем для москвичей.

Приехали Анна Караваева, Мариэтта Шагинян, Федор Гладков, Лев Кассиль, Борис Ромашов с женой, Агния Барто со своим семейством, автор романа «Иностранный легион» Виктор Финк (тоже со своими «Финками»), пушкинист, автор «Записок д'Аршиака», профессор Л. П. Гроссман, один из последних «символистов» и старейших поэтов страны Юрий Никандрович Верховский, профессор Н. К. Гудзий, поэтессы Ольга Высотская, Вера Звягинцева, критик и литературовед Л. И. Скорино, автор русского текста «Интернационала» поэт Аркадий Коц. Несколько позднее появился один из старейших писателей Н. Н. Ляшко. Какое-то время жила в Свердловске М. Д. Марич, автор романа о декабристах «Северное сияние».

Помнятся также семья драматурга Н. Мерцальского, минский писатель и скромнейший душевный человек Феодосий Шинклер. Из поколения старейших колоритной фигурой был Н. Чаговец, современник и друг В. Г. Короленко, державшийся очень авторитетно, когда дело касалось литературы, да, пожалуй, не только литературы. В Свердловске находилась и дочь Короленко — хранительница музея Короленко в Полтаве.

Из литераторов менее известных, к этому списку находящихся на обеспечении Союза писателей, должны быть добавлены Сусанна Люм — автор книги «Записки директора», написанной на материалах биографии тогдашнего директора Верх-Исетского завода (работать они начали, если не изменяет мне память, еще до войны), молодая поэтесса Агния Кузнецова и немало других.

Показался и тут же исчез Лев Славин. Спустя годы выяснится, что он был единственным специальным корреспондентом «Красной звезды», которому в тот неимоверно трудный период был предоставлен редакцией отпуск сроком на десять дней — отпуск вынужденный, для поправки здоровья: как свидетельствует генерал-майор Д. И. Ортенберг [1], уж больно был худ, изможден донельзя, «со впалыми щеками, с синевой под глазами» спецкор газеты на Ленинградском фронте! По выражению Славина, в Свердловске было «тоже не жирно», но свидание с семьей — великая радость; помимо того, за неделю передыш-

---

[1] Генерал-майор Д. И. Ортенберг в годы Великой Отечественной войны был главным редактором газеты «Красная звезда». О Славине он вспоминает в своей книге «Время не властно».

ки, проведенной в Свердловске, Славин успел набросать повесть «Два бойца» (дописывал уже в поезде, по дороге к Ленинграду), легшую потом в основу одноименного кинофильма с Марком Бернесом и Борисом Андреевым в главных ролях. Еще мелькнул на уральском горизонте и тут же исчез журналист Л. Хват, весьма популярный и часто печатавшийся в предвоенные годы в «Известиях», с огромным журналистским опытом и уверенной хваткой (не отсюда ли и фамилия?).

Конечно, столичные писатели бывали на Урале и раньше. Незадолго до войны в Свердловск приезжали С. Михалков, К. Симонов и критик Роскин. Помню остроумную живую беседу за круглым столом в библиотеке Дома литературы и искусства. Ненароком Клавдия Васильевна Рождественская опрокинула стакан с чаем и, вспыхнув, стала неловко извиняться, а кто-то из гостей тут же сострил, что это уже похоже на диверсионный акт... Прозвучало как намек на то, что война уже бушует в Европе. О войне напоминало и полувоенное одеяние Михалкова и Симонова. В марте сорок первого в Свердловске побывал творец «Железного потока» — А. С. Серафимович. Он навестил Бажова в его уютном доме на улице Чапаева (Бажов встречал гостя на вокзале). Но мог ли кто-нибудь тогда предполагать, что в годину всенародных бедствий Свердловск и Урал станут средоточием крупных литературных сил.

В короткий срок Свердловское отделение выросло до семидесяти членов Союза — цифра неслыханная за всю историю литературной организации на Урале (если не считать 700 «добровольцев», зачисленных одно время — в тридцатых годах — по рапповскому «призыву в литературу», в писатели. Всякое бывало...).

Мы, коренные уральцы, на первых порах совсем было затерялись в говорливой, энергичной, высокоэрудированной и предприимчивой массе известных всей стране литераторов, их жен и родственников. Но так было сравнительно недолго. Между местными и приезжими писателями установился дружеский контакт, и весь период эвакуации, вплоть до отъезда товарищей назад, мы работали в тесной творческой близости, постоянно чувствуя взаимную поддержку.

По разговорам и виду некоторых приезжих можно было сделать заключение, что они собрались не ближе чем на Северный полюс! Свердловск многим, видимо, представлялся ужасно как далеким, холодным, глухим городом,

чуть ли не с белыми медведями на улицах. (По этому поводу мы потом шутили: москвичам — если дальше Мытищ, то уже глухая Сибирь!) Но когда поостыли страсти эвакуации, все немного обжились и попривыкли, насколько это было вообще возможно в тех условиях,— настроение изменилось. Народ языкастый, язвительный, знающий цену хорошей шутке, писатели порой не прочь позубоскалить, направить стрелы иронии и в свой собственный адрес...

Успехом пользовалась шутка: столичные товарищи, добравшиеся до Ташкента (там был центр эвакуации кинодеятелей), шлют телеграмму в Москву: «Товарищ Сталин, мы заняли Ташкент. Если прикажете, двинемся дальше!» А почему бы и нам не отрапортовать: «Мы заняли Урал...»?

Не знаю, у кого возникла идея создать «Литературный центр на Урале», сиречь в Свердловске. На сей счет ходили разные толки. Помнится, особую активность проявил Евгений Пермяк. Всю жизнь считающий себя уральцем (он постоянно подчеркивал свою близость к Уралу), он и стал ответственным секретарем «Литературного центра на Урале».

Гитлер трубил о разгроме и полной деморализации, разложении советской державы, о том, что всякая нормальная деятельность в советском тылу замерла, советская культура разваливается, что в Советском Союзе хаос и паника и ни о какой интеллектуальной жизни не может быть и речи. «Литературный центр на Урале» явился как бы ответом на эти наглые заявления зарвавшегося врага. Были даже отпечатаны специальные бланки, выглядевшие по тем временам весьма пышно.

В конце октября или в ноябре — точно теперь уж не помню — проездом в Свердловске побывал А. А. Фадеев. Выглядел он по-походному: в шинели с двумя ромбами в петлицах, с заветренным красным лицом. Задержался в городе недолго, однако успел поговорить с товарищами, ознакомиться с деятельностью писательской организации. И он сказал: зачем выдумывать какие-то новые названия? Есть Союз советских писателей, есть Свердловское отделение, и они должны работать, как работали прежде. Вернее, вдвое активней, чем до войны. Разве Московскую организацию кто-нибудь распускал? А Свердловскую? Решительный тон Фадеева и строгое армейское облачение, сочетание твердости с приветливой улыбкой импонировали,

и вообще он воспринимался как посланец ЦК, а слова его — как мнение высшего руководства.

Правда, на предложение встретиться с общественностью Александр Александрович ответил с иронической усмешкой: «Драпать от Москвы до Урала да еще встречаться. Нет уж...» (Хотя он отнюдь не «драпал», и никто не «драпал» — эвакуация шла планомерно, насколько это было вообще возможно в условиях стремительно накатывающихся событий.) Тем не менее встреча такая все же состоялась.

Фадеев, как мы узнали потом, ночевал в семье Форш, в единственной переполненной комнате, вместе со всеми, на полу. Они дружили, и Форш он отдал большую часть своего «уральского» времени.

Позднее, 1 января 1942 года в газете «Литература и искусство» (объединенные ввиду трудностей военного времени «Литературная газета» и «Советское искусство») Фадеев напишет:

«Сохраняя кадры искусства, правительство эвакуировало в глубокие районы страны лучшие наши театры, киностудии, столичные организации писателей, художников, композиторов... Война не вечна. Враг будет разбит. Придет время, когда мы будем строить нашу жизнь дальше... Работники искусств должны все свои знания и таланты, весь жар сердца своего отдать делу победы над врагом».

Но создать хотя бы самые минимальные условия для творчества было не так-то просто.

Союз тогда ютился (постоянное помещение — Дом работников искусств по Пушкинской улице — было занято под госпиталь) в небольшой комнатенке, приткнувшейся к лестничной площадке в Доме печати, в одном коридоре с Свердлгизом. Здесь всегда толклись люди, было шумно, накурено. Здесь проходили собрания, причем те, кому не хватало места в комнате, стояли в коридоре и на лестнице. Здесь же некоторое время работал буфет. Торговлю в нем вели писательские жены — Александра Александровна Ромашова и Эсфирь Яковлевна Финк. Потом для буфета было отвоевано место где-то на чердаке, куда приходилось попадать по узкой боковой лестничке.

Наш литфонд — К. В. Филиппова — не справлялся с возросшими обязанностями. Потребовалось создать специальную комиссию, которая и взвалила на себя все бремя забот по бытовому устройству писателей и их семей. Филиппова тревожилась о сохранности имущества бывшей

писательской дачи в Шарташе. После того как дачу передали военным — для выздоравливающих и долечивающихся раненых, часть имущества, вплоть до портьер и зеркал, хранилась дома у Филипповой, и Клавдию Владимировну, человека честнейшего и обязательного, естественно, страшно волновал вопрос: не потерялось бы чего.

Однако вскоре эти и подобные им заботы отошли на второй план перед лицом более крупных неприятностей.

Острая нужда в жилье (эвакуированные все прибывали) вынудила местные власти решиться на крайние меры.

Однажды в мою небольшую квартирку по Пролетарской улице явилась комиссия из двух человек. Выспросив о составе семьи, о занимаемой площади, они как бы невзначай осведомились:

— Где работаете?

Недопоняв моего ответа или, быть может, думая, что недослышал (почему-то писательский труд и по сей день вызывает у некоторых удивление: как так — человек сидит дома, бирку нигде не вешает, в книге прихода и ухода отмечаться не надо?!), один из посетителей постарался уточнить:

— А с производством вы с каким-нибудь связаны? На работу ходите?

— Да вот же мое место работы,— показал я на письменный стол.

— Выходит, никуда ходить не надо?

— Выходит — нет.

Переглянувшись, они что-то записали и ушли.

А через несколько дней я получил извещение: в двадцать четыре часа освободить занимаемую площадь и переехать на жительство в район. (Кажется, в Сысерть или Камышлов,— запамятовал.) Точно такие же предписания получили мои соседи по дому.

Решив, что это какое-то недоразумение, я обратился за разъяснением в милицию. Однако там выяснилось, что никакого недоразумения нет, многим жителям города — коренным свердловчанам, не связанным с оборонным производством, вручены такие повестки.

Я метнулся в Союз, из Союза — на квартиру к Анне Александровне Караваевой, введенной в состав правления Свердловского отделения и активно вникавшей во все писательские дела.

— Сейчас я позвоню Николаеву,— успокоительно сказала Анна Александровна, узнав о случившемся.

Николаев был начальником областного управления милиции, и Анна Александровна уже однажды обращалась к нему насчет прописки приехавших товарищей.

Николаев оказался у телефона. Поздоровавшись как со старым знакомым, Анна Александровна начала разговор в свойственном ей любезном тоне, в полной уверенности, что собеседник поймет ее с полуслова и «ошибка» будет исправлена немедленно.

Внезапно она замолчала.

— Как всех? — переспросила она недоуменно. Лицо ее вытянулось. Разговор закончился.

— Он говорит,— смущенно пояснила она, не глядя на меня,— что это не ошибка, они будут переселять всех писателей. Всю писательскую организацию. Не все ли равно, где писателю сидеть и писать — в Свердловске или в Верх-Нейвинске? Были бы бумага и чернила!..

Положение осложнялось. Поспешили к Бажову. Его, как председателя правления и старейшину нашего коллектива, старались беспокоить как можно меньше, но получалось, что он все равно оказывался в курсе всех дел и принужден был заниматься каждой мелочью.

История затянулась на несколько дней. Только после визита в обком Бажова, Караваевой и Гладкова вопрос наконец был улажен. Союз писателей остался в Свердловске.

Чтобы до конца понять этот инцидент, нужно вспомнить: в городе буквально не оставалось места для мыши. Жили в подвалах, сараях, дровяниках. На сцене театра юного зрителя работали станки, в цех превратился и клуб «Профинтерн» (Дворец культуры имени Свердлова), в здании Уральского индустриального (ныне политехнического) института размещалось три завода; завод въехал в помещение университета на улице 8 Марта. В первую очередь требовалось разместить крупные предприятия (а на оборону тогда работали все, даже самые «мирные»), их выгружали, и тут же с ходу они разворачивали производство — в старых бараках, в недостроенных помещениях, зачастую под открытым небом, несмотря на приближение зимы. А эшелоны с людьми, оборудованием целых заводов, материалами, нередко с простреленными и разбитыми вагонами все шли и шли...

Поэтому, повторяю, властям и пришлось пойти на такую тяжелую меру, как переселение части коренных жителей — свердловчан в районы и сельскую местность.

Трудности были не только с питанием и жильем. Жесткий лимит был введен на пользование электроэнергией. Значит, не посидишь ночью (да и вечером), не поработаешь (а известно, что писатели в большинстве — ночные деятели, «совы»). Многие работали вне дома — в библиотеке, в зале Дома партпросвещения. (Потом писателям лимит на электроэнергию был прибавлен.)

Надо сказать, что многим из литературной братии в эту пору пришлось туго. Все издательские планы полетели к черту, производство бумаги резко сократилось, многие издания прикрылись, возможности печатания упали почти до нуля. Как говорится, предложение намного превысило спрос.

Рухнули и мои личные планы. Почти целый год перед тем я сидел над приключенческой повестью «Подарок Будды». С нового, 1941 года ее начал печатать журнал «Техника — смене» (выходивший в Свердловске). Повесть собиралось издать отдельной книгой Свердловское издательство. С июля журнал перестал выходить. Естественно, отказалось от своего первоначального намерения и издательство.

Легла в нижний ящик стола и другая рукопись — об уральском революционере-большевике Антоне Валеке. Правда, издательство сделало попытку вернуться к ней: директор издательства Копытов позвонил мне по телефону и предложил принести написанное — ведь там присутствовала тема защиты социалистического отечества. Однако в рукописи действовали белочехи, они арестовали Антона Валека. А Чехословакия сама стонала сейчас под фашистским ярмом. Кроме того, спустя немного на территории Советского Союза начали формироваться чехословацкие национальные части. Момент для того, чтоб ворошить прошлое, был неподходящий. С мыслью опубликовать книгу о Валеке пришлось расстаться.

На неопределенный срок отложились заготовки и третьей вещи — «Укротитель леопардов», в которую я также вложил уже немало труда.

Заслуженный артист республики А. Н. Александров-Федотов — укротитель леопардов — накануне войны гастролировал со своими грозными питомцами в Свердловске. Леопард — редкая фигура на арене цирка, работа Александрова вызывала большой интерес. Почти неделю мы сидели с ним со стенографисткой, Александр Николаевич рассказывал, отвечая на мои вопросы,— и тут же все запи-

сывалось. Кончили 21 июня. А 22-го, в воскресенье, в саду имени Вайнера мы распростились, пожали друг другу руки, и — навсегда. Стало не до леопардов.

В общем, все задуманное разлетелось прахом. Но что это было в сравнении с теми потерями, которые понесла страна!..

Издательство вознамерилось было создать коллективный очерковый сборник «Героика будней», посвященный труду уральцев в тылу. Подготовили ряд материалов. Однако скоро стало ясно: события летят так быстро, что угнаться за ними нет никакой возможности. Сборник засох на корню.

Многих из пишущих в те бедственные месяцы выручало радио. Радио — «газета без расстояний» — работало с полной нагрузкой, оно нуждалось в непрерывном потоке свежих литературных материалов, написанных на животрепещущие темы дня.

Особенно удачно, на мой взгляд, делались передачи для детей. Живая, приветливая, Евгения Александровна Лаговская — опытный московский редактор — умела привлечь авторский актив. По ее предложению я ежемесячно писал по коротенькому рассказу, из которых со временем составился небольшой сборничек. Мизерный гонорар от этих рассказов был в течение первых военных месяцев единственным заработком...

Постепенно, однако, начала налаживаться издательская деятельность. В Свердловск перебрались центральные издательства — Госполитиздат, Профиздат. Профиздат — издательство ВЦСПС, призванное создавать литературу о рабочих и для рабочих,— предприняло выпуск серии небольших очерковых книжечек под общим названием «Бойцы трудового фронта». В Профиздате активно сотрудничала М. С. Шагинян. В этой же серии, уже в начале сорок второго года, вышла моя первая книжка о героях тыла «Плавильщик Степайкин», написанная на материале Пышминского медеэлектролитного завода; вслед за тем другая — «Приказ выполнен» — о людях и делах Первоуральского новотрубного.

Писательницы старшего поколения — Анна Александровна Караваева и Мариэтта Сергеевна Шагинян, обе коммунистки, показывали образец писательской самоотверженности, пример того, как надо вторгаться в жизнь, жить единой жизнью с народом, испытывавшим неслыханные трудности и лишения. Обе уже в годах, Анна Алек-

сандровна, кроме того, женщина «сырая», постоянно жаловалась на сердце, Мариэтта Сергеевна — с неполноценным слухом (что, однако, ничуть не затрудняло ее общение с людьми), они проявляли поразительную подвижность, мобильность и ненасытную жадность к познанию окружающего. Обе были корреспондентами центральных газет: одна «Известий», другая — «Правды», и, кажется, не осталось ни одного крупного завода, где бы они не побывали.

«Как талантлив советский народ, какое упорство! Какие великолепные человеческие характеры сформировались за советские годы! — восклицала Караваева, вернувшись из очередной поездки по области [1].— Побудешь в цеху, на шахте, и тебя словно живой водой окропило, забываешь собственные беды и горести. Глядишь на иную работницу — сразу поймешь: дома, как у всех нас, детишки, заботы: постирать, накормить да добыть продукты — не простое дело, хорошо, у кого огородик или две сотки в пригороде... Но вот стоит у станка — лицо умное, волевое, в руках сноровка, понимает, что делает, с фашизмом воюет сознательно. Это новые женщины, новые характеры. Невольно задумаешься над тем историческим путем, какой все мы прошли».

Мариэтта Шагинян поспевала всюду. Писала о заводских буднях. Завязала дружбу с танкистами одной из воинских частей, формировавшихся на территории Уральского военного округа (даже ездила в танке). В колхозе «Заря» Ачитского района Свердловской области ее увлекла идея сельской электрификации, и она написала взволнованный очерк о далеко идущих планах и раздумьях новатора-председателя Александра Порфирьевича Тернова. Шагинян же, кажется, первой из «маститых» напечатала горячий отклик на «Седьмую симфонию» Шостаковича. Когда в Свердловске проходила юбилейная сессия Академии наук СССР, Мариэтта Сергеевна неотлучно находилась там, в окружном Доме офицеров, и после этого из-под ее пера вышел цикл очерков-портретов передовых людей советской науки. Она, в отличие от иных приезжих, восхищалась Свердловском, и в частности центральной магистралью города — улицей Ленина, по которой, как она говорила, можно шагать без конца. Это с ее легкой руки Свердловск стали называть «городом легкого дыхания».

[1] Передаю ее слова в изложении Л. И. Скорино, с которой Анна Александровна делилась своими впечатлениями.

Вряд ли можно осуждать тех из эвакуированных, кому не нравился Свердловск: уж очень непроста была жизнь; но кто понял все сердцем, не только умом, думается, надолго сохранил о Свердловске и его коренных жителях-уральцах теплые воспоминания.

Мариэтта Сергеевна привезла в Свердловск свои дневники, которые вела на протяжении всей жизни,— величайшее свое сокровище (не помню уж, тридцать или триста толстых тетрадей,— словом, что-то очень много!) и систематически заполняла очередные страницы.

Когда Пермяка, жившего по соседству с Шагинян в номере гостиницы «Большой Урал», спрашивали, что делает Мариэтта Сергеевна, он со своим неподражаемым юмором серьезно отвечал:

— Как что? Сидит в одной рубахе, босая и пишет.

И действительно, в работе Мариэтта Сергеевна забывала про еду, сон, про обычные житейские потребности.

Форш (в Свердловске) писала про Шагинян: «Ей глухота, верно, впервые оказала услугу. Она, сестра, дочь в одной комнате. Мирэль родила носатую девочку тут же, но Мариэтта крика девочки не слышит и пишет на курьерских».

Лишь однажды недостаток слуха подвел Шагинян: побывав в волочильном цехе Первоуральского новотрубного, она писала: металл кричит, скрежещет, протестует, когда его обрабатывают. Но труба почти беззвучно идет через кольцо, если металл «закричит», она сразу порвется, производство (волочение) прекратится. Художественное воображение нарисовало то, чего не могло быть в действительности. Впрочем, наверное, ни у кого не хватило духу сказать об этом Мариэтте Сергеевне: как правило, все ее наблюдения были точны и поразительно верны.

Как итог уральских впечатлений у Шагинян родился оригинальный по конструкции и острый по наблюдениям публицистический труд «Урал в обороне». Наблюдения и замыслы Караваевой вылились в сборник документальных повестей «Богатыри уральской стали».

Для меня, молодого тогда литератора, было большой честью, что в газете «Литература и искусство», в статье Л. Скорино «Рассказы о современниках», рядом с очерками Караваевой упоминалась и моя только что вышедшая книга «Месть Дмитрия Бóсого» — о знаменитом фрезеровщике-тысячнике, зачинателе движения передовиков производства, дававших до тысячи и более процентов нормы

(отсюда и «тысячники»; не те тысячники, что в старину чванились, потрясая толстой мошной, а люди труда, сознательные советские люди, творившие в трудное для страны время за своими станками истинные чудеса производительности). Книгу я написал по предложению Свердловского издательства.

Дорогая деталь. Федор Васильевич Гладков был неулыбчив, держался подчеркнуто строго и не очень общительно, но, узнав о готовящейся книге о Бо́сом, сам пожелал ознакомиться с нею, быстро прочитал и, возвращая, сопроводил рукопись коротенькой запиской: «Б. Рябинин. Месть Дмитрия Босого. Очень хорошая и очень нужная книга. Нужно издать молнией. Ф. Гладков».

Вообще творческая активность большинства писателей была весьма высокой. От прозаиков не отставали поэты — и местные, и приезжие. Систематически публиковали новые стихи, посвященные всенародной борьбе с врагом, Константин Мурзиди, Агния Барто.

Вместе с Константином Мурзиди мы совершили памятную поездку в Нижний Тагил на завод, который один делал танков больше, чем вся Англия. Итогом этой поездки у Мурзиди явились не только стихи, но и повесть, первый опыт поэта в жанре прозы [1].

Агнии Барто принадлежали популярные строки «уральцы бьются здорово, им сил своих не жаль», в короткий срок ставшие крылатыми, ее стихи звучали и в рапортах уральцев Центральному Комитету партии и Советскому правительству. Барто часто бывала в детских домах, в эвакопунктах, куда свозили эвакуированных детей-сирот, в ремесленных училищах; все это оставляло неизгладимые впечатления. Вероятно, именно тогда в сердце поэтессы поселилась острая тревога за судьбу малолетних наших граждан, за подрастающее в суровую пору поколе-

---

[1] Повесть «У орлиной горы» вышла уже после войны. Помню, на обсуждении ее в Союзе писателей автора упрекали в том, что многое он «выдумал». В доказательство приводился пример: колхозницы-мордовки, в годы войны завербованные для работы на заводе, впервые оказавшись в горячем цехе и увидев полыхающее из печей пламя, падают ниц... А ведь эту сцену мы видели воочию, я свидетель тому. Мурзиди описал ее с натуры. Вероятно, все дело в том, что поэту достаточно одной детали, одного, иногда даже случайного, наблюдения, чтобы создать образ; прозаик обязан «вживаться» в задуманное, «вживаться» порой подолгу и тяжело, тут требуется иной подход и иное мастерство, другое, я бы сказал, понимание своей задачи.

ние, что предопределяло ее будущую активную благородную деятельность — помощь детям в розыске родителей, утерянных в военные годы.

Со временем Барто — президент Ассоциации литературы и искусства для детей Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами напишет:

«Подросток... С этим словом часто ставят рядом слова — «трудный возраст». А мне довелось наблюдать этот трудный возраст в трудное время, и проявляли себя подростки удивительно самоотверженно. Это было на Урале в первые годы войны. Из окрестных деревень с самодельными сундучками в руках приходили подростки в ремесленные училища, на заводы, вставали к станкам вместо отцов и работали с полной отдачей сил. Что вело их сюда, что звало? Не побоюсь громких слов: их приводило высоконравственное чувство гражданственности, патриотизма, пусть неосознанного. Конечно, эти чувства постоянно, неизменно должны владеть умом и душой подростков. И тут за многое в ответе литература для них». Верно, верно. Барто сказала это за многих.

Другой любимец детворы, Лев Кассиль, приезжал и снова уезжал в Подмосковье, в прифронтовую полосу (семья его оставалась в Свердловске). Кажется, он одним из первых выступил сперва перед братьями-писателями, а потом в большой аудитории с чтением произведений, написанных по свежим следам войны.

Неутомимо собирал материалы по истории уральской техники В. В. Данилевский, человек необычайного трудолюбия и поразительного «нюха», передвигавшийся на своей одной ноге быстрее иного здорового.

Но были такие (правда, их было ничтожное меньшинство), которые предпочитали брюзжать, ныть, недовольные всем и вся, озабоченные больше всего тем, как бы отсидеться, переждать грозу. Для тех плохи были и Урал, и Свердловск, да, вероятно, и все мы, уроженцы края. Не стоит называть их. Они сами наказали себя: спрятавшись от жизни, обворовывали себя, свое творчество. А отрыв от действительности всегда жестоко мстит литератору.

Большим литературным вечером в помещении театра оперы и балета имени Луначарского открылся цикл писательских выступлений перед уральцами, организованных Союзом. На афише значилось 25 фамилий — приезжих и

свердловчан. Здесь были все ведущие писатели, проживавшие в то время в Свердловске, а также юмористы, специалисты эстрады Ардов, Арго. На долю последних, пожалуй, выпал наибольший успех. Как всегда, отлично выступил Ромашов. Участвовала и литературная молодежь. Зал был переполнен. Вечер был платным. Весь сбор поступил в фонд обороны.

Позднее подобные вечера состоялись в помещении театра музыкальной комедии, в клубе имени Дзержинского, в зале филармонии. Сборы отчислялись на постройку танковых колонн «Работники печати», «Свердловец». Некоторые вечера шли совместно с лучшими артистическими силами города. На афише в этом случае стояло: «Писатели и мастера искусств — фронту».

При Союзе создали специальное бюро по выступлениям, прообраз нынешнего Бюро пропаганды художественной литературы. Руководил им Е. Я. Берлинраут. Писатели все чаще стали выезжать в другие города и рабочие поселки Урала.

Как дорогие реликвии, я храню простенькие, на плохонькой бумаге, пригласительные билеты:

«Уважаемый товарищ! Райпрофсож Камышловского отделения ж. д. приглашает Вас на литературный вечер...»

«Уважаемый товарищ! Н-Тагильский горком ВКП(б) и Свердловское отделение Союза советских писателей СССР приглашают Вас на литературную конференцию...»

А ведь было это в тяжелейшую пору войны!

Выступали в учебных заведениях, в кино. Как-то в моем присутствии Берлинраут договаривался о выступлении в кино с Виктором Григорьевичем Финком. Ефим Яковлевич соблазнял крупной ставкой гонорара (по ценам того времени на этот «крупный» гонорар можно было купить на рынке лишь полкило растительного масла). Выслушав, Виктор Григорьевич — большой острослов — без тени улыбки осведомился:

— А за позор?

Выступать перед сеансами в кино с чтением своих произведений было действительно мукой. Народу много, толчея; однако утверждать, что слушали плохо, было бы неверно.

Следует, однако, отметить, что на платные выступления соглашались далеко не все. Некоторые, как Гладков, Бажов, вообще отказывались брать деньги за встречи с читателями.

И конечно же, шефскими были встречи в госпиталях, в воинских частях, ждавших отравки на фронт.

Выступать перед ранеными считал своим священным долгом каждый писатель. Я помню лишь единственный случай отказа, когда один из литераторов в ответ на предложение поехать в госпиталь заявил, что он не может, потому что ему делается дурно при виде забинтованных культей и запахе лекарств... Возможно, это было действительно так — есть люди со слабыми нервами,— тем не менее его заявление было единодушно осуждено всей писательской общественностью.

Навсегда запомнилось мне выступление в госпитале для тяжелораненых вместе с Алексеем Силычем Новиковым-Прибоем, приехавшим ненадолго в Свердловск. Преклонный возраст не позволил маститому писателю отправиться на фронт, куда он рвался всей душой, а поездка на Урал явилась чем-то вроде некоторой компенсации; на Урале, кстати, а именно — в селе Зайково Ирбитского района, жил близкий товарищ автора «Цусимы» бывший моряк С. А. Мурзин. Прежде чем выехать в район, несколько дней Новиков-Прибой провел в Свердловске. Его встретиться с ранеными уговаривать не пришлось.

Нам подали лошадку, всю дорогу Алексей Силыч развлекал веселыми моряцкими прибаутками. Несмотря на большие годы, он выглядел бодрым и крепким, коренастый, плотный, всегда готовый на шутку. Появление его на сцене в крохотном зальце госпиталя было встречено бурей аплодисментов. Слушатели сидели, лежали на носилках, некоторые устроились прямо на сцене, почти у ног «Силыча». Негде было яблоку упасть. Алексей Силыч рассказал о том, как создавался роман «Цусима», потом заговорил о боевых делах советских гвардейских экипажей на морских фронтах Отечественной войны. Память у него была превосходная, знание моря изумительное, слова — крепкие, точные, пересыпанные ядреными морскими остротами, на которые слушатели реагировали раскатами хохота. Рассказывая про дела давно минувшие, он вспомнил какую-то стряпуху на корабле, злую бабу, которой морячки пожелали «ежа против шерсти родить». Зал грохнул так, что задрожали стекла в окнах.

Любимого писателя долго не отпускали со сцены, прося рассказать еще, еще. У раненых были просветленные, счастливые лица. Даже искалеченные, недавно перенесшие мучительную ампутацию конечностей, когда их уносили из

зала, продолжали весело обсуждать услышанное, повторяя: «Вот дает! Вот дает!»

Хочется отметить, что тесная творческая дружба уральцев и эвакуированных — частые совместные выступления и обсуждения, поездки на предприятия,— несомненно, были благотворны как для тех, так и для других. Они — «товарищи из центра» — приблизились к жизни; мы, местные, заимствовали у них многое.

Однажды какой-то остроумец на вопрос, в чем разница между писателем столичным и писателем, живущим на периферии, ответил так: у первых больше мастерства и меньше материала; у вторых — наоборот, больше материала, но меньше мастерства... Военные годы помогли значительно сократить этот «разрыв».

Не скрою: скромные провинциалы, не избалованные вниманием, мы — особенно первое время,— случалось, тушевались, опасаясь, что не выдержать «конкуренции» с более опытными и именитыми коллегами. Страхи оказались напрасными. Маститые наши гости и друзья в подавляющем своем большинстве держались просто, сердечно, со всеми на равной ноге, и если сперва более энергичные столичные товарищи действительно кой в чем подавляли «хозяев», то потом все выровнялось.

К слову говоря, именно по инициативе московских товарищей были окончательно утверждены в правах членов СП некоторые местные литераторы (К. Боголюбов, Кл. Рождественская, Кл. Филиппова), принятые общим собранием еще до войны, но окончательно не оформленные. В этот момент это имело и сугубо практическое значение: без членства в Союзе писателей литератор не мог рассчитывать получить рабочую карточку, дающую право на минимально сносный паек.

Долгие, бесконечно долгие месяцы и годы положение продолжало оставаться очень тяжелым. Победа добывалась в неслыханных лишениях, в самоотречении; страна отдавала все для разгрома врага, для отпора захватчикам. Недоедали, недопивали. «Кирпич» черного хлеба, выпеченного пополам с картошкой и отрубями, стоил на рынке 300—400 рублей. На улицах Свердловска — даже на центральных — в газонах росли картофель и овощи. Огородничество вообще в те годы вошло тесно в быт, им занималось все население. Жилищное уплотнение достигло

невиданных размеров. Если бы кто-то до войны сказал, что можно жить так, его, наверное, сочли бы за сумасшедшего.

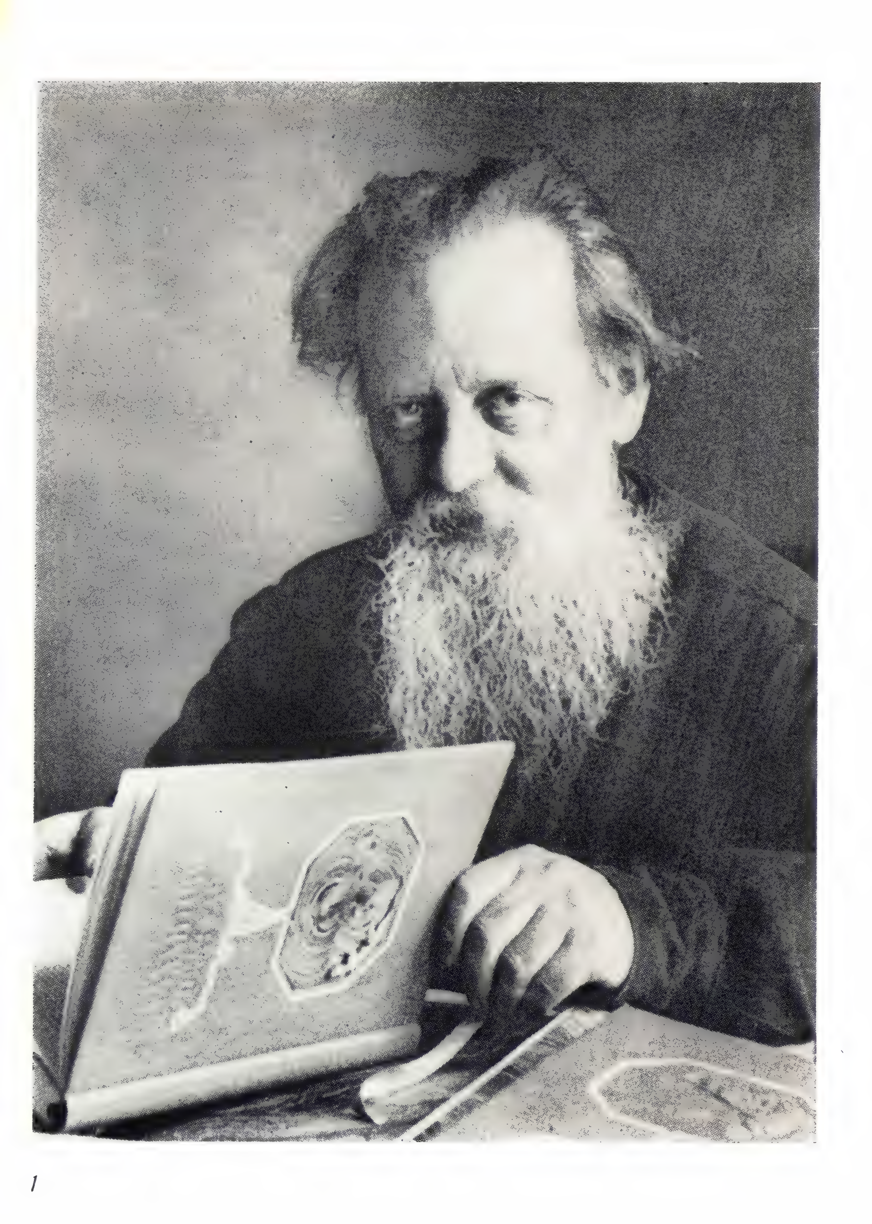
Литераторы, как и все, сидели на пайке. Часть наиболее заслуженных писателей старшего поколения снабжалась по высшей категории (так называемый «литер А»), остальные — по группе «СПБ». Но поголовно все испытывали нехватку в соли, спичках, жирах, сахаре, обуви — словом, в самых необходимейших вещах.

Как были довольны все, когда удалось раздобыть где-то центнер серой, неочищенной каменной соли! Употреблять в пищу в таком виде ее было нельзя, приходилось распускать в воде, вся примесь и грязь отстаивалась, а рассол использовался для стряпни. Но и эту соль распределили, как величайшую ценность, строго по числу едоков, ни грамма больше...

Многие исхудали так, что, как, например, говорили мы про Бажова,— стали «светиться». Павел Петрович сделался действительно почти прозрачным. К обычному благообразию его прибавилась словно бы некая иконописность. Многие ходили в каких-то старых шубейках, в подшитых валенках невообразимого размера (какие достались на толкучке: ведь приехавшие часто даже не имели теплых вещей). Мариэтта Сергеевна Шагинян щеголяла в кожаном шоферском шлеме со спущенными наушниками. Ее дочь Мирэль даже в театре появлялась в лыжных брюках и куртке.

Москвичи, не знавшие близко Урала, поначалу опасались уральских морозов. Оказалось, однако, что уральский мороз не так уж страшен. Сухой, здоровый, он даже стал некоторым нравиться. Не отсюда ли и «город легкого дыхания»? Шагинян откровенно восхищалась уральской зимой. «Мы ее боялись,— говорила она.— Оказалась очень хорошая, прекрасная!» Вскоре обычной стала в ее устах фраза: «У нас на Урале...»

Второй военной осенью, в период уборочной кампании, в ряд районов Свердловской области выезжали бригады художественного обслуживания — артисты, музыканты. С ними ездили и писатели, по одному на бригаду. На мою долю выпало объехать с артистами музыкальной комедии полевые станы Сухоложского района. На открытой полуторке мы за две недели исколесили весь район. Артисты пели, танцевали, разыгрывали хлесткие, злободневные сатирические скетчи; я выступал с устными рассказами.



1

1. Павел Петрович Бажов



2



3



4



5

2. *Алексей Петрович Бондин*
3. *Иван Степанович Панов*
4. *Александр Иванович Исетский*
5. *Александр Федорович Савчук*



6



7



8



9



10

6. Клавдия Васильевна Рождественская
7. Владислав Леонидович Занадворов
8. Иосиф Исаакович Ликстанов
9. Константин Феликсович Реут
10. Нина Аркадьевна Попова



11



12



13



14

11. Ольга Ивановна Маркова
12. Юрий Яковлевич Хазанович
13. Николай Алексеевич Куштум
14. Константин Гаврилович Мурзиди



15



16

15. Михаил Михайлович Пилипенко
16. Ефим Григорьевич Ружанский

Вскоре бытовая комиссия Союза решила организовать заготовку картофеля. Картофель — второй хлеб — служил главным подспорьем к рациону. С Сухоложским районом у нас установились дружеские связи. Туда, по договоренности с райкомом партии, мы и надумали направить своего заготовителя.

Поехал Викторин Попов, москвич, мужчина высоченного роста и незаурядной физической силы. Я упоминаю об этом потому, что другой, с худшими физическими данными, вероятно, и не справился бы с заданием. Он уехал — и как в воду канул. Прошла неделя, другая. Ни слуху ни духу. Надвигалась зима, а Попов уехал в драповом пальтишке. Мы уже начали тревожиться: все ли с ним ладно? Беспокоилась семья. Наконец на исходе третьей недели разнеслась весть: приехал Викторин, пригнал целый вагон картошки.

Его встретили как героя. И в самом деле он стоил того.

Оказалось, Попов сам по крохам собирал картошку в колхозах, собственными руками, на собственных плечах погрузил ее в вагон, заполучить который ему помог райком, и затем, опасаясь за сохранность груза, сопровождал вагон до станции назначения.

Как назло, грянул первый морозец. А наш вагон с драгоценным продуктом стоял неразгруженный на железнодорожных путях на товарном дворе. Немедленно бросили клич: все на разгрузку картошки!

На этот призыв откликнулись даже самые пожилые и хворые. Но нашелся один, не постеснявшийся противопоставить себя коллективу,— молодой еще мужчина, поэт. Дело прошлое, не буду называть его фамилию.

— Я не пойду,— заявил он высокомерно.— Я писатель, я должен писать, а не картошку разгружать.

— А кто будет работать?

— Вы,— цинично ответил он, показав в усмешке желтые зубы.

— Значит, вы отказываетесь от картошки?

— Почему же? Я ее и так получу.

Это было уже слишком.

Как председатель бытовой комиссии, я довел этот инцидент до сведения членов комиссии. Единодушное решение было: картошки поэту не давать, лишить.

Мера была жестокой, ибо у поэта были жена и ребенок, но уж очень вызывающе-бестактным, нетоварищеским было его поведение.

11 Заказ 133

Все-таки часть картофеля у нас подмерзла.

Раздали мы его наспех. После раздачи прихожу в Союз и застаю в вестибюле Дома печати такую картину. Посередине стоит Шагинян, озираясь, на ком бы выместить свое негодование; у ног раскрытый мешок с влажной картошкой.

— Что случилось, Мариэтта Сергеевна?

Ох, и набросилась она на меня со всем своим армянским темпераментом! И в том-то мы виноваты, и в другом. Почему выдали замороженный картофель. Почему ее не предупредили, что он замороженный: она бы его не взяла. И так далее и тому подобное.

Точно так же однажды напустилась она на Павла Петровича, когда он, будучи секретарем парторганизации, принимая членские взносы, нечаянно поставил у нее кляксу на билете: подвели зрение и нетвердость руки. Мариэтта Сергеевна вскипела так, что бедный Павел Петрович не знал, куда деваться.

— Это вы нарочно! Нарочно! — горячилась она.

— Да что вы, Мариэтта Сергеевна, помилуйте,— беспомощно оправдывался Бажов.— Почему нарочно? Извините, оплошал по-стариковски...

А после они дружно работали бок о бок на сортировке картофеля в одном из овощехранилищ на окраине Свердловска.

Вулканический темперамент Шагинян не раз служил предметом необидных дружеских шуток со стороны Ольги Дмитриевны Форш. Обе по национальности армянки,— но какая разница! Если Форш всегда выглядела по-царственному величавой, невозмутимой, никто ни разу не видел, чтоб она на кого-то разобиделась, сердилась, то Шагинян всегда кипела...

Мариэтта Сергеевна — человек добрейшей души — была готова в любой момент прийти на помощь нуждавшемуся, отдать последнее, поддержать всем, что только было в ее силах. Помню, когда городские власти, решив побаловать мастеров искусств, организовали летом в парке культуры и отдыха закрытый ресторанчик по типу южных курзалов, то Мариэтта Сергеевна, получившая туда пропуск, сама почти не пользовалась им. Он кочевал по рукам: неделю им владел один писатель, неделю другой.

Иной раз эта доброта приводила даже к нежелательным последствиям. Мариэтте Сергеевне ничего не стоило подписать бумажку с прошением какому-нибудь товарищу,

не связанному с Союзом, а потом в правлении приходилось разбираться с этим. Товарищ требовал: бумажку же подписала «сама Мариэтта Сергеевна»!

Субботники на сортировке картофеля, закладываемого для хранения на зиму, повторялись несколько раз. Союз получил за это не одну благодарность, ибо рабочих рук на сортировке картофеля и овощей не хватало. Заканчивались субботники пиршеством: писателям выставляли суфле — подслащенное молоко, напоминающее растаявшее мороженое. Пили его все с удовольствием.

Веселый репортаж о первом выходе писателей на картошку, написанный по свежим следам Евгением Пермяком для специального выпуска стенной газеты (подобными выпусками сопровождалось всякое мало-мальски значительное событие в Союзе), представляется не лишенным интереса и сегодня.

ПЕРВЫЙ ВОСКРЕСНИК ПИСАТЕЛЕЙ

(11 октября 1942 г.)

Опыт введения в картофелеведение

Одним из первых на место сбора явился наш старый, опытный картофелевод, он же малахитчик, Павел Петрович Бажов, со своею собственной супругой Валентиной Александровной, которая служила укором всем явившимся на субботник в «неженатом» виде. Жены писателей должны помнить, что женой писателя надо быть со всеми вытекающими отсюда субботниками.

Прибывшая в овощехранилище писательская группа разбилась на бригады по «жанровому» признаку, из коих особо отметим бригаду славных бородачей — Бажов и его супруга, Чаговец, Верховский, Коц и Мариэтта Шагинян. В основном бригады делились на дружные и недружные. К недружным бригадам следует отнести те, которых в этот день не было. Не скажем, что все с одинаковой настойчивостью и творческим подъемом распределяли картофель по четырем сортам. Но также не скажешь, что среди пришедших тридцати шести товарищей оказались бесталанные или пессимистически настроенные литераторы.

Бригада Маминых-Сибиряков, которую возглавляла Нина Попова, закончила свой «урок», заданный на полтора дня, еще до обеда.

Остальные бригады еще не определены в части успеваемости, но надеемся, что отсутствовавший бухгалтер точно выяснит число сделанных картофелеединиц. Надо полагать, что бригада, где были Рождественская, Рябинин и другие уральские фамилии, например, Оксана Иваненко, дала самые высокие показатели.

Было бы оплошностью не сказать, как работала бригада, куда входили: Хазанский, Пермякович, Звягинцова и Ружак[1]. В основном эта бригада исполнила все главное в вокальном и разговорном репертуаре. Некоторые даже благодарили ее за руку. Ходят слухи, что Пермякович заранее согласовал с профкомом свои «хохмы» и должен получить за них солидное вознаграждение по статье расходов «Культурное обслуживание писателей».

Отдельные товарищи начали ФИНКционировать с опозданием. Но потом, увлекшись, работали так, чтобы совесть не была угрызенной.

Очень слабо была поставлена на воскреснике работа по пропаганде художественной литературы. Конечно, мы не хотим отыграться на отделе пропаганды, но вправе спросить: «Уважаем ли мы наши постановления или не уважаем?» И мы уверены, что лица, отсутствовавшие 11 октября, отработают пропущенный день и принесут о том справки.

Теперь самое интересное: суфле. Его давали по большому стакану (некоторые два). Суп был прекрасен. Второе вообще!!! Но что самое интересное — это впервые вся писательская организация обедала в одной столовой, не делясь на литерАторов и литерБэторов, хотя и были попытки отдельные табуретки сделать академическими. Но официантка решительно сказала: «Будя! Тут вам не Союз писателей!»

Субботник прошел хорошо. Оргсекретарь обеспечил чудесную погоду. Ни одна шуба, ни одно пальто не были испорчены, руки не поранены и не запачканы настолько, чтобы ими потом нельзя было взять самое чистое перо.

В скобках скажем, что мужчинам следует давать «рукоделие» более соответственное их мускулатуре. «Долбать так уж долбать».

Почин сделан.

Как уже говорилось, находились, к сожалению, отдельные литераторы, которые норовили под тем или иным предлогом увильнуть от общественных дел. Подобным индивидам посвящались «Каверзные диалоги» (автор остался неизвестен, подозреваю, что тоже не обошлось без Пермяка), обнародованные в стенной газете писательской организации.

— Почему Вы не принимаете никакого участия в общественной жизни нашей писательской организации?

— Некогда. Я дни и ночи работаю над созданием высокохудо-

[1] То есть Хазанович, Пермяк, поэтесса Вера Звогинцева и Е. Ружанский.

жественных актуальных произведений оборонного значения на уральском материале.

— Интересно. Дайте почитать.

— Пока не могу. Произведения уже задуманы, но еще не написаны.

— Почему?

— Некогда. Общественная жизнь нашей писательской организации отнимает у меня дни и ночи.

— Чем это вы так заняты?

— Как?! Распределитель, столовая, картофель, зелень, дрова, табак, ходики, бумага, босоножки.

— Значит, вы занимаетесь выдачей пропусков, карточек, продуктов и товаров для членов Союза?

— Не выдачей, а получением. И не только для членов Союза, но и для иждивенцев — у меня ведь семья из трех человек!.. А вы говорите — художественное произведение... Целые дни и ночи приходится торчать в Союзе.

— Тогда уж заодно помогите нам организовать доставку и распределение овощей...

— Не могу.

— Почему?

— Некогда. Я дни и ночи работаю и т. д.

Остроумие Пермяка скрашивало нам жизнь. Сам Евгений Андреевич, друживший с Бажовым, называл себя не иначе как «бывший драматург Пермяк». Почему — не знаю, для красного словца, не иначе; ведь дела его на театре шли совсем неплохо, он свел дружбу со Свердловским тюзом, там (станки к тому времени уже были вывезены в другое место) шли его пьесы. У себя в «Большом Урале» он, помимо того, что и писать успевал, шил и тачал сапоги, другую обувь, вид которой неизменно приводил всех в изумление. Выдумщик, каких не видел свет, он каждую неделю появлялся в новых «произведениях» своего «искусства», изобретая самые немыслимые, невероятные фасоны. Для этой цели у него шли старые портфели, бумажники, всякое барахло. Пермяку и Мерцальскому, да еще Типоту, принадлежали и все веселые репризы по адресу писательского житья-бытья.

Я тогда сидел на секретарском стуле (Пермяк пробыл секретарем недолго) и мог наблюдать это каждодневно.

А как нужно было все это тогда: затейничество, веселая добрая шутка, способная даже у самого строгого человека вызвать улыбку, на время развеять горечь и боль...

Конечно, шутки подсказывала жизнь, хотя была она сурова и в большом, и в малом.

Постановление, о котором упоминалось в «репортаже», было единогласно принято на общем собрании писателей. Написанное рукой Шагинян, оно провозглашало:

«В минуту грозной опасности для нашей Родины мы, советские писатели, должны быть в первых рядах ее сынов. Мы ей служим своим пером, но сейчас каждый человек кроме прямой своей профессии должен помочь Родине и физической силой, рабочими руками. Нужно срочно провести разгрузку и сортировку овощей, ремонтировать дороги и пути. Доставить из лесу в город топливо. Во всех этих работах мы, писатели, находящиеся в Свердловске, все без исключения, по силам и возможностям своего здоровья и возраста, обязуемся принять немедленное участие. Не должно и не будет среди нас уклоняющихся. Тот, кто не выйдет на призыв Отечества о помощи, кто спрячется за спины своих соседей,— сам вычеркнет себя из наших рядов».

Вероятно, представит интерес повестка-извещение, одна из тех, которые получали в те дни писатели:

«Дорогой товарищ!

Сейчас, в грозные дни войны, каждый из нас отдает все силы, все способности делу разгрома врагов, на всемерную помощь фронту.

В развитие постановлений горисполкома от 22 декабря 1941 г. и Сталинского райсовета от 23.XII.41 назначается на воскресенье, 11 января 1942 г. писательский воскресник по разгрузке вагонов.

Вам надлежит явиться в одежде, пригодной для работы на открытом воздухе, к 8 часам утра 11 января в помещение Свердловской писательской организации (Дом печати, комн. № 42) с дневным запасом продовольствия.

В случае невозможности явки по уважительной причине (болезнь) Вам предоставляется право заменить себя членом семьи.

Предупреждаем Вас, что уклонение от работы будет рассматриваться как отказ от выполнения соответствующего законоположения о всеобщей трудовой повинности.

Мы выражаем твердую уверенность, что вы будете аккуратным и явитесь без опозданий.

Член президиума ССП — Анна Караваева
(подписал П. Бажов)
Пред. горпрофкома писателей — В. Финк»

Заметим, однако, что писателей в общем-то не слишком перегружали нарядами на тяжелые физические работы. Трудмобилизация не коснулась и писательских жен: считалось, что многие из них — машинистки, стенографистки, секретари — помогают мужьям в их нелегком литературном деле.

В преддверии нового зимнего сезона стенгазета «Перо — штык» поместила шуточные стихи Ефима Ружанского:

ТАК МЫ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)
В Союзе нашем оживленье
(У всех большое вдохновенье):
Все пишут, пишут... заявленья
О полученье пропусков,
Трактат к вопросу отопленья;
Статьи о щетках для зубов;
Романы из пяти частей
О явной пользе овощей;
Стихи и целые поэмы
На злободневнейшие темы:
Как, скажем, масло или мед,
Табак, одеколон, йод;
Прошения в Электросбыт,
Чтоб не снимали нам лимит,
Чтоб впредь нам не сидеть во тьме...
...Так мы готовимся к зиме.

Стихи отражали, так сказать, бытовую сторону писательской жизни. Но это было только фоном. Никакие нехватки и неурядицы не могли отвлечь литераторов от главного. С приближением зимы оживилась, как всегда, работа секций, и на дверях Союза все чаще вывешивались объявления:

Поэты, писатели!
В четверг, сегодня,—
знатен, славен,—
Свои стихи
читает Славин!
Начало (для всех) ровно в восемь.
Просим!!!

Бюро секции поэтов

или:

Поэзия — бог! Поклонимся в ноги ей —
Займемся в четверг своей антологией.
Обсуждаем стихи
Елены Хоринской.
— Когда? — 7 октября.
— Где? — В комнате Союза.
— В котором часу? — В восемь.
Короче говоря,
Да здравствует муза!
Просим!

Как видно из этих извещений, поэты проявляли себя наиболее активно. Секция поэтов работала с полной нагрузкой. Поэтические «четверги», как правило, собирали много не только пишущих, но и интересующихся.

Правда, как-то на одной из этих афишек появилась и такая приписка (сделанная, как резолюция, наискось, вероятно, одним из участников очередного «четверга», оставшимся неудовлетворенным):

Наш поэтический четверг
Меня в отчаянье поверг.
Уж лучше б было, в самом деле,
У нас семь пятниц на неделе!

Для работы творческих секций имелось теперь специальное помещение — комната писателя в тогдашнем городском Доме партийного просвещения, на площади 1905 года. (Ныне там редакции журнала «Уральский следопыт» и молодежной газеты «На смену!».) Там проходили теперь все сборы писателей. Многие, не имея необходимых условий дома, приходили сюда работать постоянно, как на службу.

Перед писателями выступал академик А. Е. Ферсман, рассказавший о стратегических резервах геологии и их значении для войны, академики В. Н. Образцов, В. А. Обручев. Часто бывали фронтовики.

Жизнь выдвигала проблемы. Редколлегия стенгазеты «Перо — штык» обратилась к писателям с просьбой поделиться с товарищами своими мыслями по поводу пьесы А. Корнейчука «Фронт». С откликами выступили Шагинян, Караваева, Ляшко.

«Мы, писатели,— писала Мариэтта Шагинян,— читаем книги не только по-читательски, но и по-писательски. Одна настоящая книга вытягивает за собой десятки других, сразу облегчает работу писателя, приносит с собой глубокое дыхание, воздух. Когда долго нет настоящих книг, в литературе наступает «макаронный» период. Кое-кто из нас всерьез принимает свое «макаронное» дело за литературу...

Но литература — это голос общества, это выражение того, что чувствуют люди, это такое слово, что,— когда оно сказано вслух,— общество узнает в нем свою мысль, свою потребность, свой опыт и кричит сказанному слову: да! Вот такое нужное, смелое, настоящее слово, такую настоящую литературную вещь сделал Корнейчук своей пьесой «Фронт».

Горлов — головотяп, губящий наше дело на фронте,— это старый, знакомый тип, это обобщенный тип, с которым мы боролись на каждом этапе советского двадцатипятилетнего строительства. Горловы сидели и в нашей среде под разными обличьями (рапповскими в том числе), и мы с ними боролись. Горловы могут погубить всякое дело. Это — паразитарные типы, не желающие в новой обстановке учиться, думающие, что можно побеждать в 42-м году, как побеждали в 20-х. Это — механицисты, прирожденные антидиалектики. Попадаются они и на тыловой работе: в наркоматах, в обкомах, в исполкомах, в завкомах. С горловыми надо нам говорить большим литературным разговором, а не макаронами».

«Надо,— заканчивала Шагинян,— тыловым писателям учиться так писать «тыл», как Корнейчук написал «Фронт».

Обсуждение вылилось в горячую дискуссию. Соглашаясь с общей оценкой «Фронта», писатели расширяли и углубляли соображения, высказанные Шагинян.

Жаркие споры велись вокруг «уральской темы», ставшей предметом многих горячих обсуждений и толкований.

Слово «Урал» стало в те годы символом трудолюбия нашего народа, силы и мощи Советской державы, синонимом любви и беззаветной преданности Родине. Было почетно называться уральцем. Уральцами стали охотно называть себя и те, кто еще совсем недавно никак не чаял очутиться на Урале, пока, подхваченный военным шквалом, не перенесся за каменные столбы, помечающие собой границу между Европой и Азией.

В неслыханном военно-промышленном соревновании Урал и Сибирь побеждали Силезию и Рур. Это было чудо, свершенное трудовым людом под руководством коммунистов.

Уральцы и работали, и дрались хорошо. Уральские воинские соединения становились гвардейскими, награждались орденами. В первые же месяцы войны широкую известность среди трудящихся Урала получила Третья гвардейская дивизия; затем — Двадцать вторая... Уходит на фронт Добровольческий танковый корпус, снаряженный, укомплектованный целиком тружениками трех уральских областей — Свердловской, Челябинской, Пермской, и после первой боевой операции на знаменитой Курско-Орловской дуге также получает высокое звание гвардейского. В бою под Ленинградом нижнетагильский слесарь Илья Шалунов, повторяя бессмертный подвиг одного из героев Бородина 1812 года, с оторванной рукой штурмует дзот врага... Герой зачислен навечно в списки своей части. И так же отважно идет в дни Орловской битвы на укрепления врага под шквальным огнем уральская пехота...

Сколько городов прислали на Урал письма с изъявлениями благодарности за свое освобождение из гитлеровской неволи!

Учреждаются переходящие знамена в честь отличившихся уральских частей. За обладание ими шла упорная борьба между предприятиями. Знамя получал тот, кто работал лучше.

В чем же особенности уральца, если говорить о его отображении в литературе? Отличается ли уральский рабочий от своих московских, ленинградских, волжских собратьев? В чем вообще «специфика» Урала как резервуара неиссякаемой человеческой энергии, рабочей смекалки, как края замечательных умельцев, дела которых на глазах становились творимой легендой? Как передать колорит Урала?

Писатели искали ответа на эти вопросы, ибо жизнь требовала, чтобы Урал — арсенал победы — во весь рост предстал со своими делами и людьми в произведениях литературы и искусства.

Но верные ответы удавалось найти далеко не всем. Кое-кто пытался пойти по линии наименьшего сопротивления; ставя почаще прилагательное «уральский», надеясь, что тем самым «обураливает» свое произведение. Ничего дельного из этого, конечно, не получилось, и на обсуждениях такие «уральские» повести и рассказы подвергались

сокрушительному разносу. Последнее слово обычно оставалось за Бажовым. Он долго молчал, теребил бороду или попыхивал папиросой (трубку он стал курить позднее), потом говорил сдержанно, но убежденно-твердо:

— А Урала-то нет.— И его мнение воспринималось как приговор, окончательный, не подлежащий обжалованию.

Бажов слыл непререкаемым авторитетом не только по части Урала, но и в общих литературных оценках. Энциклопедически образованный, настоящий эрудит во многих отраслях знания, он стал центром, вокруг которого фокусировалась вся работа Свердловского отделения.

Павел Петрович вообще был очень строг в оценках и требовал абсолютной исторической, этнографической и прочей достоверности, точности во всем («не знаешь — не берись»).

Помнится, уже после войны говорили о фильме «Каменный цветок». Павел Петрович осторожно высказал свое мнение. Фильм нравился ему, нравилась игра исполнителей роли Данилы и Хозяйки. Однако имелось и несколько замечаний.

— Не хватает уральского-то... Поют «Калинку-малинку», а разве нет хороших уральских песен...

Точно так же его возмущало, что иные художники-иллюстраторы обувают героев сказов в лапти, тогда как лаптей на Урале, в частности на его родине в Сысерти и Полевском, почти не носили; в «Серебряном копытце» лесная косуля, грациозное дикое животное, изображается почему-то домашним козлом.

До глубины души огорчали и расстраивали его поиски фальшивой «уральской экзотики». Урал должен быть в самой ткани произведения! Только так.

Очень обидно, что на Свердловском радио не сохранили магнитофонные записи с высказываниями Бажова. А записей этих делалось много, и они стоили иных толстых литературоведческих трудов.

Не менее интересны были и высказывания Павла Петровича о делах театральных. Я в те годы был членом художественного совета тюза, участвовал в приемке всех спектаклей, и мне часто доводилось видеть на спектаклях сидящим среди зрителей-ребят Бажова. Театр этот очень своеобразный, рассчитан на детей и подростков, но Павел Петрович, кажется, любил ходить сюда. Именно на подмостках тюза увидела впервые свое сценическое воплощение его «Малахитовая шкатулка». Инсценировку делал С. Ко-

рольков. Павел Петрович был ею недоволен; она неоднократно переделывалась, однако полного удовлетворения от нее он так и не получил. В этом смысле куда удачнее оказались «Ермаковы лебеди», работа Пермяка. Вообще, повторяю еще раз, такой требовательно-строгий литературный судья, как Бажов, при всей своей безграничной человеческой доброте и мягкости, когда дело касалось искусства, мог служить образцом. Он не признавал компромиссов.

Но уж зато как радовали его детская непосредственность и искренность. С восторгом делился: был в тюзе, какой-то парнишка подбежал (во время действия!) и спросил: «А борода у вас настоящая?» «Борода, вишь, показалась не настоящая!»

Когда разразилась война, Бажов сам, без вызова, пришел в обком партии и заявил, что отдает себя в полное распоряжение партийных органов, готов пойти на любую работу. Его послали главным редактором в Свердлгиз. Проработал он там недолго: надо было читать много рукописей, а у Павла Петровича начинались серьезные нелады со зрением. «В глазах черные точки, ни черта не вижу!» — огорченно признавался он в минуты откровения. И как ни добросовестно относился Павел Петрович к своим обязанностям, должность главреда явилась для него непосильной нагрузкой. Из Свердлгиза пришлось уйти. А вскоре его избрали председателем правления выросшего Свердловского отделения СП. На этом посту он оставался вплоть до своей смерти.

Война явилась суровой проверкой для всех. Она выявила лицо каждого литератора. Советские писатели выдержали трудный экзамен. Лишь единицы скатились в болото удовлетворения мелких бытовых потребностей, перестав писать, застыв в состоянии какого-то творческого анабиоза.

Бажов показал себя в эти годы настоящим патриотом Отечества. Никто никогда не слышал от него ни одной жалобы на трудности, на нехватку того, другого, хотя Бажовым жилось не слаще, чем другим. «Ну, у меня же кулацкое хозяйство»,— отшучивался Павел Петрович, когда его спрашивали о житье-бытье, имея в виду сад и огород, который он ежегодно сажал и убирал самолично с помощью дочерей и жены Валентины Александровны [1].

[1] Любопытный штрих. Когда Павел Петрович был снят для фильма о Свердловске в своем огороде, причем на первом плане оказалась посадка табака (курева тогда было тоже в обрез, при-

Единственной просьбой, с которой он обращался в Союз, были дрова: бажовский дом по улице Чапаева был холодным и пожирал массу топлива, а зима уральская долга.

Только в 65-летний юбилей писателя дом — по постановлению горсовета — оштукатурили, провели паровое отопление.

К слову, 65 — не юбилейная дата; но для Бажова сделали исключение. И смею думать, это было проявление любви и уважения не только к человеку — знатному жителю края, но и к Уралу.

Присуждение Государственной премии тогда, в годы войны (Бажов получил ее в марте 1943 года), равно как и награждение Бажова орденом Ленина, было воспринято всеми без исключения как событие огромной общественной значимости (впервые такой премией отмечался писатель-уралец!),— без преувеличения, ему радовались все истинные друзья литературы, как уральцы, так и не уральцы.

О юбилее стоит сказать несколько слов, поскольку отмечался он в условиях, когда трудности военного бытия ощущались во всей остроте. Это учли устроители юбилея (сам Бажов в подготовке, разумеется, не принимал никакого участия и лишь просил «делать поменьше») — и не поскупились на подарки. Подношения по тем временам были самые щедрые: свинья, породистая дойная корова-тагилка и воз сена для ее кормежки, запас дров на целый отопительный сезон и прочее тому подобное. Любимому писателю не жалели ничего: юбилей так юбилей! Примите, Павел Петрович, от всей полноты чувств, от широкого уральского сердца!

Свинью прислал Уральский политехнический институт имени Кирова (УПИ). Но ее вернули обратно: оказалась матка, резать — преступление, а держать не собирались. Корову, по кличке Зона, привезли из Нижнего Тагила. Потом, когда миновали трудности с питанием, Бажовы отдали Зону в молочное хозяйство совхоза «Исток». Она хорошо послужила не только семейству Павла Петровича, его внукам, но и всему Союзу писателей. Молоко этой коровы пили все свердловские литераторы. Кто бы и зачем бы ни пришел к Бажовым, в течение всех трудных военных

ходилось заботиться о самосаде), остряки из писательской братии придумали к этому кадру такую текстовку: «Высокие урожаи табака снимает наш заслуженный...» и т. д.

лет, каждого непременно потчевали молоком: на круглом столе в «приемном» уголке кабинета появлялись кринка и кружки. «Испейте, молочко хорошее»,— приглашала Валентина Александровна, а на прощание она же обязательно вручит «на дорожку» литр молока. «Только потом бутылку, пожалуйста, верните. С бутылками трудно...» Литр молока в то время — особенно для тех, у кого были дети,— являлся настоящим сокровищем. И для каждого это молоко было также выражением той доброй приветливой атмосферы, которая всегда царила в бажовском доме.

В военные годы с наибольшей силой развернулся талант Павла Петровича.

«Сказы о немцах» — это был его вклад в борьбу советского народа с зарвавшимися захватчиками. Не очень крепкий здоровьем, вечно перегруженный сверх всякой меры различными общественными обязанностями и поручениями, он создавал в тот период один сказ за другим. До утра горел свет в его комнате с окнами, выходящими в сад, уставленной вдоль стен стеллажами с книгами, до утра склонялась над столом седовласая голова с высоким чистым — сократовским — лбом, и маленькая, округлая рука неторопливо выводила на бумаге слово за словом, строку за строкой,— не слова, а чистое золото, самоцветы, которые Бажов добывал, промывая тонны пустой породы, проявляя в поисках нужного выражения титаническую настойчивость и терпение.

Со временем он стал пользоваться машинкой, подаренной ему Литфондом СССР. Это несколько облегчило процесс писания, поскольку у Павла Петровича продолжало ухудшаться зрение и писать от руки ему становилось все труднее.

Именно в ту пору были подарены читателям сказы «Хрустальный лак» и «Тараканье мыло», относимые автором к числу «озорных», едко высмеивающих заграничных плутов и невежд, стремившихся поживиться за счет русского народа; «Солнечный камень» и «Богатырева рукавица», посвященные вождю трудящегося человечества — Владимиру Ильичу Ленину; «Иванко Крылатко», раскрывший неповторимое искусство Ивана Бушуева, мастера-гравера из Златоуста, исторически существовавшей личности; «Веселухин ложок», «Чугунная бабушка». Характерно, что «Чугунная бабушка» впервые была опубликована 8 февраля 1943 года в газете «В бой за Родину!», органе политотдела Карельского фронта.

Многие сказы того периода впервые увидели свет на страницах периодической печати, в частности в газете «Уральский рабочий». Вообще Л. С. Шаумян, тогдашний редактор «Уральского рабочего», благоволил к писателям, и они не могли пожаловаться на отсутствие внимания к ним со стороны газеты.

Вот одно из свидетельств огромной популярности Бажова — строки корреспонденции из действующей армии, написанной лейтенантом Н. Пятковым:

«МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» В ОКОПАХ

«После боя наступило затишье. Наши саперы под землей соорудили клуб. В нем имелись кинобудка и читальный зал. Посередине стоял длинный стол. Здесь лежали свежие газеты и неизвестно как попавшие экземпляры книги уральских сказов П. Бажова «Малахитовая шкатулка».

«Малахитовая шкатулка»! В боевой обстановке книга с далекого, родного Урала для нас, уральцев, явилась настоящим сокровищем. Мы подолгу перелистывали страницы сказов.

«Малахитовую шкатулку» я встречал и в окопах.

— Товарищ командир, дайте бумаги! — попросил меня однажды пулеметчик Мальцев.— Завернуть махорку не во что. Хоть клочок! Курить хочется.

— Да ведь вот книга какая-то у вас лежит — оторвите кусочек!

— Что вы, это же «Малахитовая шкатулка»! Ее нельзя,— сказал Мальцев.— Наши ее по очереди читают».

Как всякое истинное произведение искусства, «Малахитовая шкатулка», выражаясь словами Мариэтты Шагинян, несла «глубокое дыхание, воздух». Наполненная ароматом эпохи, края, она воспринималась как некое откровение, радостное открытие. Читатели черпали в ней уверенность в силе, мужестве, талантливости русских людей, в непобедимости своего государства.

В сказах Бажова вставал во весь рост человек-исполин, творец, он же — защитник Родины в трудный час.

В обыденной жизни Павел Петрович был предельно скромен, никогда не стремился как-то выделиться. Терпеть не мог чинопочитания, напоминания заслуг. Запротестовал, когда однажды в какой-то официальной бумаге перед его подписью для пущей важности поставили — «лауреат премии»:

— Да на что? Неловко... Нет, нехорошо, право...

Бумажку пришлось перепечатать.

— Поздновато слава-то пришла, Павел Петрович? — как-то заметил Кассиль, с любопытством ожидая, что скажет на это уральский кудесник, который уже тогда слыл мудрецом.

— А может, оно и лучше, Лев Абрамыч,— отозвался Павел Петрович со своей обычной лукавинкой, загадав одну из тех загадок, которые были столь характерны для всей его манеры изъясняться, для всего строя мышления.

«Не испорчусь»,— улавливалось в подтексте.

Скромность, даже суровость к себе, была отличительной чертой Бажова, тут ничего не могла изменить и большая литературная слава.

Вспоминается, как в 1943 году в Перми, куда Павел Петрович ездил в составе группы свердловских литераторов на научно-литературную конференцию, его ждали на концерт, устроенный силами артистов театра оперы и балета, посвященный участникам конференции, а вернее, пожалуй, Бажову. Концерт не начинали, пока не приехал Бажов. А он, как на беду, запаздывал (что с ним обычно случалось крайне редко: точность, пунктуальность тоже была его чертой). Когда Павел Петрович появился в зале, публика и актеры устроили ему овацию. Незадолго до того ему присудили Государственную премию, в газетах часто встречалось его имя.

Павел Петрович растерялся и долго не мог найти подходящих слов, чтобы выразить свое отношение к случившемуся.

— Да чего же это они?! — искренне недоумевал он, и в глазах его мелькало что-то необычайно простодушное. Такие глаза бывают у детей.— Нет, верно... А я еще думал: идти, не идти. Нездоровилось немного. А если бы не пришел совсем? Дикое положение получается...

Бажов был народным не только по самому характеру своего творчества: поистине народным был он и в своей доступности, простоте, отзывчивости. К нему мог прийти кто угодно и когда угодно. И шли. Кто со своей бедой, кто с заботами и нуждами, кто просто посоветоваться, выслушать умное, теплое слово. Он мог ободрить, помочь, если не делом, так отеческим наставлением. В военные годы, когда горе да беда в каждом доме, этому не было цены.

Николай Николаевич Ляшко, с которым Павел Петрович познакомился в период эвакуации в Свердловске,

Подъячев, Шмелев с его знаменитым «Человеком из ресторана»,— во всех них Павел Петрович усматривал что-то родственное себе. Это «что-то» была любовь и глубокое уважение к рядовому человеку-труженику, незаметно, но добросовестно делающему свое дело. Эти писатели, как Федор Гладков, как сам Бажов, были знатоками русской народной жизни, русского народного языка.

Литературная требовательность Бажова проявлялась прежде всего по отношению к самому себе. Помню разговор с Клавдией Васильевной Рождественской — редактором Свердловского издательства — по поводу очерка «Янкинские огни», написанного Павлом Петровичем по заданию «Правды». Очерк не нравился Рождественской. По-видимому, не в восторге от него был и сам автор, хотя очерк напечатали и хвалили.

— Не пишите больше, Павел Петрович,— сказала Рождественская.

— Не буду,— ответил он послушно-серьезно.

«Не пишите» — не вообще, разумеется, а вот таких очерков, наспех, по-газетному. Быстрая работа была не его стихия...

Взыскательность Бажова проявлялась и в том, как он относился к критике. Артист Л. Д. Охлупин рассказывал.

Однажды возвращались с Бажовым в автомашине с концерта, на котором Охлупин читал сказ «Солнечный камень», только что написанный Павлом Петровичем. Бажов был чем-то недоволен. Не исполнением, нет. Охлупин — уроженец Полевского района, как и Бажов,— владел уральским говором виртуозно. Чего-то не хватало в сказе.

— Восприятия не хватает,— осторожно высказал Леонид Давыдович.— Как старики реагировали.

— А ведь, пожалуй, верно,— согласился Павел Петрович. И после этого в сказе появились слова, которых там недоставало.

Чем старше он становится, тем щедрее старался раздавать накопленные богатства мысли, чтобы они продолжали служить людям и потом, когда его не станет. Этот вывод напрашивается, в частности, когда знакомишься с его перепиской с друзьями.

Как-то в кругу московских коллег старейшина уральских литераторов поделился тем, как он собирает материал и вообще работает над сказами.

12 Заказ 133

— Надо найти место, где искать. Нечего стесняться, чем собирать: где дробью, где целым куском. Сила в рабочих сказах. Мое счастье, что я их не испортил...

— Это и есть мастерство,— заметил один из присутствующих.

— Ну, пусть, пусть,— миролюбиво согласился Бажов.

В другой раз он упомянул о «ниточках», по которым удается размотать весь клубок. Мне довелось быть свидетелем, как в 1939 году, во время поездки в Полевской район, он, скупо отбирая каждое услышанное слово, каждую деталь, искал эти «ниточки» — то в виде железной цапли на старой плотине в Полевском, то в виде родового знака — деревянных лебедей на воротах дома в Косом Броду. Это украшение помогло ему в создании сказа «Ермаковы лебеди», а железная цапля — фирменный знак дома Турчаниновых — нашла свое отражение в современном сказе «Не та цапля».

Вот таких «ниточек» часто не хватало всем нам, молодым, да нередко и нашим более старшим товарищам из числа приезжих, пытавших свои силы на «уральской теме».

Павел Петрович старался всячески умалить собственную роль в создании сказов.

— Мне посчастливило,— говорил он после доклада Скорино в Перми в 1943 году.— За мной стоит много народа. Это ошибка, будто я первый начал. Ну, ошибка в мою пользу...

Мастерство Бажова, как справедливо отметил один критик, заключается в том, что он старался с наивозможным уважением отнестись к тому, что говорилось рабочим человеком. Эту мысль постоянно подчеркивал и сам Павел Петрович.

— Ну, там-то и клад, и всякая такая штука... Хорошо! — загораясь, иногда добавлял он, стараясь «оправдать», откуда идет романтичность, увлекательность написанного им.

Иной раз вроде бы малозначащий штрих приоткрывал для меня в Бажове что-то новое. Помнится, например, разговор «о куреве» между Бажовым и профессором Виктором Васильевичем Данилевским, тоже яростным курильщиком, в вагоне поезда по дороге из Свердловска в Пермь. (Павел Петрович много курил, и это, вероятно, сократило ему жизнь.)

Бажов, *свертывая самокрутку (папирос тогда не хватало)*. Я бы, наверное, ученым был, если бы не курил...

Данилевский (*тоже мастеря «цигарку»*). Церемониал!

Бажов. Церемониал.

Данилевский (*лукаво*). А может, не будь табачку, не было бы и шкатулочки?..

Бажов. Все возможно. Мало ли что в табачном дыму пригрезится...

Кажется, разговор — пустяк, но — такой непередаваемо бажовский...

Вообще суждения Бажова часто были неожиданны и всегда наводили на размышления. Никогда нельзя было предугадать, что он скажет по тому или иному поводу. Да и сам он признавался, что выступает обычно экспромтом. Вспоминается, как на той же конференции в Перми, он, сидя за обедом в столовой, советовался с нами, делегатами от Свердловска, чему посвятить свое выступление. «О чем я буду говорить?» — вопрошал он с детским простодушием, вперяя в собеседников взгляд больших, недоумевающих и удивительно прозрачных глаз. Ему стали предлагать: «Расскажите о Полозе, о происхождении богатств». Он внимательно выслушал, вроде бы согласился, а сказал вечером совсем другое — очень интересно сказал,— о зарождении уральского сказа-побывальщины, проиллюстрировав свою мысль самыми простыми и потому особенно убедительными примерами. «Вот, к примеру, насчет угля,— говорил он.— Кажется, несложное дело — уголь выжигать; а так ли? Углежог дает звон... это, значит, уголь высшей марки... Полузвон. А то — мертвый уголь, квелый, с пятнами, а то — одна угольная пыль... Хорошо. И вот один дает только звон. Искусство! А потом умирает. Конечно, про него сейчас же легенда: что-де ему кто-то помогал. Вот вам и поэтика ремесла любого...»

Бажов любил уральскую историю. Вероятно, на этой почве возникла его дружба с Данилевским, с которым у него было много общего: поразительное знание деталей, глубокое проникновение в материал прошлого, преклонение перед мастерством и одаренностью крепостных умельцев — горновых, плотинных, строителей «вододействующих колес», искателей и огранщиков самоцветных камней.

Павел Петрович, сев на своего конька, не раз сговаривал и меня заняться Демидовым. «Правда, я тебя тяну в историю, но...» К первым Демидовым он относился с ува-

жением, не отбрасывал их заслуг, хотя и помнил, что они крепостники.

В войну состоялось решение Свердловского обкома партии о создании книги по истории Урала. В подготовительную группу были включены Бажов, Данилевский и автор этих строк, «чрезвычайная тройка», так окрестили нас товарищи; но замысел, увы, так и остался не реализованным. Наверное, недостаточно активен был я; секретарю положено «толкать» других, и я был самый молодой, а Павлу Петровичу начинать, «раскачиваться» трудно было уже по возрасту. Данилевский же скоро уехал с Урала — вернулся в свой родной Ленинград [1].

Тем не менее можно сказать с полной ответственностью, что Бажов всегда оставался верен уральской истории. Живой историей Урала, историей в образах и лицах, могут быть названы его сказы.

Но, работая над материалом далекого прошлого, Бажов оставался насквозь современным, советским, партийным писателем. И не только писателем, но и активным общественным деятелем. Бажов первый, казалось бы, в самое неподходящее время, когда еще были свежи воспоминания о пережитом и во всем ощущались перенесенные тяготы войны, заговорил об очистке городского пруда в Свердловске, загрязненного промышленными отходами, об охране уральской природы, о том, что Свердловску, и вообще Уралу, необходим свой «толстый» литературно-художественный журнал, в котором уральские литераторы могли бы печатать свои новые произведения и ставить

---

[1] Уральской историей живо интересовался ленинградец А. Г. Бармин, наш с Рождественской и Бажовым старый знакомый. Он намеревался написать большую книгу по истории Урала для издательства «Молодая гвардия» и специально для этого приезжал в Свердловск, но книга не состоялась, видимо, из-за недостаточно глубокого знания писателем современного Урала, тех изменений, которые принесла богатырскому краю советская эпоха. Не случайно, думаю, он предлагал мне соавторство в работе над этой книгой, но я отклонил его, не считая себя достаточно подготовленным для столь ответственной миссии. (В «тройке» с Бажовым и Данилевским начинать было бы не так страшно.) Примерно то же, судя по всему, получилось и с замышлявшейся Барминым книгой о Нижнем Тагиле, бывшей столице «демидовского царства», хотя кое-что из написанного им об этом интереснейшем уральском рабочем городе все же увидело свет в Свердловском издательстве. Вообще интерес к прошлому Урала в те годы резко возрос. Не случайно на исходе военного периода появились книги «Нижний Тагил», «Золото», инициатором создания которых, как всегда, выступила Клавдия Васильевна Рождественская.

волнующие их проблемы. Все это начало осуществляться позднее, после смерти Бажова.

Мы часто говорим о том, какова ответственность писателя в нашей стране, каким должен быть советский писатель. Мы находим ответ на это, обращаясь к жизни Бажова.

«Я ведь не борец, я миросозерцатель»,— говаривал он иногда про себя. Но он был борцом. Борцами зарекомендовали себя его книги, и в первую очередь чудесная «Малахитовая шкатулка», которую он терпеливо, усидчиво пополнял все военные годы.

Литературно-научная конференция в Перми, о которой я уже упоминал, или, как она именовалась официально, Уральская межобластная научная конференция «Настоящее и прошлое Урала в художественной литературе», была организована Пермским педагогическим институтом при активном содействии обкома партии и облисполкома. Она явилась значительным событием в культурной жизни Урала тех дней. Ехали туда все с огромным желанием. Наша свердловская делегация насчитывала 12 человек. Л. И. Скорино, работавшая над монографией о Бажове, подготовила добротный рассказ о рабочем фольклоре и творчестве автора уральских сказов (перед тем она много беседовала с ним).

На мою долю выпали все заботы по переброске делегации в Пермь, что в тогдашних условиях являлось не простым делом. Поезда ходили переполненными, вокзал гудел от пассажиров. Надо было устроить товарищей хотя бы с минимальными удобствами, тем более что в группе имелись люди преклонного возраста, женщины. Обратился к дежурному по вокзалу — безуспешно. С подобными просьбами к нему, вероятно, обращались сто раз за дежурство. Помогла маленькая хитрость. Данилевский — на костылях, к тому же носивший костюм полувоенного образца,— мог вполне сойти за инвалида войны. Договорившись с дежурной у выхода на перрон, пропустили его и Бажова вперед, за ними — еще до общей посадки — прошли остальные. Благодаря этому нам удалось без суеты и давки занять сравнительно сносные места.

В вагоне на всех оказалось два комплекта постельных принадлежностей и три подушки. Поделили по-братски. Разместились на верхних полках: так было спокойнее.

Лишь Павел Петрович отказался лезть наверх. Его и Верховского устроили внизу.

Ехали дружно, весело. Бажов подолгу не отрываясь смотрел в окно, думая какую-то свою, бажовскую думу. На одной из остановок внезапно воскликнул:

— Девки-то, девки!

Крепкие, краснощекие колхозные девчата в ватниках и теплых полушалках сгружали дрова-долготье с автомашины. Работа явно мужицкая.

Данилевский. Смотрите, Павел Петрович, насчет девок...

Бажов. Да, это Урал!

Конференция проходила 12—17 июня 1943 года. Погода стояла чудесная. И настроение у всех было приподнятое. Все на время отрешились от будничных забот.

Заседали в большом зале облисполкома, в здании, что и поныне стоит на углу улиц Ленина и К. Маркса. В президиуме, рядом с писателями и литературоведами, первый секретарь обкома партии, председатель облисполкома...

С интересными сообщениями выступили профессор К. Н. Державин, один из организаторов конференции профессор Е. А. Боголюбов (не путать с писателем-уральцем Константином Боголюбовым, который в ту пору был призван в армию).

О русском фольклоре на Урале подробно рассказал хорошо известный всем участникам В. П. Бирюков. Выступление И. Карнауховой было посвящено народной сказке.

В целой серии докладов были освещены проблемы литературы советского Урала. Анализ творчества А. Бондина дал профессор И. Эйгес; творчеству Василия Каменского был посвящен доклад профессора Н. Степанова. Уральская поэзия тех лет была подробно разобрана профессором Ю. Верховским.

О выступлении Бажова я уже говорил — оно было выслушано с огромным вниманием.

Работа конференции очень подробно освещалась в местной прессе. Газета «Звезда» отвела для этого почетное место на первой полосе. Кроме того, был отпечатан специальный выпуск газеты «Литературный Урал». В городе были открыты выставки «Урал в изобразительном искусстве» и «Прошлое и настоящее Урала в художественной литературе».

Организаторы постарались и обеспечили участникам

конференции все возможные в ту пору удобства. Встретили и проводили на легковых ЗИСах и «эмках», организовали хорошее питание. За восемь или десять дней пребывания в Перми все как-то отошли от обычных забот, посвежели. Последнему, вероятно, немало способствовали и прогулки по Перми, по берегу Камы. В последнюю ночь перед закрытием конференции мы вообще почти не ложились, прогуляв до рассвета и встретив восход солнца в сквере имени Решетникова (по-старому «Козий загон») над Камой. С нами были Людмила Татьяничева — челябинская поэтесса, будущий секретарь правления СП РСФСР, Л. И. Скорино, Виктор Важдаев, руководитель Пермского отделения СП поэт Борис Михайлов, секретарь обкома партии Виноградов и другие товарищи. Говорили о литературе, о Прикамье, о том, чтобы не порывалась дружба писателей Урала.

Город добрых культурных традиций, Пермь блеснула гостеприимством и радушием, и, мне думается, Павел Петрович, как человек, с отрочества связанный с Пермью, испытывал удовольствие, гулял по ее улицам, вспоминая о минувшем — своем и города.

Да, конференция оставила добрый след в литературной жизни Урала. А ведь проходила она в канун Курской битвы, когда враг еще топтал Украину, Белоруссию, когда до победы оставалось еще два тяжелейших военных года...

Оценивая работу конференции, сошлюсь на передовую в стенной газете, выпущенной ко дню закрытия приезжим составом литераторов — свердловчанами и челябинцами — при некотором участии «хозяев» (пермяков). Вот она.

Литературная научная конференция «Прошлое и настоящее Урала в литературе и искусстве», столь своевременно и прекрасно организованная Пермским пединститутом и столь внимательно и чутко поддержанная руководящими организациями области, заканчивает свою почти недельную работу. Можно подвести итоги. Какие же выводы можно сделать?

Сейчас трудно предвосхитить те плоды и результаты, которые она даст в ближайшие годы, но несомненно, что результаты эти будут глубоко плодотворны и для науки, и для литературы, которые развиваются на территории богатого Урала. Отечественная война с гитлеризмом, сделав наш Урал основной тыловой базой резервов и производства средств обороны, оказала тем самым воздействие на производственную и научно-культурную жизнь Урала. Произошло более быстрое, чем при темпах мирного времени, сбли-

жение, трудовое содружество местных кадров Урала с более сильными, представляющими собой цвет советской культуры, кадрами Москвы, Ленинграда и других старейших центров СССР.

Это — факт огромного значения, факт, обогащающий и ту и другую стороны: и деятелей Урала, и работников Москвы и Ленинграда. Многое сделано за время войны литературно-научными силами Урала, Москвы, Ленинграда на Урале, но главная работа — впереди. После конференции горизонты и перспективы работы расширились, цели и задачи уяснились. Надо только работать, работать так, как этого требует оборона Родины, защита ее чести, культуры, свободы и процветания.

Свердловская литературная делегация, как и челябинская, приглашенные в Пермь для участия в работах конференции, оценивают общий итог работы конференции с чувством полного удовлетворения и с ясным сознанием ответственности тех задач, которые она возлагает на участников и в целом — на литературно-научную интеллигенцию края.

Остается пожелать, чтобы подобные конференции на Урале стали традиционными — как фактор в огромной степени стимулирующий и организующий культурную творческую работу на Урале в целом.

За работу же, товарищи, во имя успехов социалистической культуры, во имя освобождения нашей Родины и всего человечества от язвы гитлеризма.

Нет, жестоко ошибались враги, кричавшие о затухании советской культуры. Совсем-совсем наоборот! В ту тяжкую пору испытаний советские деятели культуры были на передовых позициях, с партией и народом, своим оружием они тоже помогали разить врага, поднимали дух народа.

Есть старая поговорка: когда говорят пушки — музы молчат. Наши, советские музы не молчали. Они тоже боролись на поле брани и у доменных печей, в танке и на колхозных полях, на сцене и в кабинетах редакций.

В этом убеждает и перечень книг (далеко не охватывающий все вышедшее), выпущенных в военные годы Свердловским издательством: Низами «Сокровищница тайн» (перевод М. Шагинян), А. Барто «Стихи для маленьких», Г. Бояджиев «Маленькая мама», В. Финк «Верхом на тигре» (антифашистские очерки), В. Стариков «В партизанском краю» (записки военного корреспондента), А. Кузнецова «Саперы», Евг. Пермяк «Ермаковы лебеди» (пьеса по сказу Бажова), О. Высотская

«Баллады», Н. Ляшко «Русские ночи», С. Марголис «Подруги», Е. Ружанский «Над Невой», М. Ройзман «Волшебник с горы Благодать» и т. д., не считая книг Бажова, Караваевой, переизданий Мамина-Сибиряка и др.

Тут хочется сказать доброе слово о нашем Свердловском издательстве — Свердлгизе.

Я уже говорил, что в первые месяцы войны был момент, когда казалось: всякая издательская деятельность невозможна, просто немыслима. Грозные события перечеркнули все планы. Собственное помещение издательства и типографии оказалось занято эвакуированным предприятием. О каких книгах тут может идти речь?! Казалось, закрывай дверь, вешай замок и — до лучших времен! Но так продолжалось недолго. Именно в эту тяжелую пору издательство сумело проявить максимум деловитости, умения примениться к обстоятельствам.

Издательство наше, сколько я его помню (а помню я его с середины 30-х годов), всегда старалось формировать писательские интересы, нацеливая авторов на создание таких книг, которые в данный момент наиболее нужны. Книги нужны всегда, но, конечно, время, происходящие события предъявляют свои требования. Можно сказать, что в войну Свердловское издательство превратилось в литературный, а точнее, книготворящий центр, влияние которого ощущалось далеко за пределами области — по всему Уралу. (Говоря это, я вовсе не хочу преуменьшать роль других уральских издательств, чей вклад в общее дело борьбы с врагом также был достаточно весом.) Тесному сотрудничеству авторов и редакторов, несомненно, способствовало и то, что издательство и писательский Союз находились под одной крышей, рядышком, это рождало какую-то «единость», которая, думается, необходима во все времена; творческие дискуссии, начавшись в Союзе писателей, нередко продолжались в комнатах издательства, и наоборот,— и очень часто приходили к какому-то деловому завершению, конкретным решениям.

Безусловно, большую роль играл личный авторитет и коммуникабельность, как теперь принято говорить, К. В. Рождественской — главного редактора издательства. Хватка у нее была поразительная. Помню, когда на уральской земле появилась Оксана Иваненко, никто даже подумать не успел, как на столе у Рождественской уже лежала готовая рукопись, а буквально завтра — книга Оксаны... Клавдия Васильевна была первым редактором

«Малахитовой шкатулки», вышедшей в Свердловске незадолго до войны (в 1939 году). Теперь она стала редактором многих именитых «центральных» писателей, известных всей стране. Ей даже не потребовалось как-то «входить» в новую атмосферу Союза — она будто давно готовилась к этому. Важно отметить, что ряд начинающих— а впоследствии известных — писателей в эти и последующие годы нашли в издательстве и дом, и постоянную работу, пусть с небольшим, но гарантированным заработком.

Выходили книги, рождались пьесы, появлялись новые имена.

Борис Ромашов написал пьесу «Звезды не могут погаснуть». Новое произведение выдающегося советского драматурга немедленно обрело жизнь на сцене Свердловского драматического театра. Театр юного зрителя осуществил одну за другой постановки пьес Е. Пермяка «Василий Иванович» (о рабочей молодежи в дни войны, спектакль, в известной мере по теме, предвосхитивший «Малышок» Ликстанова) и «Ермаковы лебеди».

Здесь еще хочется сказать о писателях старшего поколения, их высокой принципиальности, постоянной активной заинтересованности, чтобы земля родная не оскудела талантами, чтобы рождались произведения высокой значимости, нужные народу, времени. Именно они, «старики», создавали в первую очередь атмосферу непринужденного и содержательного общения, которая так нужна в писательской среде и которой так часто не хватает.

Говоря о жизни и труде Мариэтты Шагинян на Урале, трудно удержаться от цитирования.

«К сорокалетию своей литературной деятельности (а оно отмечалось сразу вслед за «уральским периодом» жизни писательницы.— *Б. Р.*) Мариэтта Шагинян,— пишет критик В. Перцов,— являет нам пример молодого дерзания в подходе к новой творческой задаче, скромной готовности работать в любых условиях, замечательного умения безраздельно отдать себя захватившему ее замыслу. Ее новая книга(имеется в виду «Урал в обороне».— *Б. Р.*) посвящена Уралу в дни Великой Отечественной войны. Перед читателем пройдут удивительные мастера-производственники, знаменитые бурильщики, инженеры, академики, искусные гранильщики, необычайные женщины — вчерашние домохозяйки, сегодня горновые и станочницы, рачительные колхозники-новаторы, танкисты — виртуозы своего

дела. Любовь к Родине воодушевляет всех этих людей на их упорный и грозный труд:

«Когда у матери болен ребенок, она не утешает себя тем, что не виновата; и к сердцу, к душе ее, к ощущению болезни ребенка, боли за него, потребности выходить его у нее органически не смогут примешаться какие-нибудь внутренние расчеты с собой: объективно-де я все сделала и нельзя меня винить. Как массовое явление на наших заводах и в наших уральских людях наблюдается сейчас вот такое материнское, кровное, «пристрастное» отношение к делу, сведшее на нет всякие объективные причины и ссылки на них. И это очень характерное, очень важное явление.

Разве не яркое свидетельство того же явления оборонная работа самой писательницы, сумевшей стать своей, необходимой, любимой в рабочем строю чудесных людей Урала».

А вот что писала в «Уральском рабочем» Ольга Форш по поводу выхода из печати «Сокровищницы тайн», перевода пяти тысяч строк поэмы Низами, которым долго занималась Шагинян: «Работа М. Шагинян — ценный вклад в историю мировой литературы. «Сокровищница тайн» еще никем переведена не была. Английский востоковед Хейнли попробовал только дать подстрочник, но напечатан он не был и хранится в рукописи в Британском музее». И в заключение самое главное: «...так, восстав от восьмисотлетнего забвения,— великий поэт древности вкладывает и свою душевную долю в священное дело нашей борьбы».

В партийном архиве Свердловского обкома КПСС хранится тоненькая папка — дело М. С. Шагинян. О содержимом его не так давно напомнил нам краевед-журналист В. Елисеев[1].

«В парторганизацию Союза советских писателей г. Свердловска. Прошу товарищей перевести меня из кандидатов в члены ВКП(б).

В первые дни войны я подала в партию и сейчас, когда истекает годовой срок моего кандидатского стажа, хочу служить моей советской Родине, служить нашей великой партии всеми остающимися у меня силами и днями жизни как полноправый член ВКП(б).

Мариэтта Шагинян

22 июня 1942 г. Свердловск»

---

[1] Личное дело Мариэтты Шагинян.— «Вечерний Свердловск», 1975, 31 мая.

Рекомендации М. С. Шагинян в члены ВКП(б) дали Павел Петрович Бажов, Федор Васильевич Гладков, автор известных романов «Цемент», «Энергия» и рассказов о людях уральских оборонных заводов, и М. М. Розенталь, работавший в ту пору заведующим отделом пропаганды и агитации Свердловского обкома ВКП(б).

«Тов. Шагинян Мариэтту Сергеевну как творческого и общественного работника знаю в течение двадцати лет,— писал в своей рекомендации Бажов.— Характеризовать ее в этом отношении считаю излишним, поскольку она уже дважды отмечена орденами. Непосредственное соприкосновение в работе за последний год дает мне право рекомендовать тов. Шагинян Мариэтту Сергеевну в члены ВКП(б)».

Рядом — рекомендация Гладкова:

«В трудные и ответственные дни Великой Отечественной войны тов. Шагинян Мариэтта Сергеевна, как подобает партийке и патриотке, честно, горячо, вдохновенно отдавала свои силы на служение Родине и фронту и пользовалась своим оружием литератора отлично. Редко кто из писателей работал так хорошо, как тов. Шагинян. Ее активность может служить примером для многих.

С радостью рекомендую в члены ВКП(б). Убежден, что она вполне оправдает это высокое звание».

На партийном собрании (оно состоялось 5 июля 1942 года) выступили Рождественская, Иваненко, Марголис и другие литераторы. Собрание единогласно постановило «принять Шагинян Мариэтту Сергеевну, кандидата ВКП(б) с июня 1941 года (кандидатская карточка № 3376418), в члены ВКП(б)».

Для младшего поколения писателей Шагинян была не только литературной наставницей. Она близко к сердцу принимала и личные наши проблемы. Всегда буду признателен Мариэтте Сергеевне за то, что она сразу же решительно откликнулась и без промедлений написала письмо в поддержку моего ходатайства — отправить на фронт добровольцем; и уж, конечно, не ее вина, что желание мое не сбылось: помешала близорукость, из-за которой я ношу очки со школьных годов...

Трогательно-искренне и как-то очень непосредственно говорила она о себе и своей работе, однажды сидя за столом в моей квартире (в той самой, откуда нас хотели выселить...) вскоре после выхода коллективного литературно-художественного сборника «Говорит Урал».

— Я вам завидую, вы написали повесть. А я пишу все не то...

Дело было, разумеется, не в зависти. Какая могла быть зависть у большого, признанного народом писателя к молодому, еще только начинающему оперяться (тем более что и повесть моя была, конечно же, далека от совершенства). Нет, дело было в другом — в огромной творческой жадности, в желании объять весь мир, обо всем написать — и в жанре повести, романа, и в жанре исследования, очерка, статьи, наконец. «Пишу все не то...» — в этих словах вся Шагинян с ее удивительной скромностью, вечной неуспокоенностью, стремлением сделать сегодня вдвое больше, чем сделано вчера.

Конечно же, писательница была несправедлива к себе. Именно она, как никто другой, умела видеть главное в суровых военных буднях Урала — и рассказать об этом. Все, что она писала, было продиктовано требованиями времени.

...Как сейчас, вижу за тем же столом под низеньким потолком с потрескавшейся штукатуркой, в комнате с круглой голландкой и забитыми окнами, выходящими на задний двор, чету Финков и чету Ромашовых. Они всегда были вместе; и в гости ходили вместе. Не могу не сказать о высокой культуре и обаянии этих приятных людей. Виктора Финка, блестящего собеседника и требовательного литератора, близкие друзья называли «дорогой француз» — Францию он действительно знал превосходно. Незабываемо впечатление, которое оставляло художественное чтение Бориса Сергеевича Ромашова; он мог смело соперничать с лучшими чтецами. Особенно запомнилась «Олеся» Короленко, читанная им на концерте в филармонии. Это была истинная поэзия и музыка речи. Сам бывший актер, Борис Сергеевич весь уходил в чтение, каждое слово, казалось, трепетало и наполнялось глубоким смыслом.

Ромашов самозабвенно любил театр, актеров, сцену, огни рампы, гудящий зрителями и готовый замереть в напряженной тишине зал. Его «Бойцы» ставились всеми театрами страны. Он преподавал в литературном институте имени Горького, и многие молодые драматурги получили путевку в жизнь из его рук. Его любимым наставлением было: «Всегда знайте, что вы сделали меньше и хуже, чем могли бы».

Борис Сергеевич очень точно ухватил особенности уральского говора. Как-то, возвращаясь домой после од-

ного из собраний, мы беседовали об этом. «Как говорят уральцы? — рассуждал Ромашов.— Вы думаете, все дело в «о»? Нет, на Волге, в Вологодчине окают больше. Во-ло-гда. Мо-ло-ко. А в Москве: Масква. На Урале говорят так, как пишется: о — о, а — а. Главное — интонация. Особая интонация. В ней все дело...» И тут же неподражаемо продемонстрировал мне образцы чисто уральского произношения.

Далеко не все эвакуированные к нам литераторы поселились в Свердловске. Были и писатели, жившие в районе. Ивана Алексеевича Новикова — автора романа «Пушкин в изгнании» и других хорошо известных тогдашнему читателю произведений — приютил город Каменск-Уральский. Человек уже немолодой — ему шел седьмой десяток,— Иван Алексеевич не слишком часто, но заглядывал в Свердловск, показывался на обсуждениях и литературных вечерах.

Сохранились любопытные воспоминания дочери писателя М. И. Новиковой-Принц о жизни отца на Урале. Не могу не привести некоторые выдержки из этих записей:

«В конце сорок второго года Иван Алексеевич задумал написать народную повесть в стихах «Великий исход и Иван Гореванов», посвященную одной из самых значительных и ярких страниц истории Урала XVIII века — движению приписных крестьян. Повесть эта рассказывала о казенных уральских заводах, о невыносимо жестоких условиях труда на них и о том, как крестьяне, работавшие на заводах, спасались бегством, ища защиты у народного вожака — героя, обосновавшегося в степи на реке Сакмаре.

Однако литературное творчество не могло полностью удовлетворить писателя. Ему хотелось непосредственно участвовать во всенародной борьбе.

Однажды в конце января 1943 года отец вернулся из горкома партии сияющий и довольный, каким мы его не видели с момента приезда. Его предложение — провести платные вечера, посвященные 106-й годовщине со дня гибели Пушкина, и отдать весь сбор в фонд обороны на постройку самолета «Александр Пушкин» — было принято в горкоме с большим воодушевлением.

Писатель принялся обдумывать, с чем и как он будет выступать на этих вечерах. Сколько их надо провести, чтобы собрать нужную сумму? Уже и сердце побаливает, и годы... Но всего этого словно нет, есть только необыкновенный подъем.

Начались дни, полные волнений и радости. Каждый вечер часам к семи приезжала машина. Тепло закутавшись, со своим старым портфельчиком в руках, бодрый, улыбающийся, немного взволнованный, ехал писатель на очередное выступление. Вечера давали полные сборы. Вступительное слово о патриотизме пушкинского творчества, о силе его неумирающего гения, воплощающего в себе душу России, вдохновляющего русский народ на подвиги, имело большой успех. С огромным интересом слушались главы из романов: «Пушкин на юге», «Пушкин в Михайловском».

В перерывах к писателю подходили люди, знакомились, задавали вопросы, беседовали.

Пушкинская декада дала сбор более ста тысяч рублей. Писатель направил телеграмму председателю Государственного Комитета Обороны. В конце ее он написал: «Пусть боевой самолет, носящий гордое имя «Александр Пушкин», примет участие в освобождении от неистового врага нашей родной земли. Прошу включить в список действующей авиации самолет «Александр Пушкин». Писатель Иван Алексеевич Новиков, г. Каменск-Уральский».

5 марта пришла ответная телеграмма: «Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Иван Алексеевич, за вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. И. Сталин».

Летом 1943 года мы узнали, что самолет передан летчику капитану Горохову. В жизнь писателя, да и всей нашей семьи, вошел с той поры летчик капитан Горохов. Вести о нем не заставили себя долго ждать.

6 сентября 1943 года в газете «Правда» появилось сообщение: «Два месяца тому назад готовый самолет был передан на заводском аэродроме капитану Горохову, который имеет на своем счету до 300 боевых вылетов. В боях на Западном фронте капитан Горохов сбил, летая на самолете «Александр Пушкин», 9 вражеских бомбардировщиков. Четыре из них были уничтожены за один день во время боев за Спас-Деменск».

Старый писатель узнал, что вскоре капитан Горохов был награжден орденом Александра Невского. По этому поводу он послал летчику поздравление, а также и всей эскадрилье. Но он не узнал о том, что 1 января 1944 года двадцатидвухлетний Юрий Горохов погиб и был удостоен звания Героя Советского Союза.

Это нашей семье стало известно лишь спустя 15 лет после окончания войны...»

Тяжелые утраты понесла Свердловская писательская организация.

Не вернулись с фронта Владислав Занадворов, Иван Панов, Александр Савчук. Не стало писателя-минчанина Феодосия Шинклера. Скромный, милый товарищ с какой-то легкой грустью, затаившейся в глубине черных глаз,— таким он остался в памяти. За недолгий срок жизни на Урале Ф. Шинклер успел написать книгу «На пульсе жизни» — о работе телеграфистов в дни войны. В прошлом сам телеграфист, Шинклер знал эту жизнь, поступил работать на Свердловский центральный телеграф. Книжка была выпущена Профиздатом в серии «Бойцы трудового фронта» в 1942 году. Однажды Шинклер пришел в Союз в пилотке, в солдатской форме: призван... А вскоре пришла весть: пал под Сталинградом. Сын, узнав о гибели отца, ушел добровольцем на фронт и тоже не вернулся.

В эвакуации в Свердловске окончил свой жизненный путь поэт, не имевший, быть может, громкого имени, но перед памятью которого должен склонить голову каждый: Аркадий Яковлевич Коц.

В конце прошлого столетия парижский рабочий Эжен Потье написал бессмертные слова, ставшие международным пролетарским гимном, пламенным призывом к угнетенным всех стран. Впервые он прозвучал в 1888 году на рабочем празднике в Лилле. Музыку сочинил композитор П. Дегейтер.

В 1902 году в Женеве, в журнале «Жизнь», появился русский текст этого гимна. Перевел его Аркадий Коц.

Необычайной была жизнь этого человека. Сын одесского грузчика, он рано познал нужду и угнетение. Был шахтером. Зачитывался статьями Ленина в «Искре». Преследуемый за революционные убеждения, он вынужден был нелегально эмигрировать из России в Париж. Там окончил горный институт. Долгое время жил в Бельгии. За границей посещал собрания русских эмигрантов и французских социалистов, слушал речи Жореса, Геда, Лафарга, участвовал в демонстрациях...

Перу Коца принадлежит «Песнь пролетариев». Он написал ее после того, как познакомился с «Коммунистическим манифестом» Маркса и Энгельса. Член РСДРП с 1903 года.

Первая книжка вернувшегося из эмиграции поэта-самоучки, вышедшая в 1906 году, по требованию прокурора судебной палаты была уничтожена: осталось два экзем-

пляра — ныне один в музее Ленина, другой в Ленинской библиотеке.

Да и как могла тогдашняя цензура пропустить такую книжку! «В небольшой брошюре,— писал по начальству царский цензор,— одиннадцать стихотворений революционного содержания. Призыв к изменническим и бунтовщическим деяниям вполне определенно звучит в стихотворениях «Клятва», «Песнь пролетариев», «Интернационал», «Расправа», «Я слышу звук его речей», «Гимн свободе». Брошюра подлежит аресту и судебному преследованию по параграфу 1 статьи 129».

Коц испробовал десятки профессий. В послереволюционные годы он работает в горнорудной промышленности.

Со временем Аркадий Яковлевич стал профессиональным поэтом. Им переведены стихи поэтов Парижской коммуны, написано много собственных стихов, но главным достижением и гордостью его жизни остался «Интернационал» — ныне Гимн Коммунистической партии Советского Союза,— гимн, поистине не знающий границ.

«Такое же значение, как Красное знамя, имеет песня «Интернационал»... Ее поют европейские рабочие, должны петь и мы при всех пролетарских выступлениях. Мотив песни — родной мотив для рабочих всех стран»,— писала газета «Правда» в марте 1917 года, по достоинству оценивая это поистине величайшее произведение пролетарской поэзии и музыки.

«Мы пели «Интернационал» с детства, и всякий раз, когда поднимаются эти торжественные и мощные звуки гимна трудящихся, нас охватывает живое волнение»,— говорил Морис Торез, выражая общее чувство простых людей земного шара.

Не всякому поэту суждено такое...

На стихи Коца «Майская песнь» и «Девятое января» композитор Дмитрий Шостакович написал музыку для хоров.

Аркадий Коц не складывал своего поэтического оружия и в Свердловске.

Жил он в большом доме по улице Малышева, 21. По соседству, в доме № 46, находился эвакуированный завод, при нем — многотиражка. Коц свел с ней дружбу, приносил стихи, написанные на конкретном материале, о живых, действующих людях; так была написана «Поэма о тысячниках». Два сына Коца находились на фронте, один отдал жизнь за Родину...

13 Заказ 133

Хорошо помню: на собрании, где решали вопрос об участии писателей в субботнике — разборке и сортировке овощей, говорили — сперва Бажов, его горячо поддержала Шагинян, затем поднялся Коц, седой, подтянутый, и произнес экспромт:

Друзья, потрудимся немножко!
Сегодня цель у нас одна:
Нам не поэма о картошке...
Сама картошка нам нужна!

Это было в октябре 1942 года.

Коцу тогда было уже семьдесят лет.

Тяжелая болезнь давно подтачивала организм старого поэта. Он знал, что обречен, но продолжал писать даже на смертном одре. Нельзя без волнения читать его последнее стихотворение:

Два земноводных существа
Впились мне в грудь и в горло... Два.
Грудная жаба, злейший враг,
И рак, злокачественный рак.

Они спешат наперебой,
Кричат и спорят меж собой,
Борясь за первенство, за честь —
Добычу первому унесть.

Глупцы. Кричу я им вослед:
В работе вашей смысла нет.
Ну, что б немного подождать?
Отсрочку жертве вашей дать?

На свете Гитлер есть, палач,
И смерть за ним несется вскачь.
Дождаться б радостного дня:
Пусть задохнется до меня.

Из больницы он посылает последнее «прости» друзьям. Высокая, светлая сила духа пронизывает его письмо Бажову, написанное в связи с присуждением Павлу Петровичу Государственной премии.

«Дорогой Павел Петрович!

Крайне сожалею, что, прикованный тяжелой болезнью к постели в больнице, я не могу лично пожать Вам руку и от души приветствовать Вас как лауреата...

Закрываю на минуту глаза, чтобы лучше представить себе знакомый Ваш образ патриархального типа, как бы сошедший с картины Васнецова, но насколько, однако,

преображенный событиями нашей великой эпохи! Сколько под этим внешним благообразием скрыто взрывчатого материала! Какая неистребимая ненависть к врагу в дни грозной опасности, нависшей над страной! Какая еще неизбывная энергия к творчеству на пользу Родине!

От души желаю Вам долго здравствовать и так творить!

А. Коц. 1/IV 1943 г.»

В мае 1943 года свердловчане проводили Аркадия Яковлевича Коца в последний путь. Его имя не может быть забыто. Память о нем должен сохранить каждый, кому дороги идеалы нашего времени, зовущие на битву со всем отжившим и враждебным, мешающим строить лучшее будущее.

...А жизнь шла своим чередом. Наперекор всем трудностям развивалось на Урале искусство, росла культура.

Первые, но далеко не робкие шаги делала молодая уральская кинематография. Если Нижний Тагил в войну обзавелся художественной галереей, то в Свердловске появилась своя киностудия художественных фильмов. Помещение для нее — бывший клуб строителей — было выделено еще в декабре сорок первого года. В мае сорок второго правительство приняло решение об организации на Урале кинофабрики. Для начала сняли... «Сильву», по одноименной оперетте. В разгар тяжелейшей кровопролитной войны — и вдруг «Сильва»?! Но смех, бодрая, жизнерадостная музыка особенно нужны, когда людям тяжело. «Сильва» прошла по экранам с огромным успехом, ее посмотрели десятки миллионов зрителей. (В главных ролях снимались молодые тогда актеры: Зоя Смирнова-Немирович — Сильва, и Ниаз Даутов, певец Свердловского театра оперы и балета,— Эдвин, С. Дыбчо — князь Волапюк, Г. Кугушев, художественный руководитель Свердловской оперетты,— Ферри.) В 1944 году при студии создали школу киноактера. На 20 вакантных мест было подано 500 заявлений...

Поднимались новые цеха, строилось жилье. Помню: в преддверии первой военной зимы на страницах газет мелькнуло знакомое лицо — театральный художник Сивач. Как простой рабочий он отличился на строительстве позарез необходимой тогда производственной площади в одном из центральных районов города. Теперь строительство шло нарастающим темпом с использованием разнообраз-

ных механизмов. Набирала темпы промышленность. В невиданно тяжком поединке с Силезией и Руром вперед выходил Урал...

Об этом хорошо написала Шагинян в своей книге «Урал в обороне»:

«Произошла удивительная историческая перестановка, о которой будущие историки напишут сотни томов: немец, хваставший своим высоким искусством организации, вдруг опьянел от разрушения, а тот самый «большевик», которым, как призраком разрушения, пугали Европу в невежественных бульварных романах и кем до сих пор отчаянно пытается припугнуть наших союзников немецкая пропаганда, именно он показал миру свое великое стремление к творчеству и созиданию, свой бессмертный и бескорыстный инстинкт творца. В том, что произошло на самом показательном участке нашего тыла, на промышленном Урале,— есть черта эпохального значения».

Вот это и было то таинственное «русское чудо», над загадкой которого ломали головы как наши враги, так и многие друзья.

Люди отдавали на оборону все, что могли, и даже больше того. Комсомолка-трактористка Татьяна Наумова из Режа внесла 100 000 рублей на танк. Этот танк отличился в боях. А сколько их было, таких танков, самолетов, орудий, сработанных на трудовые рубли советских людей!

Писатели тоже отдавали гонорары в фонд обороны. Мы вносили на танковую колонну «Работник печати», но, честно говоря, наши взносы не шли ни в какое сравнение с тем, что вносили простые труженики страны. Да разве суть была в сумме!..

Приближалась 25-я годовщина Великого Октября. В самом разгаре была грандиозная битва под Сталинградом. К твердыне на Волге непрерывным потоком шли подкрепления, танки, пушки, изготовленные на заводах Урала и Сибири. Великий праздник фронт и тыл готовились встретить в неслыханном напряжении всех сил,— в громе орудий и неугасающем пламени электросварок, в огненном сиянии броневой стали, из которой отливались башни грозных боевых машин.

На общем писательском собрании было решено ознаменовать 25-летие Советской власти выпуском большого литературно-художественного сборника. В редколлегию

вошли: П. Бажов, А. Караваева, К. Мурзиди, К. Рождественская, Л. Скорино.

Опыт коллективной работы над книгами к тому времени у нас был еще небольшой. Правда, выходил — хотя и с перерывами — альманах «Уральский современник». Первый военный номер его (или порядковый пятый) собрали в самом начале войны. (Свет он увидел несколько позже.) Номер целиком посвящался теме защиты Родины. Регулярно формировались заботливо опекаемые К. Рождественской «Боевые ребята» — альманах для семьи и школы.

Долгое время, в том числе всю войну, редактором «Уральского современника» (со временем он превратился в журнал «Урал») был Бажов. Практически всю основную работу по составлению, подбору и подготовке материалов вели в те дни К. Рождественская, К. Мурзиди — как руководитель поэтического отдела, и автор этих строк в роли ответственного секретаря редколлегии. Наряду с писателями в альманахе выступали ученые, новаторы производства, бывалые люди, фронтовики. Плохо было то, что альманах подолгу задерживался в производстве, выходил крайне нерегулярно, и нередко, пока крутилась типографская машина, многие публицистические материалы успевали состариться, события обгоняли их.

Клавдия Васильевна очень пеклась о том, чтоб в альманахе по возможности были представлены все эвакуированные на Средний Урал знаменитости, она спешила воспользоваться ситуацией и старалась привлечь как можно больше авторитетных, квалифицированных, высокого ранга, ученых и иных авторов, не оставляя при этом без внимания произведений начинающих, еще никому не известных или малоизвестных авторов. Именно Клавдия Васильевна настояла, чтобы я отправился к академику Обручеву, патриарху геологической науки. «Без статьи не возвращайтесь»,— напутствовала она меня.

До этого у меня была встреча с Ферсманом. Там все вышло просто: позвонил — пришел. Ферсман оказался чрезвычайно приятным человеком, он охотно отвечал на все вопросы, в свою очередь сам интересовался культурной жизнью Урала, в частности жизнью литераторов. Так же охотно он принял предложение прийти и выступить перед писательской аудиторией. Оратор он был очень интересный, с увлечением говорил о минералах и минералогии. Помню, провел параллель между трудом писателей и тру-

дом ученых. «Мы,— говорил он,— люди точной науки. Но и у вас тоже точная наука. Разве вы не рассчитываете точно свое произведение, как архитектор рассчитывает дом, прежде чем построить его? Мы с вами — близкие родственники...» Запомнилось: в литературе тоже точный расчет [1].

С Обручевым получилось несколько иначе.

Пред светлые очи академика меня допустили после долгих уговоров и выспрашивали, зачем да откуда пожаловал, кто таков. Кажется, «недопущающей», ревниво охранявшей покой и драгоценное время знаменитого ученого мужа была его жена, она же личный секретарь, весьма строгая интересная дама средних лет. После мне говорили, что далеко не каждому, жаждущему встречи с академиком, посчастливилось прорваться через эту преграду, но мне это удалось. Владимир Афанасьевич принял меня, сидя в глубоком кресле, до пояса укутанный пледом. Предложил тоже сесть. Дальше произошел занятный разговор. Я просил написать статью об Урале, не предвосхищая темы, лишь бы «поинтереснее» (Владимир Афанасьевич был старым «ураловедом», знавшим Урал «ногами»), а он все недоверчиво допытывался: «Напечатают? Выйдет в срок?» Вероятно, его уже не раз подводили ходоки от литературы. «Непременно»,— заверял я, хотя отнюдь не был уверен в том, что не окажусь обманщиком: как я уже говорил, выход нашего альманаха часто задерживался...

Неожиданно Обручев подобрел, разговорился, как будто из-за туч выглянуло солнышко; заулыбалась и дама-секретарь. Академику тогда доходил уже восьмой десяток, однако он ухитрялся выполнять четыре разных работы в день, распределяя их по степени сложности: утром, на свежую голову, самую сложную и трудную, затем — полегче, затем — еще легче и т. д. «Вашу я буду делать вечером, вместо развлечения». Сказал — и вдруг опять замкнулся, сдвинув брови, сделался снова строг и неприступен, давая понять, что аудиенция окончена. Секретарь поспешно вскочила, провожая меня до двери.

В конце концов престарелый, но сохранявший завидную работоспособность ученый дал нам не одну, а две

---

[1] Если не изменяет память, встреча проходила в кабинете редактора «Уральского рабочего», на ней присутствовали и журналисты. Кабинет был полнехонек, люди сидели по двое на одном стуле, стояли у стен.

статьи — вторую по собственной инициативе, в порядке «перевыполнения»,— написав обе точно к сроку: первая, какую мы и просили,— написанная от первого лица (воспоминания геолога), другая — научно-популярная. Мы поместили их обе в одном альманахе; для подобных материалов всегда находилось место. Ученые еще раз давали предметный урок, как надо работать.

Наш редактор, как истый уралолюб, с большим одобрением относился к участию в альманахе крупных ученых, знатоков края, печатное слово которых расширяло рамки познания Урала. Беллетристику Павел Петрович читал тогда уже далеко не всю: не позволяло зрение.

Обычно работа у нас протекала так. С подготовленным и отредактированным Клавдией Васильевной альманахом я приходил к Павлу Петровичу и подробно рассказывал о каждой вещи, присовокупляя мнение свое и других членов редколлегии. Павел Петрович слушал, кивал, попыхивая табачным дымом. Иногда останавливал, задавал вопрос-два и протягивал руку: «Вот эту дай мне, посмотрю». Как правило, это была именно та вещь, где могла выйти «спотычка».

Павел Петрович обладал поразительной редакторской интуицией и безошибочно, если так можно выразиться, чуял, где прячется какая-либо «каверза». На первый план он всегда выдвигал идейность, ясность мышления, четкость творческого замысла.

Меньше всего отнимала у нас времени поэзия. «Стихи пусть Костя смотрит»,— говорил Бажов. И добавлял, как бы в оправдание: «Поэты — что с них возьмешь?» У меня создалось впечатление, что он несколько иронически относился к тому потоку «лирики», которая густо плыла в альманах, да и по сей день плывет в редакции наших литературно-художественных журналов. «Хороший очерк ценнее».

Но я несколько отвлекся. Альманах — это было, так сказать, повседневное, будничное дело, хотя, смею заверить, совсем не такое простое во времена, когда на учете каждый флакон чернил, каждый клочок бумаги. (Достаточно сказать, например, что антифашистские сказки В. Важдаева печатались на газетной обрези, и это был не единственный случай успешного использования для литературных нужд типографских отходов.)

Позднее был создан коллективный сборник «Мы с Урала», посвященный Трудовым резервам, и на исходе

войны — «Нижний Тагил» и «Золото» (в связи с 200-летием открытия золота на Урале).

Вышел еще богато оформленный, совсем не по военному времени, на хорошей бумаге и в ледериновом переплете, сборник «Сыны Урала» (о фронтовиках-уральцах), но, хотя в нем принял участие ряд известных авторов, к сожалению, вряд ли о нем можно говорить как о серьезном литературном достижении. Очерки, за исключением «тыловых», писались на основе отрывочных сведений, коротких заметок и информаций, привезенных с фронта А. Панфиловым. Для обработки — или переработки, уж не знаю, как правильнее,— был приглашен И. Рахтанов; он и написал, сидя в номере гостиницы «Большой Урал», весь сборник, исключая очерки о героях тыла, написанные А. Караваевой, М. Шагинян и другими. Думается, что этот, последний раздел книги — «Уральцы в труде» — оказался более сильным.

Конечно, рецензия на сборник, опубликованная газетой «Уральский рабочий», была самая хвалебная, но иначе и быть не могло.

В ряду свердловских изданий военных лет сборник «Говорит Урал» занимает особое место. Он создавался в самый напряженный момент войны, когда еще не был известен исход Сталинградской эпопеи, и приурочивался к знаменательному событию — четверти века Советского государства. Двадцать пять лет — возраст зрелости. Надо было и сборник создать литературно зрелый, достойный этой исторической даты.

За составление взялась Л. И. Скорино.

Всегда буду приводить в пример ее настойчивость и целеустремленность. Первым деловитый напор этой женщины, вероятно, испытал на себе Бажов. По приезде на Урал Скорино сразу же взяла в оборот Павла Петровича, принялась выспрашивать его, как создавалась «Малахитовая шкатулка», что да почему, да как, их часто можно было видеть беседующими; эти беседы продолжались и дома у Бажова. Лишь спустя какое-то время мы поняли: Скорино готовит книгу о Бажове. Книга, как должно быть известно читателю, появилась, правда, уже после того, как все эвакуированные вернулись по домам. По праву Скорино может быть наречена «первоосновательницей» критической литературы о Бажове. С той же «настырностью» и энергией она взялась теперь и за составительство сборника «Говорит Урал».

Пожалуй, если бы не энергия и напористость Людмилы Ивановны, не знаю, вышел ли бы сборник в том объеме и составе, каким намечался по плану, а главное — к сроку. Так нередко бывает: на собрании все голосуют «за», обещают не подвести и т. д.,— словом, сомнений никаких, а началась работа — тот автор не поспевает, у того не получается, а дни летят... Одним из отстающих оказался я. Моя вещь — «В дни великой войны» — единственная повесть в сборнике; а ведь всегда легче сказать, чем написать. Рукопись сборника была уже почти подготовлена, прошли все сроки сдачи в производство, а я еще корпел над повестью. Потом потребовалась основательная доработка... Я уже готов был опустить руки: когда тут дорабатывать, если уже надо сдавать в набор?! Меня поддерживала и ободряла Людмила Ивановна. «Ничего, ничего, пишите. Главное — написать; а там уж не ваша забота». — «Как же не моя? А когда же вы успеете напечатать?» — «Это — мой секрет».

После открылся «секрет» Людмилы Ивановны. Вместе с мужем — В. М. Важдаевым, и бабушкой, по прозвищу Страшный Бубенчик, она жила в одной комнате Дома печати. Это была, вероятно, самая веселая, самая шумная и самая приветливая комната во всем Доме печати (если не считать комнаты Союза), представлявшем тогда и редакцию, и общежитие, и все что хотите. Здесь же жила подруга Людмилы Ивановны, маленькая, деловитая женщина,— фамилию ее, к сожалению, забыл,— заведующая производством типографии «Уральский рабочий». Заручившись ее согласием набрать и отпечатать сборник в самый сжатый срок, Людмила Ивановна и вела себя так уверенно. Друзья не подведут!

Наконец все было сверстано, отредактировано, подписано, сдано. В сборнике приняло участие двадцать пять авторов — Шагинян, Бажов, Караваева, Илья Садофьев, Людмила Татьяничева. Людмила Младко — начинающая поэтесса, Нина Попова — будущий преемник Бажова на посту председателя правления Свердловского отделения СП, Федор Васильевич Гладков, Николай Николаевич Ляшко, профессор Данилевский, представители «легкого жанра» В. Типот и Н. Мерцальский, Ю. Верховский, А. Коц и другие. Со сдачей затянули. Волновались: успеет ли выйти вовремя? Ведь это был наш подарок, наш рапорт к великому празднику, так сказать, сгусток того, на что мы были способны...

Третье, четвертое, пятое ноября. Остался день. А сборника все нет. «Выйдет, выйдет»,— успокаивала Людмила Ивановна с безмятежной улыбкой, сияя голубыми плутовскими глазами.

Настал канун праздника. И вот наконец мы держим в руках первые экземпляры сборника. На обложке его, сделанной художником В. Таубером, яркая надпись: «Говорит Урал» и поднятое грозно пушечное жерло, за которым видны силуэты заводов. На первой странице, перед титульным листом, краткий четкий текст:

Трудящиеся Советского Союза!
За 25 лет Советской власти
вы создали могучую социалистическую
индустриальную и колхозную державу.
Всеми силами защищайте
плоды своего многолетнего труда!

«Говорит Урал»! Он еще пахнет типографской краской; не беда, что бледноват шрифт и шершава газетная бумага... А какой увесистый: двадцать печатных листов. Это был самый большой литературно-художественный сборник, выпущенный в том году в стране.

В самый последний момент, уже после выхода сигнального экземпляра, едва не сорвалось все. Кому-то из руководства не понравился один рассказ. В рассказе, написанном от лица эвакуированного, действительно встречались неудачные выражения: приезжий, озябший, промокший под дождем до нитки, только что с поезда, стоит и размышляет, глядя на все через пелену падающей воды: серый город, серые люди... Это было обидно, незаслуженно для города, который приютил, обогрел столько народа, вынес на своих плечах такие тяготы. Сборник задержали, пришлось делать выдирку. Наконец было взято и это препятствие.

Но сделано еще не все. Надо, чтоб сборник попал к читателям немедленно, сейчас же. Через час начинается торжественное заседание общественности города в театре оперы и балета имени Луначарского. Нужно, не теряя ни минуты, забросить часть тиража туда. Но рабочий день окончен, грузчиков, транспорта не найдешь...

Дом печати напротив оперного театра. И, что говорится, засучив рукава, мы принялись таскать тяжелые пачки книг на себе. Таскали все — и сама составительница, и авторы... К театру уже начал стягиваться народ, быстро

наполнялись фойе и зрительный зал, а мы, запыхавшиеся, раскрасневшиеся, едва переводя дух, все еще сновали от типографии к театру и обратно. В фойе, у входа, тем временем уже бойко шла торговля. Сборник шел нарасхват. Его не брали, а рвали из рук продавщицы, как самый дефицитный продукт: такая толстая книга (последние год-полтора выходили только тонкие брошюры, едва начал читать — и уже конец...). И название такое, что поневоле внушает почтение: «Говорит Урал».

Я видел, как покупатели отходили от лотка, бережно прижимая книгу к груди; другие раскрывали и тут же, на ходу, углублялись в чтение. Около лотка образовалась очередь.

Неправда, будто на войне
Смолкает голос муз.

...Нет, музы не молчали. Они тоже сражались, тоже боролись за народное счастье и свободу,— в поту, в огне и дыму ратных и трудовых сражений, не гнушаясь никакой черной работой.

Е. Багреев

НА ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИИ

Память возвращается к суровым дням войны.

В первый же месяц фашистского нашествия на нашу страну работа редакции «Уральского рабочего» была перестроена на военный лад. С большим трудом налаживалась деятельность аппарата. В 1940 году он состоял из 94 человек да в собкоровской сети было 11 человек. Этот состав сократился наполовину. Опытные журналисты ушли на фронт.

Газета выходила теперь на двух полосах (вместо четырех). Площадь сократилась, а забот и беспокойства прибавилось: военное время требовало оперативности, мобильности аппарата редакции, усиления агитационно-пропагандистской функции газеты.

Многие писатели, деятели культуры и искусства — как местные, так и эвакуированные в Свердловск — в ту пору были завсегдатаями редакции. Их не только интересовали новости, поступавшие в газету,— они выступали нашими желанными авторами. И по своей инициативе, и по просьбе редактора Льва Степановича Шаумяна, заведующих отделами. Часто бывали у нас художники А. Яр-Кравченко, П. Васильев, композиторы Д. Покрасс и Т. Хренников, московские и свердловские артисты.

Желанным гостем редакции был профессор, доктор исторических наук Виктор Васильевич Данилевский. Эвакуированный в Свердловск из Ленинграда, он здесь быстро освоился, сдружился с журналистами, писателями, учеными. Трудолюбиво вел раскопки в местных архивах и находил важные документы по истории русской техники. Каждый раз, когда в его руки попадала уникальная находка, Данилевский с сияющим лицом и каплями пота на крутом лбу от тяжелой ходьбы (он ходил на костылях) спешил поделиться радостью с редактором. Он активно сотрудничал в «Уральском рабочем». Написал, например, статью «Русские в Берлине», насыщенную интересными историческими фактами. Статья заканчивалась знаменательными словами: «Весь мир убедился в том, что от Бер-

лина до Москвы неизмеримо дальше, чем от Москвы до Берлина».

Можно назвать еще немало имен деятельных помощников газеты из числа научной и творческой интеллигенции. Но самыми главными, самыми незаменимыми нашими помощниками, конечно же, были писатели.

И прежде всего хочется сказать о Мариэтте Сергеевне Шагинян.

Почти три года — самые тяжелые годы войны — она жила в Свердловске. Жила в гостинице «Большой Урал», но подлинно родным домом для нее была редакция «Уральского рабочего». Правда, и здесь появлялась она преимущественно по вечерам или даже глубокой ночью, когда комнаты редакции начинали пустеть. Вездесущий и неугомонный работник пера, она проводила дни у сталеплавильных печей, в цехах, рождавших танки, у станков, делавших боеприпасы. Не созерцать, не наблюдать, а вмешиваться в жизнь, влиять на нее, на дела людей — такому принципу Шагинян подчинялась безоговорочно. Выступала на заводах в качестве беседчика, агитатора, а иной раз и технолога с обоснованными советами, от которых специалистам стыдно было отказаться. На Уралмаше, например, она буквально полезла в драку с инженерами из-за применения отсталых форм литья.

В работу редакции Мариэтта Сергеевна тоже вмешивалась на правах постоянного сотрудника. Она прекрасно понимала, какую ответственность несет печатное слово в грозное время и каким оно должно быть, когда решается судьба Родины.

Вспоминаются повседневные встречи с ней. Глубокая ночь. На дворе — трескучий мороз. По длинному коридору редакции не идет, а бежит (вечная спешка!) женщина в меховой шубке и шапке-ушанке. Раскрасневшийся от холода нос оседлали очки-велосипед. Врывается в кабинет редактора Л. С. Шаумяна. Попыхивая трубкой, он с нарочитым недовольством говорит:

— Ну, где же ты, Сергеевна, пропадала так долго? Спрашивала тебя Анна Караваева, а мы не смогли дать ответ. Оконфузились!

— Не дождалась трамвая, шла пешком. А пропадала там же...

Это «там же» означало: была на заводе, изготовляющем оружие для фронта. Присутствующие в кабинете редактора посетители и сотрудники слушают как заворо-

женные рассказ Мариэтты Сергеевны о том, что она видела вчера и сегодня на заводе.

Ее бесконечно радовали и волновали победы на фронте и героизм рабочих в тылу — сталевара Нуруллы Базетова, токаря Ивана Мезенина, бурильщика Иллариона Янкина, станочника Дмитрия Босого и сотен им подобных. Талантливое перо Шагинян помогало «Уральскому рабочему» славить героев, воспитывать у людей любовь к Родине, ненависть к фашистским злодеям.

Коллектив редакции относился к Мариэтте Сергеевне с глубочайшим уважением, всегда прислушивался к ее журналистским советам и критике. Поражала ее широкая эрудиция и увлеченность всем, что относится к духовной жизни общества. От нее можно было услышать свежие интересные суждения по вопросам науки, техники, литературы и искусства. Она готова была часами рассказывать о творчестве своего любимого композитора Сергея Васильевича Рахманинова, о классической живописи, вести компетентный спор по вопросам современной технологии на предприятиях. Не могу забыть приятную неожиданность: однажды она принесла в редакцию великолепную статью о... проблемах гидроресурсов Урала!

Мариэтта Сергеевна умела профессионально вникать в искусство, в театральную жизнь. Тонкое понимание театра она обнаружила, например, своей рецензией «Фронт» на сцене», напечатанной в газете 4 декабря 1942 года. Незадолго перед тем автор пьесы «Фронт» А. Корнейчук приехал в Свердловск в связи с предстоящей постановкой ее МХАТом и Центральным театром Красной Армии, которые в то время находились в Свердловске, давал актерам советы. Следует заметить, что пьеса после опубликования «Правдой» вызвала разноречивые суждения и оценки. Не обошлось без дискуссий и в Свердловске как до постановки, так и после. На собрании писателей, как выразился один из участников споров, «больше всех шумела драчливая Шагинян».

Обычно Мариэтта Сергеевна, войдя в мой кабинет, садилась возле стола и, придерживая левой рукой слуховой аппарат (она плохо слышала), задавала вопросы:

— Какие новости принял из Москвы телетайп?

— Что сообщили сегодня собкоры из городов области?

— Сверстан ли номер газеты и чем порадует читателей?

А потом, порывшись в исписанном блокноте, делилась впечатлениями, накопленными за день, и предлагала темы для выступлений.

Бывало и так: еще с порога начинала критиковать какое-либо упущение редакции, статью, написанную канцелярским языком, неудачный заголовок корреспонденции.

Я очень дорожил ее советами и предложениями. Давал ей свои материалы до публикации их — с просьбой: «Посмотрите и оцените». Просьбы аккуратно выполнялись. Однажды утром, подойдя к рабочему столу, я обнаружил записку такого содержания:

«Уважаемый т. Багреев!

Статья неплохая и нужная (хотя слишком обща и информационна, не дает самостоятельной мысли). У меня голова сейчас не работает (засыпаю), поэтому вряд ли могу хорошо помочь.

Кое-где сократила. Сделала корректорскую правку. Много имен и много цитат из обращений, к-рые хорошо известны.

Конец вульгарен — хотелось бы «академичней».

Привет. *М. Ш.*»

Записка оставлена на моем столе ночью, что свидетельствует о редкостной добросовестности автора. Эта мини-рецензия на статью по теме «Тыл — фронту» — пример высокой требовательности Шагинян к печатному слову. Что касается устных советов, то их трудно перечесть. Мариэтта Сергеевна была для меня заботливым наставником, для газеты — ведущим публицистом, показывающим пример всем нашим журналистам.

Неоднократно редактор и я обращались к Мариэтте Сергеевне с просьбой выступить в газете с рецензией на те или иные новые книги Свердловского издательства. Такие же просьбы поступали и от самих писателей. Шагинян охотно откликалась, что подтверждает сохранившаяся у меня записка:

«Тов. Багреев!

Смогла бы выполнить Вашу просьбу числа 28—29 в такой форме: новые книги, с рецензиями — общим обзором книжек Мурзиди и Верховского, книги Люм, книги Рябинина «Месть Бо́сого» и мож. б. еще какой-нибудь,— на подвал.

Если согласитесь, напишу. Писать же мне об одном

Мурзиди, когда товарищи ждут по месяцам от меня обещанных рецензий,— не совсем удобно!

Между прочим, завтра я еду в Молотов (г. Пермь.— *Е. Б.*), вернусь 28-го, а 30-го уезжаю на 10 дней в Москву, это учтите.

М. Ш.»

С давних пор Шагинян выработала хорошую журналистскую привычку вести дневник. В Свердловске она тоже делала дневниковые записи. Фиксировала важнейшие события и факты, добавляла свои комментарии, выделяла характерные штрихи производственного быта, обусловленные войной, набрасывала зарисовки о людях — героях труда. О содержании дневника читатели узнали из книги «Урал в обороне». В нашей газете первые главы произведения были напечатаны 3—6 июля 1943 года, а затем оно было выпущено издательством.

Книгу составили зарисовки, эскизы, очерки, написанные тепло, увлекательно, образно. В них раскрывается душа советского человека, поднявшегося во весь свой духовный рост на защиту Родины. Перед читателем предстает галерея сынов Урала — новаторов, рационализаторов, инженеров, ученых, передовиков соревнования за лучшую помощь фронту. Любовно выписан портрет сталевара Верх-Исетского завода Нуруллы Базетова. Книга вдохновляла работников тыла на трудовые подвиги. Ее читали и перечитывали тысячи людей.

Запомнилась мне статья Шагинян «У истоков чуда», опубликованная в газете «Труд». (Исполняя обязанности корреспондента «Правды», сотрудничая в «Уральском рабочем», Мариэтта Сергеевна принимала деятельное участие и в работе коллектива газеты «Труд», отделение которой тоже помещалось в Доме печати.) Статья рассказывает о стройке корпусов завода для выпуска оборонной продукции. Членом выездной редакции там была Мариэтта Сергеевна, поэтому она детально рассказала, как в декабре 1941 года свершилось чудо: в неимоверные холода за 12 дней руками студентов, артистов, машинисток и домашних хозяек возведены два заводских корпуса; армия своевременно получила новое оружие.

Публицистика М. Шагинян отличалась возвышением над фактами, широкими обобщениями, философскими раздумьями над новыми явлениями советской действительности. Многому можно было поучиться у нее и жур-

налистам, и писателям, в особенности тем, которые сторонились газетной работы, наивно полагая, что она мешает создавать крупные художественные произведения.

В марте 1943 года писатели и общественность отмечали 55 лет со дня рождения и 40 лет творческой деятельности Мариэтты Сергеевны. Этим датам посвящалась статья Л. Скорино «Неутомимый труженик», в которой подчеркивалась поразительная работоспособность Шагинян. В доказательство ее необычайной и неиссякаемой энергии приведена цифра: Мариэтта Сергеевна написала к тому времени 58 книг.

И как тут не вспомнить слова самой Шагинян, сказавшей впоследствии в одном из интервью:

— Мне кажется, лучшей формы изучения нашей жизни, чем оперативная работа в газете, нет и не может быть.

Вероятно, она имела в виду не только свой, но и опыт многих писателей, для которых газета служила и служит окном в мир. К числу их отношу Ф. В. Гладкова — признанного классика советской литературы.

Федор Васильевич, приехав в дни войны в Свердловск, выполнял поручения газеты «Известия». Он все время находился на заводах, в редакцию «Уральского рабочего» заходил изредка. Но контакт с московскими и местными писателями установил быстро. Лично познакомился с П. П. Бажовым, встречался с ним в его домике. А однажды с Бажовым, Шагинян и другими писателями Гладков выезжал в Ревду — знакомился с жизнью предприятий старинного уральского города. Помимо газетных материалов Федор Васильевич написал изданную в Свердловске в 1942 году небольшую книгу «Мы победим!». Участвовал он и в литературных вечерах.

Сотрудничество Гладкова в «Уральском рабочем» было эпизодическим. Самым ярким и сильным выступлением его считаю антифашистский памфлет «Живопырь Розенберг», помещенный в газете 8 февраля 1942 года.

Анна Александровна Караваева работала на Урале корреспондентом «Правды», почти непрерывно путешествовала по краю, посещала крупнейшие предприятия, начиная с Уралмаша. Писала яркие корреспонденции, очерки, статьи в «Правду», в местные газеты, и в частности в «Уральский рабочий».

В публицистике Караваевой встречается много портретов знатных людей Урала. Среди них Нурулла Базе-

тов, Дмитрий Сидоровский, Ибрагим Валеев, Дмитрий Бóсый, Илларион Янкин и другие гвардейцы тыла.

Среди эвакуированных на Урал писателей одной из старейших была Ольга Дмитриевна Форш. Она жила в Свердловске с осени 1941 года до весны 1944 года. Несмотря на трудные условия того времени, Форш много времени работала над задуманным новым романом «Михайловский замок», увидевшим свет в 1946 году, писала статьи, общалась с московскими и местными литераторами. Особенно дружила она с украинской писательницей Оксаной Иваненко, вместе они бывали и в редакции «Уральского рабочего».

Встречи с выдающимися писателями, оказавшимися в те грозные дни на Урале,— незабываемы. Нет таких весов, на которых можно было бы точно взвесить, какую помощь оказали они «Уральскому рабочему» своим творчеством.

Особые чувства рождаются, когда вспоминаешь встречи с Павлом Петровичем Бажовым.

...1939 год. Поезд шел из Москвы на восток. Я ехал в незнакомый мне край — на Урал, имея в кармане путевку ЦК партии с рекомендацией на ответственную газетную работу. По дороге жадно всматривался из окон вагона в уральские пейзажи. Какой он, Урал, что ожидает меня? Вот и Свердловск. Редакция газеты «Уральский рабочий». Расспрашиваю Леонида Петровича Неверова, исполнявшего обязанности секретаря редакции:

— Какие особенности в экономике края? Что представляет собой культура? Чем интересен быт уральцев?

В конце беседы Неверов сказал:

— Про экономику ты все узнаешь в «Уральской энциклопедии». Она есть в нашей библиотеке. А о культуре, быте и людях почерпнешь сведения в книге «Малахитовая шкатулка». Она недавно издана, но в магазинах ее нет — расхватали. Даю тебе свою, обязательно верни.

После работы, вечером, я увлекся чтением книги и не закрыл ее почти до самого утра.

Так состоялась заочная встреча с Павлом Петровичем. А через некоторое время я лично познакомился с ним. Человек небольшого роста, с непокрытой головой, белобородый, в длинной рубахе, перехваченной в поясе, тихий, приятный голос, лицо, выражающее внутреннее

благородство,— это первое впечатление прочно отложилось в памяти.

В последующее время знакомство с творцом «Малахитовой шкатулки» переросло в дружбу.

С первых дней войны старого писателя не покидали тяжелые раздумья: «Чем и как помогать борьбе с фашизмом?» Я встречался с ним чуть ли не ежедневно в Свердловском обкоме партии, куда мы приходили по своим делам. В беседах Павел Петрович делился сомнениями:

— Писатели, те, кои остались в тылу, выступают со статьями, очерками, стихами на злободневные темы. Это их действенное оружие. А мое перо приучено к сказам. Но кому теперь нужны сказы, построенные на материале прошлого? Не та сила!..

Разумеется, давать какие-либо советы я не мог, да и стеснялся. Беседа переключалась на другие темы — о событиях на фронте, прибытии и пуске эвакуированных с запада на Урал заводов, о газетных новостях. И каково же было мое изумление, когда однажды писатель пришел в редакцию в хорошем расположении духа и положил на стол рукопись сказа со словами:

— Вроде бы получилось что-то нужное газете. Почитайте. Писал на скорую руку, потому не отшлифовано... В спешке-то всякое бывает.

Небольшой по размеру сказ я быстро и с увлечением прочитал, поблагодарил Павла Петровича и пообещал:

— Будет срочно опубликован [1].

Сбереженный мною оригинал сказа, напечатанный на пишущей машинке, имеет заголовок «Про главного вора» и подзаголовок «Из рассказов дегтярского горняка». В конце рукописи, после подписи автора, поставлена дата: 19 августа 1941 г. В «Уральском рабочем» сказ опубликован 21 августа.

Используя исторические были, автор нарисовал сатирический образ продувной бестии и хапуги Бревера, типичного представителя тех «немецких начальников», которые под покровительством царизма проникали на Урал и прибирали к своим грязным рукам его богатства.

---

[1] С начала войны редактор «Уральского рабочего» Иван Степанович Пустовалов был утвержден секретарем обкома партии по пропаганде. Обязанности редактора исполнял я примерно до середины октября сорок первого года, а потом газету редактировал до конца 1945 г. Лев Степанович Шаумян. После его отъезда в Москву я был утвержден редактором.

Главный вор,— говорится в сказе,— «больше всех захватил. Ему гороблагодатские заводы достались, да еще царица (Анна Иоанновна.— *Е. Б.*) поставила его главным над всеми заводами. Он и давай хапать, что только углядит».

Сказ, обращенный в прошлое, невольно наталкивал на аналогию: не так ли ведут себя фашистские разбойники, грабящие захваченные ими советские города? Не от таких ли бреверов ведут свою родословную гитлеровские изуверы-человеконенавистники, обосновывающие свое «право» угнетать другие народы? Произведения Бажова, несомненно, воспитывали ненависть к врагу.

С той поры все больше крепло содружество газеты с писателем, возникшее еще до войны. После сказа «Про главного вора» Бажовым были написаны «Иванко-Крылатко», «Провально место», «Заграничная барыня», «Хрустальный лак», «Тараканье мыло», «Веселухин ложок». Эти произведения составили сборник «Сказы о немцах», вышедший в Свердловске отдельным изданием в 1943 году. «Уральский рабочий» напечатал 27 ноября 1943 года теплую рецензию о нем, написанную критиком А. Ладейщиковым.

В последующий период в газете продолжалась публикация произведений цикла «Сказы о немцах». Были напечатаны сказы «Чугунная бабушка», «Алмазная спичка» и другие. Каждый раз, когда в оттиске сверстанной полосы был бажовский сказ, у работников редакции повышалось настроение.

«Спасибо Бажову! — слышалось вокруг.— Выручил старик! И как метко!..»

Да, художественное слово Бажова повышало действенность газеты.

Сказы на материале исторического прошлого, перекликающиеся с современностью, метко били по фашистским захватчикам, ставившим своей целью захват наших земель, порабощение советского народа. Читателю становилось ясно, что под личиной озверелого фашиста скрывался все тот же немецкий мещанин, филистер, собственник, который прежде на уральских заводах эксплуатировал рабочий люд, измывался над умельцами, обогащался.

Классово враждебным, спесивым, духовно нищим немецким хозяевам и управителям Бажов противопоставлял уральских рабочих, олицетворявших национальный характер с его подлинно человеческими достоинствами, ду-

шевным благородством. При этом писатель хорошо понимал, что мы воюем не с немецкой нацией, а с фашистскими бандитами — ударной силой международного империализма.

Бажов — интернационалист и патриот — сознавал, какую моральную силу имеет чувство национальной гордости, советского патриотизма. Утверждению этого чувства были посвящены, по существу, все сказы, в том числе и послевоенного времени. Достаточно сослаться на сказ «Шелковая горка», опубликованный в «Уральском рабочем» в день 30-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября 1947 года. В нем на историческом материале утверждается русский приоритет в области изготовления «каменной кудели» (из асбеста), которая «в огне не горит». Крепостная Марфушка делала кружева на 80 годов раньше итальянской Елены!

Как раз в это время газета публиковала серию материалов под рубрикой «За приоритет отечественной, советской науки и техники». Сказ Бажова явился очень крепкой поддержкой линии газеты.

Но вернемся к военной поре. Добрые вести принесла народу осень 1943 года. Враг проиграл битву на Курской дуге и откатывался все дальше и дальше на запад. В освобожденных районах начались восстановительные работы, в которых участвовали и уральцы. Все это воодушевляло Бажова, и он решил раскрыть свою «тайну»: написать и опубликовать сказ, содержание коего, по его признанию, «приберегалось для изложения на бумаге под конец жизни». В хорошем настроении от наших побед Павел Петрович принес в редакцию авторское свидетельство на новое творческое «изобретение» — сказ «Живинка в деле».

Когда сказ оказался в руках редактора Л. С. Шаумяна, он своим восхищением заразил работников редакции:

— Читай! Это не малахит, а чистейшее золото! Как мудро высвечена философская мысль, что любой труд — творчество! А какой симпатичный этот Тимоха, углежог-профессор!

Потом, при встрече с писателями, допрашивал:

— Вы читали «Живинку в деле»? Нет? Ну, знаете, вы многое потеряли. Поизносились глаза у Бажова, а видит он жизнь с завидной зоркостью! Прочтите!

И тут же давал посетителю номер газеты со сказом.

Сам Павел Петрович считал свое произведение коронным. По содержанию оно явилось архисовременным. Ге-

рой сказа Тимоха Малоручко, «парень со смекалкой», любую тяжелую работу выполнял с охотой, беспрерывно менял профессии. Наконец поступил в ученики к мастеру-углежогу дедушке Нефеду и «застрял в углежогах» навсегда. Нелегкая и грязная работа оказалась своего рода искусством, которое надо познать с любовью к делу, найти в нем живинку.

«Уральский рабочий» опубликовал сказ 27 октября 1943 года. А три недели спустя в один и тот же день, 21 ноября, его опубликовали «Правда» и «Труд», что для нас, уральских журналистов, было большой радостью.

Интересна история появления бажовского творения в центральных газетах. По воспоминаниям В. П. Бирюкова, старый большевик Андриан Афанасьевич Пьянков сделал вырезку сказа из «Уральского рабочего» и послал ее Демьяну Бедному, с которым он дружил и вел переписку. Демьян Бедный ответил Пьянкову, что он настойчиво рекомендовал «Живинку в деле» редакции «Правды», но, учитывая, что центральный орган перегружен материалами и публикация сказа может затормозиться, предложил сказ «Труду» со своим стихотворным комментарием. Как видно, опасения Демьяна Бедного в адрес «Правды» не оправдались. А в стихотворении поэт выразил свое восхищение сказом. Вот одно из четверостиший:

В нем слово каждое лучится,
Его направленность мудра,
Найдут, чему здесь поучиться,
Любого дела мастера.

В годы тяжелых испытаний Бажов с особой увлеченностью и напряжением сил работал над сказами о Владимире Ильиче Ленине. Первый из них — «Солнечный камень» — был опубликован в нашей газете 21 января 1942 года, к 18-летию со дня смерти вождя, второй — «Богатырева рукавица» — напечатан в 1944 году к 20-летию со дня смерти Ленина и третий — «Орлиное перо» — увидел свет 21 апреля 1945 года, накануне 75-летия со дня рождения Ленина.

Мы с редактором, зная, что Бажов готовит сказ к той или иной исторической дате, терпеливо ждали, когда он позвонит по телефону и скажет тихим голосом: «Закончил... Напечатал». А звонил он за несколько дней до даты. Ему хорошо было известно, что содержание сказа должен изучить и иллюстрировать рисунками редакцион-

ный художник Геннадий Ляхин, затем рисунки идут в цинкографию для изготовления клише, а оригинал сказа — в типографию для набора. Все это займет время.

Можно сказать, что некоторые сказы и зарождались в стенах редакции «Уральского рабочего».

Газета в те дни печатала много материалов о героике труда рабочих, которые не жалели сил для укрепления военного могущества страны. Рассказывалось, в частности, о трудовых достижениях прокатчика Верх-Исетского завода Василия Оберюхтина. Павел Петрович зашел как-то к редактору газеты. Завязалась оживленная беседа в моем присутствии.

Лев Степанович, азартно жестикулируя, с юношеским задором говорил:

— Меня, Павел Петрович, очень заинтересовала одна личность на ВИЗе. Удивительный человек! Представьте себе, показывает пример во всем. Буквально во всем! И в труде, и в отношениях с людьми, и в быту.

— А кто он? — перебивает Бажов.

— Прокатчик Оберюхтин. С какой стороны ни посмотри на него, обязательно увидишь только доброе. Настоящий коммунист! Весной мы печатали его портрет: лучший прокатчик в городе. А недавно снова поместили снимок, он занесен в городскую Книгу почета. Вот о ком надо писать поэму. Достоин!

— Да, Лев Степанович, на ВИЗе люди проходят хорошую школу,— сказал в раздумье Бажов.

Полагаю, что именно эта беседа вызвала у Павла Петровича желание написать сказ. Подтверждением может служить письмо Бажова к Л. И. Скорино от 17 сентября 1946 года. В нем сказано: «За старой рамкой люди не видят не совсем старого содержания, которое, однако, нельзя дать в виде фотографии, чтоб человек мог точно сказать — это я. А ведь есть у меня и сказы прямого боя. Например, «Круговой фонарь», писанный о прокатчике ВИЗа О. С героем сказа не знаком. Прочитал лишь несколько газетных заметок о нем и передвинул его качества в хорошо известный мне быт».

Покопавшись в своем архиве, я нашел оригинал сказа «Круговой фонарь», напечатанный на машинке. На первой странице красным карандашом была сделана пометка «Оберюхтин». Сказ опубликован в «Уральском рабочем» 7 ноября 1944 года с некоторой стилистической правкой, сделанной самим автором (в редакции действовал строгий

запрет: к бажовскому тексту не прикасаться, удалять только заблудившиеся запятые).

Сказ «прямого боя» заканчивается обобщенной характеристикой героя, которого «недавно в Книгу почета записывали», и далее делается заключение: «Так и сяк поворачивали, а на одно выходит... Одним словом — круговой фонарь. Только как он в партии состоит, так по-другому старики похвалили:

— С какой стороны ни поверни, все коммунист».

В 1944 году произошли два больших события в жизни П. П. Бажова: награждение орденом Ленина и шестидесятипятилетие со дня рождения. Обком и горком партии, Свердловское отделение Союза писателей организовали вечер чествования юбиляра. Он проходил в здании филармонии. Концертный зал был переполнен.

После многочисленных приветственных выступлений на сцену выходит и садится напротив Бажова... другой Бажов: искусно загримированный артист драматического театра Л. Д. Охлупин. Удивительное сходство поражает зал, и в наступившей тишине люди внемлют каждому слову второго Бажова, читающего наизусть с большим мастерством сказ «Солнечный камень». С улыбкой слушает артиста Павел Петрович.

«Уральский рабочий» отметил юбилей многими материалами, а друзья-писатели порадовали выпуском однодневной газеты «Литературный Урал», вышедшей в день рождения писателя. На первой ее странице — крупным планом портрет Павла Петровича, нарисованный художником Геннадием Ляхиным. Под портретом приветствие Союза писателей СССР.

Из поздравительных стихотворений, помещенных в «Литературном Урале», мне больше всего запомнились строки Константина Мурзиди:

Привет тебе, друг мастеров и поэтов,
Народный писатель, художник, мудрец,
Чья книга — чудесный ларец,
Сверкающий гранями слов-самоцветов!
Для звонкой строки отбирая слова,
Как мастер кристалла, и сердцем, и глазом,
Ты смело дошел до вершин мастерства
И сам уже стал замечательным сказом.

Газета «Литературный Урал» пожелтела от времени. Храню ее как дорогую реликвию.

Некоторое время назад я получил из Москвы большое письмо от бывшего секретаря Свердловского обкома партии Ивана Степановича Пустовалова. Он писал: «Нашего незабвенного Павла Петровича Бажова обком партии загружал больше чем следовало бы. К сожалению, такое положение тогда было совершенно неизбежным, оно диктовалось неумолимыми законами и требованиями военного времени». Далее он отмечает, что Бажову, возглавлявшему писательскую организацию, по должности приходилось нелегко, а хлопот прибавилось, когда в Свердловск прибыли писатели из других городов.

Да, это так. И немалую долю загрузки добавляла газета. Часто накануне исторических дат, праздников редактор или заместитель обращались к Павлу Петровичу с просьбой выступить в газете, написать новый сказ. Писатель, как правило, отвечал:

— Ну, хорошо. Подумаю. А что выйдет... твердо не обещаю.

И всякий раз выходила еще одна талантливая вещь.

Показательна в этом отношении история рождения сказа «Не та цапля» — уже в послевоенное время. А было так.

Как-то, разговаривая с Павлом Петровичем по телефону, я попросил его написать что-нибудь о техническом прогрессе.

— Вопрос, конечно, важный,— ответил Бажов.— Но ведь вы знаете, что это не по моей части. Пишу о том, что хорошо знаю. Не могу...

— Павел Петрович! Газету очень волнует этот вопрос. Сегодня «Правда» напечатала передовую, посвященную ему. Прошу прочитать, и тогда ясно будет, за какие материалы прошлого и настоящего ухватиться.

— Ну хорошо. Почитаю. Но сказа не обещаю.

Проходит некоторое время, и Павел Петрович появляется в редакции со сказом.

— Настукал. Посмотрите, может быть, годится для газеты.

Слово «настукал», которое он часто употреблял, означало напечатал на машинке.

Присел в кресло и, немного помедлив, добавил с добродушной улыбкой, как бы поверяя тайну:

— Прихожу в обком партии. Секретарь обкома Шестаков пристал да пристал: «Поедем на Уралмаш, посмотрим шагающий экскаватор». Поехали. Рассматриваю час-

ти этой махины, ее ноги, длинную стрелу, и сразу возникает образ цапли. А у нас в Сысерти прежде была заводская марка — изображение цапли. Вот откуда и пошли мысли о сказе «Не та цапля».

Канвой произведения послужил обычай старых заводовладельцев метить свою продукцию особым клеймом. В Сысерти избрали изображение цапли. Она стала синонимом каторжного труда рабочих, как говорится в сказе, «опостылела им, может, хуже двуглавого орла». Прошли годы,— рассказывает автор,— и вот внук повез дедушку на большой уральский завод показать машину, имеющую внешнее сходство с цаплей: длинная шея, долгие ноги, ходит, как человек на костылях, вприпрыжку. Дедушка увидел землекопную машину, что «за день поднимает земли за семь тысяч человек», шагающий экскаватор. Цапля, да не та! Сказ замыкается концовкой о том, что у нашего народа думка «побольше понаделать самолучших машин, каких не было и нет в заморских странах, да облегчить труд нашего человека».

«Долговекий мастер», как удачно назвал Бажова Е. Пермяк, был, попросту говоря, своим человеком в редакции. Заходил к нам либо в качестве автора, либо по вопросам деятельности отделения Союза писателей, либо для встреч с московскими и ленинградскими литераторами, жившими в эвакуации в Свердловске. Частенько я видел в редакции такую картину: на старомодном диване с высокой спинкой сидят Бажов и А. С. Серафимович или Бажов и А. С. Новиков-Прибой, мирно течет беседа; Павел Петрович дымит любимой трубкой и больше слушает, чем говорит.

У меня, человека с Дона, было особое расположение к Александру Серафимовичу. Появление его в редакции вызывало воспоминание об учебе в учительской семинарии станицы Усть-Медведицкой — родины Александра Серафимовича, ставшего впоследствии городом его имени, о первых рассказах писателя из донской жизни. Когда пришла весть о разгроме фашистов в Сталинграде, Серафимович несказанно радовался, делясь чувствами с Бажовым.

Здесь, в Свердловске, Серафимович написал несколько рассказов и очерков, в которых клеймились зверства немецких захватчиков. В 1943 году он поехал в Москву. Вскоре после взятия Орла нашими войсками (кстати сказать, важную роль в сражении за город сыграл Ураль-

ский добровольческий танковый корпус) группа писателей собралась на фронт, чтобы написать книгу о боях за Орел. И вместе с другими поехал А. С. Серафимович. Ему тогда было... 80 лет!

Возвращаясь к взаимоотношениям редакции с Бажовым, хочу отметить, что, питая глубокое уважение к газете, Павел Петрович внимательно просматривал ее страницы и порой критически относился к публикациям, особенно по вопросам литературы. Если что не нравилось ему, высказывал мнение откровенно и прямо. Давал советы, но очень тактично.

Однажды возник интересный диалог с ним. Идем мы из Дома печати в обком партии. Там созывалось какое-то заседание. С недовольством говорю:

— Буду заседать, а ведь мне сегодня надо написать передовую статью.

Павел Петрович не выразил никакого сочувствия, промолчал. А через минуту, слегка покашляв, шутливо спрашивает:

— Не на международную ли тему?

— Нет, на внутреннюю. Весна приближается, посевная кампания не за горами.

— Передовую об этом вы мигом напишете.

Я несколько смутился, не понимая, к чему клонит речь Павел Петрович. Стараясь не обидеть меня и тщательно подбирая выражения, он продолжал:

— Откровенно говоря, читаю передовые «Уральского рабочего». Есть, конечно, добрые. А чаще бывает... тяжеловатые, сложные фразы накручены так, что... торчат колючей проволокой, за которой упрятана мысль. Верно я заметил?

— Верно.

— Запомнил одну передовую: «Мобилизовать все силы на уборку урожая». Все в ней есть, не затронуты только вопросы международного положения...

И Павел Петрович спрятал улыбку в бороду. А я с горечью подумал: «Какая чушь — «мобилизовать все силы». Значит, надо вывести на поля стариков, женщин, детей — всех поголовно, сосредоточить всю технику, лошадей, транспорт. А кто же будет ухаживать за коровами, отвозить зерно на заготовительный пункт?!

Ссылаясь на опыт областной «Крестьянской газеты» (в ней Павел Петрович работал в 1923—1930 гг.), мой благожелательный критик добавил:

— У нас прежде проще было. Дали заголовок «О картошке» и повели с крестьянином беседу задушевную. Подбодрили его. Порадовали урожаем и доходами от картошки. Печатное слово прилипало там, где ему положено. Действовали неопрометчиво.

После этого разговора я всерьез задумался над нашими передовицами...

Строгая бажовская принципиальность отчетливо проявилась в статье «По поводу одной рецензии». Впервые она опубликована в книге «П. П. Бажов. Публицистика. Письма. Дневники» (Свердловск, 1955), вероятно, по копии. А ее оригинал с автографом Бажова и датой «30/XI — 46» оказался в моем архиве. Охотно допускаю, что редакция «Уральского рабочего» по моей вине не исправила тогда свою ошибку... Статья Павла Петровича остро полемична и прочно аргументирована. В ней дана резкая критическая оценка рецензии на сборник «Золото», помещенной в газете 15 ноября 1946 года. Сборник был выпущен Свердловским издательством к 200-летию добычи золота на Урале. Статья примечательна тем, что раскрывает типичные черты Бажова-публициста: доскональное знание истории уральского края, правдивость и честность в оценке литературных и иных явлений.

Справедлива и поучительна критика Бажовым двух материалов, помещенных в «Уральском рабочем» 30 июля 1946 года. Первый из них — фельетон «Последний трюк». Он занял большую площадь на странице газеты. Автор долго ходил вокруг да около факта: на одном из заводов Каменска-Уральского начальник ОРСа разбазарил дефицитные товары из фонда рабочего снабжения и благополучно выбыл в Москву, не будучи привлеченным к уголовной ответственности.

Бажов в дневниковых записях, датированных тоже 30 июля 1946 года, дает краткую оценку: «Фельетон написан бойко, с выдумкой и темпераментом. Но вот читаешь, и тебя не оставляет мысль, зачем так длительно писать о том, что можно выразить короткой заметкой». А затем сравнивает дореволюционный фельетон с современным. В прошлом фельетонист вынужден был так писать, чтобы обвести цензуру за нос, избежать запрета на публикацию и чтобы путем намеков и иносказаний довести до читателя сокровенный смысл, подтекст фельетона. «Остроумное игрословие» было другой его особенностью, но второстепенной.

Совсем иными стали задачи фельетона в наше время. «У нас,— пишет Бажов,— жанр фельетона, на мой взгляд, может держаться лишь на исключительном остроумии, начитанности и большом мастерстве... Наша система позволяет о любом отрицательном явлении сказать полным голосом».

Второй объект критики Бажова — очерк «Уралмашевская закалка». Содержание его представляет скучное повествование о технологии. У станочника Григория Турунцева сломался победитовый резец при обработке вала блюминга. Применил резец быстрорежущий — и дело пошло. Бажов записал: «Очерк не дочитал. Начинается тем, что сломался резец. Из разговора, который дальше приводится «для живости», узнаешь, что резец из победита. А дальше и читать не надо. Все ясно и без длинного авторского оформления. Так и скажи коротко, просто, что либо изобрели какую-то новую закалку резцов, либо нашли лучшие пути их использования».

Неудачный очерк послужил Павлу Петровичу поводом для размышлений. Он ставит вопрос: почему героика будней в изображении журналистов и литераторов получается неувлекательной? И отвечает подробно. Часто переносятся в литературу обветшалые приемы: показ пейзажа «для настроения», описание внешнего облика героя, какого роста, широк ли в плечах или нет, с облысевшим лбом или с лихо взбитым чубом, а затем поверхностный разговор о работе. «За всем этим внешним вовсе не видишь ни человека, ни его дела»,— подчеркивает писатель. А в заключение делает вывод, что люди — везде люди: и в быту, и на войне, и на производстве; все живут, волнуются, борются. Это и должно изображаться полноценно.

Критические замечания Бажова были поучительны для нас, журналистов тех лет. Немало поучительного найдут в них для себя и сегодняшние газетчики.

Корреспондентом «Красной звезды» приезжал в Свердловск в апреле 1944 года Алексей Александрович Сурков. Редакция «Уральского рабочего» совместно с отделением Союза писателей организовала вечер поэта, который проходил в Малом зале Дома печати. Собрались писатели и журналисты. Когда Сурков появился на трибуне в военной форме, с добродушной улыбкой на лице, зал приветствовал его горячими аплодисментами. Вначале он эмо-

ционально, с жестикуляцией говорил о литературной жизни в военное время, о слове поэта, ставшем поистине «полководцем человечьей силы», а потом о себе. Иронически добавил: «Судите сами, Константин Симонов — офицерский поэт, а я солдатский». И как бы в подтверждение этой полушутливой характеристики начал читать новые стихи. Чтение одной из вещей предварил замечанием: «А сейчас я прочитаю стихотворение, которое публиковать в настоящее время нельзя». Его название я не запомнил, а содержание такое: в борьбе с фашизмом советские люди жертвуют своими жизнями, Америка же отстреливается... свиной тушенкой (мы получали ее по лендлизу).

Вечер прошел как чествование боевого поэта — любимца народа.

На Урале Сурков проводил дни в цехах предприятий Свердловска и Тагила, работавших на оборону. Написал серию очерков, которые публиковала «Красная звезда» под названием «Огни Большого Урала». В них воспевалась героика тыла, соревнование за лучшую помощь фронту, живо и поэтично обрисованы ударники, старые и молодые,— те «малышки́», которых едва видно было за станками. В одном из очерков нарисована такая картина:

«Поезд, пробивая влажную тьму весенней ночи, летит на запад. На востоке, на границе Европы и Азии, пробивают ночную темноту негасимые огни Большого Урала... Мерно, четким богатырским ритмом пульсирует стальное сердце великой кузницы победы. В его могучих ударах слилось биение миллионов живых человеческих сердец. И глаза и сердца человеческие тянутся в одну сторону, на запад, туда, куда летит, побеждая пространство, ночной поезд».

Даже этот маленький кусочек из журналистского выступления «выдает» поэтическую натуру Алексея Александровича.

Спустя более чем десятилетие, в 1957 году, когда «Уральскому рабочему» исполнилось 50 лет, Сурков, приветствуя по случаю юбилея коллектив журналистов и полиграфистов, писал:

«Всегда светлыми останутся для меня воспоминания, когда я соприкасался с работой вашей газеты в 1931 году, работая в бригаде «Правды» на Уралмашстрое, и в 1944 году, когда как корреспондент «Красной звезды» писал солдатам о героическом труде рабочих Свердловска, Н. Тагила».

Вспоминая о поэтах тех лет, нельзя не сказать об Аркадии Яковлевиче Коце — авторе русского текста «Интернационала», песни, торжественно звучащей на всех языках и на всем земном шаре. В эвакуации в Свердловске он в меру своих сил участвовал в общенародной борьбе с фашизмом.

А. Я. Коц был желанным гостем нашей редакции. Его внешний облик надежно срисовала моя память. Будто сейчас вижу человека низкого роста, в одежде темного цвета, с полысевшей головой, с лицом, выражающим внутреннее благородство. Обычно тихой походкой он входил в кабинет редактора, медленно опускался в кресло и засыпал Шаумяна вопросами: какие вести из Москвы? Что слышно об открытии второго фронта союзниками? Нет ли сведений о Париже, придавленном фашистским сапогом?

Беседа затягивается. Гость умолкает на минуту, задумывается над чем-то, а потом делится своими впечатлениями об увиденном на заводе, на улицах города. В конце беседы расстегивает пальто, достает из внутреннего кармана небольшие листки бумаги и, стесняясь, протягивает их редактору.

— Лев Степанович, понимаешь, не могу сидеть сложа руки. Написал стишок, может быть, понравится...

Однажды Аркадий Яковлевич принес стихотворение «Париж» и долго с восхищением говорил о столице Франции, где он жил до революции эмигрантом, о свободолюбии парижских рабочих. Мы слушали его рассказ как поэму.

Через несколько месяцев произошло событие, весть о котором облетела весь мир: французские моряки-патриоты взорвали сосредоточенные в порту Тулона корабли, чтобы они не достались Гитлеру. Поэт посвятил этому событию стихотворение «Тулонский взрыв», напечатанное в «Уральском рабочем» 2 декабря 1942 года

Человек преклонного возраста, тяжело переживший гибель сына на фронте, больной (у него развивался рак горла, и душила астма), стесненный бытовыми неудобствами, Аркадий Яковлевич работал много и напряженно. Посещал предприятия, писал стихи для заводских многотиражек. В них он призывал рабочих к самоотверженному труду, славил ударников фронтовых бригад. В «Уральском рабочем» были опубликованы стихотворения Коца: «Тебе, Урал!», «Уральская песня», «Песня о первой фронтовой» (о бригаде Михаила Попова, созданной на Уралмаше),

«Город-герой» и другие. 5 марта 1943 года в «Уральском рабочем» появилось последнее произведение поэта «Ржев» — отклик на взятие этого города советскими войсками. Стихотворение написано сатирическим пером с обыгрыванием поговорки «Попал впросак», возникшей некогда в Ржеве (вояка «пруссак попал впросак»).

До последних ударов сердца не расставался с пером старый поэт.

С Константином Мурзиди я впервые встретился в 1929 году в Новороссийске, в редакции газеты «Пролетарий Черноморья», где я работал тогда ответственным секретарем.

В летний день тихо раскрывается дверь, и в комнату входит черноволосый парень в синем костюме и белой косоворотке. Не преодолев своей робости и слегка заикаясь, говорит:

— Ученик я... Живу в селе Гайдук... Принес... стишок. Пожалуйста... посмотрите.

Я прочитал и удивился образности языка и благозвучности рифм.

— Напечатаете? — спрашивает.

— Да. Стихотворение хорошее.

С сияющим от радости лицом выскочил из комнаты. Стихи молодого поэта не раз появлялись потом на страницах новороссийской газеты.

Десять лет спустя в Свердловске я встретил Мурзиди возмужавшим, уже принятым в Союз писателей. Тогда, в 1939 году он приобрел известность «Песней о Василии Баранове», созданной в содружестве с композитором В. Трамбицким. Василий Баранов, уроженец Урала, служил пограничником на Дальнем Востоке и геройски погиб в сражении с нарушителями границы. Песня заканчивалась словами: «Он умер... Да нет же, он с нами живет — народный герой никогда не умрет».

Героизм советского воина, героизм труженика тыла — вот что является стержнем творчества Константина Мурзиди в годы войны.

Бывало он приходил в редакцию «Уральского рабочего», садился за стол, словно постоянный сотрудник, брал в руки перо и бумагу, спрашивал меня:

— Чем заняться? Я готов...

— Костя, давай шапку. Вот тебе материалы подборки в номер.

И Костя (так звали его все и всегда) увлеченно работал над стихотворными «шапками». Сочинить «шапку», то есть обобщающий заголовок к материалам полосы или подборке на одну тему,— дело нелегкое. «Шапка» должна отличаться выразительностью, образностью, краткостью. Именно такими они и получались у Кости Мурзиди. Нередко его «шапки» перекочевывали со страниц «Уральского рабочего» на огромные щиты в цехах и у заводских проходных.

Лира Мурзиди быстро откликалась на важные события.

В Свердловск однажды пришла радостная весть: сформированная на Урале 363-я стрелковая дивизия в разгроме немцев под Москвой проявила массовый героизм; в марте 1942 года ей присвоено звание гвардейской, и она стала именоваться 23-й гвардейской стрелковой дивизией. Весть взволновала Мурзиди. Он написал текст марша «Гвардейцы Урала», а композитор Б. Штейнпресс создал к нему музыку. Помнятся начальные строки марша:

За седым, крутым хребтом Урала
Сосенки стоят в снегу.
В грозный бой нас Родина позвала
Смерть нести врагу.

После опубликования в «Уральском рабочем» марш был доставлен в дивизию и находился в строю гвардейцев (его увезла делегация свердловчан, выезжавшая на Калининский фронт с подарками бойцам к 1 мая 1942 года; было отправлено 115 тысяч подарков).

Яркие патриотические стихи посвящает Мурзиди героям Сталинградской битвы. Стихотворение «Стой, боец» начинается напоминанием о сражении за Царицын в гражданскую войну:

Стой, боец, под Сталинградом,
Сжав оружия металл,
как отец твой по-геройски
под Царицыном стоял.

Это стихотворение напечатано в газете 27 октября 1941 года.

Мурзиди написал в военное время много хороших стихов, изданных тогда же сборниками. На две книжки («Письма друзей» и «Город на Урале») Леонид Гроссман в августе 1943 года опубликовал в нашей газете рецензию.

«Его стих не смешаешь с военными строфами Симонова, Суркова, Твардовского,— писал критик.— Он самостоятелен, идет своим путем».

Если уж мы заговорили о критиках, нельзя не упомянуть взыскательного ценителя творчества молодых украинского публициста Всеволода Андреевича Чаговца, жившего у нас в эвакуации. Его образ ассоциируется у меня с некрасовским: «Дядя Влас, старик седой» (тот самый, который собирал в деревнях гроши на постройку божьего храма). Высокого роста, статный, с красивой серебряной бородой, галантный, он сразу вызывал симпатию. Никогда я его не видел мрачным и молчаливым. Идешь по коридору или заходишь в кабинет отдела — Чаговец обязательно беседует с кем-нибудь. Он обладал огромной эрудицией, особенно в области литературы и искусства. Выступал в газете со статьями на литературные темы. К 90-летию со дня рождения Короленко, с которым дружил долгие годы, написал яркую публицистическую статью. Газета печатала и его театральные рецензии, обзоры.

Когда наши войска освободили Киев — родной город Чаговца, «Дядя Влас, старик седой» от радости плакал, как ребенок, готовый обнять весь Свердловск. Радовались не один день этому великому событию все работники редакции. Через некоторое время Чаговец, тепло попрощавшись с нами, уехал на Украину.

Гордостью редакции «Уральского рабочего» были правофланговые журналистики — творцы очерка, рассказа, фельетона. Первым назову Иосифа Исааковича Ликстанова. И в военные, и в мирные годы он, умудренный жизненным и газетным опытом, держал на своих крепких плечах, пожалуй, самый тяжелый груз редакционной работы, занимая скромный пост литературного сотрудника промышленного отдела. Ликстанов в газете — это очерки, фельетоны, статьи, корреспонденции на самые разнообразные темы. И с таким высоким качеством, о котором многие могли только мечтать.

Наше знакомство состоялось — увы! — в неприятной для всей редакции обстановке. Осенью 1939 года, когда еще не дошла очередь до моего знакомства с Ликстановым, внезапно «ударил гром»: «Правда» на 4-й странице поместила фельетон под интригующим названием «Печенеги». Фельетон высмеивал опубликованную в «Уральском

рабочем» статью о местной выставке художников, подписанную Н. Коноваловым (зав. отделом культуры редакции) и И. Ликстановым.

Содержание фельетона было очень острым. Особенно возмутила фельетониста оценка картины В. Зинова «Колхозное стадо». Говорилось, что подобно воинственным печенегам двое рецензентов совершили налет на выставку. Фельетон заканчивался сатирическим четверостишием:

Свежим воздухом дыши
Без особенных претензий.
Если глуп, то не пиши,
А особенно — рецензий.

Больше всех, конечно, переживал неудачу Ликстанов. Отмалчивался, смотрел либо в сторону, либо в пол, а меня, чужого человека, избегал. Все же встреча состоялась. Ну а потом мы подружились. В знак уважения называли друг друга «старик». Я вскоре убедился в многогранной талантливости Иосифа Исааковича. Она еще больше раскрылась в Великую Отечественную.

Когда на западе страны заговорили пушки, Иосиф Исаакович сразу занял свое место в боевом строю журналистов. В обойме его оружия оказались все жанры — от информационной заметки до очерка. Редко можно было увидеть его в отделе: и в дневное время, и вечерами находился он на предприятиях. Иной раз по 2—3 дня не показывался в редакции. Как-то я сделал ему замечание:

— Старик! Нельзя же так вести себя. Ведь ты можешь срочно потребоваться для важного, неотложного дела, а где, на каком заводе искать тебя,— никто из нас не знает.

— А что может случиться более важного, чем война? — парировал он с улыбкой.— Война-то идет на заводах!

И, достав из кармана блокнот, добавил:

— Вот я ее, эту войну, и перенесу на страницы газеты в точной копии.

У него была потребность всегда находиться среди людей, познавать душу человека, истоки трудового героизма. С особенным желанием он шел работать в выездные редакции.

...Поздний час. Уже сдана в набор сводка Совинформбюро. В типографии верстается номер «Уральского рабочего». Редактор Л. С. Шаумян, дымя трубкой, делает ка-

кие-то заметки для себя в ожидании оттисков сверстанных полос. В отделах редакции, как всегда, шумно: подводятся итоги рабочего дня, обсуждаются планы выступлений в будущем номере газеты.

И вот в дверях одного из кабинетов появляется приземистая фигура Ликстанова. Помятое, заношенное пальто. На крутой лоб нахлобучена шапка-ушанка. Лицо красное от лютого мороза. Сняв рукавицы, вынимает из кармана блокнот. Спрашиваю:

— Как дела, старик?

— Хороши дела. Очень хороши.

— Настроение людей?

— Работают, как черти.

— Что ж, так именно и скажешь в газете?

— А что? Так и напишу. Удивительные же люди!

— Номер уже готов — давай быстрее информацию на первую полосу!

Через несколько минут подает и отправляется на отдых.

Это было в декабре 1941 года. Тогда буквально бешеными темпами строили два новых корпуса для завода по выпуску нового оружия. На ударной стройке Ликстанов в выездной редакции проводил дни и ночи, сознавая личную ответственность за быстрейший выпуск грозного оружия. В период строительства напечатано 24 «боевых листка» и 30 «молний». Пламенное слово публициста в листовках зажигало сердца людей, помогало возводить здания сверхскоростными темпами. Строительство — с установкой оборудования — было закончено в 12 дней, причем в труднейших условиях, при сорокаградусном морозе. Это была победа героизма советского человека.

Будущий писатель участвовал в работе и других выездных редакций «Уральского рабочего».

Главной темой газетных выступлений Ликстанова была героика труда уральского рабочего класса, ковавшего оружие для фронта. Но он занимался и обличением негативных явлений, пуская в ход критические корреспонденции, статьи по вопросам морали, фельетоны.

Отдавая творческие силы газете, Ликстанов выкраивал время для завершения своей первой повести «Красные флажки» (в переиздании «Приключения юнги»). В 1943 году она была закончена. Положив изданную в Свердловске книжицу мне на стол, Ликстанов сказал:

— Читай, старик, но не будь строгим. Первый опус.

Драгоценная черта журналиста и писателя — умение наблюдать, изучать людей, окунаясь в жизнь. Уже в первые военные годы блокноты Ликстанова переполнились записями наблюдений. Исподволь писалась повесть «Малышок» по материалам, в частности, собранным на Свердловском инструментальном заводе. Повесть, посвященная самоотверженному труду рабочих и их боевых помощников — учащихся ФЗУ, удостоена Государственной премии, издана на многих языках. Вышла она в свет в 1947 году.

Случилось так, что после присуждения премии мы встретились с Иосифом Исааковичем (с ним была и его жена Лидия Александровна) в Москве в Центральном театре Красной Армии на спектакле «Учитель танцев». Ликстанов будто переживал вторую молодость. Он поделился со мной новыми творческими замыслами. Они потом реализовались упорно и настойчиво. В 1949 году опубликована приключенческая повесть «Зелен камень», в 1953 году — повесть «Первое имя». Последнее его произведение — роман о журналистах «Безымянная слава», выпущенный Детгизом в 1957 году уже после смерти писателя (он умер осенью 1955 года).

На главном направлении литературы находился и свердловский писатель Юрий Яковлевич Хазанович. Он заслужил глубокое уважение в «Уральском рабочем» как талантливый очеркист.

В творчестве Юрия Яковлевича по-своему отразился опыт Бажова. Очеркист как бы искал потомков Тимохи Малоручко — героя сказа «Живинка в деле» — на Уралмаше, Верх-Исетском заводе, Свердловском турбомоторном, Первоуральском новотрубном. Искал — и не безуспешно — «особые грани» характера советского труженика. «Особая грань» — под этим названием и вышел сборник его очерков, изданный в Свердловске в 1952 году.

Прежде чем написать очерк, Хазанович обычно приходил в редакцию и рассказывал о каком-нибудь своем очередном «открытии», делился впечатлениями о новшестве в производстве и тут же излагал соображения насчет композиции будущего произведения. Это происходило либо в отделе литературы и искусства, либо в кабинете редактора.

Запомнился один такой разговор. Жизнерадостный, как всегда, зашел он в мой кабинет, не раздеваясь, брякнулся в кресло и с ходу начал стрельбу фразами:

— В поезде познакомился с одним молодым строите-

лем. Ну и человечище, должен сказать! Колесит по городам, кочует с одной стройки на другую, не считается со всякими неудобствами. Только и на уме: получше да поскорее выполнить задание. Будто личных интересов у него кот наплакал. Любопытная фигура! Когда поезд подходил к Нижнему Тагилу, он пожал мне руку и сказал: «Вот и ваша станция. Выходите, бывайте здоровы. А мне дальше. Ждет меня Север».

На мой вопрос, как и когда рассказанное познакомится с газетной полосой, ответил: «Подумаю... Много мыслей лезет в голову». И действительно, этот встреченный в поезде человек стал прообразом героя одного из произведений Хазановича.

Из его очерков военных лет, получивших прописку на страницах «Уральского рабочего», заслуживает высокой оценки «34 недели на Майданеке». Он повествует о муках, которые претерпел попавший в плен советский солдат Лев Адаскин в гитлеровском лагере смерти. Писатель встречался и беседовал с Адаскиным в госпитале, где тот находился на излечении. Очерк, клеймивший фашизм, был опубликован в нашей газете с портретом Адаскина, на груди которого вытатуирован несмываемый номер — пятизначная цифра. В 1945 году Свердловское книжное издательство выпустило очерк отдельной книжкой.

Активное участие писателей в газете — бесспорная заслуга ее отдела литературы и искусства. Отделу везло на руководителей. С 1940 года его возглавлял Евгений Лебедев — выпускник Института журналистики, даровитый работник, написавший серию квалифицированных рецензий и очерков (очерки были изданы брошюрой под названием «Главный меридиан»). После него отделом заведовал Олег Коряков.

В переписке со мною Коряков вспоминал:

«Редакция «Уральского рабочего» с писателями работала много и активно, отношения были дружески-рабочими. Помню, что из моего кабинета «не вылезали» Юрий Хазанович, Константин Боголюбов, Борис Рябинин, Константин Мурзиди, Николай Куштум. Часто бывали Ольга Маркова, Нина Попова, Евгения Долинова, Белла Дижур, Ефим Ружанский, Михаил Найдич, Лев Сорокин...

Правилом редакции было не только печатать очередные писательские новинки, знакомя читателей с творчеством земляков, но и — что особенно важно — привлекать литераторов как публицистов для высказываний «на зло-

бу дня» по заданиям редакции. Печатались писатели систематически, немало «проталкивали» мы и молодых».

В числе молодых был и сам Коряков — личность интересная, талантливая. В 1941 году Олег Фокич закончил Уральский университет. Потом служил в Свердловском пехотном училище — сначала курсантом, затем командиром взвода. После демобилизации, летом 1946 года, зашел ко мне. Сказав по-военному: «Разрешите войти?», медленно опустился в кресло и тихим голосом заговорил о том, что хотел бы работать в редакции. Мне сразу бросилась в глаза его скромность, и я подумал: «Едва ли из него получится живой, боевой журналист». С таким сомнением хотел завербовать его на работу по выпуску листка «За благоустройство Свердловска». Коряков ушел, заявив: «Подумаю». После этой встречи я посоветовался с Евгением Лебедевым и работником университета Александром Пятницким, которые дали Корякову положительную характеристику. Тогда Олег Фокич был зачислен сотрудником отдела литературы и искусства. В марте 1947 года он стал исполнять обязанности заведующего этим отделом. С 1948 по 1953 год работал ответственным секретарем редакции.

Нередко секретарь редакции со многими в аппарате конфликтует, требует, придирается, рьяно правит материалы, плохим не дает ходу, постоянно всех торопит, ведь график выпуска газеты — закон. А на Корякова я не слыхал жалоб. Он обладал завидным тактом, умел улаживать крупные и мелкие конфликты, чем снискал себе в редакции уважение и авторитет. Помимо привлечения широкого круга авторов, которые давали газете высококачественные материалы, литературные произведения, Олег Фокич много трудился сам над очерками, статьями, рецензиями, фельетонами. Их было опубликовано очень много.

По горло загруженный журналистскими делами, Олег Фокич находил время и для литературной деятельности. В 1951 году он был принят в Союз писателей.

Коряков-писатель — это уже особая тема. Но хочется подчеркнуть, что его формирование как литератора было тесно связано с газетой, с нашим «Уральским рабочим».

«Работа в газете стала для меня средством постоянного, живого участия в совершающихся событиях... Писать в советской газете без постоянного пополнения своих зна-

ний невозможно, и газета стала моим новым университетом». Этими словами Мариэтты Шагинян, сказанными ею в одном из интервью, я и закончу свои, быть может, несколько отрывочные воспоминания о писателях, чье перо оставило заметный след на страницах «Уральского рабочего» военных и первых послевоенных лет. Думаю, что, произнося эти слова, Мариэтта Сергеевна вспоминала и нашу газету.

Б. Дижур

ЗОНА

Зона — имя коровы, породистого существа с крутыми, широко расставленными рогами и прекрасными влажными глазами. Но главное достоинство этого благородного животного было не во внешности.

Несмотря на скудные корма военного времени, Зона умудрялась давать до тридцати литров молока в день.

Зимой 1944 года это решило ее дальнейшую участь.

Свердловская писательская организация готовилась к юбилею Павла Петровича Бажова. И вот однажды меня приглашают на заседание юбилейной комиссии, и я получаю неожиданное задание. Мне поручается поехать в Нижний Тагил к первому секретарю Нижнетагильского горкома партии Евгению Федоровичу Колышеву, вручить ему письмо свердловских писателей и добиться, чтоб просьба, изложенная в письме, была выполнена.

Просьба трогательная, но достаточно дерзкая.

Я читаю текст письма и узнаю стиль автора всей затеи.

Конечно же, это Евгений Андреевич Пермяк! Он душа комиссии, организатор «подарочных мероприятий». Я еще не знаю деталей, но слышала от товарищей о бурной деятельности Евгения Андреевича.

— Нижний Тагил должен подарить корову,— убежденно говорит Пермяк,— настоящую породистую тагилку!

— Почему именно мне предстоит заняться этим щепетильным делом?

Логика Евгения Андреевича несколько странновата, но оспаривать ее не приходится.

— Кому же, как не вам? Разве не вы пишете о совхозе «Зональном», где выращивают тагилок?

В ту зиму большая группа писателей, живущих в Свердловске (а были среди них и москвичи, и ленинградцы, и киевляне), готовила сборник очерков о Нижнем Тагиле. Мне предстояло написать о совхозе «Зональный». Я ездила туда, знакомилась с жизнью работников совхоза.

Этого товарищам казалось достаточным, чтоб поручить мне «добыть корову».

Забегая вперед, скажу, что подарок сделал не совхоз, а один из тагильских колхозов.

— Итак, Беллочка, ждем вас верхом на тагилке,— напутствовал меня Евгений Андреевич.

И вот я еду в Нижний Тагил, с бьющимся сердцем вхожу в кабинет Колышева; пока он читает письмо, осторожно рассматриваю его лицо.

Колышев хмурится, краснеет... Потом разглаживает чуть смятый бумажный лист и почти сердито говорит:

— Вы представляете, что значит тагилка? Ведь это сто тысяч! Понятно?!

Я молчу. Да и что я могу сказать? Чувствую себя крайне неловко. Начало кажется мне не предвещающим ничего хорошего.

Но тут я слышу в голосе моего собеседника какие-то иные нотки, хотя лоб его по-прежнему нахмурен.

— Фантазеры, ну форменные фантазеры...

Не знаю уж, из каких глубин сердца у меня вырывается запальчивый ответ.

Не буду приводить его дословно, потому что спустя более трех десятков лет трудно утверждать, что ты говорил именно эти слова, а не какие-нибудь другие.

Помню лишь, что весь пафос моей речи (а была она довольно длинной) основывался на впечатлении от незадолго до того (и впервые) прочитанной мною повести А. Грина «Алые паруса».

Я говорила, что — да, да, мы мечтатели, фантазеры, но вот приплыл ведь корабль с алыми парусами за девушкой в повести Грина. И не так ли надо жить, осуществляя добрую мечту?..

Не представляю себе, как могла бы я теперь позволить себе в деловом кабинете делового человека столь неделовую речь!

Но ведь я рассказываю о событиях тридцатилетней давности. Хватало тогда молодости, горячности и наивной непосредственности. К тому же надо сказать, что Евгений Федорович Колышев, как я позднее имела возможность убедиться, оказался именно тем человеком, с которым подобный разговор был вполне допустим.

Пока я говорила, он смотрел на меня сначала удивленно, а затем — с улыбкой, чуть-чуть ироничной, но явно поощряющей мою горячность.

С этой же улыбкой он вызвал секретаршу и попросил ее пригласить к нему заведующего сельхозотделом.

В комнату вошел высокий, какой-то вялый человек. У него были усталые глаза. Фамилии его я не помню. Помню лишь, как в усталых глазах заведующего сельхозотделом блеснули огоньки, когда Колышев рассказал ему содержание писательского письма.

— Ну, что скажешь? — спросил секретарь горкома.

Но глаза вошедшего опять потухли. Он пожал плечами.

А Евгений Федорович и не ждал ответа.

— Знакомьтесь! — обратился он к нам обоим.— Завтра поедете вдвоем в колхоз выбирать корову. Думаю, колхозники не откажут вам, когда узнают — для кого подарок...

И как-то очень лихо, как мне показалось, насмешливо, глядя на меня, добавил:

— Смотрите, не промахнитесь...

Само собой разумеется, мое участие в процедуре выбора коровы свелось к некоему «почетному» представительству. Всем было понятно, что мои познания в животноводстве ничтожно малы. Однако меня любезно знакомили со стадом.

— Вот Роза... Взгляните, пожалуйста... А вот Пеструшка... Тоже отличная корова...— говорил председатель колхоза

Имя Павла Петровича здесь знали, сказы его читали. Весть о приезде «городских представителей», о том, кому предназначается необычный подарок, мигом облетела всю деревню, и «выбирать» корову помогали хором: члены колхозного правления, доярки, учителя и, конечно же, вездесущие и всезнающие ребятишки.

Когда наконец сошлись на том, что Зона — самая достойная из всех возможных претенденток, мы с заведующим сельхозотделом собрались уезжать. Провожали нас к машине все помогавшие выбирать подарок.

— Ты вот что,— шепнула мне доярка, в чьем ведении была Зона,— будут корову отправлять, проси, чтоб сена дали, а то чем кормить станете...

Спасибо, спасибо этой доброй заботливой женщине! Мне бы и в голову не пришла такая мысль. А благодаря ей я уже на следующий день снова сидела в кабинете Колышева и теперь, более уверенная в успехе, сказала ему о сене.

— Что ж, это резонно,— ответил он,— сделаем, сделаем все, что надо. Поезжайте домой, скажите товарищам,

что миссию свою вы выполнили. А поближе к теплу мы вам пришлем корову...

Слова эти меня озадачили и испугали. Ведь юбилей вот-вот... Что означает «поближе к теплу»? Весной? Так до весны еще три месяца... Нет! Я не могу вернуться в Свердловск без коровы... Как я покажусь на глаза товарищам?

Я готова была заплакать.

— А вы как это себе представляли? Не в пассажирском же поезде корову везти...— устало говорил Колышев. Я, видимо, изрядно надоела ему.

И все же я решаюсь пренебречь ощущением неловкости, которое испытываю из-за собственной бесцеремонности, и возобновляю тему нашего первого разговора, в котором мне так помогли гриновские «Алые паруса».

Я рассказываю о том, что меня ждут «верхом на тагилке». Что по разработанному праздничному сценарию я должна прибыть во двор к Бажовым в утро шестидесятипятилетия писателя, ведя за собой красавицу тагилку.

Как бы это было здорово, празднично!.. Прямо-таки сказочно...

...Рабочий день кончился, но первый секретарь Нижнетагильского горкома партии не уходил из кабинета. Не уходила и я. Впрочем, мое присутствие здесь было уже не обязательно.

События развивались без моего участия. Евгений Федорович звонил по телефону, вызывал к себе каких-то людей, отдавал распоряжения, сердился, смеялся...

Среди тех, кто в этот вечер побывал на приеме у Евгения Федоровича Колышева, мне запомнился человек в железнодорожной форме. Запомнился потому, что он сдержанно и все же сердито спорил с Колышевым.

— Дак... не положено это...— говорил он.— Корову — и вдруг в пассажирском поезде...

— А я тебе толкую... прицепишь товарный вагон. Для Бажова... Понимаешь? Писателя такого знаешь? — хмуро возражал Колышев.

Старый железнодорожник молчал. На лице его было недоумение, недовольство.

«Вот ведь что выдумали...» — читала я в его глазах.

Однако не выполнить распоряжения не осмелился.

И через два дня, на рассвете, за мной в гостиницу заехала делегация, которой было поручено поздравить Павла Петровича. В нее входили председатель колхоза,

доярка (та самая, которая шепнула о сене), редактор городской газеты и руководитель Нижнетагильского радио.

Они сообщили, что Зона уже прибыла из колхоза, погружена в вагон, и с ней — тонна сена.

Ехали мы весело. На одной из остановок наша милая спутница — доярка — побежала проведать Зону и принесла полный бидон парного молока.

Мы пили его за здоровье Павла Петровича Бажова и за здоровье Евгения Федоровича Колышева, так отлично организовавшего доставку подарка.

Мы представляли себе, как явимся к Бажовым ни свет ни заря и будем, конечно, самыми ранними поздравителями. Придется будить хозяев... Но ради такого подарка стоит...

Но — увы! — Мы и не подозревали, какой сюрприз приготовила нам капризная Зона.

Когда поезд остановился у свердловского перрона, мы побежали к «персональному» вагону нашей тагилки. Доярка приладила трап, накинула на шею Зоны веревку и, поглаживая ее по шее, тихонько уговаривала:

— Пошли, милая, пошли...

Но Зона заупрямилась. Может быть, она боялась высоты, с которой ей предстояло спуститься? А может быть, ее не устраивал слишком узкий трап? Этого она нам не сообщила. Широко расставив ноги, стояла Зона посреди товарного вагона, не проявляя никакого намерения сдвинуться с места.

Пришлось всем нам забраться в вагон и общими усилиями столкнуть ее по трапу вниз.

Но тут начались новые неприятности.

После того как мы какими-то кружными путями вывели корову с вокзальной территории и оказались на городской мостовой, наша бедная Зона совсем потеряла способность двигаться. Ноги ее скользили по асфальту, разъезжались в стороны...

И представьте, дорогой читатель, такую трагикомическую сцену: посреди свердловской мостовой, где с грохотом и звоном проносятся трамваи, автобусы и автомобили, медленно движется процессия. Огромную корову черно-белой масти ведет за веревку невысокая молодая женщина, а сзади плетутся трое мужчин и еще одна женщина.

Движемся мы медленно... Зона то и дело останавливается. Мы подгоняем ее, подбадриваем, подталкиваем.

Неудивительно, что на нас оглядывались прохожие. Неудивительно и другое: наши надежды оказаться самыми ранними поздравителями, конечно же, не оправдались. От вокзала до улицы Чапаева мы шли более трех часов...

Когда наконец, едва волоча ноги, мы остановились перед крыльцом бажовского дома, мы увидели сквозь запотевшие окна, что там уже полное застолье.

Увидели и нас.

Первым выбежал Ефим Ружанский. Он бросился обнимать и целовать Зону, доярку, меня, председателя колхоза...

Вслед за ним выбежали и другие. Вышел и Павел Петрович.

Я смотрела на его бледное, почти испуганное лицо. В светлых глазах старого сказочника стояли слезы. В горле у меня тоже возник комок...

Хотелось плакать и ликовать...

Б. Дижур

«К. В.»

Сверстники мои! Я обращаюсь к тем, кто подобно мне сделал первые литературные шаги под руководством Клавдии Васильевны Рождественской.

Увы... нас осталось совсем мало. А ведь было это... было! Мы приходили в ее похожий на пенал кабинет не только для того, чтоб услышать суждение о своих рукописях. Приходили просто так.

Здесь всегда можно было встретить кого-либо из литераторов. Вспоминаются Константин Васильевич Боголюбов, Нина Аркадьевна Попова, Иосиф Ликстанов, Слава Занадворов, Костя Мурзиди, Коля Куштум, Ольга Маркова...

Не помню уже, кому из острословов принадлежит непочтительная идея называть Рождественскую именем прогремевшего в финскую кампанию боевого танка «КВ». Благо, ее инициалы давали к этому повод.

Мы толпились вокруг стола «К. В.», болтали, читали стихи, порой злословили (и без этого не обходилось), наскоро сочиняли каламбуры, эпиграммы.

Особенно хлесткие удавались Косте Мурзиди. Иногда он приходил с написанными дома, а иной раз — причем самые смешные,— придумывал тут же и, примостившись к краешку стола Клавдии Васильевны, записывал строчки на узеньких бумажных полосках, которые постоянно носил с собой.

Писал он левой рукой, и это выглядело забавным продолжением литературной игры, хотя объяснялось более печальными обстоятельствами, В детстве Константин Мурзиди болел полиомиелитом. Пострадали правая рука и правая нога. Это отразилось и на походке, и рабочей рукой стала левая. Но был он из той породы людей, которая мне лично наиболее симпатична.

Костя Мурзиди мог быть добрым до нежности и одновременно жестоко ядовитым. Голова его до краев была набита стихами своими и чужими, он постоянно рифмовал, влюблялся, восторгался, издевался, шутил, но никогда не жаловался ни словом, ни взглядом. И никому не пришло бы на ум пожалеть Костю.

Неисчерпаемо остроумный, он входил в комнату своей слегка подпрыгивающей походкой, и с его приходом словно возникало некое движение — заострялись споры, более упругими становились слова.

Неизменно улыбаясь, Костя извлекал из карманов исписанные мелким почерком бумажные полоски.

В кабинете Клавдии Васильевны Рождественской мне довелось услышать эпиграммы Мурзиди и на себя, и на Елену Хоринскую, и на многих других. Я их помню до сей поры.

Думаю, что эти блестки остроумия следовало бы както собрать и обнародовать.

Случалось, что еще до знакомства с каким-либо литератором его имя становилось мне известно из очередного каламбура или эпиграммы Мурзиди.

Так было с Андреем Степановичем Ладейщиковым. И надо признаться: едкие Костины строчки как-то помешали мне в дальнейшем знакомстве всерьез отнестись ко всему, что говорил и писал этот молодой критик. Увы, его тоже нет в живых.

Между тем теперь он вспоминается мне как человек ищущий, пытающийся самостоятельно мыслить, с тонкой, застенчивой душой.

Многим, однако, он казался путаником. И поводы к этому мнению, видимо, имелись. Мне запомнился один, связанный с содержанием эпиграммы.

Интересы молодого критика развивались по каким-то ему одному ведомым законам и привели его к имени Валериана Майкова — брата поэта Аполлона Майкова.

Валериан Майков был одно время близок к кружку Петрашевского. После ухода Белинского из журнала «Отечественные записки» вел там отдел критики. В 1847 году двадцатичетырехлетний Валериан Майков утонул.

Вот то немногое, что мы знали об этом человеке.

Ладейщиков же, разыскав какие-то материалы, утверждал, что Валериан Майков был чуть ли не... предтечей марксизма в России.

Это и дало повод к эпиграмме.

Андрей Злодейщиков!
Не ты ль
Подставил Майкову костыль,
Из Леты вытащив забытого мужчину?
Но сколь бы критик ни был рьян,
Обратно тонет Валерьян
И тянет критика в пучину.

Тогда это казалось нам смешным. Увы, время внесло свои коррективы. Сегодня мы знаем, что В. Майков действительно был талантливым, самобытным критиком. Ладейщиков во многом оказался прав, хотя, конечно, сильно преувеличил значение Майкова, который «предтечей» никак не являлся...

Но вернемся в кабинет Клавдии Васильевны.

Здесь незадолго до войны я познакомилась с Павлом Петровичем Бажовым. Это еще не был тот седобородый, известный всем дедушка Бажов. Борода была скорее пегая, нежели седая. Спина не успела стать «круглой», как последние годы жизни, но ходил он, хотя и легко, однако опираясь на палку, и это старило его. К тому же голос Павла Петровича звучал глухо, медленно... Так что поначалу сложился в моем представлении образ тихого, ничем особым не примечательного старичка.

И лишь позднее, когда мне посчастливилось ближе узнать Павла Петровича, я увидела по-иному даже его внешность: красивое, благородное лицо, добрейшие глаза, озорная улыбка, мгновенно возникающая и тут же ныряющая куда-то в глубь бороды.

Клавдия Васильевна рассказывала мне, как Павел Петрович отозвался о моих стихах. Было это еще до нашего знакомства. Прочитав ему несколько моих стихотворений, Клавдия Васильевна спросила: «Как вы думаете, кто их автор? Мужчина? Женщина? Кто по профессии?»

Павел Петрович, не задумываясь, ответил:

— Во-первых, конечно, мужчина, во-вторых, конечно, не химик...

(Я работала в те годы в химической лаборатории, и образы многих стихов были навеяны моей профессией.)

— В жизни ведь как...— добавил Павел Петрович,— врачу трудно любить больных, учитель устает от учеников, какие уж стихи о них писать... Так и химик не станет поэтизировать свое дело...

— А вот и ошибаетесь! — сказала Клавдия Васильевна. Я представляю, как она торжествовала, рассказывая, что все как раз наоборот: и не мужчина, и химик.

Но, к удивлению Клавдии Васильевны, Бажов остался невозмутимым. Он согласно кивал головой, будто и не ошибся вовсе:

— Да, да, всякое, всякое бывает...

Теперь-то я уверена, что Павел Петрович, произнося эти слова, прятал свою мудрую улыбку и даже, наверное,

16 Заказ 133

опускал глаза, чтобы по их веселому блеску «К. В.» не догадалась: он попросту мистифицирует ее!

Вряд ли Павел Петрович мог всерьез утверждать, будто врачу трудно любить больных, а работающему в химической лаборатории не захочется поэтизировать науку. Он, думается мне, лучше, чем кто-либо, понимал: поэтический образ рождается, когда рассматриваешь явление изнутри.

А категорически произнесенные слова: «Конечно, мужчина» тоже не случайны. Павел Петрович знал одну из забавных слабостей Клавдии Васильевны. Она читает ему стихи какого-то неизвестного автора... значит, в данный момент пригревает, лелеет этого новичка... О! Она это умеет делать. Но, если автором оказывается женщина, от нее требуется: «будьте мужчиной», «никаких сантиментов», «никаких соплей и воплей».

Почему же не порадовать сердце редактора, не подкрепить веру в то, что в произведениях новичка отсутствуют «сантименты», «сопли и вопли», то есть все то, что издавна принято считать атрибутами женского творчества...

Спасибо Павлу Петровичу. Кто знает, может быть, и его слова в свое время способствовали доброму отношению ко мне Клавдии Васильевны.

Об умении Рождественской пестовать молодых авторов знали все, но толковали об этом по-разному.

Один из литераторов сказал мне однажды: «Вы дружите с «К. В.»? Не обольщайтесь... Она повозится с вами, пока вы ползаете на четвереньках. Она будет старательно править вашу рукопись, вымарывать абзац за абзацем, решительно вставлять свои. Потом напечатает вас. Но как только вы сделаете дыбаньки, подниметесь с четверенек, она хлопнет вас по головке и потеряет к вам интерес...»

Предсказания эти в моем случае не оправдались. Клавдия Васильевна Рождественская была не только первым редактором моих стихов и очерков. Как-то, угадав мои склонности и интересы, она вывела меня на жанр, который и стал главным в моей жизни — я имею в виду научно-художественные произведения для детей.

Думаю, и другим уральским литераторам моего поколения есть что рассказать о влиянии Клавдии Васильевны на их творческий путь.

Но мне хочется сейчас вспомнить не только отличного редактора и автора книг (ведь Клавдия Васильевна и сама писала), не только знатока уральской истории, каким она была.

В моей памяти рядом со всеми деловыми качествами Клавдии Васильевны и даже, пожалуй, над всем этим остался образ женщины, которая не только для своих авторов-женщин, но прежде всего для самой себя едва ли не высшей доблестью считала отречение от женственности.

Ее юность совпала с юностью революции, и это не могло не сказаться на формировании ее характера. Все мы помним — кто из жизни, кто из литературы — милых девушек, беспощадно укрощающих свою женскую натуру. Даже внешне — манерами, одеждой — они пытались быть похожими на мужчин: лихая папироса в зубах, кожаная куртка, сапоги...

Клавдия Васильевна была из того поколения.

Глубоким грудным голосом, строго и вместе с тем проникновенно глядя вам в глаза, она произносила свои излюбленные фразы о «непозволительности сантиментов», требовала твердости, сдержанности, одним словом — «будьте мужчиной».

И упаси вас бог, при этом не то чтобы сказать, но даже подумать, что вы совсем не хотите быть мужчиной, что довольствуетесь своей женской участью...

О! Клавдия Васильевна по выражению вашего лица догадывалась о ваших «отсталых» мыслях! И тогда под огонь ее критики попадала и ваша легкомысленная шапочка и все ваши «штучки-дрючки» вплоть до подкрашенных губ.

Какова она была внешне? Умное, хорошее, хотя, пожалуй, и некрасивое лицо, с тяжеловатой нижней челюстью. Выразительные темные глаза, небрежно в кружок подстриженные волосы... Плоская, широкоплечая... ее, конечно же, нельзя было назвать привлекательной.

К тому же у нее были большие ладони и всегда желтые от табака пальцы, к тому же она носила большущие мужские валенки, делавшие ее еще приземистей. Полное отсутствие элементарной женской кокетливости, подчеркнутое пренебрежение к одежде...

В общем, все это как-то соответствовало полушутливо-«бронетанковому» прозвищу «К. В.».

Но в ее глубоко посаженных глазах жила затаенная тоска, неизрасходованная женская нежность. А иногда она так вскидывала над головой руки, что потрескивали рукава синего потертого пиджака. И в этом движении мне всегда виделось одно и то же: большая раненая птица.

Впервые я увидела эти заломленные руки у нее дома, когда мы только-только познакомились и я получила приглашение прийти к ней в гости...

К тому времени я еще не напечатала ни одной строчки, но посещала литературные четверги, а однажды мне предложили выступить вместе с другими поэтами на большом литературном вечере. Он состоялся в Доме литераторов.

Вспоминая об этом вечере, не могу обойти молчанием фигуру А. (Думаю, вряд ли стоит сейчас называть фамилию этого человека. Его давно уже нет, но остались дети, внуки — зачем причинять кому-то боль?..) Это была фигура скорее всего трагикомическая. Опубликовав несколько посредственных рассказов и этим, очевидно, исчерпав свои литературные возможности, А. не вернулся на сцену (он был в свое время актером) и не занялся каким-либо другим делом, а остался при писателях в качестве... Право, я не нахожу слова, которое точно определило бы это качество.

Скажу лишь, что обязанностей у него было много и он пребывал в постоянных хлопотах. Доставал табак для писателей, а то и сапоги или валенки, встречал и провожал приезжающих гостей, «выколачивал» в соответствующих инстанциях бумагу. Кроме того, ему была поручена организация писательских выступлений.

Он был изысканно красив, но очень безвкусен. Носил длинные до плеч волосы, гимнастерку с множеством мелких пуговичек, подпоясывался каким-то затейливым поясом с пышными кистями, на ногах у него были легкие сапожки, а спину держал так прямо, что всегда казалось, будто фигура его закована в корсет.

Говорил высокопарно, вскидывая голову, как, наверное, делал это в своей актерской практике.

На том литературном вечере, где мне довелось впервые публично выступать со стихами, А. был ведущим. Мы — участники вечера — не сидели, как это принято теперь, за столом на сцене, а прятались за кулисами. Ведущий выходил перед выступлением каждого, чтоб сказать какие-то слова.

Но боже мой! Что он говорил и как говорил! Это была помесь претенциозности и дремучей провинциальности.

Я с ужасом ждала той минуты позора, когда он представит меня. И не ошиблась.

Он театрально взмахнул руками, словно выпуская на сцену лихую цирковую наездницу, и фальшивым фальцетом выкрикнул:

— А сейчас перед вами выступит молодая поэтесса...

Ноги у меня стали ватными. Я не могла сдвинуться с места, но товарищи вытолкнули меня из-за кулис, и я не своим голосом пролепетала стихи, после чего долго плакала на плече Кости Мурзиди. И утешилась только, когда расслышала его слова:

— Полно вам, полно... Вами заинтересовалась Клавдия Васильевна Рождественская — редактор издательства. Просила прийти к ней в гости...

Так я оказалась гостьей первого в моей жизни редактора. Шутка ли, мной заинтересовался редактор!

Я заранее робела, представляя заставленный книгами кабинет, какие-то глубокие кинематографические кресла и себя, утонувшую в одном из них.

Но ничего этого не оказалось. Была квадратная комната, освещенная яркой лампочкой без абажура, обеденный стол, к одному концу которого сдвинута немытая посуда с остатками пищи, а на другом конце лежала гора бумаг.

Клавдия Васильевна, видимо только что оторвавшаяся от бумаг, встретила меня приветливо. На ней была надета кофточка без рукавов и широкая юбка. На плечи накинут синий пиджак, который я потом на ней постоянно видела.

Вскоре посуда была куда-то унесена. На столе появился чай, печенье, и потекла наша беседа.

Клавдия Васильевна расспрашивала меня. Ее интересовало решительно все: мой дом, муж, дети, работа, друзья, воспоминания детства, институтские годы...

И я, не скупясь на детали, счастливая ее вниманием, выкладывала все, что ей хотелось знать. Потом я читала стихи. Клавдия Васильевна заставляла меня повторять некоторые строки, иногда слушала, прикрыв рукой глаза, чем немало смущала меня.

А когда я по ее просьбе еще раз прочла строчку из одного стихотворения: «Был час, когда томительно узки мне комнаты родного дома», она закинула за голову обнаженные руки и глухо, как-то пронзительно горько повторила: «Был час, когда томительно узки мне комнаты родного дома»...

Я почувствовала себя крайне неловко. Было ощуще-

ние, будто я невольно подсмотрела какой-то тайный уголок ее души. И хотя не знала, в чем эта тайна, но сомнений не оставалось — она есть.

Я никогда не обольщалась в отношении поэтической глубины своих строчек. Всегда помнила: есть сотни отличных стихов, написанных поэтами прошлых и нынешних лет. Есть в мире высочайшая поэзия. А я топчусь где-то у подножия этих гималаев.

И вдруг обнаруживаю, что моя скромная строка взволновала сердце... Кого?! Редактора, человека искушенного, прочитавшего на своем веку, вероятно, тысячи книг.

И объяснить это могла лишь тем, что неожиданно для себя задела глубоко запрятанную от посторонних глаз сердечную боль.

Забыть этого я не могла, даже позднее, когда наши отношения осложнились, когда «К. В.», сидя за рабочим столом в неизменном синем пиджаке с высокими подкладными плечами, высказывала не всегда справедливые суждения...

Я всегда помнила ее закинутые за голову обнаженные руки, глухой голос... Я всегда помнила женщину в голой неуютной комнате,— женщину, на долю которой доставалось так много работы,— и дома, и в издательстве, всю жизнь остававшемся ее главным домом.

И это воспоминание добавляло к образу Клавдии Васильевны Рождественской — первого моего редактора — какие-то очень теплые человеческие штрихи.

В. Великанов

НАСТАВНИЦА

У каждого начинающего литератора по-своему складывается первая книжка, и во всех случаях кто-то помогает этой книжке родиться. Такой помощницей была для меня Клавдия Васильевна Рождественская — вдумчивый, тактичный, настойчиво требовательный редактор.

В январе далекого сорок шестого года, будучи уже в зрелом возрасте, я прибыл в Свердловск для продолжения военной службы. Город, в котором не было затемнения во время Великой Отечественной войны, поразил меня своим промышленным размахом и цельностью. За войну я столько насмотрелся на разрушенные города и села, что, право, мне как-то непривычно было видеть нетронутую, цветущую столицу Урала.

Я быстро обвыкся в многолюдном городе и полюбил его за деловитость и культуру.

Однажды в книжном магазине попался мне на глаза выпущенный местным издательством сборник для детей «Боевые ребята» — в нем были рассказы о природе и о войне — и у меня вдруг мелькнула дерзкая мысль: «А ведь и я мог бы кое-что рассказать детям...»

Признаться, это «кое-что» и раньше бродило у меня в голове, но как-то недосуг было. Правда, до войны я опубликовал несколько очерков в газете «Красноармейская правда», но потом, во время войны, мой литературный пыл был приглушен... А вот теперь всколыхнулось это чувство и захотелось написать о том, что накопилось, «наболело» в душе. И написать именно для детей, которых я полюбил еще в 20-е годы, когда был пионервожатым первого пионерского отряда в своем селе. Тогда я рассказывал ребятами волшебные русские сказки и радовался тому, как они удивлялись, волновались... Удивление — первый этап к познанию чудес природы и рукотворного деяния людей.

Итак, задумано — сделано. Засел я в своей служебной комнате за стол и за несколько вечеров написал три небольших рассказа на 3, 4 и 5 машинописных страниц. Вернее, это были не рассказы, а охотничьи очерки о том, что я сам видел и пережил. Повествование велось от первого

лица. Перечитал я их. Вроде ничего получилось. И все-таки понес в издательство с некоторой робостью.

Редактор Клавдия Васильевна Рождественская сидела за большим письменным столом и словно вросла в кресло, приземисто-плотная. Прямые пряди седоватых волос подстрижены в низкое «кружало». На ней было подношенное платье-костюм.

Я представился. Она медленно поднялась с кресла и, прищурившись, протянула мне через стол твердую руку. «Наверно, немало поработала по хозяйству...» — решил я про себя, пожимая ее руку.

Пристально всматриваясь в меня серыми усталыми глазами, она указала мне на стул.

— Спасибо. Спешу по службе. Вот посмотрите, пожалуйста...— сказал я просительным тоном и положил на стол свои «творения».

Опустившись в кресло, Клавдия Васильевна взяла листки и приблизила их к своему бледноватому лицу, как это обычно делают близорукие. Глянув на заголовки, она надела очки и быстро пробежала три страницы очерка «Человек, орел и журавли». Подняла на меня глаза и тихим голосом спросила:

— Вы давно этим занимаетесь? Печатались где-нибудь?

Я признался, что печатался давно и немного.

— Приходите к нам через два дня,— сказала Рождественская.— Тогда поговорим.

Она опять протянула мне крепкую руку и так пытливо заглянула в глаза, будто хотела прочесть в них — а что, мол, вы за человек и что от вас можно ожидать... А я, глядя на ее полноватые губы, вспомнил, что в народе считают это признаком доброй души.

Прошло два дня. Все это время я не находил себе покоя. Ну чего, думаю, полез в издательство с такой мелочью. А вдруг она спросит: «Какова же идея в ваших рассказах?» И что же я ей скажу? Дескать, любовь ко всему живому... Но она мне может напомнить о том, что «писатель — инженер человеческих душ». А вы нам, скажет, принесли примитивные этюды анималиста... Не мелковато ли для нашей бурной эпохи?..

Вот примерно с такими мучительными сомнениями в душе я пришел вторично к Клавдии Васильевне.

Встретила она меня со сдержанной улыбкой. Бледноватое лицо ее выглядело утомленным, но приветливым. Во

взгляде я прочел доброжелательную заинтересованность, и это меня подбодрило.

Мы сели, и она спросила:

— У вас есть еще такие же рассказы?

— Нет,— говорю.

— А вы не смогли бы еще написать такой же тематики?

— Нет,— отвечаю.— Вряд ли. У меня ведь служба. Да и о чем писать?

Клавдия Васильевна стала выспрашивать меня о том, кто я и что, где родился, учился, работал, воевал и так далее.

Выслушав мою краткую «исповедь», она встала и, наклонившись ко мне через стол, заговорила с такой горячей убедительностью, что мне стало неловко:

— Да как же вы говорите, что вам не о чем писать?! Вы же бывалый человек! Грех скрывать то, что вы увидели, испытали в жизни, в труде и на фронте!..

Опустилась в кресло и уже более спокойно продолжала:

— Ваши рассказы подкупают непосредственностью, простотой и любовью к животным. Уверена, что и детям они придутся по душе. Вы неплохо описываете природу, но надо бы больше изображать, живописать события.

Обрадованный добрыми словами, я спросил:

— Значит, мои очерки подойдут для «Боевых ребят»?

— Безусловно,— кивнула она,— но... надо делать книжку.

— Из трех рассказов? — удивился я.

— Почему же из трех? Из десяти, не меньше,— сказала Рождественская твердо, словно все десять рассказов уже лежали у нее на столе.— В этих трех рассказах у вас есть интересные зоопсихологические находки, а мне бы хотелось, чтобы вы побольше уделили внимания человеку, его психологии. Вы согласны?

Я кивнул.

— Значит, договорились,— как бы припечатала она рукой свои слова и добавила: — Не забывайте и об эмоциональной стороне. Дети ведь больше живут сердцем, нежели рассудком. Итак, я жду от вас еще семь рассказов.

Ушел я от Клавдии Васильевны в радостном волнении и в раздумье. В ее словах я почувствовал веру в меня, но мне казалось, что она дала мне непосильное задание. Ну, ладно, написать еще парочку таких же рассказов я смогу, но — семь!..

В задумке у меня уже были два фронтовых рассказа о воинах и их верных друзьях — собаке и лошади. Помня наказ Клавдии Васильевны, я постарался, чтобы в этих вещах главными героями стали люди, связанные ратной судьбой с животными. Над рассказами пришлось поработать побольше, чем над первыми тремя. И понес я их в издательство с бо̀льшим трепетом, нежели в первый раз.

Клавдия Васильевна при мне прочитала оба рассказа и широко улыбнулась.

— Ну вот,— сказала она,— тут вы сделали шаг вперед. Диалог у персонажей довольно характерный и есть правда чувства. Это хорошо. Однако вы, мне кажется, слишком лаконичны в описаниях обстановки. Для юного читателя все это незнакомо, ново, и надо бы побольше дать «расцветку». В каждом рассказе должен быть свой микромир со всеми жизненными красками. Вы меня поняли?

— Да, да, конечно,— согласился я,— но это ведь не так-то просто...

— И еще,— продолжала она,— не забывайте прочитывать свои рассказы вслух. Это чуткий «контролер».

Клавдия Васильевна помолчала, о чем-то раздумывая, а потом сказала:

— Одним словом, пока неплохо у вас получилось, но надо бы лучше. Да и мало.

— Нет уж, все,— вырвалось у меня резковато.— Да и некогда мне. Я уезжаю за семьей в Запорожье. У меня отпуск.

— Вот и хорошо,— с улыбкой подхватила Клавдия Васильевна.— На досуге и покопаетесь в кладовой своей памяти... Советую смелее подключать к жизненным событиям творческое воображение, правдоподобный домысел. Нельзя быть рабом фактов. Великий пейзажист Левитан говорил, что «фотография никому не нужна. Важна ваша песня...» Вот и пропойте ее в рассказах со своим «лучом зрения». Ну, желаю вам удачи. Пишите, но... не очень спешите,— сказала она в рифму и улыбнулась.

Ушел я от Клавдии Васильевны в раздумьях, и они не покидали меня всю дорогу до Запорожья и весь мой месячный отпуск. За это время я переворошил всю свою жизнь, начиная с детства, когда, живя в селе, сроднился с природой и полюбил животных, друзей человека. А потом через мои руки, руки ветеринарного врача, прошло немало «братьев наших меньших», и я замечал, что у каждо-

го из них свои повадки, свой «характер»... Я перебирал в памяти события своей жизни, случаи, казавшиеся раньше вроде бы не столь уж значительными, и они сплетались в моем воображении в узелки-эпизоды, драматические, грустные и веселые. И мне захотелось рассказать о них юным читателям со своим «лучом зрения», как советовала Клавдия Васильевна.

Весь мой месячный отпуск ушел на разработку новых рассказов, а вернувшись в Свердловск, я посвятил им все вечерние часы. Если первые свои вещицы я «пропел» как бы на одном дыхании, то над этими рассказами мне пришлось попотеть до «второго дыхания», по терминологии спортсменов-бегунов. Я перечитывал их вслух и, к удивлению своему, обнаруживал все новые досадные «сучки» и «задиринки». Действительно, слуховой контролер оказался более надежным, нежели зрительный.

Лишь осенью осмелился я показать рассказы своей наставнице.

После летнего отдыха Клавдия Васильевна посвежела, лицо загорело. И костюм на ней был новый, светло-серый. Он ее молодил.

Принимая от меня новые рассказы, она улыбнулась, и я понял: довольна тем, что встряхнула меня и заставила творчески работать по ее заданию.

Через неделю Клавдия Васильевна порадовала меня, сообщив, что «книжка получается».

— В последних рассказах вы уже лучше живописуете. И характеры людей определены, особенно в «Рагаце». Теперь нам надо поработать над языком.

Рождественская довольно бережно отнеслась к слогу моих рассказов, к их разговорно-доверительной интонации. Выправляя языковые погрешности, вымарывая безликие банальные слова, она разъясняла мне смысл этих поправок, словно бы заново давая почувствовать силу выразительного и точного слова. Эта кропотливая работа с опытным и чутким редактором явилась для меня предметным уроком, я впервые по-настоящему ощутил, что действительно «нет на свете мук сильнее муки слова».

Клавдия Васильевна сообщила мне, что издательство пригласило художника Виктора Цигаля для иллюстрирования моей книжки.

— Хороший график,— похвалила она его,— но надо бы вам посмотреть его эскизы. Я уверена, что у вас с ним получится гармоничный дуэт.

Будучи в Москве по делам службы, я зашел на квартиру к художнику, посмотрел эскизы и порадовался: Виктор Цигаль очень точно проник в натуру и дух моих рассказов.

Когда, вернувшись из Москвы, я высказал Клавдии Васильевне свое удовлетворение эскизами художника, она сказала.

— Это хорошо. У меня есть просьба к вам. Дело в том, что в издательство поступила одна повесть. Не возьметесь ли вы ее прорецензировать?

— Да что вы, Клавдия Васильевна?! — удивился я.— Я никогда не писал рецензии и не знаю, с чем их едят.

Клавдия Васильевна задумалась и как будто даже огорчилась моим категорическим отказом. А потом согласилась:

— Ну ладно, тогда я вас попрошу прочесть эту повесть и сказать мне ваше мнение. Повесть как раз в вашем амплуа — о детях.

— А кто автор? — спросил я.

— Да тут вот одна учительница...— замялась Рождественская и почему-то не назвала фамилию автора.

Трудно было отказать Клавдии Васильевне в ее просьбе, да признаться, мне и польстило ее доверие. Я, конечно, и не подозревал, как она хитроумно меня обманула.

Повесть называлась «В старом доме». В ней автор описывал жизнь семьи Уваровых, матери и дочери-школьницы (отец был на фронте), их соседей и новых друзей, эвакуированных в уральский город. Главное внимание автор уделил Гале Уваровой и ее подружкам по школе. Семейный микромир Уваровых и их друзей переплетался с жизнью большого города и с перипетиями войны. Немало было в повести бытовых и психологических деталей, метко увиденных острым авторским, именно женским глазом, с большой любовью к людям автор описывал их жизнь, тяготы и переживания. Однако мне показалось, что автор не столько показывает жизнь своих героев, сколько рассказывает о них, и при этом несколько рассудочно. Я подумал, что читать повесть местами будет, пожалуй, скучновато. Решил про себя, что автор, вероятно,— преподавательница русского языка и литературы.

Вот так все и высказал я Клавдии Васильевне, отметив, что автор скуповат на «расцветку» описаний.

— Но, безусловно,— заключил я свой критический разбор повести,— автор талантлив, хорошо видит жизнь, и надо помочь ему сделать вещь полнокровнее.

Клавдия Васильевна внимательно слушала меня и при этом записывала в блокнот замечания. А потом еще задала ряд вопросов по некоторым деталям произведения, в частности, и по языку, и я очень удивился тому, что она так досконально знает повесть.

— А нельзя ли мне повидаться с автором? — спросил я.— Хотелось бы поговорить поподробнее...

— Вы уже поговорили,— сказала Клавдия Васильевна и сдержанно улыбнулась.— Я очень признательна вам за такой разбор моей повести.

— Как?! — воскликнул я и умолк, смутился. Вот так сюрприз! А я-то «распоясался...»

— Извините меня за обман,— сказала она.— Вы, наверное, думаете, а к чему, мол, эта мистификация? Просто хотела выслушать искреннюю критику свежего человека без всякого пристрастия и предубеждения. Надеюсь, вы поймете меня и не осудите?..

Я молчал. Еще не пришел в себя от такого хитроумного приема.

— Однако вы поддели меня не в бровь, а в глаз...— сказала она с улыбкой.

— Ваша школа! — произнес я громко.

Клавдия Васильевна рассмеялась.

— Конечно, я учту ваши справедливые замечания и пополню рукопись новыми главами. И мне хочется, чтобы вы были редактором моей повести.

— Да что вы в самом деле! — вырвалось у меня.— Какой из меня редактор?! Я еще и опериться не успел как литератор.

А Клавдия Васильевна опять свое:

— Вы так обстоятельно прорабатывали мою повесть, что редактировать ее будет совсем не трудно. Да и я помогу. Ну, договорились?

В тот же день она пригласила меня на чашку чая в свое скромное жилище, в приземистый старый домик, и познакомила с дочкой Аленушкой. Я увидел их огородик и большую поленницу березовых дров. И понял, что ее произведение — это искреннее повествование о своей нелегкой жизни в годы войны... И многое в повести мне стало понятнее, ближе.

Наши книжки — «Мои рассказы» и ее «В старом доме» под моей редакцией — вышли в свет почти одновременно, осенью сорок седьмого года. Ну конечно, «под редакцией» звучит слишком громко, когда речь идет о таком строгом

стилисте и опытном литераторе, как Рождественская. Но мне было приятно, что Клавдия Васильевна прислушалась к моим соображениям, поверила моему читательскому восприятию. Уж она-то знала, что со стороны многое видится яснее и четче...

Кто испытал в жизни чувство, возникающее при рождении первой выстраданной книжки, тот поймет мою радость и чувство благодарности Клавдии Васильевне. По моей просьбе она разрешила напечатать на титульном листе книжки слова благодарности и тому, кто пробудил во мне любовь к художественному слову, посеял первые зерна, проросшие уже здесь, в Свердловске: «Моему учителю-другу Александру Васильевичу Федорову».

Когда мою тоненькую книжку, богато иллюстрированную, обсуждали на собрании свердловских писателей с участием Павла Петровича Бажова, Клавдия Васильевна внимательно выслушивала критические замечания. У нее было соавторское чувство ответственности за результат наших трудов. И как мне, так и ей приятно было услышать доброе напутствие старейшины уральских писателей Бажова, который сказал мне: «У вас хорошо разговаривают солдаты». А кто-то из литераторов, ссылаясь на Белинского, предрек даже, что я «рожден детским писателем», чему я немало удивился.

С этого собрания мы шли вместе с Клавдией Васильевной. Я был растроган добрыми словами писателей. Но были и иные мысли. «Не слишком ли?» —думал я. В те годы в литературу немало приходило бывалых людей, переживших войну, и нас подхватывали, помогали, «открывали»... Но смогу ли я оправдать сегодняшние прогнозы и напутствия?

Я высказал Клавдии Васильевне свои сомнения:

— Может, моя книжка первая и... последняя.

— Нет,— возразила она,— вкусив первый плод, вы теперь не отойдете от литературы. Вы уж конченый человек...

Слово «конченый» резануло меня, хотя я и понимал, что сказано оно было в благожелательно-шутливом смысле, как «одержимый».

— Теперь вам надо браться за повесть, но так, чтобы каждая глава ее была бы рассказом, а герой проходил бы через все повествование. По духу вы рассказчик.

В тот вечер она заронила в меня новое зерно творческих раздумий, и позднее оно проросло в большую «Повесть об укротителе» и другие вещи. И я жалел, что не

Клавдия Васильевна была редактором этих произведений. Первые рассказы, созданные под благотворным воздействием К. В. Рождественской, оказались для меня верной школой, надежным «трамплином»...

Прошли годы.

Помня наше давнее литературное содружество, Клавдия Васильевна прислала мне — к тому времени уже члену Союза писателей, автору нескольких книг — первое издание своих вышедших в Перми редакторских записок «За круглым столом», с пространным автографом: «Ваши замечания по этой книге будут мной встречены с таким же волнением, как 15 лет назад, когда я вручала Вам свою очень несовершенную повесть». И как тогда, так и теперь я не мог отказать своей «крестной матери» и после радовался тому, что новое издание ее «Записок редактора» вышло в Москве, в издательстве «Искусство», значительно пополненное новыми гранями ее многотрудной, сложной и кропотливой работы, работы талантливого наставника молодых литераторов. Она многим дала «путёвку в жизнь».

Вспоминая добрые деяния Клавдии Васильевны Рождественской, я пришел к заключению, что и редактором своей повести она сделала меня неспроста: вероятно, она стремилась укрепить у меня веру в свои литературные возможности. И это ей удалось. Тогда между нами вспыхнула творческая искорка, и мы помогли друг другу. В конце-то концов ведь каждый человек, где бы он ни находился, у кого-то учится и затем накопленный опыт передает другим, а те — третьим...

И мне всегда хотелось сказать Клавдии Васильевне: «Большое спасибо тебе, моя добрая литературная наставница».

Е. Хоринская

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛЮДЯМ

...И жили они дружно тридцать лет и три года... Так обычно говорится в сказках. Но бывает так, именно так, и в жизни: дружили мы с Ниной Аркадьевной Поповой действительно тридцать лет и три года. И еще шесть месяцев. И я навсегда благодарна судьбе за эту большую дружбу.

...Не считают года по седым волосам,—
Было всякое в нашей судьбе...
Сколько лет?
Столько лет,
Сколько чувствуешь сам,
Сколько сердце подскажет тебе.

Если жизни все ярче горит самоцвет,
Что с того, что в снегу голова!
Это, друг мой, не старость,
А только расцвет
Творчества и мастерства.

Такие строки я написала Нине Аркадьевне к ее шестидесятилетию. Это действительно была пора ее творческого расцвета.

С годами все острее чувствуешь утраты, все чаще берешь в руки фотографии, с которых смотрят ушедшие друзья. Память — такая рукопись, из которой ничего не вырвешь, но страницы ее могут тускнеть и обрываться. Пройдет несколько десятилетий, и писатели нашего поколения, наверно, будут казаться молодежи XXI века чуть ли не сверстниками Решетникова. Спрашивали же меня ребята в одной школе, не встречалась ли я с Маминым-Сибиряком. Поэтому так важно рассказать о своих товарищах, особенно о тех, кто был с тобою в начале пути, с кем шел ты по жизни, о самых дорогих тебе людях, твоих друзьях. Для меня самым близким и родным человеком была Нина Аркадьевна Попова.

...Далекий, памятный 1935 год, год моего приезда в Свердловск. Июнь. Большая светлая комната Союза писателей на улице 8 Марта, 66. В центре стол ответственного секретаря Панова, еще несколько столов «аппаратчиков», в том числе — литконсультанта журнала «Штурм». За этим столом сидела молодая миловидная женщина, креп-

кая, полная, с открытым русским лицом и густыми волосами, подстриженными по моде тридцатых годов, в пенсне, которое не только не портило, но даже шло ей. Ловко сидело на ней белое полотняное платье с небольшой вышивкой, подчеркивая загар полных красивых рук. Тридцатипятилетняя Нина Аркадьевна... Первая встреча, первое знакомство, первый разговор. Ровный, спокойный, приятный голос. Сначала говорили о стихотворении, которое я предлагала для «Штурма», потом разговор перешел на другие темы. Нина Аркадьевна сразу располагала к себе, притягивала своей искренностью, душевностью, умением слушать как-то особенно внимательно и вдумчиво. За стеклами пенсне теплым светом лучились глаза. Буквально тут же я рассказала ей о себе, как другу, с которым встретилась после большой разлуки.

С этой первой встречи и началась наша дружба.

Часто бывает так: с одними людьми мы близки по работе, но, выйдя «из проходной», мило прощаемся, и каждый уходит в свою жизнь; с другими, наоборот, празднуем все праздники и юбилеи, но не касаемся работы; с третьими встречаемся потому, что состоим в родстве. А мы с Ниной Аркадьевной были и товарищами по работе, и друзьями — почти родственниками, делили пополам и горе и радость, а позже и скудную еду суровой военной поры.

Может быть, потому, что именно она после смерти Бажова приняла на многие годы руководство писательской организацией и свято хранила бажовские традиции,— мне снова вспоминаются слова Павла Петровича: «Крылышки хоть маленькие, да свои». У Поповой «свои крылышки» появились очень рано, и вырастали они в хорошие крепкие крылья.

Широк диапазон ее творчества: от глубокой демидовской старины к подпольной борьбе и революционным событиям на Урале, от них — к первой пятилетке, Великой Отечественной войне и к сегодняшнему дню. Неразрывная связь с жизнью, чувство нового, чувство современности — вот основные черты ее творчества. Ее герои — простые люди, скромные труженики, чистые сердцем, сильные духом, глубоко понимающие поэзию труда.

Я люблю бывать в Полевском с его тихими зелеными улочками. И люди там какие-то особенно радушные, и как-то особенно пахнет на огородах укроп и мята. Полев-

17 Заказ 133

ское, Азов-гора и речка Полдневая... Известные бажовские места. Но получилось так, что с ними связано еще одно писательское имя.

Нина Аркадьевна Попова родилась 14 декабря 1900 года в городе Кыштыме. Но детство ее прошло в Полевском. Это там возникла и окрепла в ней любовь к уральской природе, незабываемым сказкам, преданиям, песням, поговоркам, великолепному народному языку. Конечно, были потом и Красная Слобода, и деревня Ивановка, где довелось ей работать, но родилось это горячее чувство родной земли — в Полевском. Недаром даже в детских стихах ее воспеты и Азов-гора, и Думная, и урочище Медвежка, и берег Чусовой, заросший черемухой, смородиной и хмелем. Эта любовь, это восприятие природы, жизни нашли воплощение в ее книгах. В самые трудные минуты приходили к ней впечатления далекого полевского детства.

В пожилом возрасте, с больным сердцем, Нине Аркадьевне пришлось перенести тяжелую операцию. Лежала она в тяжком послеоперационном бреду, было душно, жарко, невыносимо. И вдруг ей показалось...

«...Сумрак, тишина, прохлада. Когда глаза привыкли к сумраку, поняла, что перенесли куда-то. Она лежала в невысокой просторной избе с русской печью, с особым запахом сушеной богородской травы...»

Эти строки были написаны Ниной Аркадьевной после выхода из больницы. Силы, помогавшие выстоять в беде, по ее уверению, были впитаны с тем березовым соком, которым поили ее старые полевские березы. Их она помнила всю жизнь.

Нина росла в семье священника, в общем обеспеченной, хотя весь уклад был прост и патриархален. Строго следили: учит ли девочка уроки, не ленится ли. Прививали трудовые навыки, и не только по кухонной части. Были у нее свои грабельки, вилы, литовка. Косить так и не научилась, а грести на покосе помогала. Были коромысло и ведра по росту, по силам. Поливала огурцы, капусту, помогала полоть гряды.

...Потом в жизни девочки все резко изменилось: вместо тихих вечеров — заводской шум и грохот, клубы дыма, вспыхивающие в темном небе зарницы плавок. Промышленный Нижний Тагил. В городе есть гимназия. В нее и поступила привезенная из Полевского к родственникам крепкая, румяная девочка Нина Черепанова. Собственно, этому предшествовало ее неудачное пребывание в Ека-

теринбургской гимназии: там она так тосковала по дому, что пришлось срочно забрать ее обратно.

И вот Тагил. Двоюродная сестра Юля, с которой вместе учились, такая же выдумщица и озорница. Шуточные стихи о мальчишках-гимназистах, которых в самый лютый мороз заставляли носить только форменные фуражки. Одна из соучениц вспоминает, как кому-то из девочек поставили несправедливо плохую оценку за сочинение. Требовать справедливости отправилась в учительскую Нина Черепанова.

В 1919 году она окончила гимназию, правда, уже не в Тагиле, а в Ирбите, и вышла в жизнь, тревожную, кипучую и очень сложную.

Гражданская война. Первые послереволюционные годы.

Молодой учительнице из деревни Ивановка, что недалеко от Ирбита, приходилось трудно: школа, где нужно вести два класса, вечером ликбез, занятия с женщинами, собрания, репетиции драмкружка...

Нина Аркадьевна рассказывала:

— Так и вспоминается наш Народный дом с самодельными декорациями, висячей лампой, керосин для которой помогал добывать военком. Да и мы от своего учительского пайка отбавляли, а к урокам готовились с коптилкой. Перед началом спектакля обычно выступал председатель драмкружка — военком Белоногов, говорил об идее пьесы и... о «текущем моменте». После спектакля пели хором революционные песни. Ставили пьесы Островского, «Дни нашей жизни» Л. Андреева... да всего не упомнишь. Если попадалась пьеса без начала или без конца, а казалась нам подходящей, я, ничтоже сумняшеся, дописывала. Сценки для детей писала. Ставили их по праздникам в школе.

— Значит, литературный путь писательница Попова начала как драматург? — спросила я как-то шутя.

— Да нет,— как поэтесса, в Полевском,— в тон мне усмехнулась Нина Аркадьевна. А потом заговорила уже серьезно:

— Как многие дети, с самых ранних лет сочиняла стихи. Выплывают, например, такие две строчки:

Листья падали с березы,
У меня закапали слезы...

А по какому случаю «закапали» — не помню. Стихи никому не показывала. Стеснялась. Дело в том, что я прочла у Тургенева:

Я не люблю мечтательных девиц,
Я не люблю их бледных толстых лиц...

Лицо мое бледным не было (румянец во всю щеку)... но было оно, деликатно говоря, круглым... да еще близорукость... очки... Не хотелось мне казаться «мечтательной». Ну а потом, работая в деревне, пришлось заниматься и «поэзией», и «драматургией», и самой играть главные роли.

Но скоро молодая учительница распрощалась с Ивановкой: в 1923 году она вышла замуж и, став уже Ниной Поповой, уехала в Томск. Там тогда учился ее муж. Работала в детском доме воспитательницей. Жилось трудно — на скудную зарплату нужно было содержать семью.

В Томске Нина Аркадьевна впервые стала печататься.

— Долго не могла решиться,— рассказывала она.— Наконец пришла в редакцию газеты «Красное знамя». Хотела что-то сказать, но не произнесла ни слова. Положила пакет на стол и была такова. А Первого мая кто-то из домашних развернул газету: «Смотри-ка, твоя тезка стихотворение напечатала».

Тут я запрыгала, захлопала в ладоши:

— Это я! Это я!

С того все и началось.

В «Красном знамени» был опубликован большой цикл стихов Поповой «Город Томской» — первое ее приобщение к исторической теме. Начинался цикл легендой о Томе, в честь которой по преданию названа река Томь.

...Сказка отголосками глухими
Пронеслась сквозь дальние века:
Носит свежее лесное имя
Северная ясная река.

Стихов было напечатано много. В них, особенно в «Черном наследстве» (о больных детях) и в «Призыве» (о забастовке английских горняков), слышны уже гражданские мотивы. Стихи эмоциональны. Особенно цикл «Материнство». Нина Аркадьевна была в это время уже матерью. После смерти маленького Виталика у нее родилась дочь Эмилия. Но смерть сына навсегда осталась для нее неутешным горем.

Кроме газеты «Красное знамя» Попова печатала стихи в «Сибирском детском журнале», издававшемся в Омске. Из немногого, что сохранилось, можно назвать стихотворение «Земляничный вечер».

Вечер пахнет земляникой,
Сонно пыль отяжелела.
Тонкий месяц в небе низком —
Серпик никелевый белый.

На щеках несут ребята
Золотых полянок пламя.
Сколько ярких ягод смято
Земляничными губами!..

Потом пришлось переехать с мужем в Сормово. Живя там, Нина Аркадьевна продолжала печататься в «Сибирском детском журнале». Там же, в городе на Волге, начала свою первую повесть о детях.

В это время в Сормово приехал Александр Серафимович, автор знаменитого «Железного потока». По словам Нины Аркадьевны, она была влюблена в эту книгу и, конечно, пошла на встречу с писателем. В выступлении он предложил начинающим присылать ему свои произведения. Послала несколько стихотворений и Попова — и вскоре получила ответ:

«...Разумеется, трудно сказать, как развернетесь Вы дальше. Но, думается, что работать Вам следует. Следует не только присматриваться, как строилась старая, классическая литература, как строится новая, а выковывать свое, свой подход, свою форму.

Дружески жму руку.

Ваш Серафимович

Очень хорошо, что Вы так много обрабатываете. Если у Вас будет что по беллетристике, присылайте — вместе обсудим. 14.4.28 г. Москва».

Лето 1928 года. Попова возвращается в город, где прошло ее отрочество и началась юность,— в Нижний Тагил.

Внешне город как будто и не изменился. Взглянешь с Лисьей горы — все тот же «каменный центр» и те же «деревянные окраины». Нет еще и в помине ни вагонзавода, ни металлургического гиганта, нет ни трамваев, ни автобусов... Но в городе уже началась новая жизнь. Все больше набирает силу новый индустриальный Тагил.

Попова поступила в редакцию окружной газеты «Рабочий». Первое время молодой журналистке было очень нелегко.

— Чувство было такое,— вспоминала Нина Аркадьевна: — Бросилась в водоворот — выплыву ли? Задания раз-

нообразные, а опыта никакого. Но в таком коллективе не потонешь! Поддержат в нужную минуту. Не знаю, что я дала газете, а мне работа в редакции дала очень много.

Одной из самых дорогих для себя реликвий Нина Аркадьевна считала номер газеты «Рабочий» от 13 сентября 1928 года, посвященный приезду в Тагил делегатов Шестого конгресса Коминтерна. Часто рассказывала она об этом ответственном для нее редакционном задании, о том, с какими забавными приключениями ей удалось его выполнить.

— Ясное солнечное утро... С сознанием большой ответственности стою у подъезда гостиницы. Жду... Вот из широких дверей неспешно выходят парами и группами делегаты и люди, сопровождающие их. Вдоль тротуара — экипажи. В каждый усаживаются по двое. Сели, поехали — и на месте одного стоит уже другой экипаж.

Делаю попытку попасть в извозчичью пролетку или в учрежденческий коробок... увы! — это невозможно. Хоть бы на козлы пристроиться... но кучерские беседки — одноместные. С ужасом гляжу на последнюю подводу: неужели я отстану от делегатов? Сорву задание? Нет!.. Два делегата — белый и негр, дружно переговариваясь, усаживаются. И я, едва коснувшись подножки, прыгаю в коробок и, чтобы не упасть, хватаюсь за плечи удивленного кучера. Стою, не смея оглянуться.

Кто-то ласково взял меня за локоть, и, обернувшись, я встретила добрый, смеющийся, понимающий взгляд. Товарищ Вильзон (негр) жестом пригласил сесть к нему на колени. Да иного выхода и не было.

Назвала себя, пояснила: корреспондент. Оба закивали, назвали свои фамилии.

— Коммунист? — спросил меня Людвиг.

— Нет.

— Комсомол,— подсказал Вильзон.

— Нет.

Со стыдом опустила голову. Ох, как хотелось объяснить, что в редакции у нас почти все коммунисты или комсомольцы, но и мы, беспартийные, помогаем, как можем, партии. Да английским языком не владела...

Долог показался мне путь до Высокогорского рудника.

Но скоро я уже не думала о неудачном начале этого дня, жадно вслушивалась, вглядывалась и строчила, строчила в свой блокнот. С рудника мы поехали на завод, где делегаты ходили по цехам, беседовали с рабочими и где на

заводском дворе состоялся митинг. Он закончился самозабвенным пением «Интернационала». Еще митинг — у железнодорожников и наконец поздним вечером — общегородской, в саду. Горячие речи, вызывающие ответные чувства, гордость за свой Урал, за свою страну, чувство братского единения — все это сделало тот день незабываемым. Проводив делегатов на станцию, взволнованная, усталая, голодная, сажусь в коробок и сразу же впиваюсь в бутерброд, купленный в буфете. «Куда везти?» — спрашивает кучер. «В редакцию, пожалуйста».

«Мне доверили ответственное дело, и я выполнила его» — эта эгоистическая мысль только мелькнула в сознании. Главное было в содержании этого большого дня, в тех чувствах и мыслях, которые возникли в этот день.

Незабываемыми впечатлениями хотелось немедленно поделиться с настоящим другом. И такой друг был.

...Бондин работал тогда мастером депо на станции Нижний Тагил и руководил литературным кружком. Вот слова Нины Аркадьевны:

— Он был моим другом и учителем. Трудно переоценить роль, которую сыграл в моей жизни Алексей Петрович... Помню, я написала один из первых своих рассказов «Бунт» — о волнениях приписных крестьян в 1762 году. Там был показан «почтенный мастер» Степан Артемьевич, господский прихвостень, предавший жениха своей дочери. Смутное чувство неудовлетворенности осталось и у меня и у Алексея Петровича: рассказ как-то уныло сходил на нет. Бондин подумал-подумал и сказал: — «А ты лучше вот так поверни, Нина Аркадьевна... пусть-ка этот прихвостень на себе почувствует тяжелую господскую руку. Я на твоем месте сделал бы так, чтобы Машу к князю увели».— «Алексей Петрович! Верно... и отец вступится за дочь».— «А его за это батогами! Почувствует, подлец, что предал свою плоть и кровь, поймет, чью сторону надо было держать». Так горячо вникал Бондин в наши замыслы всегда...

Рассказ «Бунт» напечатан в альманахе «Урал» в 1933 году. Несколько раньше, в 1930 году только что созданный первый «толстый» уральский журнал «Рост» опубликовал рассказ Н. Поповой «Аманаты старой Мангазеи», действие которого развертывалось в XVI веке на Сибирском Севере. Рассказ интересен не только проникновением в глубокую старину, но и языком, тонко стилизованным под древнерусский.

Интерес Нины Аркадьевны к истории возник не случайно. В те времена прозвучал призыв Горького к писателям — создавать историю фабрик и заводов, историю гражданской войны, и молодая писательница воодушевленно откликнулась на этот социальный заказ.

Год 1933-й. Попова снова прощается с Тагилом и переезжает в Свердловск. Ее приезд совпал с огромным праздником на заводе, с которым потом будет связана ее судьба: это был день пуска Уралмаша — 15 июля.

Первое время Нина Аркадьевна работала библиографом в издательстве, потом литконсультантом журнала «Штурм». Чтобы не возвращаться к ее «послужному списку», можно вспомнить, что после закрытия «Штурма» работала в краеведческом музее, а позже опять в издательстве — редактором художественной литературы. Очень поздно, только в марте 1941 года решилась она уйти на творческую работу. Тут бы и работать в полную меру! Но... это был сорок первый... А в довоенные годы так мало удавалось писать... Служба, семья. Общественная работа. Жили на Уралмаше, на улице Ильича, в так называемом доме-пиле. Тогда этот дом казался огромным; глядя на него теперь, я никак не могу поверить, что это то самое здание. Две комнаты в коммунальной квартире на первом этаже. На подоконниках снаружи кормушки для птиц. Совсем рядом начинался лес. Там мы с Ниной Аркадьевной и маленькой Эммой — в то время еще здоровой и веселой девочкой — собирали грибы. Трудно было Нине Аркадьевне ездить с работы и на работу. Когда трамваи не шли, добиралась пешком. И все-таки писала.

Богатый «урожай» принес 1935 год: вышли в свет две книги — первые ее книги «Екатеринбург — Свердловск» и «В Далматовской вотчине» — повествование о «дубинщине», восстании далматовских монастырских крестьян в 1762 году. Писательница по-прежнему остается верна исторической теме. Но «Екатеринбург — Свердловск» не просто очерк об истории города: прошлое края воссоздается в красках, в лицах, в действии — автора волнует революционная борьба, подпольная работа, образы революционеров. Эта книга — дальний подступ к той большой работе над трилогией, которая будет впереди.

В 1936 году Нина Аркадьевна была принята в члены Союза писателей СССР.

Великая Отечественная война. Грозное, героическое незабываемое время. Мы, писатели, работали на заводах, помогали в редакциях многотиражек, выпускали «молнии» и «боевые листки», писали песни о фронтовых бригадах, о героях тыла, тексты плакатов, готовили помещения для госпиталей, потом в них выступали, выезжали в колхозы; создавали коллективные сборники о Свердловске, о Березовске, о Тагиле, книжку «Боевая весна». Всегда готовно включалась во всю эту работу Нина Аркадьевна. Трудно представить, как в эти годы в набитой чужими людьми квартире, за столом, на котором обедали, гладили, мыли посуду, могла она писать свои рассказы.

Похудевшая, больная дистрофией, в одежде, совершенно не подходящей для лютых военных зим... Когда случайно залетел на день с фронта мой брат, он не узнал Нину Аркадьевну, долго не мог успокоиться, вспоминая ее слова:

— Так хочется поесть досыта черного хлеба...

Ей жилось гораздо труднее, чем другим. Дело в том, что еще в 38-м году произошел окончательный разрыв с мужем. На руках осталась семья — мать и дочь. Как говорится, едва сводили концы с концами. Жили они теперь уже на улице Ленина, в доме 54. Две небольшие смежные комнаты в коммунальной квартире.

Скудный паек первых военных лет, все, что удавалось получить, отдавалось семье. У меня так и остались в памяти часто повторяемые слова Нины Аркадьевны:

— Маме и Эмме... Маме и Эмме...

О себе не думала. И при этом сохраняла и жизнелюбие, и чувство юмора. Это спасало в самые трудные минуты.

Одна знакомая пригласила нас к себе в совхоз. Мы обрадовались и решили там подработать. До совхоза было 18 километров. Рано утром отправились в путь, конечно, пешком. Навстречу шли машины, нагруженные капустой. Вдруг с одной машины сорвался огромный кочан и остался на дороге. Он был необычной величины, тугой, белый, просто хоть на выставку. Взяли мы его, унесли в сторонку подальше и спрятали в кустах: на обратном пути возьмем. Приняли нас весьма радушно, напоили чаем с настоящим молоком, а домой отправили на легковой машине, увозившей какое-то начальство. Мы пытались всячески отказаться, но... И вот, поддерживая чинную беседу, промчались мимо заветного места, где был запрятан наш капустный клад. Только успели подтолкнуть друг друга. Пришлось

через несколько дней идти специально за драгоценным кочаном. Лежал он, милый, на прежнем месте в целости и сохранности. Тащили мы его вдвоем, и было нам очень весело. Потом поделили по-братски. Кстати, это оказалось единственным «трофеем»: работы в совхозе для нас не нашлось.

А вот на овощной базе Нина Аркадьевна работала вместе с художницей Екатериной Владимировной Гилевой: выпускали «боевые листки», стенные газеты, плакаты и получали «картофельный гонорар», который тогда буквально спасал. Научились из тертого сырого картофеля готовить «фаршированную рыбу», а из кожуры — «гречневую кашу», оказалось, что картошку можно жарить на касторовом масле, а на пертусине — сладкой микстуре от кашля — выходит изумительное варенье.

Новый, 1942 год встречали у Нины Аркадьевны. Был эвакуированный из Ленинграда поэт Илья Иванович Садофьев, который, как всегда, много и интересно рассказывал, много читал стихов — и своих, и других самых разных поэтов. У него была блестящая память. А новогодний ужин состоял примерно из тех блюд, о которых сказано выше...

В 1942 году Профиздат выпустил в серии «Советская женщина в Отечественной войне» маленькую книжечку Поповой «Сила женщины». В нее входят три рассказа: «В школе», «Злючка» и «Люба». Эта книжка почему-то не указана в библиографическом справочнике. В 1943 году в нашем издательстве выходит небольшой сборник писательницы «Кремень». Центральное место в нем занимают рассказы, посвященные гражданской войне на Урале. С любовью и большой жизненной правдой на фоне грозных событий революционных лет изображены простые люди Урала. Особенно запоминаются женские образы — неутомимые труженицы, стойкие, благородные, в самых критических ситуациях не теряющие бодрости и оптимизма. Есть своя логика в появлении этих произведений в годину борьбы с фашизмом — героизм борцов за Советскую власть был созвучен мужественным делам воинов на фронтах и тружеников тыла. В сборник «Кремень» вошли и рассказы о стойкости советских людей в дни Отечественной войны.

Отгремели бои, и в первый же послевоенный год в Москве, в «Советском писателе», вышла книжка Поповой «Уральские рассказы». В нее вошли «Пестерь», «Тетка Ольга», «Подвозчая», «Светлый ключ», «Золотиночка». Драматизм ситуаций, сильные, крепкие, как кремень, ха-

рактеры, великолепный язык дают полное право назвать этот сборник в ряду лучших книг об Урале. Позже эти рассказы вошли в книгу Н. Поповой «Избранное».

Две темы — заводская и сельская — идут рука об руку через все творчество писательницы.

В 1949 году в Свердловске выходит ее новая книга «Мир на стану» — о колхозной деревне послевоенного периода, о тех огромных сдвигах, которые там произошли, о новых людях, новых отношениях. Повесть оказалась большой творческой удачей автора, была хорошо встречена читателями и переведена на венгерский и польский языки.

В 1951 году в жизни Поповой произошло большое событие, о котором она написала в одном из писем: «Осуществилась моя давняя заветная мечта: меня приняли в партию!»

На одной из подаренных мне книг Нина Аркадьевна написала:

«...Листая эту книжку, ты вспомнишь годы, когда был написан тот или другой рассказ, вспомнишь события тех лет, может быть, меня прежнюю...» Пророческими оказались эти слова. Листая страницы книг моего ушедшего друга, я вспоминаю не годы, а всю прожитую жизнь, все пройденные вместе дороги.

С волнением беру в руки повесть «Зрелость». Она мне особенно памятна: вместе ездили в Тагил, вместе были даже на том празднике в детском доме, с которого начинается повествование. Конференция на вагонзаводе... Там выступал «наш Толя», тогда молодой, задорный, знаменитый в свои двадцать лет токарь-скоростник Анатолий Калиногорский. Он вошел сначала в очерк Нины Аркадьевны, потом стал прототипом одного из героев «Зрелости».

Эта книга интересна и тем, что в ней мы впервые встречаем некоторых героев будущего романа, узнаем их прототипов.

Прежде чем писать о людях, Нина Аркадьевна должна была сблизиться, сдружиться, почти сродниться с ними, своими будущими героями. Слова «собирать материал» как-то здесь не подходят. Она вдумчиво вникала в события, в характеры, в ту область, которая ее в данное время интересовала. Это был радостный поиск нового, вера в людей, в победу добра над злом.

Ирина Светлакова, Даурцев, сын Романа Яркова — Борис, «фабзайчонок» Борька Ярков — токарь-ударник Борис Ярков — стахановец Ярков — мастер Ярков — инженер

Ярков — кандидат наук... Вот таким путем шли и идут тысячи, нет, десятки тысяч... Скоро с этими людьми мы надолго встретимся на страницах романа. «Зрелость» — ближайший подступ к трилогии. Даже ее название по первоначальному замыслу автора должно было быть названием третьей книги романа.

Трилогия... Она стала ее главной книгой. Нина Аркадьевна говорила:

— Все мои мысли, желания и стремления я вкладываю в трилогию о рабочих родного Урала.

Она приступила к созданию трилогии уже в пору творческого мужания, но шла к этому почти с начала литературного пути.

Еще в 1933 году, работая над первой книжкой «Екатеринбург — Свердловск», познакомилась она в партархиве с подлинными материалами. «...Эти потрясающие документы позволили, как живых, представить героев подполья и гражданской войны. Решила: напишу о них. Знала, что еще не подготовлена, что передо мной — годы учения и освоения материала. Так и случилось...» Много работала она над материалом о Вайнере — ее любимом герое, ставшем прообразом Ильи Светлакова, была в добрых отношениях с Еленой Борисовной Вайнер — женой уральского большевика, будущей Ириной Светлаковой.

«...Свыше двадцати лет поистине подвижнического труда вложила Попова в эти три книги,— писал критик К. Боголюбов.— Ее трилогия — в полном смысле слова уральская эпопея. Не было еще в советской литературе Урала произведений более значительных по широте и глубине охвата жизненных явлений. Перед нами встает панорама великих исторических событий, история славного боевого пути уральского отряда нашей партии, героическая работа и борьба уральских большевиков в годы подполья и гражданской войны («Заре навстречу»), в годы первых пятилеток («Дело чести») и, наконец, на современном этапе («Верность»)».

Прототипом одного из героев заключительной книги трилогии был знатный зуборез Уралмаша Константин Яковлевич Маслий. Нина Аркадьевна писала о нем до этого. Они были большими друзьями. Вот короткая выдержка из одного письма Поповой: «...Приезжал зам. директора издательства «Советская Россия», уговорил меня на книжечку о Маслие. Как откажешься? Ты знаешь, как глубоко уважаю я этого золотого человека».

Самым добрым словом вспоминает писательницу и Константин Яковлевич Маслий:

«С Ниной Аркадьевной я впервые познакомился в 1959 году, хотя заочно с ней, а вернее с ее книгой «Заре навстречу», познакомился много раньше.

Книга «Заре навстречу» произвела на меня огромное впечатление. Меня очень удивило, что писатель, который никогда не работал на производстве, так правдиво и точно описывает жизнь, быт и борьбу рабочего человека за свои права.

И только после личного знакомства с Ниной Аркадьевной я понял, как она хорошо понимала душу рабочего человека, как она умела заглянуть в эту душу, очень точно определить характер человека.

Когда Нина Аркадьевна писала свою третью книгу, она целыми днями была у нас на заводе, мы с ней очень часто встречались в цехе, у меня дома, я был частым гостем и у Нины Аркадьевны. И всегда ее интересовали вопросы жизни завода, его людей, как они работают, как отдыхают, чем занимаются в свободное время. Эта тема была главной в ее жизни. Для меня книги Нины Аркадьевны стали самыми дорогими. Читая их, мне кажется, что мы продолжаем разговор с нею».

Спасибо Константину Яковлевичу за ту теплоту, с которой он относился к писательнице и которая так нужна была ей, особенно в последние годы.

Вспоминается, как мы отмечали 60-летие Нины Аркадьевны. В квартире было шумно и весело. Слышался звонкий смех критика Сусанны Семеновны Жислиной, подруги нашего юбиляра, специально приехавшей из Москвы, низкий голос Клавдии Васильевны Рождественской... Маленькая Александра Самойловна Бондина, «Шурша», как звал ее Алексей Петрович, совсем утопала в табачном дыму. Беспрерывно звонил телефон. Я добровольно взяла на себя обязанности «дежурной телефонистки». И вот новый звонок. Приветливый мужской голос:

— Говорит Маслий. Мы всей бригадой поздравляем Нину Аркадьевну.

Я, конечно, быстро передала ей трубку. До чего же она обрадовалась этому звонку!

...Трудно шла работа над последней частью трилогии. Нина Аркадьевна была уже тяжело больна. Все чаще волновалась: «Напишу ли, смогу ли, успею ли?»

Забытый в папке клочок бумаги — опробование новой

ленты: «...Хоть бы допечатать свой роман... Хоть бы допечатать...» Собирая последние силы, продолжала работать. Но сил становилось все меньше...

Довести до конца работу над рукописью ей все-таки не удалось. Это сделали ее постоянный редактор и верный друг И. А. Круглик и рецензент рукописи и добрый советчик М. А. Батин.

Сигнальный экземпляр «Верности» прямо из издательства я принесла Нине Аркадьевне в больницу.

— Хоть в руках подержать... Прочитать уже не успею...— тихо сказала она.

Это было в последние дни 1968 года. Одиннадцатого января 1969 года Нины Аркадьевны не стало...

Трудно было с этим примириться: сколько еще могла бы она сделать! Была у нее ближайшая задумка: книжка о своем детстве. Оптимизм и светлая вера в людей, во все хорошее были с нею до последних дней. Даже дописывая свою последнюю книгу смертельно больной, Нина Аркадьевна закончила ее так:

«...Широко распахнулось небо. Небесная артиллерия начала погромыхивать вдали. Борьба тьмы и света началась. В этой борьбе неизменно побеждает свет... и в природе, и в жизни человеческой».

Немало добрых слов сказано о книгах Поповой. Немало опубликовано статей, даже названия которых говорят об их доброжелательности,— «Путь к зрелости и мастерству», «Щедрый талант», «Писатель большой правды», «Вместе с эпохой»...

Но еще больше добрых слов в читательских письмах, которые так бережно хранила Нина Аркадьевна.

«Меня глубоко взволновала судьба героев книги «Заре навстречу»,— пишет слесарь М.— Они как живые встают передо мной. Спасибо автору за книгу — ее герои вдохновляют нас на хорошее. Мне хочется быть похожим на них».

А вот фотография. На ней очаровательный малыш. На обороте снимка надпись: «Мы хотим, чтобы наш Иленька был похож на Илью Светлакова». Это ли не самая высокая читательская оценка?

Еще одно такое дорогое для Нины Аркадьевны письмо:

«Уважаемая Нина Аркадьевна! Ваши замечательные книги получила. Очень благодарна Вам за внимание. Же-

лаю Вам больших творческих успехов, счастья и доброго здоровья. С искренним уважением В. Терешкова — летчик-космонавт СССР».

Сердечные слова говорили Нине Аркадьевне и многие писатели.

Вот отрывок из письма Федора Васильевича Гладкова, датированного 24 января 1955 года:

«Спасибо Вам за книгу, Нина Аркадьевна! И за память спасибо. Книгу я прочел с большим интересом и увлечением. Вы создали яркое, глубокое произведение. И время, и люди, и обстановка — все исторически верно, все продуманно, все пластически, даже осязательно, с большим чувством меры. Язык прост, экономичен, выразителен, а это очень много значит. Еще никто, кроме Вас, так хорошо, так художественно убедительно не изобразил революционное прошлое Урала».

Мариэтта Сергеевна Шагинян подарила свою фотографию с такой надписью:

«Дорогой Нине Аркадьевне Поповой, талантливой писательнице, человеку с будущим. Только работайте, работайте, и еще раз работайте — это главное.

Ваша М. Шагинян»

Многие в нашем краю, особенно в Свердловске, знали Нину Аркадьевну, и каждому она запомнилась по-своему. Одни помнят ее молодой, цветущей, жизнерадостной, другие — пожилой, усталой, но всегда собранной, всегда уважительной и доброжелательной к людям, с живым выражением лица и доброй лукавинкой в глазах.

Всю жизнь работала она с молодыми. Не один из ныне известных писателей приходил к ней с первой своей рукописью. Она умела радоваться успехам и радостям других. Но бывали и просчеты: именно к ней пришел впервые один писатель, издавший потом множество толстых романов, в которых грешил против исторической правды. О нем Нина Аркадьевна говорила: «Мой грех...»

Помнят и Попову — общественного деятеля, члена редколлегии журнала «Урал», делегата нескольких писательских съездов, заместителя председателя областного комитета защиты мира, многолетнего руководителя свердловских писателей, помнят справедливой, подтянутой, требовательной к себе и другим, необычайно аккуратной и в большом,

и в малом, глубоко принципиальной. Да, при всей своей доброте и мягкости она была глубоко принципиальна.

...Один писатель совершил скверный поступок. Должно было разбираться его персональное дело. Решил он «разжалобить старушку» и послал к Нине Аркадьевне жену, которой надлежало убедить, что муж ее не виноват, что его просто, как говорят, черт попутал. Жена старательно выполнила поручение, но — бесполезно: «добрая старушка» превратилась в кремень. Даже слезы не помогли. Тогда явился сам виновник событий. Но и этот разговор ничего не дал. Он попытался что-то кричать. Обе кошки Нины Аркадьевны с любопытством выглянули из другой комнаты, подошли к хозяйке и настороженно остановились. Тогда не нашедший поддержки литератор угрожающе крикнул:

— Одну старуху тоже... кошки съели!

И ушел, хлопнув дверью.

Потом мы долго смеялись, и Н. А. приговаривала свое излюбленное:

— Хорошо, ей-богу!

А вот другой случай ее страшно огорчил.

Молодой способный автор, которого она очень любила, написал вдруг неудачный рассказ. Было решено говорить о нем с высокой трибуны. И говорить нужно было именно ей, председателю. Помню, каким тяжелым был для нее этот разговор. Но она все равно выступила, потому что считала это своим долгом. А молодой писатель ужасно обиделся, пожаловался на нее их общим московским друзьям, дорогим для Н. А. И те сказали при первой же встрече:

— Что же вы, Нина Аркадьевна, человека обижаете!

Больше Н. А. не бывала в этом милом для нее гостеприимном доме. Она была очень обидчива, очень ранима.

И обидчивость, и ранимость Нины Аркадьевны вполне понятны: слишком больно била ее жизнь... И здесь нельзя не сказать о ее дочери.

Эмма была очень способной, блестяще училась. Девочкой-школьницей принесла мне в Дом художественного воспитания свои стихи, которые сразу можно было печатать. Они публиковались в газете «Всходы коммуны», премировались на конкурсах у нас и в Москве. Цикл стихов о героях гражданской войны опубликован в первой книге «Урал — земля золотая».

В декабре 1955 года у Эммы вышла книжка рассказов «Живое зеркало». А через полгода она ушла из жизни...

Вскоре умерла и Надежда Михайловна — мать писательницы.

И осталась Нина Аркадьевна одна, с подлинным мужеством перенося и одиночество, и болезни и продолжая жить для людей. Жила у нее и вела хозяйство женщина из Красной Слободы, она же ухаживала за Ниной Аркадьевной во время болезни, сначала дома, потом в больнице.

Может, кто-то, читая это, представит Нину Аркадьевну одну в огромной пустой квартире. Нет. Не было ни огромной квартиры — до конца жизни прожила она в двух смежных комнатках коммунальной квартиры,— ни пустоты. Буквально не бывало дня, чтобы кто-то не приходил к ней или не приезжал. Часто жили неделями, что, конечно, никак не способствовало работе. Здесь случалось встретить и колхозников из Красной Слободы, и учителей, с которыми она когда-то работала, и тагильских друзей, и уж, конечно, молодых литераторов.

И так подряд, день за днем. Порой не хватало «спальных мест», и кто-то спал на полу.

А потом она оставалась одна и никогда не показывала своей боли. Только вот несколько строк выдают ее:

«Ярко освещены улицы города. В театре бал-маскарад. В клубе ночной концерт, танцы. В каждом доме — музыка, пение.

...Одиноко, тоскливо Ирине Матвеевне Светлаковой. Слишком тихо сегодня — непривычно тихо».

А ей, Нине Аркадьевне, так нужна была теплота, семья, радость.

— Так хочется кого-нибудь ма-а-аленького...— грустно сказала она как-то, имея в виду внуков.

Друзья частенько приходили к ней с детьми. Она радушно принимала их, ласково разговаривала с малышами, но ей больно было видеть детей, особенно девочек — они напоминали ей маленькую Эмму...

Даже нас, близких друзей Нины Аркадьевны, поражала ее совершенно необыкновенная скромность во всем — в жилье, в одежде, в обстановке... Самые скромные старые вещи — письменный стол, простые стулья, железные кровати... Только книги — богатая библиотека; специальная этажерка со справочной литературой, в частности, почти все, что издавалось по Уралмашу. Полное собрание сочинений Кони, литература юридическая, политическая, словари.

Белоснежные тюлевые шторы на окнах. И цветы, цветы... Они стояли на полу, на подоконниках, на тумбочках

18 Заказ 133

и даже на столах. Весною комнаты превращались в цветущий сад. Растения, которые у меня не цвели и чахли, я приносила сюда, и здесь они пышно расцветали. Нина Аркадьевна радовалась и звала:

— Приходи — твоя фиалка расцвела...

Еще нельзя не сказать про старенькое, совсем дряхлое пианино. Нина Аркадьевна играла и на нем и на гитаре. В юности она сама сочиняла музыку; к сожалению, сохранилось всего одно ее небольшое сочинение. Помню ее сидящей за этим пианино, особенно там, на Уралмаше, в «доме-пиле»...

Одевалась Нина Аркадьевна чрезвычайно скромно. Чаще всего вспоминается она в строгом темном костюме и белой блузке. Но блузка всегда была белоснежной, а костюм обязательно отглажен собственными руками. В торжественные дни это делалось особенно тщательно. Никогда ничего яркого, кричащего.

Далеко не все понимали необыкновенную скромность Нины Аркадьевны. Находились и такие, кто объяснял ее манеру одеваться... скупостью. Большего вздора трудно придумать. Да, она вела очень скромный образ жизни и в то же время щедро отдавала людям порой даже больше чем следовало.

Знаю семьи, оказавшиеся в тяжелейшем положении, которым долго помогала Нина Аркадьевна еще в давние годы, когда сама жила весьма скудно.

А кто не помнил хлебосольства Нины Аркадьевны! В доме у нее сохранился тот простой, русский, уральский уклад жизни, который был ей близок с детства. Неостывающий самовар на столе только в последние годы был заменен чайником. Никогда ни один человек — ни автор, пришедший по поводу рукописи, ни фотограф, забежавший сделать снимок,— не уходил без чая или обеда. Во время болезни Нина Аркадьевна часто сокрушалась, что сама не может что-то купить или приготовить. Она любила стряпать пельмени и вообще готовить.

Никак нельзя вспомнить дом Нины Аркадьевны и без «живности». По комнатам всегда важно разгуливали красивые пушистые кошки, которых она страшно баловала. Зная это, наш общий друг, тоже большой любитель «живности» Евгений Витальевич Фейерабенд, присылая ей свои отличные фотографии кошек, называл их в шутку кошачьей «летописью». Вот отрывок из ответного письма Нины Аркадьевны:

«Милый Женя!

Если бы Вы знали, как кстати пришли фрагменты из «летописи»! Я лежала после криза в муках вынужденного безделья и вдруг — эти снимки! Особенно хороши те, что характеризуют взаимоотношения персонажей...»

Вспоминая все это, я думаю о том, как порой мало знаем мы друг друга, работая бок о бок десятилетиями... Один писатель, например, упомянув Н. А. в своей книге, называет ее «церемонная Нина Попова». Скромность и церемонность — понятия все-таки совершенно разные...

Летели годы, менялась она внешне, но жизнелюбие, чувство юмора, остроумие всегда оставались с нею. И это спасало в самые трудные минуты. Нина Аркадьевна утверждала даже, что однажды я ее вылечила... смехом, когда она лежала больная в трудном военном году без всяких лекарств. Я достала тогда кое-что из нужных медикаментов и выменяла на рынке несколько кусков сахара. Но самое главное — рассказала ей какие-то смешные вещи. Она много смеялась, а потом уверяла, что именно после этого дело пошло на поправку.

Мы вместе писали забавные школьные сценки и даже юмористические рассказы (некоторые из них опубликованы под псевдонимом), и это было для нас огромным удовольствием.

Она была прекрасной собеседницей, великолепно рассказывала, несколькими штрихами рисуя характеры, точно передавая язык персонажей. Если встречалось крепкое словцо, оно ее не шокировало — из песни слова не выбросишь. В ее разговорном «домашнем» языке всегда встречалось множество метких уральских выражений: «неработь», «день-нерассветай», «до зла-горя», «там, где совести быть,— только синенько», «не в частом бывании» и т. д.

Не забыть одну ее «шутку», которая имела для Нины Аркадьевны довольно грустные последствия. Когда в 41-м приехали к нам эвакуированные писатели, бразды правления всеми снабженческими делами оказались в руках одного окололитературного деятеля. Он стал систематически вычеркивать Нину Аркадьевну из всех списков на скудные блага того времени. А все дело было в том, что он, этот деятель, приезжал к нам году в 36-м с какой-то литфондовской ревизией. Нина Аркадьевна была тогда в ревизионной комиссии. Она, на беду, заинтересовала ревизора больше, чем финансовые дела, и он назначил ей свидание; а она не оценила ревизорского расположения и

мало того, что не пришла, так еще и подшутила — прислала вместо себя другого члена ревкомиссии, абсолютно неподходящего для романа...

И вот теперь он мстил, мелко, гаденько, не по-мужски. А Нина Аркадьевна была больна дистрофией и так худа, что неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не вмешалась Шагинян. Мариэтта Сергеевна поделилась с Ниной Аркадьевной своим пайком, а потом пошла к кому следует и сказала что следует и — главное — как следует. По словам очевидцев, именно в этот момент почему-то на столе подпрыгнул письменный прибор.

С той поры все стало на свое место.

И снова появлялась у меня Нина Аркадьевна, даже в самое трудное время оживленная, улыбающаяся, и говорила с порога:

— Коня мне, коня!

Это означало, что ей не терпится что-то рассказать. Я подавала «коня» — старую пепельницу в виде подковы и конской головы, она закуривала, аппетитно затягиваясь, и начинала говорить.

Многие и не знали, что она блестяще остроумна, и ее эпиграммы приписывали нашим известным острякам.

Да, я снова думаю о том, как, работая рядом, мы порой так мало знаем друг друга. Нина Аркадьевна была схожа с Бажовым не только стилем руководства писательской организацией. Они схожи особым, внимательным и доброжелательным, отношением к людям, каким-то удивительным уважением к ним, чистотой, душевной щедростью, простотой, верностью долгу, когда слово обещания становится клятвой.

И тут я не могу не рассказать о пережитом мною потрясении.

После смерти Нины Аркадьевны мы, ее ближайшие друзья, разбирали ее архив. Среди множества разных документов и рукописей нам попало старое письмо на пожелтевшей бумаге. Его трудно было читать из-за выцветших чернил и старой орфографии. Датировано оно 18 декабря 1918 г. и написано Надеждой Михайловной Черепановой — матерью Нины Аркадьевны. Я цитирую только самую суть этого письма.

«...Тебе исполнилось 18 лет, и я должна исполнить клятву, которая тяготит меня... Я должна открыть тайну твоего рождения... У нас не было детей. И через 13 лет я почувствовала себя матерью... Но когда пришло время, у

меня родилась мертвая девочка... За два дня до этого у моей знакомой девушки родилась тоже дочь. Для девушки это событие было величайшим позором, и она хотела себя и ребенка лишить жизни. Бабушка-повитуха оборудовала так, что у меня дочь жива, а у той несчастной мертворожденная. Я думаю, что ты понимаешь меня, моя девочка?!

Но дитя мое милое! Ведь правда ты мое дитя?!. Чья ты дочь, это даже наши ближайшие родственники не знают... Прости, забудь обо всем. Папа и я целуем свою милую Ниночку. Твоя мама».

Я долго находилась под впечатлением этого письма. Самые нежные отношения сохранила Нина Аркадьевна к своим приемным родителям — до последнего дня ухаживала за больным отцом, окружила теплом и заботой мать, которая жила до глубокой старости. А уж я-то знаю, что не раз она в те годы слышала в свой адрес иронически-насмешливое — «поповна», да и были времена, когда такое социальное происхождение не украшало анкету, загородило, например, дорогу в комсомол. Но ни разу не было извлечено из архива это письмо.

...Мы были дружны с Ниной Аркадьевной до конца ее дней... И жили они дружно тридцать лет и три года... Так говорится в сказках. Так было у нас: дружили мы с нею тридцать лет и три года и еще шесть месяцев... И я навсегда благодарна судьбе за эту дружбу.

Е. Долинова

РОДНОЙ ГОЛОС

Ольга Ивановна Маркова возникла для меня еще в середине тридцатых годов вместе с именем Варвары Потехиной.

Жила я тогда далеко от Свердловска, в городе Сарапуле, на Каме. Училась в школе. Не помню, журнал это был или книга — с повестью Марковой о деревенской женщине, о ее нелегкой жизни, о колхозе, где она впервые почувствовала себя человеком.

Все поразило меня в этой небольшой повести — стремительное действие, драматические ситуации, человеческие судьбы и особенно язык. Я перечитывала страницы, удивляясь словам — точным, образным, не совсем обычным, а то и вовсе незнакомым; наслаждалась описанием природы, деревенского быта, тем, как говорят герои... Легко, к месту входила в повествование песня, то грустная, то озорная, мало похожая на те, что я слышала и сама пела с мамой.

О-о-ох...
Ох, ночосна,
Ночосная темна...
Ох, темна ноченька-а...
Маленько мне-ка спалось,
Спалось, родимая...
Сон-от мне привиделся,
Да мне нехорош...

Благодаря песне еще более трепетными, живыми становились образы русских женщин из повести Ольги Ивановны Марковой.

Все деревенское дорого мне с детства. Пять маминых сестер были сельскими учительницами. Да и мама, тоже учительница, в трудные времена переезжала на село — легче было прожить с ребятами, имея маленькое хозяйство. Мне доводилось бывать на деревенских свадьбах, на лугах в троицын день, когда девушки, украшенные лентами, бросали в речку березовые венки, водили хороводы. Я любила подсаживаться на завалинки к старикам и старушкам, слушать их неторопливую речь, насыщенную непривычными для горожан словами и присказками. С деревенскими под-

ружками играла в куклы, сделанные из пучков соломы, мела избы полынными вениками, на всю жизнь запомнив аромат этой удивительной травы — травы детства.

Книга Ольги Марковой задела во мне сокровенное, близкое. В момент знакомства с «Варварой Потехиной» я училась в городе, а на каникулы приезжала в колхоз «Прогресс». В те годы там не забылись еще случаи жестоких кулацких вылазок, поэтому происходящее в повести воспринималось с особой силой.

Пожалуй, впервые, прочитав книгу, я так много думала об ее авторе — неведомой, далекой Ольге Марковой. Мысленно хвалила ее, восхищалась, удивлялась. Старалась представить себе эту женщину, сумевшую так взволнованно, правдиво и ярко рассказать о людях, о жизни. Если бы какой-нибудь волшебник шепнул мне тогда: «А ведь она будет твоим близким другом» — какими счастливыми были бы те годы ожидания!

В этих коротких воспоминаниях я не ставлю себе задачу полно рассказать об уральской писательнице Ольге Ивановне Марковой. Слишком многогранным, самобытным, трепетным — со всплесками грусти, восторга, гнева — был ее характер. Те, кто хорошо знал и Ольгу Ивановну, и ее творчество, легко находят присущие ей черты во многих героинях повестей, рассказов, романов, созданных Ольгой Марковой. А маленькая, затурканная жизнью, но все-таки счастливая от веры в лучшее будущее, деятельная, мудрая, лукавая, трудолюбивая, отзывчивая Еленка Дерябина из превосходной повести «В некотором царстве» — это, я считаю, начало самой Ольги Марковой. Оно представляется мне надежным, добротным фундаментом, на котором строилась вся ее жизнь.

Можно много говорить о творчестве Ольги Марковой, наполненном любовью к людям, преданностью Родине, верностью идеям нашей партии. Произведения ее помимо художественных достоинств всегда были актуальны. Писательница считала своим наипервейшим долгом (это была и душевная потребность) всеми силами содействовать проведению этих идей в жизнь. Маркова всегда была борцом.

Можно немало рассказать об общественной деятельности Ольги Ивановны. Впечатляет даже простое перечисление обязанностей, которые возлагались на нее порой одновременно,— от членства в различных редколлегиях до

председательства в областном комитете защиты мира. А если поведать, с какой ответственностью, заинтересованностью относилась она к любому порученному ей делу, как болела за него, как его «пробивала», думаю, собрался бы хороший материал для повести о коммунисте.

В этих воспоминаниях я коснусь лишь тех ее человеческих черт, которые, по-моему, «питали» ее творчество и, наверное, содействовали зарождению многолетней, счастливой для меня дружбы с ней.

Я хочу рассказать о ненасытном интересе Ольги Ивановны к человеку и о ее неизбывной любви к песне, к народной песне, которая по сути дела стала одним из главных героев ее произведений.

Да, так случилось, что неведомая, далекая, полюбившаяся писательница Ольга Ивановна Маркова стала моим близким другом. Минуло еще немало лет, прежде чем это совершилось. Но пришло время, и мы с мамой по вызову моего брата-уралмашевца переехали из Сарапула в Свердловск. Прошли еще годы, и я с моим мужем, молодым журналистом Борисом Долиновым, стала бывать в Союзе писателей на «литературных четвергах», не ведая еще, что сама буду писательницей. Узнала много свердловских литераторов, с некоторыми подружилась, а Ольги Ивановны все не было — в те годы она надолго уезжала из Свердловска, наведывалась редко.

Наконец я увидела ее — уже после войны. Простой, милый, русский облик. Прическа с прямым пробором, коса вокруг головы, серые внимательные глаза, хорошая улыбка. Оказалось, Ольга Ивановна так славно «окает», разговаривая. Когда она беседовала с Павлом Петровичем Бажовым, получался замечательный «дуэт» — среди литераторов, по-моему, только у них двоих был такой своеобычный, ярко выраженный уральский говор.

Именно у Павла Петровича, на его семидесятилетнем юбилее, мы познакомились с ней ближе. У меня к тому времени уже была издана книжечка стихов, готовилась вторая. В Союзе писателей случались у нас короткие беседы, но она так и не знала еще, как я жду этих встреч с ней.

И вот в доме Бажовых Ольга Ивановна подсела ко мне, и мы хорошо поговорили. Затем пошли к ней домой, чтобы позднее вместе отправиться в филармонию на торжественный вечер, посвященный юбилею Павла Петровича.

Эти первые часы зарождения нашей дружбы я никогда не забуду. Так и вижу ее оживленное лицо, ее глаза, с ин-

тересом устремленные на меня. Все ей хотелось узнать подробно. Я рассказала о маме, о дочке, о Борисе, уже умершем, о брате-уралмашевце, погибшем на фронте, о дорожной газете «Путевка», где работала корреспондентом. О чем-то она горевала вместе со мной, чему-то весело, искренне радовалась... Готовя чай, напевала негромко и, заметив, что я прислушиваюсь, всем лицом и глазами приглашала: пой!

Скучно пта-ашке-е-е
Сидеть в клетке-е-е...
Скучно ей во-о зо-о-лото-ой...

Голос был глуховатый («втора» — называла она себя), требовательный, зовущий, он словно тосковал без пары — нужна песне поддержка, нужны высокие тона. А я не знала такой песни, да и мотив был очень сложным.

Бе-ел дене-е-чек... да-а...
Выпал бе-е-еленький да бел снежо-очек...

— вызывал меня ее голос на другую. Но я не знала и этой.

— Научу! — решительно пообещала Ольга Ивановна.

Тогда я, решившись, начала то, что, мне казалось, будет ей ближе из моего «репертуара»:

Я вечор в лужка-ах гуля-а-ала,
Гру-у-сть хоте-ела ра-азогнать...

И она, снова поощряя меня всем лицом и залучившимися глазами, трепетно вошла в песню...

Все цве-ето-очек я-а-а иска-а-ала,
Не-е могла-а-а его-о-о сыскать...

Песни, которые я когда-то пела с мамой, бабушкой, тетушками, Ольга Ивановна знала все. Мы пели с ней «Как на дубе на высоком», «Сквозь волнистые туманы», «Меж высоких хлебов затерялося»... Тут же она учила меня и своим любимым песням — «Ой ты, ветка бедная», «Гой ты, Днипр» и другим,— знала она их множество. Мы чуть не опоздали на торжественный вечер, мы пришли туда как два заговорщика, которые неожиданно обнаружили клад и решили откопать его.

Ольгу Ивановну всегда окружало много людей, самых разных. Не однажды видела я гостящей у нее старую женщину: — «Моя учительница!» — с гордостью представляла

ее хозяйка; встречала крепких голосистых бабонек и таких же загорелых обветренных мужчин, по-свойски разгуливающих по квартире в носках: — «Мои земляки из Новой Утки!» — знакомила нас Ольга Ивановна. Иной раз в кресле, с книжкой в руках, уютно сидела какая-нибудь девушка. Будучи на целине, Маркова многим оставила свой адрес,— и вот девушка приехала учиться в Свердловск и временно остановилась у гостеприимной Ольги Ивановны.

Можно было в этом доме встретить людей с поломанной судьбой, пришедших за помощью. Ольга Ивановна всю жизнь хлопотала за кого-нибудь. Она не раз читала мне послания попавших в беду, читала взволнованно, озабоченно, сразу решая, обдумывая, надо ли помочь, как помочь человеку. И помогала. Оставив рукопись, шла по всем инстанциям, просила, доказывала, убеждала...

К ней звонили и совсем неизвестные люди, просили совета, помощи. Были среди них и такие, кто, разведав про чуткую душу, хотел урвать что-нибудь от этой доброты для себя.

А сколько начинающих, пробующих силы в творчестве видела я за годы дружбы с Ольгой Ивановной в ее доме!

— О-ой, Женя-я-я,— открывая мне дверь, иной раз сразу же начинала она и поспешно возвращалась к столу, на котором лежала чья-нибудь рукопись.— Иди сюда! Я прочитаю тебе такое!..

И читала главы, страницы, фразы, попутно делая карандашом еле заметные (чтобы можно было легко стереть) поправки... Автором могла оказаться совсем юная студентка или, наоборот, человек, проживший долгую жизнь; это мог быть рабочий парень, газетчик, врач, учитель, инженер... Рукописи поступали к Ольге Ивановне из журнала «Урал», где она была бессменным деятельным членом редколлегии, но еще чаще их передавали сами авторы «из рук в руки». Тогда происходило личное знакомство, и Ольга Ивановна, жадно вобрав в себя чью-то судьбу, нередко звонила тотчас же:

— Женя-я...— слышала я ее глуховатый взволнованный голос.— Это — самородок. Понимаешь, вещь не сделана, но там такие россыпи... Нет, по телефону не расскажешь. Приезжай!

Некоторые знакомства продолжались долго — Ольга Ивановна выбирала людей не по принципу «нужный человек». Вот уж нет! Это она была нужна всем, и понятно, что люди тянулись к ней.

Не все из них оказывались достойными ее внимания, хлопот, защиты. Бывали горькие разочарования. Так и вижу ее, сидящую на диване с потухшей папиросой. И в глазах что-то угасло. В них недоумение, тревога, озабоченность. Но порой и гнев: ведь, занимаясь чужими делами, она оставляла свои, на столе так и лежала давно начатая, недописанная глава. А трудиться Ольга Ивановна любила, только тогда и была по-настоящему счастлива, когда день проходил в работе, в творчестве.

— Как хочу работать, работать, работать! — говорила она в дни особой своей занятости другими делами.

Мне казалось, что, обманувшись в ком-то, она будет осторожнее, не станет уж так безоглядно кидаться на зов жаждущих ее внимания и забот. Ведь и сама частенько иронизировала над собой, удивляясь, как это не разглядела человека:

— У него же на лбу написано было, что он на чужом горбу хочет в рай въехать!

И, уже смеясь, рассказывала о своем «подопечном» (или «подопечной») что-нибудь такое, что может подметить только умный, мудрый человек, настоящий художник, наделенный тонким чувством юмора,— а уж его-то Ольге Ивановне было не занимать.

— Теперь меня на мякине не проведешь! — шутливо грозилась она.

Но проходило время, и я слышала в трубке ее взволнованный голос:

— Женя-я-я... Приходи ко мне. Я познакомлю тебя с таким чудом! У этой женщины...

— Оля-я-я, Оля-я-я,— в тон ей с намеком произносила я.

— Нет, нет,— поняв, что напоминаю, остерегаю, горячо отметала она мои сомнения.— Ты приходи и сама убедишься, что это за человек!

Вот такая ненасытная она была на людей.

А как радовалась, когда кто-то с ее помощью обретал утраченную уверенность или достигал цели, на что уже не надеялся, или вдруг узнавал о себе, что, оказывается, талантлив... Кто-то помирился с женой, кто-то получил квартиру, кто-то освободился от незаслуженных обид...

— Споем! — закончив рассказывать, возбужденно, с сияющими глазами неизменно предлагала Ольга Ивановна в таких случаях и нетерпеливо гасила недокуренную папиросу — через секунду она вся целиком отдастся песне.

За-а околице-ей солнце-е кло-онится-я...
От березоньки тихо ве-ет гру-усть...

Конечно, мы не только пели. Чаще всего песня — как праздничек — заключала долгие разговоры о творчестве. Ольга Ивановна с интересом слушала рассказы о моих поездках в тайгу, в другие командировки, просила почитать новые стихи, главы из повести или романа.

А уж я могла слушать ее сколько угодно! Она вспоминала о Лидии Сейфуллиной, с которой была дружна, о других знакомых ей известных писателях. Очень любила я, когда она рассказывала о своей большой семье — отце, матери, брате, сестрах... И уж тут песня снова врывалась в наш разговор. Ольга Ивановна заводила какую-нибудь мудреную, исконно уральскую, из тех, что любили петь ее отец и мать...

Написав рассказ, Ольга Ивановна часто читала его мне еще «горяченький», набросанный крупным почерком на обратной стороне старой рукописи, с широкими, чуть не в полстраницы, полями на листке: на этих полях она делала добавления, ставила знаки вопроса, чтобы напомнить себе — надо узнать, проверить, уточнить.

Письменный стол ее, с приставной полочкой на противоположной стороне — для справочников, записных книжек, для всего того, что всякий раз может понадобиться,— был большим, с глубокими ящиками, заполненными пачками бумаги, папками с вырезками из газет, с рукописями своими и чужими... Один ящик мог неожиданно хранить в себе и такое необходимое, как иголки, нитки, ножницы, неоконченное шитье: давая отдых голове, Ольга Ивановна не жалела рук — тут же начинала, напевая, что-то чинить, подшивать, штопать. Когда-то маленьким крючком она связала шелковые кисти для больших тяжелых штор из баракана. Меня это, помню, очень поразило — работа была кропотливой и, как мне казалось, не очень нужной — кисти можно было купить в магазине.

— А я вяжу и думаю, вяжу и думаю,— объяснила Ольга Ивановна.

Когда наступал перерыв в работе, она начинала энергично и с удовольствием заниматься домом (это помимо всех иных дел — по Союзу писателей, которым руководила несколько лет, по комитету мира и т. д., помимо чтения — читала она много, очень любила и поэзию). Ей ничего не стоило что-нибудь подремонтировать — то в кухне, то в

комнатах. Ее, веселую, можно было увидеть с кистью («крашу ванную»), с молотком («переколачиваю шкафчик»). А сколько раз она перебирала книги в своей большой библиотеке! Вдруг решит — надо поставить их по другому принципу, и возьмется за это нелегкое дело, которое иные годами откладывают.

Были у нее друзья, они с радостью помогли бы ей во всем (и делали это, конечно), но Ольга Ивановна никогда не злоупотребляла их добрым отношением к себе, была, пожалуй, даже излишне щепетильна в этом — ведь сама-то она так много и так бескорыстно помогала людям.

Пусть не подумает тот, кто прочтет эти воспоминания, что Ольга Ивановна была одинока. Нет. Имела она и семью, имела единственного бесконечно любимого сына-друга, были у нее внучки. И в семье она всегда была надежным стержнем, опорой. Но даже в великом горе, выпавшем на ее долю — гибели сына, не забывала о тех, кто тоже оказался в беде.

У меня сохранилась магнитофонная запись: не очень стройный хор голосов моих друзей исполняет песню «Враги сожгли родную хату». Ольга Ивановна сидела далеко от микрофона. Но я ловлю, ловлю, безошибочно угадываю ее такой знакомый, такой родной глуховатый голос...

«Втора»... Нет, не «вто́рой» она была, а ведущей. И в песне, и в дружбе, и в творчестве. И вообще в жизни была она из ведущих. Всегда.

О. Коряков

В ПОЛОВОДЬЕ ЖИЗНИ

Творчество художника всегда — зеркало его мироощущения. Внимательный и умелый, хоть чуточку поднаторевший читатель в произведении всегда увидит внутренний мир автора, его главные приверженности, его мечты.

У иных авторов, правда, сокровенное лежит глубоко — затушевано, припрятано. Это люди таланта несколько рассудочного, как бы оторванного от личной сущности художника.

Но есть талант и другого рода — идущий изнутри, распахивающий людям печали и радости собственного сердца. Это, конечно, не значит, что автор обязательно открыто декларирует свое мироощущение, свои мысли и чувства. Но строй этих мыслей и чувств, образное представление автора о мире несут людям самое сокровенное. Такого рода талантом щедро была наделена Ольга Маркова.

Как у каждого самобытного художника, у нее было свое главное, сокровенное, что выражено в творчестве особо явственно. Это главное у Ольги Марковой я сформулировал бы как ж а ж д у с ч а с т ь я, воплощенную автором в женских образах. В них — извечное стремление русской женщины к лучшей доле, вера в ее высокое предназначение, ее права, обретенные в советской действительности.

Вышедшая в 1935 году в Свердловске первая книга Марковой — «Варвара Потехина» — была поистине художественным открытием. В пластах народной жизни, вздыбленных революционными преобразованиями, писательница приметила только что народившийся тип — деревенская женщина становилась Гражданкой.

Уже в этой первой повести Ольги Марковой сказался присущий писательнице внимательно-спокойный, широкий взгляд на жизнь с углублением в человеческую личность. Ее не влечет остросюжетное сплетение обстоятельств, хотя нередко она рисует ситуации обостренные, драматические. Писательница изображает жизнь в ее естественном течении, сосредоточиваясь на бытовых деталях, на психологии и взаимодействии характеров.

Однажды я поехал с Ольгой Ивановной на ее родину, в Новоуткинск, уральский заводской поселок, о котором

в старинной книге сказано: «Уткинский доменный завод находится в Красноуфимском уезде при впадении реки Утки в Чусовую». Ольга Ивановна приехала сюда на собрание молодежи, которое должно было пройти под девизом встречи трех поколений.

Она сидела в президиуме, и между ней и залом возникли, как мне показалось, сложные, хотя еще и безмолвные, взаимоотношения. С одной стороны, она была «в доску» своя, дочь местного рабочего, большевика и партизана гражданской войны Ивана Маркова, одна из первых в поселке комсомолок, клубная затейница, певунья и артистка. Но жизнь отдалила ее от этих людей и в чем-то возвысила: известная писательница, член обкома партии, председатель областного комитета защиты мира — кто знает, какая она теперь...

Ольга Ивановна вглядывалась в зал, в поднимавшихся на трибуну людей, и темно-серые ее, с прищуром глаза то откровенно лучились радостью свидания, то настораживались — с интересом, с ожиданием чего-то еще неясного, с желанием проникнуть в это пока неясное и разгадать его. Видно, сама она чувствовала в себе некое раздвоение — была то очень своей, новоуткинской, то вглядывалась в окружающее как бы со стороны.

Она вглядывалась — все звало ее к воспоминаниям.

Она родилась в этом поселке 17 июля 1908 года. Семья была многолюдной и талантливой. Отец, человек сложной души, сочетал в себе жесткую суровость с неожиданными просветами сердечной доброты, но главное — был работящ, справедлив и еще с первой русской революции примкнул к большевикам. Полиция хорошо, и не напрасно, знала марковский дом, а детвора в этом доме знала полицию: то придут с обыском, то арестуют батю, то разыскивают старшего брата, тоже большевика. Было вроде бы само собой разумеющимся, что после Октября младшие Марковы оказались заводилами в местной комсомольской ячейке, а вскоре к ним присоединилась и тринадцатилетняя Ольга, работавшая тогда рассыльной на заводе.

Она умела отдавать общему делу всю себя, комсомольцы, понятно, ценили это, и девочка-подросток стала заправской активисткой. Бралась она за все, что считалось нужным, но особенно «активничала» на клубной сцене и в поселковой стенной газете: с малых лет жгла ее жажда каким-то образом — со сцены или письменно — сказать людям «про жизнь». Ее подчас и корявые, но хлесткие за-

метки многих заставляли ежиться, и никого особенно не удивило, что уже в пятнадцать лет девчонка стала печатать свои фельетоны в областной газете «Уральский рабочий». Гордились:

— Наша-то, Маркова-то!

В 1926 году комсомол отправил свою активистку учиться в Москву, на рабфак при ВХУТЕМАСе (что означало: Высшие художественно-технические мастерские; через год они были преобразованы в Высший художественно-технический институт — ВХУТЕИН). Фельетоны фельетонами, а поступила-то юная Ольга Ивановна на актерское отделение.

Лишь под влиянием брата, учившегося там же, перешла она на отделение литературы. С тех пор литература, можно считать, и стала делом ее жизни.

Закончив рабфак, Ольга Ивановна начала учиться на литфаке Московского университета, потом — снова комсомольская путевка — отправилась в одну из подмосковных деревень. Поработав там, перевелась в институт народного хозяйства, но проучилась недолго — в 1931 году вернулась на Урал.

Преподавательница в школе, редактор издательства, методист Уральского обкома комсомола, редактор молодежного вещания Свердловского радио, замполит в ремесленном училище — должности были разные, а служба одна: воспитание молодежи.

Первые повести Марковой рождались в круговерти текучих дел, в часы между службой и семьей. Профессиональной же писательницей, хотя и принята была в члены Союза еще в 1936 году, Ольга Ивановна почувствовала себя лишь после войны и тогда целиком отдалась творческой работе.

Книга лепилась за книгой, счет им пошел уже на десятки, и вот теперь приехала уже известная писательница Ольга Маркова в родной поселок и оказалась вдруг лицом к лицу со своей далекой юностью.

После собрания мы пошли по Новоуткинску. На подтаявшем осеннем снегу у памятника партизану Павлу Лузину темнела бережно уложенная кем-то зеленая веточка. Маркова приостановилась, построжев. О ком он напомнил ей, этот памятник на заснеженной площади,— об отце и его друзьях или о героях ее «Первоцвета»? А собственно, во многом ли они разнились, эти люди, те и другие, ее любовь и гордость?

Хмурым свинцом отливала вода заводского пруда, и подернутые дымкой катились вдаль лесистые увалы. Пруд — совсем как в марковских повестях,— без прудов нет старых заводских поселков на Урале. И улица совсем такая, по какой бегала Еленка Дерябина из повести «В некотором царстве», только вот кабака не видать... Я взглянул на Ольгу Ивановну, но тут же одернул себя: нельзя же литературные ассоциации без всяких поправок переключать на жизнь, хотя они и просятся на то.

Не раз приходилось мне слышать, как Ольга Ивановна поет. Сказать, что она любила песни? Все мы их любим. Она жила песней! И пела не только голосом — всей душой, песня пронизывала, кажется, каждую частицу ее существа. Песен она знала много, особенно старинных, и ведомы ей были такие, о каких многие и слыхом не слыхали.

Ей не нужны были «командировки в народ» для изучения его жизни — она к народу, как говорится, приросла.

Прислушаемся, как говорят люди у Марковой:

«Вон Степан Ипатов жизнь прожил, а так ни разу и не вспотел!»

«Ох, и нежна! Как наждачная бумага!..»

«Мою крепку водочку на деньги не купишь: в сердце бродит!»

Вдова вспоминает о муже: «Хоть бы ребеночка оставил... А то не живу — тень отбрасываю, себя пестую».

Она же, выпроводив сожителя из дома: «Ну и все... шелкова трава следы заплетет...»

Ольга Маркова никогда не искала «лапотных», фонетически изуродованных выражений, речь ее героев во всех отношениях грамотна. Маркова строит эту речь, используя глубинные особенности народного языка — его метафоричность и афористичность. Оттого люди в ее произведениях говорят очень по-русски и ярко.

Порой читаешь марковские строки — и чудесно обостренным авторским взглядом видишь все, что описано:

«Густая белая пыль лениво сочилась между пальцами ее босых ног и обволакивала крупные потрескавшиеся ступни. Огромное солнце разомлело от зноя и стояло в небе неподвижно.

Идти тяжело. Накаленная сухая пыль жгла ноги. Варвара бережно поддерживала руками большой отвислый живот, обтянутый тесной, всползшей кверху юбкой. Перекинутые на согнутый локоть связанные шнурками башмаки мешали идти.

19 Заказ 133

По обе стороны дороги тянулся голый пустырь, на котором то тут, то там возвышались вросшие в землю камни» («Варвара Потехина»).

Будто перед тобой писанное масляными красками полотно.

Или вот:

«Дом Дерябиных, пригнувшийся к широкой голой горе, словно прихлопнутый чьей-то тяжелой рукой, стоял в ряду с другими, тоже почерневшими от времени. Дома то карабкались вверх, то сбегали вниз... Из-за горы виднелись заводские трубы. Самый завод скрыт: его окружали горы, и трубы торчали из-за них, как воткнутые в землю» («В некотором царстве»). Это — как картина гуашью.

А вот акварель:

«День стоял знойный. Солнце висело обнаженным тугим клубком. Казалось, стоит только ткнуть его пальцем,— оно не выдержит, порвется, и потянется от него к земле жаркая пряжа.

Тополя в палисадниках блестели разомлевшими вершинами, пруд дремал в каменных берегах.

На крутом пригорке, покрытом испекшейся хрустящей муравой, сидел старик, одетый в грязный полушубок, в бараньей шапке-ушанке, в серых валенках с загнутыми носками. Это был Сергей Выползов, свекор Грипки» («Илья Назарыч»).

Масло или акварель — это, конечно, очень субъективно. Но все равно — краски разные. Ибо одно и то же солнце может жечь яростно, почти свирепо, и никуда от него не деться, а в другой раз — светить с той пронзительной ласковостью, от которой млеет земля.

Здесь-то и начинается мастерство. Что люди говорят на разные голоса, с разным словоупотреблением, понимает и девчушка, играющая в куклы. А вот передать различную окрашенность в восприятии мира, создать словом — только словом! — определенное настроение, заставить поверить в своего героя — тут нужны умение и труд, то, без чего нет мастерства.

Первые уроки профессионального литературного письма молодой Марковой давал работавший тогда на Урале корреспондентом «Правды» Борис Горбатов: ему принесла она «Варвару Потехину». Позднее судьба связала писательницу с Лидией Сейфуллиной. О ней Ольга Ивановна вспоминала очень тепло и благодарно. Ей она посвятила специальную статью-воспоминание «Искусство учителя».

Может быть, сказалась некоторая общность житейской и творческой судьбы — Лидия Николаевна в свое время учительствовала, была актрисой, немало писала о послеоктябрьской деревне, о ломке психологии крестьянки,— дружба двух писательниц, несмотря на разницу в возрасте почти в двадцать лет, была прочной и деятельной. Л. Н. Сейфуллина пристально и заинтересованно следила за работой Ольги Ивановны, искренне радуясь успехам ее крепнущего таланта. Не раз старшая давала конкретные уроки мастерства, в частности, редактируя послевоенную повесть Марковой «Разрешите войти!».

Ольга Маркова пришла в литературу со своим видением мира, со своим отношением к жизни. Это во многом определило успех ее произведений. На более чем тридцатилетнем творческом пути ее были и свои взлеты, были и срывы, неудачи. Нельзя забывать, что жанровый и тематический диапазон ее работы очень велик. Вспомните: это повести и рассказы, роман «Первоцвет» и либретто оперы «Половодье», документальная повесть и лирические новеллы. Это деревня периода коллективизации и послевоенный целинный совхоз, ремесленное училище и семья сталевара, Ленин и Малышев, война гражданская и война Отечественная, актриса и рабочие, агроном и военные... Это половодье самой жизни, отдельные куски, узлы которой писательница художнически исследовала с гражданской страстностью, с коммунистической заинтересованностью. Ее влекло в человеке здоровое начало, ей дорого было нравственное здоровье, без вывертов, без слабостей, без слякоти.

Она славила сильного душой Человека.

О. Коряков

ЛИКСТ

Это — не о произведениях Иосифа Исааковича Ликстанова. Это о нем самом короткие заметки, подсказанные памятью.

Прошедший нелегкую, многотрудную жизнь, отведавший тягот и радостей морской службы, тридцать лет отдавший работе в газете, Ликстанов был прежде всего тружеником вообще, а уже потом тружеником-литератором. Одинаково свободно он мог войти в матросский кубрик и в литературный салон, в мастерскую камнереза и лабораторию ученого.

Умея вжиться в любую обстановку, обладая художническим даром внутреннего перевоплощения, он и в книгах умел создать неповторимую, своеобразную атмосферу жизни. Каждая из его книг имеет свой аромат. Овеянные чистотой, светлой романтикой «Приключения юнги» пахнут соленым раздольем моря. В боевитой, задорной повести о Малышке́ носится сладковатый запах машинного масла и смоляной дух свежесрубленного дерева. «Зелен-камень» пахнет сразу и тайной, и плесенью заброшенной Клятой шахты, и затхлым воздухом халузевского дома. В «Первом имени» мне чудятся дымные запахи могучего Тагила. А от страниц «Безымянной славы» веет дорогим сердцу каждого газетчика ароматом типографской краски.

Конечно, это мои личные ощущения. Другой воспримет по-другому. Но важно, что каждая из книг Ликстанова по-своему отчетливо колоритна и памятна, и в каждой, несмотря на единый писательский почерк,— сгусток особых, присущих только данной книге черт, выписанных с глубоким знанием той или иной профессии.

Ликстанов очень много знал. Во времена так называемых энциклопедистов было сравнительно нетрудно иметь энциклопедические знания. В наше время — крайне трудно. И однако Иосиф Исаакович именно такими знаниями обладал, не уставая их пополнять.

А особенно жаден он был до познания людей. Увидев человека еще незнаемого, Ликстанов как бы стушевывался, сжимался, стараясь сделаться незаметным, и напряженно и пристально всматривался в незнакомца, оценивая его.

Помню, как я увидел его впервые. Был 1943 год. Получив возможность побывать в Свердловске, я прибежал в редакцию газеты «Уральский рабочий», чтобы повидать одного дорогого мне человека. Разговаривая с ним в редакционной комнате, я ощутил на себе чей-то упорный внимательный взгляд. Невысокий, крепко сбитый мужчина с густой шапкой вьющихся волос, сидя за одним из письменных столов, рассматривал меня с упрямым любопытством. Мне сделалось малость не по себе, я почувствовал: он увидел и понял во мне все — и почему встопорщилась новенькая офицерская шинель, и отчего не скрипят мои совсем не офицерские сапоги, и почему кривовато сидят мои очки. Он не сказал мне ни слова, кроме какой-то обычной приветственной фразы, но нутром своим я почувствовал накал его пытливой, всепроникающей мысли.

Позднее этот ликстановский взгляд я наблюдал, уже со стороны, много раз.

Жажда познавать — одна из сильнейших писательских страстей — была у Ликстанова неутолима.

Вспоминается один эпизод, который сейчас, через много лет после нелепо ранней смерти писателя, окрашен для меня цветом грусти.

Это было весной 1951 года в Москве в дни работы Всесоюзного совещания детских писателей. Ранним утром мы, несколько участников совещания, ехали в трамвае. Свежая после ночного отдыха, вся в солнце, Москва была по-особенному прекрасна. И, глядя на вздымающиеся в небо корпуса новостроек, Иосиф Исаакович сказал негромко, как-то очень от сердца:

— А интересно, какой она будет в двухтысячном году. Очень интересно, черт побери! Вот дожить бы, а? Обязательно надо дожить! — И, стукнув по колену своим небольшим крепким кулаком, зажегся: — А какие сюжеты, ребята, будут! Марсианские сюжеты. Млечнопутейские! — Усмехнулся: — Ничего, сюжетов нам и сейчас хватает. Хотите, подарю? Вот, например... Хотите?

И, что называется, без передыху, тут же принялся рассказывать какую-то увлекательнейшую придуманную историю.

На это у него была удивительная способность. Иосиф Исаакович мог, мне кажется, вырабатывать сюжеты без предела. Он справедливо полагал, что у каждого писателя должно быть в его «кладовой» несколько, так сказать, запасных сюжетов. Сам он имел их десятки.

Всем известна знаменитая фраза Чехова о простой чернильнице, из которой он может сделать рассказ. Точно так же Ликстанов мог из любого предмета сделать увлекательную остросюжетную повесть.

Это шло от большой, постоянной, ежеминутной творческой работы, от углубленного, как бы всепронзающего взгляда на вещи, людей, события. За любым предметом он умел видеть труд и жизнь его создателя. Так, рассматривая какую-нибудь безделушку, сделанную старинным мастером, Иосиф Исаакович задумчиво ронял:

— Вот как тоненько резцом прошелся. Филигранная работа! А сам наверняка в лаптях ходил. И руки огромные, черные. А дочурка его, какая-нибудь Анютка, босиком по пыли шлепает. А мать у калитки уже с вицей ждет... Да, хорошая штучка.

Это видение людских судеб, умение проникнуть в них в соединении с творческой выдумкой и помогало ему безошибочно верно и стройно создавать сюжеты. С некоторыми из них мы знакомы, а десятки остались нам неизвестными.

Свои сюжеты Ликстанов любил рассказывать. Рассказчик, как и собеседник, он был превосходный. Слушаешь — заслушаешься. Рассказывая другим, он, видимо, еще и еще раз проверял себя: верно ли, все ли на месте, все ли ладно.

Это был его метод, и это было проявлением высокой, строгой требовательности к себе.

Однажды Иосиф Исаакович читал небольшой группе журналистов главу из «Малышка», работу над которым заканчивал. Прочел — и сразу же:

— Ну как? Очень плохо, да?

В ответ раздались одобрительные возгласы.

Ликстанов встал, прошелся, коренастый, насупившийся, мотнул головой:

— Нет, ребята, тут еще надо подумать. Почеркать надо.

И «почеркал»: в книге эта глава оказалась почти целиком переписанной.

Постоянная требовательность Ликстанова к себе сказывалась и в дотошной тщательности изучения материала. Знал он очень много, но неутомимо узнавал все больше и больше. О каком-нибудь камешке, который в повести должен упоминаться лишь мельком, он не только читал в книгах ученых специалистов, но и расспрашивал самых

различных людей, стараясь все до мелочей узнать досконально.

Именно так работают настоящие литераторы.

Взять, скажем, его «Безымянную славу». Казалось бы, кто лучше Ликстанова знает материал, на котором построено это произведение,— жизнь газеты и газетчиков в годы становления советской прессы? Все это Иосиф Исаакович пережил сам, вложив в газету тех лет немало пота и нервов. Однако работники свердловских библиотек и газетного архива могли бы рассказать, сколько упорных часов проводил он над книгами и подшивками газет, дополнительно изучая материал, сверяя свидетельства собственной памяти с документами эпохи.

Он трудно сходился с людьми, неохотно раскрывал себя. Это не значит, что он был нелюдим. Напротив. Умница и острослов, он мог быть душой любой компании, в беседу вступал легко и непринужденно. Сказывался, конечно, и тридцатилетний опыт журналиста. Но сблизиться с человеком, приоткрыть ему свое сокровенное — это для него было трудно. Иногда мне казалось, что все время он живет как бы в двух измерениях: в одном — разговаривает, шутит, посмеивается, в другом — придирчиво наблюдает за движением собственной мысли, а она, трудяга, не зная устали и передышки, ворочает людскими судьбами, напластовывает события на события, строит сюжеты и разрушает их, выискивая лучший из возможных вариантов. Случалось, вдруг он становился угрюмым на вид и задумчивым — значит, целиком переходил в это второе, рабочее измерение. А может, вспоминал сына, погибшего на войне?..

В последние годы жизни, когда Иосиф Исаакович уже ушел из газеты и занимался только писательским трудом, он взял себе за правило ежевечерне совершать длительные пешие прогулки по городу. Шагал не спеша, мерно, сосредоточенно.

Изредка, завернув ко мне в дом, приглашал коротко и деловито: «Идемте к нам».

Очень большая, почти громадная комната Ликстановых казалась вовсе не столь большой — так было в ней всегда уютно. От ковра и тахты, от мягкого света люстры, от шкафа с французскими книгами и маленького письменного стола? Возможно. Но, главное, все же от душевной, очень интеллигентной простоты хозяев, от милого радушия Лидии Александровны, жены писателя.

Иосиф Исаакович объявлял «адмиральский час» — значит, можно пропустить по рюмке водки, можно поболтать обо всем на свете, можно вперехлест сыпать шутки и анекдоты. Но, пожалуй, любая беседа в конце концов приходила к одному и тому же финалу — к серьезному разговору о литературной работе. Тем паче, все мы знали: пройдет несколько часов — и за этот вот скромный письменный стол усядется крепыш Ликст, как его звали друзья, и на длинные узкие листки бумаги фраза за фразой плотными строчками начнут укладываться страницы новой книги — начнется таинство литературного труда.

Удивительно скромный и неутомимый труженик, Ликстанов всегда с большим уважением относился к работе других. Я вспоминаю один разговор. Речь шла о романе ленинградского писателя. Я отозвался о романе плохо, сказал, что он растянут, скучен и пустоват. Иосиф Исаакович улыбнулся своей умной улыбкой:

— Что плохо, то плохо. Но нельзя хаять все. В этой книге много очень верных и глубоких психологических характеристик. Есть и тонкое знание труда тех, о ком писатель рассказывает. Видать, что автор потрудился. Это, брат, со счета скинуть нельзя.

Так Ликстанов, сам противник всего рыхлого, серого, скучного в литературе, дал мне урок уважительного отношения к писательскому труду.

Это его уважительное отношение к людям вообще и к людям творческого труда в частности очень ясно чувствовали на себе молодые писатели. К знакомым и незнакомым, он присматривался к ним всегда сочувственно, внимательно, готовый прийти на помощь. И всегда он искал в них прежде всего хорошее.

Однажды в разговоре не очень лестно отозвались об одном из начинающих свердловских литераторов.

— Дурное в нем — наносное,— сказал Иосиф Исаакович.— Повесть-то у него — читали? — интересная. Есть в человеке божья искра. Дурное слетит, как шелуха. Лишь бы ядрышко было крепкое.

«Ядрышко» — это талант плюс труд. Сам Ликстанов представлял собой такое «ядрышко» почти в чистом виде. Свою яркую художническую одаренность он неустанно подстегивал трудом. Он не знал, он не хотел знать отдыха.

В день, когда его сразила смерть, Ликстанов собирался в свой первый послевоенный отпуск. А была уже осень

1955 года. Всеми признанный писатель, автор четырех многократно и во многих странах переизданных книг, лауреат Государственной премии, он не отдыхал более десяти лет. Наконец он решил передохнуть. Накануне поставил последнюю точку на последней странице «Безымянной славы», своей пятой книги. Лукаво улыбнулся:

— Целый месяц буду роскошно бездельничать.

Увы, писатель уходил в свой последний, бессрочный отпуск...

З. Янтовский

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ

В День Победы сорок шестого года, особенно мне радостный тем, что после долгой разлуки проходил он в кругу семьи и близких товарищей, ко мне заглянул Евгений Лебедев, талантливый свердловский журналист (трагическая смерть не дала развиться его дарованиям), и с ним молодой человек, коротко назвавшийся Юрой. Он очень легко вписался в наше застолье и быстро завладел общим вниманием, покорил всех искрометным юмором, шутливостью. Я дивился неистощимости своего гостя. Ладный, открытый, брызжущий весельем, он все больше мне нравился. Мы разговорились, и у нас нашлись общие точки притяжения — военные гимнастерки со следами снятых погон и милый нам город Харьков, в котором прошла и его и моя юность. Я старше на семь лет. Заметная разница в возрасте, однако, не мешала случайной в сущности встрече перерасти в долголетнюю, почти четвертьвековую дружбу.

Юрий Яковлевич Хазанович (к тому времени он был уже автором двух книг: сборника рассказов «После боя» и документального повествования «34 недели на Майданеке») располагал к себе сразу. Приветливым взглядом, внимательностью, искренним интересом. И еще тем, что умел слушать. Мне приходилось встречать в литераторской среде людей, души которых полны только собой. Они по-своему открыты людям, готовы распахнуться, как только отыщется терпеливый слушатель. Но без взаимности. Стоит этому слушателю самому заговорить, пожелать излиться, как такие люди скучнеют, делаются рассеянными и пользуются любым поводом, чтобы увернуться от чужих излияний. До чужой жизни им дела нет. Совсем иначе вел себя Хазанович. Умение слушать было одним из драгоценных его качеств.

Круг его знакомств был широк. От заводского рабочего до секретаря обкома партии. Он легко сходился с людьми, и однажды встреченный человек становился его знакомым. Не обязательно близким, но таким, с которым он поддерживал какие-то отношения, для кого становился доступным. Как бы ни был занят.

Я мог прийти к нему в условленное время для работы и застать у него нежданно нагрянувшего знакомца. Поначалу я терпеливо пережидал, надеясь на скорое окончание беседы. Терпения, однако, не хватало, я уходил. Юрий Яковлевич смущенно извинялся, но ни жестом, ни взглядом не выказывал сожаления, что нам помешали.

Бывало наберешь номер его телефона — занято. И так могло продолжаться час и больше. Мы жили в двух кварталах друг от друга, но по каждому возникшему вопросу не побежишь. А иной раз приходилось.

— К вам не дозвониться, как в справочное вокзала,— как-то сказал я ему.

Он добродушно хохотнул.

— В самом деле так трудно? — он будто сомневался, но по глазам было видно — доволен своей, как бы теперь сказали, коммуникабельностью.

Звонки часто раздавались, когда мы работали вместе, и я невольно становился свидетелем долгих разговоров. Однажды позвонил известный в Свердловске рабочий. Юрий Яковлевич когда-то писал о нем, и это их сблизило. Позвонившему предстояло выступить на большом собрании. Обдумав свою речь, он решил проверить ее на Юрии Яковлевиче, заодно посоветоваться с ним. Коротким разговор не получился.

Звонили и просто так, поговорить «за жизнь», излить житейские невзгоды. Регламента для разговоров не существовало.

Расплачиваться приходилось напряженными часами ночной работы, когда уже никто не мешал. В его кабинете стоял застеленный диван, но бывало он не ложился и до рассвета.

Знаю, кто-то скажет: «Зачем же так транжирил свое время — самое большое богатство из данных нам судьбой». Что-то похожее говорил ему и я. «Да, да»,— соглашался он, но ничего не менялось. И не могло измениться. Ведь он-то не считал, что транжирит время. Общаться с людьми значило для него жить.

Недавно читал про одного американского писателя. Свой дом он окружил высоким забором и не выходил за ограду, никого не принимал, ни с кем не встречался. Не переносил людей. Зачем только для них писал?

Не могу представить себе Юрия Яковлевича в подобном положении. Он задохнулся бы в такой, пусть и комфортабельной тюрьме.

За открытость и доброжелательство люди платили ему доверчивой откровенностью. Он был вроде копилки секретов. «Сберкассой», строго хранящей тайны вкладов. Бывал он и советчиком, и «огнетушителем». Случалось, повздорят между собой два товарища. Литераторы — народ легкоранимый. Не так взглянут друг на друга, не так что скажут — вспыхнут, и начнется... А потом переживают. Делиться обидами шли к Юрию Яковлевичу. Он становился вроде мудрого старца, хотя возрастом мало отличался от повздоривших. Во всяком случае такта у него хватало, чтобы потушить размолвку.

Общительность Хазановича была неотделима от его гражданственности. Неуемный интерес к жизни побуждал его поддерживать самые широкие связи с людьми. Вынесенные впечатления естественно становились заготовками или ядром заготовок для будущих характеров или сюжетных ходов, еще не родившихся, но могущих родиться в будущем.

Но это совершалось параллельно, как бы само собой, без ясно поставленной цели.

Хазановича не приходилось звать в газету, на радио, в документальное кино. Он сам туда шел. И уж если его просили написать статью ли, очерк ли, а то и дикторский текст к киножурналу, он откладывал все и принимался за работу. У него установились прочные, долговременные связи со многими заводами Свердловска. Заводская жизнь была для него своей, родной стихией. На турбомоторном заводе, костяк которого составил эвакуировавшийся из Харькова турбогенераторный, у него имелись и личные друзья. На этом заводе он работал инженером в предвоенные годы.

Публицистику Хазанович никогда не считал второстепенным делом. Писал и художественные очерки, и исторические, и проблемные. И даже фельетоны, обличая пороки и недостатки, заступаясь за обиженных людей. Одинаково радовался выходу в свет книги прозы и книги публицистики.

Работая над сценарием художественного фильма «Во власти золота», перечитывая Мамина-Сибиряка, он вдруг загорелся желанием повторить его поездку из Екатеринбурга в Пермь, описанную в очерках «От Урала до Москвы». «Вот будет здорово — сравнить, сопоставить!» — радовался он своей задумке. Как только представилась возможность, отправился в путь. Из поездки вернулся пе-

реполненный впечатлениями. Их хватило и на объемный очерк, и на сценарий документально-игрового фильма, снятого Свердловской киностудией.

За работу он сел без промедления, не давая остыть возбуждению.

Своим человеком был Хазанович и на радио. Голос его звучал приятно, и он, верно, зная это, а скорее чувствуя,— ведь человек собственный голос «не слышит»,— не то что предпочитал, а настаивал читать самому то, что написал. Средства звукозаписи на Свердловском радио в конце 40-х — начале 50-х годов, когда я там работал, были несовершенны, и не хватало их, звукозаписывающую пленку считали не то что на метры, а на сантиметры. Предварительная запись, гарантировавшая безошибочность передачи, не всегда оказывалась возможной. Его это не останавливало. Он уверенно садился к микрофону и начинал рассказывать, как если бы перед ним сидели его друзья. Он не мог, разумеется, конкурировать с профессиональными чтецами и к этому не стремился. В его манере чтения была подкупающая доверительность. Он как бы входил в дом с искренним желанием рассказать нечто важное, интересное, рассказать вам, и только вам. И у него это получалось.

Проза, газета, радио, кино — не разбрасывался ли он? Мне так не казалось. Я видел в этом иное — разносторонность. Газета учила оперативности, радио — взвешивать каждое слово, проверять его звучание на слух, кино — динамизму и краткости. А все вместе обогащало его палитру в прозе.

Плодотворнее всего разносторонность эта проявилась в одной из лучших его повестей — в «Деле». Документальность в ней сплавлена с впечатляющими художественными средствами изображения. Реалии биографии главного героя Николая Михайловича Давыдова, визовского рабочего, большевика-подпольщика, первого красного директора завода, составили динамичный сюжет. Не вымышлены и другие персонажи повести, они, как и главный герой, выведены под своими действительными именами. Однако диктовавшаяся этим документальная точность не отразилась на повествовательности. Хазанович показал здесь свое умение увлечь читателя.

Интересна история «Дела». В преддверии полувекового юбилея Октября свердловские литераторы решили создать коллективный портрет уральского революционера —

выпустить сборник очерков о тех, кто готовил, осуществил, защищал революцию на Урале. Избрав своим героем Давыдова, Юрий Яковлевич не представлял, во что выльется работа. О Давыдове он имел самые общие сведения, и привлек его Николай Михайлович тем, что из рабочих стал красным директором. Когда же писатель вошел в материал, почувствовал, что очерком не исчерпает, не выразит всего богатства яркой биографии. И, сдав в печать очерк, он тут же засел за повесть.

Однажды нам с Юрием Яковлевичем киностудия предложила написать сценарий полнометражного киноочерка о Бажове. Надо ли говорить, как это нас взволновало! Оба мы лично знали Павла Петровича, часто с ним встречались, безгранично его почитали. Хазанович многие годы работал рядом с ним. Демобилизовавшись после тяжелого ранения, еще в разгар войны он стал редактором в Свердловском областном издательстве. Там же работал и Павел Петрович. Они и сидели в одной комнате за соседними столами. А после войны, когда Юрий Яковлевич оставил издательство и занялся только творческой работой, он несколько лет избирался секретарем партийной организации отделения Союза писателей, возглавлял которое до конца дней своих Павел Петрович. Нам хотелось в фильме не только воссоздать образ знаменитого уральца, но и выразить свои чувства к нему, жившую в нас добрую память о нем.

Вспоминая сейчас нашу дружную работу, я открываю еще одну добрую черту Юрия Яковлевича — его артельность, выдержку и терпимость, делавшие возможным совместный труд.

Работал он яростно. Яростно — не значит исступленно, но — увлеченно, с полной самоотдачей, настойчивым движением к цели. Это не исключало пауз для роздыха, которые наступали сами собой, когда появлялась закавыка и убрать ее оказывалось непросто. Тогда откладывалось перо и начинался отвлеченный разговор с забавными историями и анекдотами из его неисчерпаемых запасов на все случаи жизни.

Закавык возникало немало, столько же и пауз, и о чем только не было переговорено!

Не знаю, как поступал он, когда мысль упиралась, «не шла», работая в одиночку. Творчество без этого не бывает... Включал ли магнитофон и слушал любимую музыку, разглядывал ли молчаливых рыб в аквариуме, слушал ли

щебет птиц в клетке над письменным столом, или шел, неизменно подтянутый, все еще изящный, тщательно отутюженный, в Союз, в издательство, на студию пообщаться с товарищами, встряхнуться? Не знаю.

Одно могу утверждать: он не пересиливал себя, не писал того, что не выносилось, не задалось, не шло. Пусть меньше напишется, зато хорошо. Это было его правилом. Году в сорок седьмом или сорок восьмом рассказал он Ликстанову, дружбой которого очень дорожил, сюжет повести «Свое имя». Ликстанов тогда же с хорошей завистью говорил мне: «Какую вещь задумал Юрий Яковлевич!» А читатель получил ее в руки в пятьдесят восьмом — пятьдесят девятом. В этом промежутке написалась и другая повесть «Мне дальше», и несколько рассказов, а «Свое имя» неторопливо подвигалось вперед, хотя материал ее был Юрию Яковлевичу хорошо знаком: и войны он хлебнул сполна, и паровозное дело знал с первых рук, поработав помощником машиниста.

Последние два года жизни он тяжело болел. Инфаркт надолго приковал его к постели, но из строя полностью не вывел. Даже в тяжелые минуты недуга он не переставал думать о героях и сюжете новой повести. Рабочая тетрадь находилась под рукой, и он то и дело заносил в нее свои мысли. Уже где-то посредине записан, наверное, окончательно сложившийся замысел: «Это повесть о том, как трудно рождалась бригада коммунистического труда, как нелегко освобождались люди от всего прошлого, дурного, как очищались они, очищали свои отношения, свое сознание, желая жить и трудиться по-новому».

Едва став на ноги, он взялся за перо основательно. Его нельзя было оторвать от стола. Ему надо было двигаться, побольше бывать на воздухе, а он делал это редко и неохотно. Несколько раз я заходил к нему, чуть ли не силком выводил погулять. Он покорялся, мы шли на зеленый бульвар проспекта, прогуливались, посиживали на скамьях под раскидистыми деревьями, болтали о том, о сем, но я видел — ему это в тягость, его тянет к столу. В рабочую семью, заводскую бригаду, в гущу морально-нравственного конфликта, которые обретали реальные черты на страницах рукописи, хотя и не быстро, но выраставшей день ото дня.

Когда после его смерти мы с Олегом Фокичом Коряковым стали просматривать оставшуюся рукопись, мы удивились множественности вариантов отдельных глав, каж-

дый из которых казался завершенным и достойным опубликования. Видно, что-то его не устраивало, не так выражало то, что жило в нем,— он все оттачивал и оттачивал...

Ему не удалось дописать последние главы; мы нашли наброски, подробные заготовки. Двухвариантным было и название. Поначалу — «Справедливость», затем появилось «За все в ответе». Мы остановились на втором, точнее выражавшем пафос повести. Под этим названием она и увидела свет.

Е. Фейерабенд

ВЕТЕРАН ПОЭТИЧЕСКОГО ЦЕХА

Еще подростком я заметил его стихи среди произведений других уральских поэтов. И сразу запомнилось сочетание обычного русского имени Николай с неведомым — Куштум.

Из свердловских писателей первою посетила меня Елена Евгеньевна Хоринская. Она работала в областном Доме художественного воспитания детей и приходила помочь начинающему автору словом одобрения и советом. А путь не близкий. Трамвайной линии на ВИЗе тогда еще не было. Много кварталов предстояло пройти, покуда в конце одного из них глянет двумя окошками наша бревенчатая хатка.

Однажды Елена Евгеньевна сказала:

— Был у нас здесь хороший поэт Николай Куштум. Теперь он на фронте...

Война не вернула Уралу молодых поэтов-романтиков Владислава Занадворова и Константина Реута. Поэт-фронтовик Сергей Телькaнов проехал через Уральские горы на Дальний Восток и там обрел новый кров и новый родник вдохновения. Николай Куштум вернулся в Свердловск. Он не мыслил себя в мирной жизни вне Урала.

И вскоре Елена Евгеньевна, считавшая, что мне пора знакомиться с ведущими мастерами здешнего поэтического цеха, привела Николая Алексеевича в наш визовский домик. Известный уральский поэт и вчерашний фронтовик — все возбуждало мое молодое любопытство.

Вот он передо мною — знаменитый Куштум, один из зачинателей советской поэзии на Урале. Даже низкий потолок нашей хатки, под которым все казалось большим, не прибавил ему дородства. Пристальный и приветливый взгляд маленьких карих глаз. Серенькая шинель и армейские сапожки напоминали о военном пекле, сквозь которое довелось ему пройти. А так вроде бы и ничего фронтового, кроме воинской формы, уже без знаков отличия, в облике Куштума не замечалось. Но был орден Красной Звезды.

Как бы и недоставало чего-то, что вообще должно присутствовать в облике поэта, гармонируя с красотою его стихов. Пушкинские бакенбарды, блоковские кудри и бойцов-

20 Заказ 133

ский профиль Маяковского — у всех в памяти. И здесь тоже взгляд мой искал и не находил какого-либо эффектного внешнего признака, свидетельствующего о красоте внутренней. Ничего броского во внешности Куштума не обнаруживалось.

Но давно замечено, что внешность отступает на задний план, а то и как бы вовсе исчезает перед душевной сущностью человека, значительной и активно проявляемой. А внутренней сущностью Николая Куштума была его любовь к поэзии. Я бы даже сказал, что поэзия была его святыней. Так высоко он ставил ее и чтил.

И когда в тот ненастный апрельский день, в низенькой и темной от непогоди избушке с заплаканными окошками, Куштум вполне проявил себя в этом отношении передо мною,— это отозвалось во мне радостным удивлением. Всегда трогательна любовь к чему-либо возвышающемуся над обыденностью, к прекрасному.

Но далеко не вся поэзия вызывала у него такое восторженное отношение. В восприятии поэтического Куштум был очень пристрастен. Усложненная образность и поэзия разговорно-ораторского плана оставляли его, по большей части, равнодушным. Он предпочитал самую простую, бесхитростно-лиричную, задушевную, песенную поэзию, ту, что естественно ложится на традиционно плавную, мелодичную музыку и с нею обретает крылья и пропуск в большинство сердец.

Включили свет, закрыли ставни — и в домике стало еще тесней и уютней. Полузакрыв глаза, чтобы зрение не мешало слуху, и требовательно просеивая строки сквозь чуткое и частое сито своего восприятия, слушал Николай Куштум меня в ту памятную встречу. Первые вещи не произвели на него особенного впечатления. Порою он неопределенно хмыкал, что, как я узнал позже, выражало у него неодобрение, или ожидающе молчал, взглядом требуя продолжать чтение стихов. Видно было все-таки, что он надеется — прозвучит и нечто более интересное. Когда я прочел «Корабельные сосны», он порывисто поднялся со стула и, рубя воздух коротким жестом руки, убежденно воскликнул:

— Надо делать книжку!..

Разумеется, до книжки было еще далеко. Но Николай Куштум первым из профессиональных поэтов так определенно утвердил правомерность моей еще не высказанной мечты о собственном сборнике. И это мною не забудется.

После этой, первой, было еще много встреч. Едва ли я ошибусь, если скажу, что Николаю Алексеевичу нравилось бывать в нашей приземистой избушке, с рябинами у крыльца, затерянной в глубине тогда еще почти не затронутого новым строительством деревянного ВИЗа. Может быть, тамошняя обстановка напоминала ему в какой-то степени обстановку его деревенского детства.

Куштум рассказывал, что в детстве родные называли его Кольчиком, произнося на уральский лад «ч», как мягкое «ш». И если моя мама Матрена Ивановна, с присущим ей радушием открывая калитку перед семейством Куштумов, обрадованно восклицала: «Кольшик пришел!..» — Николай Алексеевич бывал особенно доволен.

И часто эта древняя хатка, наверное, сотню лет простоявшая в порядке таких же потемневших от времени бревенчатых ветеранов, на ветру, приносящем через несколько кварталов живительную свежесть с просторного Верх-Исетского пруда, наполнялась песенным куштумовским тенором. Свободно и умело владея голосом, он воскрешал для новых слушателей песни, которые, наверное, и в прежние века, с основания города, певали здесь наши предки. И про Стеньку Разина, что «переряженный купцом» в Астрахани ходит «по посаду городскому», высматривая свою зазнобу «раскрасавицу Алену, чужемужнюю жену», и выведывает, как ловчей проникнуть в высокие хоромы на свидание с ней. И про соловья, что где-то и когда-то пел в летние «лунные ночи». И про калинушку с малинушкой, опускающих ветви во «сине море», по которому, может, еще в Петровскую эпоху «корабель плывет», а на корабле биться со шведами или с турками едет «полк солдат — удалых ребят». И еще про многое другое.

Пел упоенно и самозабвенно, как тот казак-запевала, изображенный М. Горьким в его художественной автобиографии. Высоко вскидывал голову, неровное от оспы лицо одухотворялось, хорошело. В эти минуты он походил на певчую птицу, на какую-нибудь рябенькую овсянку, отдающую душу песне. Старательно выпевал и песни, и каждую полюбившуюся ему частушку. Почти не бывало, чтобы спел что-либо просто для секундной забавы, не по-настоящему.

До войны Николай Алексеевич работал в областном Доме народного творчества. Руководил собиранием фольклора. И на моей памяти он очень гордился, неоднократно упоминал о том, что любимый им вариант песни о Стеньке Разине оказался неизвестным знаменитому исследова-

телю русского народного творчества московскому профессору Ю. М. Соколову, и тот специально отмечал заслугу уральцев в отыскании этого варианта.

Николай Куштум и общий наш друг поэт Ефим Ружанский рассказывали мне о своеобразном их состязании в знании народных песен. Ружанский начинал песню — и Куштум сразу подхватывал ее. Потеряв надежду поймать Куштума на незнании какой-либо русской песни, Ружанский, родившийся и выросший на Украине, запел украинскую песню:

Ой, подступала та черна хмара,
Стал дождь накропать...

Тут уж, дескать, волей-неволей, а придется Куштуму развести руками. Но каково же было его удивление, когда Куштум подхватил и эту песню:

Ой, собиралась бидна голота
До шинка гулять.

Нельзя не сказать, что в моей стихотворной манере Куштума огорчало отсутствие песенности. Николай Алексеевич в назидание мне рассказывал, что стихи свои он слагает, как песни, напевая слова на какую-нибудь известную или даже сочиненную им самим мелодию. Стихотворение, которое не просится на музыку, если только оно не принадлежало перу знаменитого стихотворца, обычно не могло заслужить у него высокой оценки. И он стремился в этом плане воздействовать на меня, привить мне напевность. Но, увы, безуспешно...

Вообще ратовал за большой лиризм в поэзии. С возмущением говорил о том, как в его молодые годы среди поэтов проводилась кампания за то, чтобы они непременно учились у Демьяна Бедного, поэзия которого признавалась образцом, достойным всяческого подражания. Куштум в этот период, наверное, единственный раз в жизни, съездил на какой-то южный курорт. Вообще-то он предпочитал отдыхать на Урале. По дороге с юга простудился и в Ростове-на-Дону оказался в больнице. Но, услышав о том, что в Ростовской писательской организации состоится дискуссия об отношении к призыву обязательно учиться у Демьяна Бедного, Николай Куштум, больной, в жару, отправился туда и чуть ли не полтора часа говорил с трибуны против «обеднения поэзии». Разумеется, он выступал против непродуманной кампании, а не против самого поэта Демьяна Бедного и его творчества.

В любви к напевности поэтического слова — исток его всегда ощущавшегося спора с другим большим уральским поэтом Константином Мурзиди, который в своем творчестве, пожалуй, чаще шел от четко оформленной мысли.

Преклонение Куштума перед поэтическими ценностями передавалось и нам, тогдашним молодым. Заставляло подтягиваться, быть требовательнее к собственной работе. И, читая ему свои стихи, каждый становился себе более строгим судьей, выбирая в черновых тетрадях лишь то, что, может быть, действительно достойно такого заинтересованного внимания, граничащего с ожиданием, что вот-вот сейчас совершится открытие, хотя бы и маленького, но самородка...

Если попросить, он охотно читал собственные стихи, на которых лежит неизгладимый отпечаток его родных мест. Есть в стране нашей края настолько своеобразные и проникнутые красотой, что они сразу властно настраивают душу на поэтический лад. Таков Южный Урал с его поднебесными горами и кручами, с корабельными соснами, которые в непрерывном противостоянии верховым ветрам отстаивают свое право быть прямыми, с кипучими и верткими горными речками, несущими с высот в долины отчеканенную на кремне бойкую и звонкую речь.

Мне с вершины Таганая
На сто верст вокруг видна
Вся привольная, лесная,
Золотая сторона...

— по-юношески задорно читал Куштум — и становилось ясно, что полученный им смолоду заряд поэтических впечатлений никогда не потеряет первозданной свежести.

А то село за синими горами
Запряталось в уральские леса...—

и звучало трогательное и подробно выписанное воспоминание о лесной родине, где:

...Село в курнях и днюет и ночует
До сенокосной, ягодной поры...

и где:

...Под звездами в горах — истоки свадеб,
Которым осенью кричат «ура!».
И сваху говорливую не надо —
И без нее влюбленных, на отраду,
Сосватают лесные вечера.

И, конечно, следовало коронное — лучшая памятка боевой комсомольской молодости. Ветер странствий звал за деревенскую околицу. Так было всегда и всюду: молодые покидали отцовские гнезда, чтобы к опыту, полученному по наследству, прибавить свой. Но здесь, на гористой, вымытой дождями земле, это было особенно закономерным. Местные жители, лесорубы, плотогоны и плотники, ежегодно отправлялись на отхожие промыслы, потому что собственным хлебом тут не прокормиться. Прихватив топоры и пилы, рубанки и долота, уезжали на скрипучих телегах и уходили пешком по разъезженным проселкам.

Пусть горит, горит ладонь шершавая,
Спину трет походный котелок —
Это бродит молодость кудрявая
Колеей проселочных дорог.

И может, где-нибудь в хлебном Зауралье неутомимый сверстник Николая Куштума машет топором, выклевывая пазы в смоляных бревнах — возводя последний, уже бесполезный оплот для какого-нибудь оборотистого крепкого мужика, не уверившегося еще окончательно в том, что часы его фартовой и добычливой жизни уже сочтены.

Но весел и беззаботен пока еще зависимый от него молодой плотник, уверенно смотрит он в будущее.

А когда куда-нибудь притулится
(Ненадолго — на год иль на два),
Расцветает звонким смехом улица,
И не никнет грустно голова.

И еще беспокойней становится хозяину. Из-под угрюмых бровей неприязненно поглядывает он, как его юная дочка подносит в ковше квасу, чтобы утолил жажду разгорячившийся на работе пришлый молодец. Все возьмут, наверно,— и пашню, и двор, и эту новую избу в горючих подтеках смолы. И может, увезет и единственную дочку-наследницу этот бойкий, неведомо откуда как перекати-поле прикатившийся работяга...

И работа, скорая да спорая,
Незаметно движется к концу.
И смеется в ночь за косогорами
Девушка наперекор отцу.

Хорошее стихотворение — как хорошая музыка. Оно многозначно. В нем много подтекста. И каждый читатель

воспринимает его по-своему. Изображенное автором дополняет собственными картинами. Думается, и моя интерпретация на фоне тогдашней эпохи правомерна.

Казалось бы, стихотворение на традиционную тему о странствиях молодого подмастерья. Но оно оказалось созвучным своему времени, обрело более широкое значение. Ведь тысячи и тысячи обитателей глухих углов снимались с привычных мест и двигались попытать счастья, приложить силу и уменье, помочь стране поднять ее первые великие стройки. Поэту удалось схватить ритм времени, его внутреннюю музыку, и потому строки его воодушевляли читателей.

В другом стихотворении, которое вместе с предыдущим составляет цикл, поэт пожелал себе:

Под руку ходить бы мне со славою
В дыме домен, в стуке топора.
Отбродила молодость кудрявая —
Здравствуй,
Здравствуй, зрелости пора!

И слава пришла большая — во весь работящий Урал. В тридцатые годы творчество Куштума здесь было очень популярно. Помню, старейшая уральская песенница-сказительница Елизавета Петровна Клюшникова, беседуя со мной о той поре, о том, что значил Куштум для тогдашних читателей стихов, на память, без запинки, читала его стихотворение «Волны бьют о берег...». Я слышал и от других, что стихи Куштума заучивали наизусть.

Я познакомился с Николаем Алексеевичем, когда ему было уже за сорок лет. Все, кто знал его в тридцатых годах, утверждают, что в послевоенную пору Куштум был уже не тот — исчез молодой задор. Стихов он писал мало, правда, компенсируя это работой в области прозы: написал повести «Подвиг» (для детей) и «Шумга» — о родном крае в годы коллективизации. Много времени и сил отнимала у него и редакторская работа в издательстве. Но как бы там ни было, а со свидетельствами очевидцев о происшедшей с ним перемене не считаться нельзя. И мы, литераторы послевоенного поколения, сами помним, что в последние десятилетия жизни поэтическое вдохновение посещало его не часто.

Кое-что, конечно, можно отнести за счет возраста, но далеко не все. Груз годов был еще не так весом. Может быть, тут сказались и впечатления тяжелых лет... Но спра-

ведливость требует сказать, что ни одна нота какой-либо душевной усталости не проникла в его новые стихи. Он всегда оставался убежденным коммунистом, и будущее представлялось ему светлым и прекрасным.

Мне кажется, его угнетало и сознание некоторой собственной неудачливости. Так хорошо в молодости начатый взлет не получил достойного продолжения. Ни один поэтический сборник Николая Куштума так и не был издан в Москве. И в этом отношении новобранцы стихотворного отряда один за другим опережали его на поэтической трассе. Будто горная речка, певучая на родных высотах, сбежала на равнину и тут как-то притихла...

Кое-кто над ним подшучивал. Очередную книжку, состоявшую почти из одних старых стихов, называли пенсионной.

Хотя бы и частичная утрата творческой силы мучительна для художника. И Куштум трогательно радовался каждому новому своему стихотворению. Опубликовав его в газете, всегда спрашивал, какое впечатление оно произвело, с явной надеждой на то, что стихотворение, и по моему мнению,— удалось.

И когда он, вскинув голову, полузакрыв глаза и как бы приподнимаясь на носках, худенький и вдохновенный, пел свою лучшую песню:

Елочка зеленая,
Стройная сосна,
Скажите вы любимому,
Что я ему верна...—

казалось, что это он признается в своей верности поэзии.

Куштум не был обидчив. По крайней мере не высказывал обиду. Обладал развитым чувством такта, деликатностью. Был как бы от природы интеллигентен. В этом, видимо, сказалось благотворное влияние его матери, простой крестьянки, глубоко усвоившей лучшие традиции русского народного этикета и душевного отношения к людям. Это умение ладить с людьми, никого попусту не задирая, передалось и сыну.

Вспоминается, как в конце сороковых годов вместе с Николаем Куштумом и Константином Мурзиди оказался у нас в гостях один драматург, временно переселившийся из Ленинграда на Урал. Его пьесу поставил в нашей области какой-то Дворец культуры. И воодушевленный успехом драматург усиленно добивался постановки своей пье-

сы в Свердловском драматическом театре, но безрезультатно. Он стремился мобилизовать всех, кого только возможно, чтобы протолкнуть свою вещь на высокую сцену. Призывал на помощь и Куштума, который тогда был ответственным секретарем областной писательской организации. Но Куштум от участия в этом уклонился.

Драматург и в гостях не мог успокоиться, все возвращался к волновавшему его обстоятельству. Досадуя на Куштума, он хотел в отместку как-то принизить его и средством для этого избрал нападки на его поэзию. Утверждал, ничем не доказывая это, будто без труда мог бы отыскать в сборниках Куштума заимствования из всесоюзно известных поэтов.

Наконец, обратив особенное внимание на меня, стал говорить о намерении поместить меня для скорейшего излечения в какую-то знаменитую клинику в Ленинграде. Но тут обида опять пересилила и, повернувшись к Николаю Алексеевичу, он процедил:

— А это, конечно, не какой-нибудь Кыштым!..

А Николай Алексеевич на все это только неодобрительно хмыкал, как делал при чтении неудачных стихов. И то, что другого могло довести до вспышки уязвленного самолюбия и далеко идущей ссоры, постепенно и неприметно сошло на нет.

Обращала на себя внимание его аккуратность. Эта черта, по его словам, проявлялась у него с юных лет. В детстве ему приходилось собирать ягоду в лесных малинниках для продажи на городском базаре. Этот заработок был кое-каким подспорьем в крестьянском хозяйстве. Но брал он ягоду лишь самую лучшую. И на базаре его знали и у него ягоды покупали охотней, чем у других сборщиков. Росла в тамошнем краю особенно вкусная разновидность малины, которую называли почему-то саксонка. Так вот Кольчик, бродя по лесу целый день, ухитрялся наполнить корзину одною лишь саксонкой.

Я высказал предположение, что малина эта получила название по немцам — горным мастерам из Саксонии, которых когда-то было много в Златоустовском округе. Наверное, состоятельные немцы предпочитали покупать эту более вкусную ягоду. Для них специально ее и собирали, может быть, приносили на дом. Так ягода стала саксонкой.

Но Куштум решительно отверг мое предположение. Хоть у него и не было своего объяснения странному названию, но все равно в голове его не укладывалось, чтобы к

ягоде, растущей в родном уральском лесу, могло иметь касательство что-либо иноземное.

Настоящая его фамилия — Санников. А родная его деревня и река, на которой она стоит, называется Куштумга. Николай Алексеевич отбросил у этого названия последний слог, а остальное послужило ему псевдонимом.

Как он собирал когда-то куштумгинскую малину, тщательно осматривая каждую ягодку на особицу, так и писал — каждую букву отдельно. Говорил, что учительница в школе билась-билась с ним, стараясь приучить к слитному письму, да так и отступилась.

Почерк этот врезался в память. И по кратким его пометкам на полях моих рукописей. И по открыткам поздравительным, которые Николай Алексеевич присылал к каждому празднику.

В послевоенную пору в жизни Куштума происходили и счастливые перемены. Давний холостяк наконец обрел подругу жизни, создал семью. Заботливая Валентина Ефимовна согрела его теплом надежного семейного очага. И главные удачи в его поэзии этих лет связаны с темой любви, с немеркнущими воспоминаниями о первых встречах. Наполняется не изведанной прежде силой любовь — и к поэту возвращается молодая сила выражения чувства. И поэтическое слово о любви обретает крылья, возносящие над обыденностью.

Где мы вместе бродили,
Где мы счастьем делились,
Там цветы голубые
Весной появились...

...Чтоб любовью такою
Мы гордились до смерти.
Скажут:
«Так не бывает»,—
Приходите, проверьте!

Свидетельствую, что любовь была самая доподлинная и надежная и с честью продержалась до последних дней поэта, и пережила его в благодарной памяти вдовы.

Подрастали хорошие дети, Алеша и Наташа. Отец был для них большим авторитетом. Казалось бы, живи и радуйся! Но старость уже подступила вплотную и начала расшатывать здоровье. Все чаще при встречах Николай Алексеевич жаловался на то, что слабеет зрение — глаукома, «тёмная вода». Опасался, что постепенно и вовсе ослепнет.

Но стремился поскорее отогнать мрачные мысли. Повторял убежденно:

— Я оптимист!..

И тут же, словно бы спохватившись, не слишком ли он таким утверждением возвышает себя передо мною, добавлял поспешно:

— И ты тоже оптимист!..

Не относя себя по многим пунктам к этой счастливой категории людей, я, не желая его разочаровывать, не возражал.

До слепоты он не дожил. Новый, более жестокий недуг свел его в могилу.

Остались созданные им книги. Осталась добрая память о нем. Живут и отредактированные им книги других поэтов, так или иначе испытавших на себе его положительное влияние,— Михаила Пилипенко, Льва Сорокина, Юрия Трифонова, Михаила Найдича, Бориса Марьева. Отредактировал он и четыре моих сборника.

В определенной степени увенчалась успехом и его забота о том, чтобы к древу свердловской поэзии привить песенность. Собственно поэтов-песенников в Свердловске оказалось немного. Но, безусловно, на творчестве крупнейшего из них — Михаила Пилипенко — сказались благотворным образом какие-то стороны куштумовского дарования. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить песню Н. Куштума «Дружки-товарищи» и лучшую песню М. Пилипенко «Уральская рябинушка».

У Н. Куштума:

Паровоз на зореньке к месту их довез —
Горный полустанок чуть не возле звезд...

Можно продолжать словами М. Пилипенко:

Вечер тихой песнею над рекой плывет,
Дальними зарницами светится завод,
Где-то поезд катится точками огня,
Где-то под рябинушкой парни ждут меня.

У Н. Куштума:

Две тропинки вьются сквозь листву берез:
На завод — Роману,
Прохору — в колхоз.
Оба разом молвили:
— Ну, дружок, пока!
Славно поработаю,
Вот тебе рука!

У М. Пилипенко:

Я иду к рябинушке тропкою крутой,
Треплет под кудрявою ветер без конца
Справа — кудри токаря, слева — кузнеца...

...Кто из них желаннее, руку дать кому,
Сердцем растревоженным так и не пойму,
Хоть ни в чем не схожие — оба хороши...

Очевидно интонационное сходство да и словарное легко прослеживается, хотя о каком-либо заимствовании не может быть речи.

Жаль, разумеется, что у самого Николая Куштума не появилось песни, которую окрылил бы счастливой музыкой талантливый композитор, песни, широко распетой и получившей надлежащее признание. В этом тоже, наверно, была одна из причин его грусти. Но что делать! В каждой области творчества есть, вероятно, художники, которые старательно торят дорогу, чтобы дальше ушли другие. И звучат в памяти строки Куштума:

И едва лишь смежаю я веки,
Почему-то ты сызнова тут...
Разве знают таежные реки,
Для чего они к морю текут?

Я уже говорил о том, что в последние годы он был больше редактором, чем поэтом. Заботился больше не о том, чтобы самому накопить стихов на новую книгу, а о том, чтобы книга товарища вышла в свет более отделанной и удачной. Так же тщательно, как выписывал каждую букву, отбирал Куштум и стихи из рукописей молодых стихотворцев для будущих сборников.

Бывало, увидишь в окно: шагает от трамвайной остановки короткими, неспешными шагами знакомый немолодой человек в темно-зеленой фетровой шляпе. Под локтем — аккуратно завязанная папка. В ней — твоя рукопись с его, редакторскими, замечаниями. Ты еще не знаешь их — и на душе немножко тревожно. Будет разговор, обсуждение, временами перерастающее в спор. Но ты веришь в добрую волю твоего редактора. И надеешься, что в светлой папке, таинственным корабликом плывущей в толпе прохожих,— твоя будущая книжка. Твой завтрашний день.

Е. Долинова

«ВСЕ ХОРОШЕЕ ВАМ ОСТАВЛЯЮ»

Имя его я слышала от Бориса Долинова еще задолго до того, как сама познакомилась с этим интересным, ставшим таким близким мне человеком. «Костя сказал...», «Костя посоветовал...», «Костя написал...» — и столько уважения, сердечной симпатии вкладывал Борис в это имя, что я заочно уже любила Константина Мурзиди и гордилась, что у моего будущего мужа такой хороший, умный, талантливый друг.

Сам человек творческий, Борис посещал секцию поэзии при Союзе писателей. Вот и я пришла с ним однажды в небольшую комнату, под потолком которой парил на распахнутых крыльях выточенный из дерева буревестник. И думать не думалось мне тогда, что эта комната, эта птица, а главное люди, с которыми я здесь познакомилась, и — уже вовсе невероятно — сама профессия писателя станут моими. Тогда, восхищенная всем, что слышала и видела, я думала только о том, чтобы побывать тут еще...

Николай Куштум вел секцию поэзии весело, остроумная шутка то и дело взлетала над длинным овальным столом, ее тут же подхватывали другие — Елена Хоринская (теперь все знают, как любит она острое словцо), Лев Хвостенко, Слава Занадворов. Я радовалась, что и застенчивые, несмелые реплики моего Бориса вызывали одобрение.

Но главным заводилой был все-таки Константин Мурзиди. Так вот он каков этот Костя, Борин друг!

Невысокий, щуплый, с косой прядкой темных волос на лбу. От худощавости лица крупными кажутся нос, рот, глаза (и правда, что-то от греков в его облике). Сидит, внимательно слушает читающего стихи автора, делает на листке пометки — карандаш в левой руке. Глаза широко открыты, серьезны, внимательны...

И вдруг дрогнет что-то в зрачках, в самой глубине их. И начнет шириться, разгораться... Губы еще не участвуют в этом, будто упорствуют, но, повинуясь требовательному сигналу, начинают «разъезжаться»... Вот приподнимается рука, на кисти выразительно отделяется указательный палец (сейчас что-то будет, мы уже знаем!). Губы вытя-

тиваются, чтобы выпалить это родившееся «что-то», но... какая-то чертова согласная (он заикался, иногда сильно) опять мешает, заставляет губы бороться с ней. В глазах на миг угасает то, искристое, они почти сердиты... Но вот указательный палец крепко прижимается к другим, короткий взмах кулаком, и мы хохочем над очередным каламбуром Мурзиди! И сам он, довольный, ухмыляется, подолгу задерживая на каждом веселый взгляд, будто спрашивая: каково?

И так не один раз за вечер — на секции ли, на собрании ли...

Надеюсь, не подумают, что на тех далеких уже обсуждениях стоял сплошной хохот. Можно взять список членов Союза писателей нашего Свердловского отделения, более давний, конечно (сколько имен уже помечено в нем грустными крыжиками...), и будет ясно, что все мы прошли через эти собрания, обсуждения, и каждый из нас вспомнит, какими деловыми, щедрыми, заинтересованными были советы и наставления старших, опытных товарищей. И все мы разделимся (в какой-то мере) на учеников Константина Мурзиди, Ольги Марковой, Николая Куштума...

Нет, никогда не мешала творческой учебе, творческому труду остроумная шутка на наших писательских «четвергах». Вспомним добрым словом еще двух наших милых юмористов — Ефима Ружанского, Юрия Хазановича. И тут же отметим, как многим помогли они найти себя в нелегком писательском деле.

И Константин Мурзиди вовсе не был добреньким весельчаком. Многим запомнились его нелицеприятные выступления, резкие высказывания. Не было пощады графоманам. Но зато уж если заметит Мурзиди хоть крупицу «божьего дара» в человеке — будет биться над этим начинающим, поможет освободиться от груза ненужного, несвоего и выведет его «в люди», если, конечно, не ошибется в нем, если человек окажется достаточно одаренным и трудолюбивым.

И экспромты Мурзиди были не только добродушными, но и едкими, жалящими. Бывало и так: если уж подвернулись удачная мысль и рифма — не мог он удержаться даже в драматических ситуациях. А что делать? Буквально одолевали каламбуры, остроты этого человека.

Забегая вперед, скажу — очень аккуратный во всем, оставивший после себя много ненапечатанного при жизни, он, к сожалению, не записывал свои щедро раздаривае-

мые по любому поводу экспромты. Они живут сейчас в памяти каждого из нас порознь, известные одному и порой неведомые другому. Я знаю еще такое: «Одного Мурзиди ум заменил президиум». А в памяти, однако, прежде всего — глаза Константина Гавриловича, а в них — зарождение шутки. Сколько же их было, этих острот! Как жаль, что от них осталось лишь ощущение готовности (в любой момент, при любых обстоятельствах!) принять, оценить шутку и ответить на нее мгновенно, легко.

Константин Мурзиди одарил меня щедрой дружбой. И в этих воспоминаниях прежде всего хочется рассказать о нем как о человеке — трудолюбивом, отзывчивом, всегда проявляющем интерес к другому человеку.

И все-таки сначала немного о его творчестве.

Я всегда с уважением относилась к поэзии Константина Гавриловича — за ее добротность, целеустремленность, простоту. Никакой «зауми». Все на зримых деталях. Прочтите его «Письмо». Стихотворение даже трудно цитировать, оно прямо литое. Все там точно, как отрублено, на одном дыхании.

...За столько миль письмо меня нашло,
И понял я по всем его приметам,
Как иногда в походах тяжело,
Хотя в письме не сказано об этом.

Люблю лирику Мурзиди — простую, трепетную, целомудренную. О женщине и матери там — с низким поклоном и удивлением.

А как рассказано о матери, бегущей по полю с мертвым ребенком на руках и вдруг увидевшей другого маленького, который плакал, «прижавшись к матери убитой...»

Остановясь, порывисто дыша,
Она, не проронив ни слова,
Оставила родного малыша
И, торопясь, взяла чужого.
О чем тогда подумала она?
О новых войнах?
Об отчизне?
Не все ль равно!
Она была сильна,
У смерти вырвав каплю жизни.

Урал и война! Буквально «спеклись» в поэзии Мурзиди две эти темы:

Всю ненависть души своей могучей
Вложил он в труд, и ярче
с каждым днем
Пылает пламя ненависти
жгучей:
Оружье закаляется на нем.

Не буду цитировать, это можно делать до бесконечности — передо мной сборники стихов Мурзиди. И когда я перечитала их, снова удивилась, вспомнив: ведь он по рождению не уралец! Но именно он, приехавший на Урал с берегов Черного моря, с такой любовью, так преданно и достойно воспел наш рабочий край — его мастеровых людей, богатства, природу, его доброту и силу.

Я не считаю, что должна в этих воспоминаниях заниматься разбором творчества Мурзиди, давать свои оценки — это еще в военные и послевоенные годы сделали такие литераторы, как Михаил Светлов, Илья Сельвинский и многие другие. Они по достоинству оценили поэзию Константина Мурзиди и сказали об этом, не боясь высоких слов. И вот что интересно: мы благодарны Константину Гавриловичу за преданность уральской теме, а Михаил Светлов считал, что голос Мурзиди может и должен звучать шире (что и свершилось позднее). В рецензии Светлова была высказана такая мысль (я не цитирую, а лишь пересказываю ее): надо бы выдающимся поэтам нашей страны потесниться и поставить в ряд с собой поэта Константина Мурзиди.

Это Костя Мурзиди в конце тридцатых годов устроил моего жениха Бориса Долинова в железнодорожную газету «Путевка», где работал сам сначала корреспондентом, затем ответственным секретарем. (Такой же путь пройдет здесь и Борис.)

Удивляюсь и завидую людям, которым стоит прищуриться и, пожалуйста! — всплывает у них в памяти любая дата, а с ней и событие, порой вовсе не выдающееся. А мне, чтобы вспомнить, когда что произошло, нужны обстоятельства и довольно яркие.

...1 июня 1938 года я приехала со своего Уралмаша к управлению дороги, чтобы идти с Борей в загс. Он спустился ко мне по широким серым ступеням, на ходу спрашивая, не забыла ли я паспорт.

Я забыла его...

Минут через двадцать Боря, Костя и я сидели и обедали в управленческой столовой. Боже мой, с чем только не срифмовал меня Мурзиди в этот злополучный день! Уже заговорит о другом, но стоит его веселым глазам наткнуться на меня — палец вверх и — пошли рифмы на «паспорт», на «загс», на «Евгению», на «невесту»...

...А домой к Константину Мурзиди я впервые пришла с Борей летом 1939 года. Обстоятельство, чтобы точно запомнить это, было существенным — мы с Борисом ждали Танечку. («Танечку!» — хором заказал мне дружный коллектив областной пионерской газеты «Всходы коммуны», куда я только что поступила литсотрудником.)

— Вот и гости, Нинушка!

Из маленькой кухоньки коммунальной квартиры вышла цветущая голубоглазая женщина. Приветливо поздоровавшись, пригласила нас в комнату, а сама с полотенцем на плече — снова в кухню: мы были гости званые, хозяйка готовилась принять нас.

Как уютно, как хорошо было в комнате! Этажерка сплошь забита книгами. Довольно высокий и широкий столбик из них, укутанный в газеты, прикрытый вышитой белой салфеткой, выполнял роль тумбочки возле детской кроватки — на нем стояла лампа-ночник. Чтобы было просторнее, все лишние (да и не только лишние) вещи хранились в чемоданах, а чемоданы — один на другом, а на них белоснежная строченая скатерть — составляли туалетный столик с зеркалом, с пудрой, духами. Нинин. (Мы сразу стали звать ее так.)

Пока она заканчивала в кухне с обедом (оттуда уже неслись невероятно вкусные запахи), Костя показывал нам свой стол, недавно купленный Ниной на толкучке.

Очень хороший стол! Не старый еще, обтянутый темным, не так уж сильно стершимся дерматином. С выдвижным ящиком, в котором Костя уже разложил папки со стихами и бумагой. Возле стены на столешнице плотным рядочком встали книжки, самые нужные для работы. Протянуть руку — и тут они. Слева в высокой баночке — остро наточенные цветные и простые карандаши. Чернильный прибор из уральского серого камня. И лампа с абажуром, подаренная коллективом редакции.

Костя зажег ее, чтобы мы лучше видели, какой это замечательный стол. Это все равно, что вторая комната. Это, считайте, кабинет. Костя теперь сидит и пишет стихи до глубокой ночи. И никому не мешает, потому что и лам-

21 Заказ 133

па очень удачная — свет круглым пятном падает только на бумагу — вот, посмотрите.

Костя садится, показывает, как отлично обстоят теперь у него дела с работой (раньше он писал на том, из чемоданов). И мы с Борей тоже поочередно сидим за Костиным столом и вслух мечтаем, что и у нас когда-нибудь будет такой же. И еще, первым делом, купим книжный шкаф.

О шкафе мечтает и Костя, он безуспешно ищет глазами местечко для него.

— Ничего, найдется,— сам же и говорит бодро,— был бы шкаф, а место для него всегда найдется.

Опять забегая вперед, скажу: первый книжный шкаф появился у поэта Константина Мурзиди много лет спустя, когда ему «вырешили» вторую комнату в той же коммунальной квартире.

Боря уже не видел шкафа, а я знаю про него все, и даже больше, чем знал Костя.

...На железной дороге для этого шкафа был выписан материал. В Костином дворе (давно уже моем) в подвале магазина № 5 (по улице Челюскинцев, наискосок от управления дороги) эти доски, с разрешения сторожа, сохли. Костя часто ходил в подвал, переворачивал их, ощупывал нетерпеливо, потому что уже нашелся мастер, который будет делать из них шкаф (тот самый человек, что смастерил превосходные шкафы для Свердлгиза).

Шкаф сделали. Там же, в подвале. С разрешения сторожа. Два метра в высоту и еще больше в длину (я-то знаю!). Три дверцы вверху из мелких стекол в округлых деревянных рамочках — раздвигаются, заходят одна за другую. Нижние — фанерные, тоже «ходят» в узких пазах. И полки глубокие, несгибаемые — для книг в два ряда.

Старожилы двора, возможно, помнят, как тащили шкаф из подвала к подъезду (помощников оказалось сколько угодно!), как вдруг поняли — подъезд мал, узок! И хотя шкаф состоял из двух частей, как только ухитрились повернуть его на такой лестничной площадке и — уж вовсе невероятно — втиснуть в маленький коридорчик, а потом и в дверь Костиной комнаты, чудесно и мгновенно превратившейся (так ненадолго!..) в его кабинет.

В 1951 году Константин Мурзиди уехал в Москву, через два года туда же перебралась семья (Нина и две дочки — Светлана и Виктория), а в квартире, вернее в двух комнатах Мурзиди, поселилась Ольга Ивановна Маркова.

Шкаф остался у нее. Служил ей долго и верно, с трудом «переехал» с ней сначала на одну, потом на другую квартиру — на главную линию нашего Свердловска — улицу Ленина. Но пришло время, и оттуда он вернулся на свою родину, в тот же двор, только в другой, мой, дом, на пятый этаж.

Об этом Костя знал и улыбался чуть грустно, оглядывая свои полные книг московские шкафы, свой обширный, вместительный, с ящиками и тумбами письменный стол. Роскошь не пришла к Константину Мурзиди — ни он, ни жена его Нина Протолеоновна никогда и не стремились к ней. Те же простенькие вещи, купленные еще в Свердловске — круглый обеденный стол, наивный светлый буфетик с толстыми стеклышками. Вот только пианино (для дочек), шкафы и стол.

— И так уж думал — что не смогу работать,— признался мне однажды Константин Гаврилович.— Хоть ставь чемодан на чемодан, как когда-то в Свердловске, закрывай их газетой и пиши...

Недавно шкаф «стал жить» у Елены Евгеньевны Хоринской (об этом уже не расскажешь Косте). Муж ее бережно перестроил его, заново почистил, покрыл лаком и — не нарадуется Елена Евгеньевна крепости, надежности полок старого шкафа. Но дело, конечно же, не в этом. Просто мы помним: он — Костин. И не хотим, чтобы попадал в чужие руки...

Как далеко ушла я от того вкусного обеда, которым угощала нас с Борей отличная хозяйка Нина Мурзиди летом 1939 года. У нее милая привычка хвалить то, чем угощает:

— Ешьте, ребята, этот салат, он очень вкусный!

— Женя, Боря, положите себе рыбки — она просто замечательная!

И голос у Нины таинственный, заговорщицкий, переходящий почти на шепот — будто спит кто-то в комнате. И сейчас такой же. И я думаю это оттого, что всю жизнь она оберегала Костю, боялась помешать ему — он сидел над своими стихами всегда где-то рядом с ней. В Москве вторую комнату заняли подрастающие девочки, кабинета как такового у Кости опять не было.

А в тот далекий летний день он ни с чем не «рифмовал» меня, но часто поглядывал с ласковым удивлением. Налив вина, чокнулся с Ниной и Борей, а мне сказал, улыбаясь:

— За Танечку!

Война. Боря с Сашей Савчуком добровольцами ушли на фронт. Теперь они военные журналисты. Газета «Всходы коммуны» закрылась из-за нехватки бумаги. Костя пытается устроить меня в «Путевку», но места пока нет. Я нахожу работу в ближнем проулке на одном из эвакуированных заводов. Работаю в охране по шестнадцать часов в сутки: два часа на морозе с винтовкой за плечом, два часа отдыха в комендантской. Кормят хорошо (по тому времени). В кулечках уношу все, что можно, Танечке — она в интернатном садике. Погиб на войне мой брат Виктор, заболевает мама, тяжко пережившая эту утрату.

В Союз писателей не хожу, в военный период он почти не существовал для меня.

Но Костя был всегда рядом. К нему бежала я с письмом от Бориса, ему рассказывала о своей работе, о том, как быстрее всех сумела зарядить и разрядить пистолет во время учебы.

С большим интересом и любопытством смотрел на меня тогда Костя. Слушал не перебивая, а потом еще и вопросы задавал, хотел знать малейшие подробности о моей новой работе. Думаю, с трудом мог он представить меня в тулупе, в огромных валенках, а главное — с винтовкой, ночью, на морозе! Знаю, что в Союзе он шутил:

— Боюсь ходить по Красному переулку мимо завода. Вдруг да Женя Долинова пульнет в меня из-под ворот!

Раза два мы вместе с Ниной ездили на толкучку. Работая учительницей и завучем, она ухитрялась ночами шить и вышивать кофточки — руки у нее золотые. И вот она меняла на хлеб такую кофточку, а я полпачки ароматного табака «Ява», присланного Борисом вместе с поломанными печенинками, сухариками и кусочками сахара-рафинада.

Борис стал вместе с письмами присылать листовки, которые выпускала помимо газеты их фронтовая редакция. Листовки выходили одна за другой.

«Через пять часов здесь должен пройти первый поезд!»

И назывались имена тех, кто, не жалея сил, бьется за это, восстанавливает разрушенный немцами мост.

«Через четыре часа здесь должен пройти первый поезд!»

И снова о тех, кто, не думая о своей жизни, работает без сна и покоя.

Кажется, была или уж о том рассказал, вернувшись (очень больным...), Борис, и листовка, полная ликования:

«Точно по намеченному графику здесь прошел первый поезд! Ура!»

Мы подолгу рассматривали с Костей эти листы, пахнувшие родной нам типографской краской. И говорили-говорили о Борисе и Саше Савчуке, старались представить — как они там? И Костя читал мне свои еще «горячие» стихи о войне и об Урале, где куется победа над врагом. Стихи эти сейчас не помню, но знаю, что в областной газете и в «Путевке» они печатались очень часто. Номера «Уральского рабочего» то и дело выходили под боевыми, горячими, энергичными «шапками» Константина Мурзиди, в которых он славил труд уральцев, призывал их к новым подвигам во имя победы.

Не отступим нигде —
И почетное имя уральца
Станет именем тех,
Кто в сраженьях не прятал лица...
Если шел на врага —
До победы решительно дрался,
Если клятву давал —
Был ей верен во всем, до конца!

1945 год. Эту дату не забудешь. Уже нет войны, нет Бори, нет Саши Савчука, Славы Занадворова и многих-многих других... Теперь уже я работаю в дорожной газете «Путевка». Пришла сюда в конце 1944 года, после того, как ушел из нее тяжело больной Борис. Костя расстался с газетой раньше. Теперь он только на «творческой», за тем своим столом (но еще без того шкафа)...

В этом году я узнала многих писателей — Ликстанова, Маркову, Хазановича. Снова встретилась с Николаем Куштумом, с милым Андреем Степановичем Ладейщиковым (очень любившим Бориса, а уж заодно и меня).

Я читала в Союзе писателей несколько глав из Бориной повести «Дружба». Сам он лежал дома с высокой температурой. Я не могла записывать все то доброе, что говорили товарищи о немногих, но таких светлых, наполненных любовью к людям и жизни страницах. Записи делал Константин Мурзиди.

Потом мы вместе рассказывали Борису, как прошло обсуждение.

Я помню — почти все писатели пришли в сентябре сорок пятого в Дом культуры железнодорожников проводить Борю. Стояли в почетном карауле.

Еще Боря не раз советовал, чтобы я попробовала писать стихи для детей. За ним это же стал упорно твердить Костя — он читал то, что было напечатано у меня в газете «Всходы коммуны». И я пыталась, но после смерти Бори все отошло куда-то. Росла Танечка, болела мама, да и работа в «Путевке» забирала все мысли и время.

Но вот пришел 1947 год — он тоже останется в памяти. В январе я неожиданно для себя написала сразу шесть стихотворений, а в декабре в Свердловском издательстве вышла моя первая книжка «Узелок», в которую вошли уже одиннадцать стихов.

Помню обсуждение под буревестником моей рукописи. Помню искреннее недоумение Андрея Степановича Ладейщикова: «Да как же так? Я давно знаком с Женей, но не знал, что она пишет стихи. И скажи, пожалуйста, Женя, я не понял: где нужно было завязать узелок — на ниточке или на платочке?» (это он о стихотворении «Узелок», давшем название сборничку).

Когда книжка вышла, я подарила ее Андрею Степановичу с такой надписью:

Помните, в апреле
Я стихи читала?
Многое тогда вам
Было невдомек...
Ну, теперь понятно,
Где я завязала
Этот самый первый
Скромный узелок?

И помню лицо Кости Мурзиди на том, моем первом обсуждении: довольное, светлое. Будто это ему сказали сейчас слова напутствия поэты Елена Хоринская, Ефим Ружанский, Коля Куштум, Белла Дижур...

Он всегда умел радоваться успехам других.

А в моем случае... Я даже не знаю, когда бы это все было, если бы не Константин Мурзиди. Тогда, в январе, я залпом прочитала ему по телефону свои стихи. Он не говорил долго, просил ждать звонка. И вскоре позвонил:

— Сейчас же иди в издательство к Клавдии Васильевне Рождественской. Она ждет тебя.

И все пошло так стремительно, что в это трудно поверить. Клавдия Васильевна прочитала стихи и тут же позвонила кому-то. Вскоре пришла женщина, розовощекая, голубоглазая, веселая,— художница Екатерина Владимировна Гилева (впоследствии она иллюстрировала подряд

несколько моих книжек). А я вернулась к себе в редакцию с договором в руках. Радости не было. Были недоумение и страх: а вдруг больше не напишу ни строчки?

В декабре, когда книжка вышла, мы с Костей, как экскурсанты, ходили по нашему магазину № 5 и разглядывали все, что так волшебно появилось в витринах буквально за одну ночь — масло, сахар, колбаса... Без карточек!

Денег у нас еще не было, мы получим их завтра (у Кости тоже вышла книжка), получим в десять раз меньше (объявлена денежная реформа), но какое счастье, как много всего! («Мама, когда кончится война, мы купим с тобой вон те конфетки?») Приведу завтра сюда Танечку, пусть сама выберет все, что захочет. Накормлю их с мамой вкусно, досыта!

«Моя подружка» — Костя Мурзиди, видя такое ликование, радовался не меньше меня:

— А кто т-тебя, дурочку, надоумил? — широко улыбаясь, потрясал он надо мной указательным пальцем...

Пораженная, думаю сейчас: разница-то в годах у нас совсем небольшая. Как же получилось, что он был чуть не отцом родным!

— Костик всегда выглядел на 7—8 лет старше своего возраста,— сказала мне Нина.

Да, наверное, особенно когда пополнел. Это — внешне. А душа внутри жила отдельной жизнью, и иногда прорывалось наружу совсем юное, мальчишеское. Ведь было же: вызванный мной раным-рано по телефону известный уральский поэт Константин Мурзиди спешил в скверик к управлению дороги, а я нетерпеливо следила, как он, прихрамывая, переходит через трамвайные рельсы — я еле дождалась утра, мне необходимо было немедленно, сию секунду сообщить ему свои «секреты»...

Однажды я плакала у него дома до тех пор, пока не кончились слезы. А он только гладил меня по голове, не говоря ни слова... По дикому, страшному недоразумению я пять дней ехала из Фрунзе с сознанием, что или мамы, или Танечки у меня больше нет. Я еле дотащилась с вокзала к Косте.

— Женя, ты из отпуска или ты из больницы?..

Узнал, в чем дело,— и тут же:

— Женя, Женя! Танечка только что прибегала ко мне за ключом. Они сегодня благополучно приехали с бабушкой домой!..

И дал мне выплакаться.

Спасибо ему за эту дружбу. Спасибо Нине. Она так все правильно понимала: «Костик, к тебе Женя!»

На моем первом «Узелке» я написала ему не очень хорошие стихи, гораздо лучше должна я была написать своему другу, такому заботливому и верному. Извиняет лишь экспромтность моих тогдашних надписей.

Ты ругал меня три года,
И вот — книжка вышла вдруг,
Я верна тебе до гроба,
Мой наставник и мой друг.
Если б так по-зверски много
В день работать научил,—
То тогда бы и за гробом
Мою верность получил.

Увы! Он не научил меня работать так много, как работал сам. Этому не научишь. Но верность нашей дружбе, проверенной войной, окрашенной еще и светлым присутствием Бори, я сохраню до конца.

На этом хотела закончить свои воспоминания.

Но вот я в Москве, сижу за его столом...

Я знала, что он работал очень много, знали об этом и другие.

Но все-таки я не думала, что т а к много... Когда успевал? Ведь почти не был на творческой. Редакция, поэтические секции; в Москве — приемная комиссия и уйма молодых авторов, и здесь, и в Свердловске, которым он никогда не отказывал в помощи... Сколько рецензий написано на чужие книги и рукописи — это целый сборник статей с мыслями и заботами о нашей литературе.

В одном из ящиков письменного стола — четыре его небольшие повести. Рядом неопубликованный, неизвестный нам роман об Урале; еще роман в стихах — тысяча шестьсот строк! Разглядываю толстые тетрадки, исписанные неразборчивым бисерным почерком — их много. Перебираю машинописные страницы рукописей. Стихи, статьи, проза. И это все кроме того, сверх того, что было им напечатано при жизни. Когда успевал? Где брал силы?

Мало иметь писателю хорошую жену,
Надо иметь писателю хорошую вдову...

Эти строки Николая Доризо, посвященные другой женщине, другой вдове, в полной мере относятся и к Нине

Протолеоновне Мурзиди. С великим уважением и пониманием относясь к нелегкому писательскому труду, она всю жизнь, как могла, оберегала мужа от житейских забот. Благодаря ее памяти, ее любви и стараниям до сих пор, спустя полтора десятилетия после смерти поэта, появляются в печати неизвестные нам стихи Константина Мурзиди. Это она, с лупой, разбирает долгими вечерами бисерные строки, перепечатывает на машинке, показывает друзьям-поэтам.

Книжка «Последняя затесь», любовно составленная Ниной Протолеоновной и поэтом Марком Лисянским, вобрала в себя много нового, неизвестного. Уже после смерти Константина Гавриловича вышла им еще подготовленная повесть «Земля первой любви».

А сколько было задумано! Вижу отдельным пакетом перевязанные листы, записные книжки, какие-то брошюрки — хотел писать продолжение повести «Минувшим летом» (северодвинские зарисовки, которые мне тоже очень нравятся). А это что? Потемневшие уже, скрепленные вырезки из газет шестидесятых годов и в заголовках всюду «Лес...», «Лесная...», «О лесе...». Заботился и этим, хотел писать...

Есть в просторном столе ящик, который Нина Протолеоновна еще не открывала («Боюсь!..») — там письма. Прочитанные, подобранные: его письмо — ответ Нины на него. Письмо — ответ...

— Напишу, Нинушка, роман о любви.

И все это не пустые обещания — так, к слову,— не просто задумки, пришедшие в голову на досуге,— это уже заготовки, работа, работа...

Думаю: как же случилось, что так немыслимо много написано и, похоже, так и не предложено никуда в свое время?

Ответ близко, до него не нужно докапываться — на столе передо мной листы, на них густо перечеркнутые строки и сверху — бисером — новые, совсем другие...На всем написанном должен был еще остановиться взыскательный, требовательный взгляд автора. Вот тут-то, наверно, и не хватало двадцати четырех часов в сутки, потому что ум и сердце подбрасывали новое, трепетное, главное, и надо было принять это и нанести на белый, никогда не сходящий со стола лист бумаги.

Письменный стол Константина Мурзиди остается рабочим. Будто встал поэт и вышел перекусить, отдохнуть

минутку. Все на столе так, как он оставил... Справа — его пишущая машинка. Она не перестает трудиться.

А из маленькой светлой рамки смотрит на меня совсем необыкновенный, не очень знакомый мне Константин Мурзиди. Трудно описать выражение его лица. Тут все — и мурзидиевская ирония, и затаившаяся печаль (был уже нездоров), не то улыбка, не то гримаса, а в ней что-то и снисходительное, и беспомощное...

Это дочь сфотографировала отца. А он, видимо, не хотел — он работал.

Вот одно из множества стихотворений, оставленных для нас поэтом в письменном столе:

Мы не верим друг другу пока,
И у каждого что-то осталось
Недосказанным... Издалека
Не такой эта встреча казалась.

И опять я проститься спешу,
От смущения вас избавляю,
Все плохое с собой уношу,
Все хорошее вам оставляю.

М. Найдич

ПРАВОФЛАНГОВЫЙ

Как-то в один из своих приездов в Свердловск Павел Григорьевич Антокольский, находясь в настроении добром и улыбчивом, рассказывал, что, прочитав книгу одного известного поэта, незнакомого, однако, визуально, он представил его внешне таким-то и таким-то.

— А когда мне стали попадаться в журналах стихи за подписью Мурзиди,— добавил он, чуть наклонясь к Константину Гавриловичу, но не снижая голоса,— мне подумалось, что их автор этакий рафинированный интеллигент... с бородкой...

В те годы, надо сказать, редко кто из мужчин отваживался отращивать сие украшение: до «новаторства» дело еще не дошло, борода считалась пережитком.

Поглаживая свой гладко выбритый, начинающий полнеть подбородок, Мурзиди, почему-то смутившись, ответил Антокольскому:

— Что же, вам в-виднее.

Помню, слова Павла Григорьевича меня удивили. И в то же время в них был какой-то толчок, приглашение подумать. Мурзиди общепризнанно считался певцом индустриального Урала, всецело подчинявшим свое перо рабочей теме. Оно-то так. Но менее всего походил он на простецкого рубаху-парня, всем своим видом говорящего: «Мы — работяги!» (Дескать, мы единственные!) И много в нем действительно было интеллигентного... Сходились ли тут концы с концами? Еще тогда захотелось мысленно окинуть жизненный, творческий путь писателя...

Землей его первой любви было Причерноморье со всеми его красками, запахами, темпераментным многоголосьем юга; там, в Новороссийске, он опубликовал первое стихотворение. Вскоре 18-летнего юношу властно потянули к себе суровые, но романтические зарницы пятилетки. Он душой почувствовал, где передний край, и тогда же, в 1932 году, приехал в Магнитогорск, побратавшись навеки со славным рабочим краем.

Магнитогорск встретил начинающего поэта и журналиста Костю Мурзиди грохотом работ, шумом, подчас неразберихой, сквозь которые явственно прорисовывалось богатство людских характеров. Эпитет «творческий» по отношению к слову «труд» — стал для него с того времени не механическим, не бездоказательно-поверхностным, а глубинным, корневым. Он выражал суть нового мира.

Там подружился Мурзиди с Ярославом Смеляковым, с поэтами-уральцами Борисом Ручьевым, Николаем Куштумом. С последним его связали приятельские отношения на долгие годы. Мурзиди, для которого слово никогда не становилось предметом жонглирования, любил Куштума за искренность, чистоту речи. Но это разные поэты. И они не просто дружили, а порою, в чем-то споря, как бы дополняли друг друга.

Первая книжка Константина Мурзиди вышла за три года до начала войны. Если говорить о лучших вещах того периода, легко заметить индивидуальность авторского почерка. Достаточно вспомнить стихотворение «Письмо».

Письмо его написано в пути,
Оно сквозит любовью неподкупной...
То мелко, неразборчиво почти,
То чересчур размашисто и крупно
Ложились на листочке небольшом
Строка к строке — и все с наклоном разным.
Две первых строчки написал он красным,
Другие две — простым карандашом,
Последние — чернилами, с нажимом,
Не сбившись, запятой не пропустив,
Как пишут на предмете недвижимом,
На возвышенье локоть утвердив.
Что было тем устойчивым предметом?
Дорожный камень, ящик иль седло?
За столько миль письмо меня нашло,
И понял я по всем его приметам,
Как иногда в походе тяжело!
Хотя в письме не сказано об этом.

Еще три десятилетия назад Михаил Аркадьевич Светлов, цитируя «Письмо», заявил: «Очень трудно определить качество настоящего стихотворения. Поэт, мне кажется, определяет поэта по чувству зависти — почему не я написал это стихотворение? Я завидую Константину Мурзиди».

Да, так сказал тогда Светлов в «Литературной газете». Разумеется, здесь и полемическая запальчивость, да и

сама «зависть» — особого рода: зависть не чиновника, а лирика.

Сегодня хочется вернуться к этому произведению не для того, чтобы напомнить об авторитетном высказывании, хотя и оно, на мой взгляд, не лишнее. Прежде всего хочется немного ввести читателя в лабораторию поэта, в его мастерскую. Ведь на этом давнем стихотворении видно, как Мурзиди умел разрабатывать лирическую тему — умел анализировать и описывать движение души человека. Здесь и чуткость, и тонкость письма. И целая гамма чувств и мыслей, со всей щедрой окраской и богатыми нюансами. И еще одно, чрезвычайно важное: понимание того, что даже самая интересная, острая мысль хороша в лирике лишь в том случае, когда взлетает на высокой волне эмоций. Двуединый сплав мысли и чувства, своеобразная вольтова дуга — только так!

...Месяцы, годы кропотливой профессиональной работы в литературе. Лирика, первые поэмы, проба пера в прозаических жанрах: роман, очерки, рассказы. В Свердловске и в Москве выходит книга за книгой. Вот уже кого нельзя было назвать литературным прогульщиком! В военные и послевоенные годы К. Мурзиди безусловно был правофланговым в уральской поэзии.

Тему труда, родного края Мурзиди никогда не заземлял, не ограничивал искусственно. Наоборот, он всячески выводил свои «чисто уральские» стихи на оперативный простор — и они звучали широко, дышали полной грудью, ничуть не стесняясь географических рамок, а как бы гордясь ими.

Вы заметили эту особенность уральского апреля? Какое обилие солнечных дней! Это потом, в мае, и снежок может повалить, и резкий, холодный ветер ударить. В апреле же чаще всего теплынь, благодать. Сидим мы в один из таких дней за столиком, на Пушкинской, в старом писательском доме, в создании которого принимал участие еще Борис Горбатов. Сидим и читаем стихи. Точнее, мы с Мурзиди слушаем, а читает один молодой актер. Тут и вещи раннего Тихонова, и Виссариона Саянова, и Николая Панова (подписанные еще псевдонимом Д. Туманный).

Угадывая автора, я частенько ошибаюсь. Мурзиди не сердится, лишь поглядывает снисходительно искоса.

Потом вдвоем выходим на улицу. Вечереет. Звонят трамваи. Белесая дымка над городом слегка затягивает синеву неба. Внезапно мой спутник хмурится и говорит:

— Понимаете, понравились мне стихи дальневосточника Петра Комарова... Слыхали о таком?

— А то как же! — хвастаюсь я и цитирую:— «Бездонные топи. Озера. Болота. Зеленая, желтая, рыжая мгла. Здесь даже летать никому неохота. А как же пехота все это прошла?..»

— Н-да,— печально говорит Мурзиди.— Хотел написать ему в прошлом году письмо. Поленился. Потом сообщение: умер...

Некоторое время шагаем молча. Думаю: «А! Была не была, скажу!» А сам все не решаюсь: как-никак десять лет разницы, он — известный поэт, я — начинающий. И все же начинаю говорить о том, что во многих его стихах, особенно последних, многовато сухого, рассудочного, попросту прозаизмов, а рядом с великолепными рифмами — бесстрастные глагольные...

Он сразу же заговорил. Да как! В чем-то он, видать, и сам сомневался, но позиции свои защищал с блеском и горячей убежденностью.

— Я считаю,— заключил он,— что наша поэзия должна во многом оплодотвориться от прозы.

— От прозы? — переспрашиваю я.— Вы имеете в виду сюжетность, событийность? Ну еще, наверное, лепку характеров. Так? Но ведь не лексику, не язык!

Мурзиди не ответил мне прямо. Но продолжал:

— Что же касается рифмы, то... знаете, Миша, вот, например, рифмы «свищет — ищет», «скрипит — бежит» хороши, по-вашему?

Отвечаю не задумываясь:

— Нет, конечно! Ну, первая из них — там хоть глаголы близки по созвучию, а «скрипит — бежит» просто ужас!

— Так, так, а ведь смогли же заблестеть и эти рифмы! Смогли же стать классикой! — улыбается Мурзиди, и я начинаю чувствовать, что «попался», еще не понимая, как и в чем.

— Не припоминаете? Ну-ну! — он продолжает слегка дразнить меня.

И тут, как говорится, меня осенило. Господи! Ведь пришел же в литературу молодой поэт в форме поручика Тенгинского полка, ведь сказал же:

Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит...
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

Потрясенный этим «открытием», говорю запальчиво:

— Об одной этой строфе можно статью написать!

— Напишите, напишите,— улыбается он. И уже серьезнее:— А что! Попробуйте написать!

Никакой статьи я, конечно, не написал. А стоило! Ведь в этой строфе происходит любопытная вещь! Строго говоря, слова «скрипит» и «бежит» тут... не рифмуются (если понимать рифму так, как учил Маяковский, то есть имея в виду не только звуковое сочетание, но и смысловое). По смыслу здесь сочетаются другие глаголы: «ищет — бежит». И в силу контрастности («он счастия не ищет и не от счастия бежит») слово «бежит» оказывается неразрывно слитым со словом «ищет» и напрочь оторванным от «скрипит», которое уже осталось где-то далеко позади; оно в сознании читателя заглушается более сильными по смыслу, по накалу последующими строками...

Этот вечер мне запомнился надолго. Я на всю жизнь понял: нельзя судить о рифмах, прикрыв ладонью весь текст и оставляя лишь концевые слова в строке. Надо знать стихи в целом. Этому научил меня Константин Гаврилович Мурзиди.

Что же касается обилия прозаизмов в некоторых его стихах на рабочую тему, то и здесь мне бы хотелось предостеречь читателя от излишней поспешности в оценках. Тема труда — не парфюмерия. А если к тому же в центре произведения стоит человек, изображаемый не на отдыхе, не на курорте, а у станка или прокатного стана,— попробуйте-ка здесь обойтись без того, что мы порой презрительно называем прозой. Тут и грохот кузнечного цеха, и копоть на лицах, и запах пота. Проза! Но учтите и то, что мы называем сопроматом. «Сопротивление материала», традиционно поэтического, в таких стихах куда как сильнее!

Хуже, очевидно, было то, что кое-где в стихах Константина Мурзиди чувство по-настоящему не закипало — оставалось преобладание средних температур. «Широкоплечий, мужественный, крепкий, смотрел он на огонь из-под руки. Под козырьком его потертой кепки поблескивали синие очки»,— это о сталеваре. «А в забое от крепких рук брызги каменные вокруг. Даже пыль, что на них легла,

рудокопу к лицу была»,— это о горняке. Я взял далеко не слабое, просто среднее. О таких строках говорят: «Ничего... так...»

Но вернемся к статье М. Светлова. «Мурзиди действительно хороший поэт,— писал он. И сетуя, что ни в одной тогдашней поэтической антологии или статье о достижениях советской поэзии Мурзиди нет, возмущался: — Почему? Разве для этого надо жить только в Москве или в Ленинграде? Или, быть может, список популярных поэтов незыблем и его нельзя раздвинуть, чтобы вставить имя еще одного поэта?»

Что же было дальше?.. Раздвинули! Вставили! Стихи К. Мурзиди стали неизменно включаться в антологии, представительные поэтические сборники. Но, к сожалению, отбиралось для них не всегда лучшее. Вероятно, редакторы и составители рассуждали так: «Поэт с Урала? Пусть, дескать, и представляет стихи лишь о рабочем классе: тут ему и карты в руки». А многие отличные мурзидиевские стихи иного плана при таком подходе выпадали из поля зрения широкого читателя. Составители словно не замечали, что эти произведения были продолжением магистральной линии в творчестве поэта.

К. Мурзиди был прежде всего мастером короткого поэтического рассказа. Вот, к примеру, «Невеста». Девчонка-недотрога держится как-то в стороне, одиноко, не в меру осмелевшим парням отвечает: «Я невеста!» Но, оказывается, никакого жениха у нее нет! И тут следует несколько неожиданная заключительная строфа:

Но в награду за все — за мечту ее давнюю
И за то ожиданье, которым живет,
Самый лучший солдат возвратится когда-нибудь
И невестой ее назовет.

А вот другое стихотворение — «На Альпах». Своеобразный поэтический рассказ об одном из походов Суворова. Эпизод взят весьма драматический. Чтобы перейти через горный пик, нужно избавиться от пушек — бросить их в провал. Нелегко такое сделать солдату. Особенно солдату-уральцу, который сам — своими собственными — отливал орудия. Но таков приказ! И лишь одну пушку разрешил полководец оставить на горе, «чтобы враг задаваться не стал!» И сразу — концовка:

Говорят, и доныне блестит на скале
В ясный полдень уральский металл.

Добротой, улыбкой автора пронизано стихотворение «Магнит-гора». Это психологически достоверный рассказ о деревенском пареньке, прибывшем на Магнитку скорее всего подзаработать. Чувствует он себя поначалу, как на временном жительстве: вот закончит строительство домны, мартена, тогда-то он и уедет. Но... «остался, а весною заново разлад: дай уж, думаю, дострою этот их прокат...» Какие чудесные строки! Характер человека, весь паренек — как на ладони. Нет, понимает читатель, никуда ты, брат, отсюда уже не уедешь. Так и есть:

Видно, сила по называнью
Есть у той горы.
А какая — я не знаю
И до сей поры...
На вершине в час заката
Сосны в янтаре.
Хорошо у нас, ребята,
На Магнит-горе.

Казалось бы, незначительный штришок «этот их прокат», а как он снимает всякую казенщину и плакатность, как очеловечивает стих!

Такие строки мог написать только мастер.

Люблю я читать и перечитывать стихотворение Мурзиди «Ребенок». Оно — о разладе, размолвке, может быть, о случайной ссоре. Идут двое. Молчат.

А мальчик на папу взглянул
С улыбкой, лукавой как будто,
Обоих к себе притянул
И волосы их перепутал.
Отец улыбнулся: — Терпи! —
И радостно мать засмеялась.
И сразу дорога в степи
Обоим тесней показалась.

Прочтите и подумайте: какой удивительный поэт жил с нами рядом!.. Люблю я очень стихотворения Мурзиди «Какое у правды лицо», «Строится дом».

Я говорил о лучших, на мой взгляд, стихах Константина Мурзиди. Но, увы, как правило, их не найдешь в антологиях. Разве что одна «Магнит-гора». В антологии, как я уже говорил, неизменно попадало, так сказать, «чисто уральское». Боже упаси, не хочу сказать, что это были стихи второго сорта. Нет, конечно, Мурзиди поистине уральский поэт; тема шла от дыхания, кровеносной системы. И все же нельзя, стремясь представить поэта луч-

22 Заказ 133

шими вещами, втискивать творчество в прокрустово ложе тематики, даже такой стержневой для нашей советской поэзии, как тема рабочего класса.

Однажды Л. Н. Толстой заметил, что браться за перо следует лишь в том случае, если вы чувствуете, что не писать не можете. Эту по-настоящему высокую мысль частенько одевают в различную словесную оболочку, по-всякому интерпретируя. Говорят, к примеру: «Можете не писать — не пишите». Или так: «Хочется писать, а ты потерпи, не хватайся за карандаш. Вот когда уж совсем невтерпеж, тогда и начинай».

Мурзиди считал, что существует немало литераторов, которые прикрывают толстовской цитатой свою полуработу.

— Писать надо постоянно,— говорил он.— И как можно больше!

Нет, он никогда не смеялся над словом «вдохновение» — этим старинным, книжным, приподнятым словом. Он считал только, что вдохновение скорее пожалует к тому, кто трудится, чем к бездельнику, праздно ожидающему его прихода...

— Ну а если все-таки не получается?

Он щурился, полузакрыв глаза. Словно видел перед собой свежий лист бумаги. По-утреннему чистый. Как заснеженное поле, где пока еще ни тропинки, ни следа.

— Тогда нужно,— говорил он улыбаясь,— написать какую-нибудь пустяковую, ничего не значащую фразу. Ну, Марья вышла за ворота и качнула ведрами.

Что он имел в виду? По-моему, одно-единственное. С нуля начинать трудно, тяжко. Надо написать одну строку или фразу. А там, глядишь, родится другая, присовокупится к ней. Чаще всего, конечно, первая, то есть случайная, строка не удерживается в тексте, вылетает. Ну и что! Отбрасывая ее как негодную, ты хоть на шаг, на полшага (это обязательно!) приблизишься к искомому. Видимо, смысл его шутки, доля правды — в этом.

...Когда с помощью Союза писателей я получил квартиру, Константин Гаврилович был рад за меня, однако предупредил:

— Не забывайте — лучшие стихи пишутся на подоконнике.

— Что? Как? — не понял я.

Он повторил:

— Не в просторной комнате за письменным столом, а на подоконнике.

Ах, вот что! Беспокойство, как бы молодой поэт не стал обрастать жирком.

— Когда я трудился в «Путевке»,— стал он вспоминать годы своей работы в железнодорожной газете,— то на моем секретарском столе всегда лежали начатые стихи и рядом макет очередного номера. При входе редактора макет всегда оказывался сверху.

— Поэт-подпольщик,— усмехался я и припомнил давний афоризм своих бывших учителей по университету: «Поэтом можешь ты не быть, но журналистом быть обязан». Иногда — если честно — этим не очень оригинальным выражением «вправляли мозги» начинающим поэтам — студентам отделения журналистики.

Много лет назад в Свердловске (а может, и не только здесь) возникла идея организовать соцсоревнование среди писателей. Нынче незачем гадать, насколько это вызывалось необходимостью и было оправданным. Заключили договора. Константину Мурзиди выпал жребий соревноваться с Ольгой Марковой. Это были достойные «соперники», крепкие бойцы. Трудолюбивые, убежденные, знающие себе цену. Ольга Ивановна как женщина — а значит, и существо более мягкое — в общем-то особого значения подобному соревнованию не придала: писатель и без того постоянно соревнуется, прежде всего с самим собой — со своими предыдущими вещами. Но прошло время — и Мурзиди напомнил ей, что пора проверить сделанное: как и что.

Нужно, конечно, знать Константина Гавриловича, чтобы понять, как он при этом внутренне улыбался. Нет, не формальная сторона дела привлекала его! Просто появился дополнительный повод провести «инспекторскую проверку» своим войскам — стихам и прозе.

Мурзиди был человеком, а не ангелом. В чем-то упрям, в чем-то просто неправ. К одному относился с прохладцей, к другому — преувеличенно нежно. К примеру, поэта Ефима Ружанского он иногда называл ласково — Юша. Из тогдашних молодых всячески выделял Юру Трифонова (возможно, потому, что Ю. Трифонов последовательнее других поэтов тянулся к рабочей теме). В своих оценках Мурзиди бывал пристрастным.

Вспоминаю давний разговор со своим университетским товарищем — тогда молодым литератором. Возвращаемся домой после очередного поэтического «четверга».

— А все-таки его суждениям не хватает беспристрастности,— говорит мой товарищ о Константине Гавриловиче.

Спорить всерьез не хотелось, решил отделаться шуткой, в которой, однако, немалая доля истины:

— Пристрастность — отличная вещь! Это только евнух беспристрастно проходит среди красавиц гарема.

Мой собеседник хмуро буркнул:

— Сам придумал?..

В уральской поэзии сегодня новые имена. Иногда говорят, другое время — другие песни, но... не подрубаем ли мы порой полезные и закономерно сложившиеся традиции? Часто ли говорим о поэтическом опыте Куштума, Мурзиди, других? Множество раз заводил я об этом разговор с молодыми! Молчат. Пожимают плечами. Как тот фонвизинский Митрофанушка, который бойкотировал географию на том основании, что есть на свете извозчики... Грустно. Вспоминаю запись из блокнота Ильи Ильфа: «Зачем мне любить свою бабушку? Она меня даже не родила».

А ведь сколько поучительного в стихах Мурзиди может (при желании, конечно) найти для себя молодой литератор!.. Сейчас много говорят и пишут о наставниках. Был ли Мурзиди таковым? Несомненно.

Совершенно уверен, уральским поэтам всех поколений (и не только им) полезно чувствовать себя как бы членами одного экипажа, по-настоящему беречь литературные традиции.

Как-то Мурзиди написал такие строки:

Все на мне гражданское надето,
Только все же, несмотря на это,
Там в полку, у нашего огня,
Берегите место для меня.

Радостно сознавать, что стихи талантливого поэта Константина Мурзиди продолжают по заслугам занимать свое место у негаснущего огня большой советской поэзии.

Е. Хоринская

НАШ ТОВАРИЩ ЕФИМ РУЖАНСКИЙ

Стоит только назвать это имя — и сразу вспоминаются шутки, эпиграммы, анекдоты, веселость и жизнелюбие. Ефим Ружанский... Невольно хочется сказать: ну, кто же его не помнит? И тут же понимаешь, что не помнят, вернее, не знают уже многие, что его нет с нами уже почти двадцать лет.

Так каким же он все-таки был?

...Суровые военные годы. Урал. Выступления в госпиталях, короткие строчки плакатов, тексты песен... Одним из «штабов» нашей работы был тогда Свердловский радиокомитет. Ежедневно с утра собирались там поэты и композиторы, слушали сводки Совинформбюро, тут же забирались куда-нибудь в угол и принимались за работу. Спорили, помогали друг другу, а через несколько часов в передаче звучали новые стихи и песни. Эти песни увозили с собой бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса, эти песни пелись между сменами в красных уголках заводов. И это было для нас самой высокой наградой.

В маленькой комнатке редакции литературного вещания бывало порой и холодно и голодно, но всегда многолюдно. Здесь согревало тепло крепкой дружбы, по-братски делились и хлеб и табак. Позже мы встретили здесь и День Победы.

«Начальником» этого своеобразного штаба был поэт Ефим Ружанский — жизнелюб, отличный организатор и чудесный товарищ. Трудно было поверить, что его совсем недавно в тяжелом состоянии вывезли из Ленинграда через Ладожское озеро по «дороге жизни»...

Родился Ефим Григорьевич Ружанский в ноябре 1910 года на Украине, в семье кузнеца.

После семилетней школы поступил хлопчик в профтехучилище. Окончив его, стал работать токарем на заводе «Смычка». Вскоре семья переехала в Ленинград. Там Ефим Ружанский работал и учился на заводе-втузе «Электрик», много читал и начал писать стихи.

Скоро в Гослитиздате вышел сборник молодых авторов под названием «Начало». В этом сборнике были опуб-

ликованы и стихи Ружанского. Тогда же он был принят в члены Ассоциации пролетарских писателей и стал слушателем вечернего рабочего литературного университета при Ленинградском отделении Коммунистической академии. Позже его приняли в аспирантуру Института речевой культуры. Но карьера литературоведа не прельщала поэта, его больше манила беспокойная профессия журналиста. И вот он уже работает в заводской газете «Электросила», переводит с украинского, составляет сборники, по заданиям редакций ездит то в Заполярье, то на Украину, то в Среднюю Азию...

Первый сборник стихов Ефима Ружанского на украинском языке «Сплошная лирика» был издан в Харькове в 1934 году. Через год появилась вторая книжка — «Поднимается песня». А третьему сборнику Ружанского — «Поэзия», вышедшему в 1940 году, суждено было стать последней его книгой, написанной на украинском.

Война застала поэта в Ленинграде. В народном ополчении держать не стали по состоянию здоровья. Начал сотрудничать в комсомольской газете «Смена», выезжал на фронт, выступал в госпиталях, ночами во время налетов дежурил на крыше. Потом работал в газете Ленинградского фронта «На страже Родины» до самого того момента, когда его, обессилевшего, вывезли из Ленинграда.

Так Ефим Ружанский стал уральцем. Но уральцем не только по прописке. Он горячо полюбил Урал, край величественной природы и героического труда, край прославленных умельцев.

Здесь начинается новый период творчества Ружанского — период основной и определяющий. В 1953 году выходит его первая книжка стихов для взрослых, написанная на русском языке,— «Горная тропа». Читатель встретил в этой книге полнокровные стихи об Урале и его людях, такие, как «Горная тропа», «Парашютный десант», «Вишневые горы», «На горе Высокой»... Именно об этих стихах тепло отозвался в статье «Товарищеский разговор» поэт Степан Щипачев.

Это — для взрослых. А юные уральцы, пионеры и школьники, хорошо знали Ружанского как детского писателя, знали его по книгам и многочисленным встречам. Больше двадцати книг написал он для детей.

И не только для уральских. Книжка «Умельцы» издана в переводе на украинский язык в Киеве, сказка «Авось и Как-Нибудь» переведена на румынский.

Творчество Ружанского пронизано, как солнечными нитями, бодростью, светом, жизнеутверждением. Пусть трудно порой приходится его лирическому герою — он никогда не сдается, он верит в победу.

С особой яркостью проявились эти черты в книжке стихов «Жить!». Более двух лет поэт был прикован к постели жестокой болезнью. И в самый тяжелый период борьбы за жизнь рождались сильные мужественные строки. Нельзя без волнения читать его стихотворение «Друзья»:

Зимним утром, когда
затихала уральская вьюга,
На носилках меня
в пассажирский внесли
самолет
Не носильщики, нет,
а четыре товарища-друга,
Что пришли проводить нас
в нелегкий полет.

Близкие друзья провожают поэта в неимоверно трудный для него рейс... До Ленинграда четыре посадки. Четыре! Мелькает тревожная мысль: «Долечу ли?» Скупой на слова летчик все понимает. И вот самолет приземляется на... Ленинградском аэродроме.

Оказалось, в пути
каждый раз перед тем, как
снижаться,
В порт радировал летчик
(незнакомый, а будто — родной):
— Разрешите, товарищ начальник,
не приземляться:
На борту самолета — больной...

Не только лиризмом, взволнованностью отличаются эти стихи поэта, но и возросшим мастерством. Недаром с такой теплотой встретили читатели книжку «Жить!», недаром так много писем приносила почта и в издательство, и непосредственно автору.

Он знал свою обреченность. И работал, работал упорно, напряженно, чтобы больше успеть. И ни одной жалобы. Он встречал нас всегда весело, приветливо, по-прежнему шутил и смеялся. Был он всегда чисто выбрит, в белоснежной рубашке, в парадных случаях — в украинской, вышитой руками жены.

Она, Анна Ружанская, жена поэта, была самым преданным другом и верным помощником мужа, а во время болезни стала его врачом и сиделкой, секретарем и редактором... Мы буквально поражались, как могла она в это время, поднимая троих детей, убирать до блеска квартиру, идеально ухаживать за больным и быть всегда подтянутой, нарядной, красивой. Только такой принимала она нас, когда мы приходили навещать Ефима. Потом, провожая гостей, она плакала на лестнице. Но здесь, в комнате, она держалась изумительно: смеялась, оживленно разговаривала, подхватывала шутки мужа. Это, самое трудное, она делала для него.

Особенно ярко помнится мне один из последних вечеров в доме Ружанских. Это было в конце лета шестидесятого года — последнего лета Ефима.

Возвращаясь из Сибири, в Свердловске собирался остановиться на денек поэт Александр Прокофьев. Он знал Ружанского по Ленинграду, а теперь, во время его болезни, делал все возможное, чтобы ему помочь. Ефим любил Александра Андреевича, даже стихи читал в «прокофьевской» манере, как многие поэты того поколения. Надо ли говорить, как хотелось ему повидать своего учителя и друга. Я прекрасно понимала, как трудно организовать такую встречу, когда у человека всего один день, а в городе есть и Уралмаш, и старый ВИЗ, и геологический музей, и еще многое, что следует посмотреть. И тем не менее вечером Александр Андреевич пришел к Ружанским вместе с сопровождавшим его молодым ленинградским литератором и нашим Борисом Ручьевым, тоже оказавшимся в Свердловске.

Ах, какой это был вечер! Сколько было прочитано стихов — и своих и чужих! Ефим и Александр Андреевич вспоминали Ленинград, ленинградских друзей-поэтов. Много смеялись, острили, даже пели. Засиделись до самого рассвета. Весь режим больного был нарушен, но Ефим не отпускал нас.

Осталось нам на память несколько снимков, которые я очень берегу...

Ефим горячо любил детей. Первый ребенок погиб, когда они пробивались из блокированного Ленинграда. Ефим очень хотел сына, но в Свердловске первой родилась девочка. Сын потом все-таки родился. Но перед этим семья Ружанских пополнилась еще одной девочкой, которая за неимением коляски спала в... корыте.

У меня сохранилась старая детская коляска, но еще первой военной зимой от нее «увели» колеса — осталась одна плетеная корзина. Но это все же лучше корыта. На дно вкладываю записку: «Корзина для хранения младенцев». И вот тащу через весь город эту огромную плетенку на улицу Февральской революции, где жили тогда Ружанские. Была у них одна комната, да и та не полностью принадлежала им: тут же помещалась соседка — какая-то больная женщина, за которой они ухаживали. Комната была перегорожена шкафами. Так вот именно в этой комнате проходили все наши самые веселые встречи и праздники, здесь мы встречали Новый год. Гостеприимные, веселые хозяева никогда не бывали одни. Шутки и анекдоты здесь сыпались, как из рога изобилия.

Когда стали жить лучше, получили квартиру, на столе вместо «пайковой» бутылки или разведенного спирта стало иногда появляться шампанское, Ефим часто острил, рифмуя свою фамилию с названием вина:

— Не хочу Ружанского, а хочу шампанского!

И как потом оказалось, он даже поминать себя завещал только шампанским. Видимо, очень уж по нраву ему было это искристое, жизнерадостное вино, олицетворяющее веселье.

Он никогда не преувеличивал своих заслуг — просто отдавал людям все, что мог. Именно это выражают его строки, которыми мне хочется закончить воспоминания о нашем друге Ефиме Ружанском:

Пишу я не в расчете на столетья.
Пускай мои стихи потонут в Лете,
Но только бы работали теперь,
Когда отважно труженики наши
Из рудников,
Лабораторий,
Пашен
В грядущий день
распахивают дверь!

М. Найдич

МЫ ПОЕМ ЕГО ПЕСНИ

Почти в каждом городе есть нечто свое, без чего и не представить город. В Одессе, например, знаменитая лестница, сбегающая к морю. В Красноярске — великолепный мост, переброшенный через бурный, ныне незамерзающий Енисей. Ну а старая, демидовских времен башня в Невьянске? Любой, кто попадает сюда впервые, обязательно спросит о ней у старожилов.

Но лицо города могут создать и книги, и песни, если только они настоящие (и значит, надолго)... Вот и тогда в середине пятидесятых, сперва осторожно, словно бы нащупывая тропинку, затем настойчиво, широко, размашисто застучалась в души тысячам свердловчан, сперва только им, песня, начинающаяся словами:

Вечер тихой песнею над рекой плывет,
Дальними зарницами светится завод...

Это было что-то новое. О заводе, случалось, певали и раньше, но, положа руку на сердце, не так уж часто, да и песни-то были разные... А вот припев — «Ой, рябина кудрявая, белые цветы...» — воспринимался как давно знакомое. Будто каждый выдохнул эти слова сам. Иллюзия простительная для многих и — не обидная для автора Михаила Пилипенко.

С того времени трудно представить Свердловск без этих слов, окрыленных музыкой; они так же привычны свердловчанам, как Городской пруд, площадь Пятого года и многое другое.

К их автору пришла известность. Впрочем, и до этого еще на многих комсомольских собраниях, где Михаил Пилипенко присутствовал как представитель горкома или обкома комсомола, его просили читать стихи. И слушали с такой жадностью, на которую способна одна лишь юность.

Казалось, юные любители поэзии, вся комсомолия Урала наконец-то получили наиболее полного выразителя своих настроений, чувств. Так оно, собственно, и было: Пилипенко, как никто другой, почувствовал пульс молодежной задиристости и неуспокоенности, сумел настроить

свое сердце — щедрое сердце поэта — на волну гулкого сердцебиения тех, кто вступал в самостоятельную жизнь.

Такое слияние и породненность с героями собственных произведений отнюдь не требовали от Михаила Пилипенко особой заданности и специальных усилий, ибо сам он был одним из них — ярким представителем бурлящей массы, сам разделял с нею радости и трудности жизни. Пилипенко писал о себе самом, а получалось — говорит от имени многих ровесников и погодков.

Родился Михаил Пилипенко в августе 1919 года на Украине, в городе Сумы. Берущая за душу природа Северной Украины с ее полями и перелесками, с негромкими речками Псел, Сула, Хорол навсегда сохранилась в этом подтянутом, внешне сдержанном человеке, любящем и добрую шутку, и острое словцо. Вот такие искренние, прочувствованные строки написал он, будучи уже уральским поэтом:

...Во сне Украина,
Такая родная —
Широкая степь без конца и без края
С тенистой прохладою в темных гаях.
Моя Украина!
Волнистое жито.
Дороги степные. Родные края!
Годами не стерта,
Дождями не смыта
Глубокая вечная нежность моя.
Я многим обязан суровому краю,
Он принял меня как родного, любя.
Но все же сердечное слово «кохаю»
Впервые сказал о тебе,
Для тебя!

Еще до войны Михаил учился на филологическом факультете Харьковского государственного университета, а заканчивал истфак уже в Свердловске. Между этими двумя вехами много лет и драматических событий, главное из которых, конечно же, Отечественная война.

Вместе с товарищами по Харьковскому университету Пилипенко уходил на фронт в трудную, тогда еще далекую от победы пору...

Не знаю, кого как, а меня всегда радостно поражает такая готовность литераторов, молодых и немолодых, немедленно окунуться в самое пекло. Традиция, видимо, давняя. Не случайно же яркий представитель поэтов

фронтового поколения Семен Гудзенко писал о «самом» Льве Толстом: «Он был в Севастопольском деле, а книги писались потом».

У Михаила Пилипенко мало написано о войне, стихов батальных почти не найти. Но то, что есть, до предела правдиво. Если, к примеру, в одном из стихотворений, не вошедших в сборники, он говорил: «Мне довелось у старого Славуты ползти, кусая губы, в медсанбат»,— можете не сомневаться: было это именно там, у старинного украинского городка, близ станции Шепетовка, недалеко от бывшей границы...

Поэтический дар Михаила Пилипенко начал разворачиваться и обретать крылья в первые послевоенные годы.

В литературной критике, в повседневной работе издательств и журналов появился тогда призыв к поэтам — больше писать о послевоенном строительстве, о рабочем человеке. Это, конечно, не означало, что сдается в архив фронтовая лирика,— безусловно, нет. И все же не будем утаивать, что для некоторых фронтовых поэтов (не для всех) такая перестройка и переориентация не была простой и безболезненной.

В ту пору Михаил Пилипенко работал на Уралмашзаводе, и комсомольцы этого крупного предприятия оказали ему большое доверие — избрали своим секретарем. Начались годы ответственной комсомольской работы и не менее ответственного служения поэзии, открыто и тенденциозно направленной на воспитание строителей будущего.

Быстро, как на одном дыхании, Пилипенко написал свою первую книгу — «Рождение города».

Для многих поэтов первый сборник складывается мучительно и нелегко. Отбирается лучшее из написанного и разбросанного по журналам за многие годы; пока собирается сборник, контуры его постоянно меняются,— именно так бывает чаще всего. У Михаила Пилипенко первый сборник родился по-иному, и здесь была своя закономерность. Дело в том, что «Рождение города» — книга строго тематическая; о чем она — говорит само название. Начинающий автор увидел одну из главных черт послевоенного Урала. В тайге, в глухомани возникает, поднимается к жизни рабочий поселок.

С чего же он начинается, будущий город? Кто положил ему начало? Строитель — своим первым кирпичом

при закладке? А может, шофер, который привез эти кирпичи? Но разве имеем мы право забывать

О том, кто задолго до планов и смет,
До первой со стройки отправленной сводки
Однажды, уставший,
принес в сельсовет
Пригоршню руды в полинявшей пилотке!

Эта книга поистине рабочая. В ней — гул стройки, задор молодости, радостного труда. С первых же строк «Рождения города» читатель ощущает эту неуемную, бьющую ключом радость:

Говорят, половину на плавку идущего жара
Печь берет у сверкающих глаз сталевара...

Люди многих профессий проходят перед нами. Никого из них автор не ставит выше других. Коллектив, страна, Комсомолия — вот главные герои этой и последующих книг поэта.

Ну, хорошо, скажет иной скептик, а коллизии, конфликты,— видел ли их поэт? Криводушие, притворство, зависть?.. Ответим спокойно: да, видел. Но Михаил Пилипенко прежде всего замечал (и страшно радовался этому!) другие отношения между людьми, иную зависть:

Из ямы выпрыгнув легко
На землю, жидкую, как тесто,
Скрывая зависть, землекоп
Уступит каменщику место.
Всему свой час и свой черед:
Не отряхнувший пыли бурой,
Вот так же каменщик уйдет,
Скрывая зависть к штукатуру.
И так же точно, наконец,
Узнав от старожилов были,
Посмотрит с завистью жилец
На тех, кто город возводили.

Первый сборник Михаила Пилипенко был замечен читателями, положительно оценен критикой. Чуть позже, в 1951 году в Москве состоялось Всесоюзное совещание молодых писателей. В делегацию уральцев вошел и М. Пилипенко. Совещание открылось 1 марта, и с его трибуны старейший писатель М. Пришвин поздравил своих молодых коллег с началом весны.

Переполненный и озаренный этим весенним светом возвратился Пилипенко из Москвы. Его имя прозвучало

одним из первых в докладе, сделанном секретарем Союза писателей А. Сурковым. Новые, большие замыслы не давали покоя молодому поэту, он начинает писать свое первое крупное произведение — поэму «Слава».

Несколько раньше в Свердловске возобновилось издание молодежной газеты «На смену!», где Пилипенко стал работать заместителем редактора, а затем и редактором.

Вот так он и жил, деля свое время между трудом комсомольского работника, журналиста и поэта. Но разве может идти речь о какой-то разделенности, если это — единый сплав.

Поэма «Слава» была опубликована в альманахе «Уральский современник» в 1951 году, а через год — и в отдельной книге. В то время как раз прозвучал голос нашей партийной критики, указавший на существенный недостаток литературы — бесконфликтность драматургии. После целого ряда статей и дискуссий вдруг оказалось, что червоточина бесконфликтности более всего коснулась не драматургии, а именно поэзии. В этой обстановке поэма Пилипенко прозвучала широко и современно,— достаточно сказать, что газета «Правда» по-доброму упомянула о ней в ряду других поэтических произведений.

Поэма была конфликтной, проблемной. Суть ее проблематики — человек и коллектив, личная слава и долг рабочего человека. Герои «Славы» — молодые рабочие, люди разных характеров и темпераментов. Да, разных. И автор убедительно показал становление коллектива, в котором юные труженики не обезличиваются, а обогащаются тем лучшим, что есть в сердцах их друзей.

Сборники Пилипенко начинают с того времени выходить один за другим: «Сталь и песня», «Долг и счастье», «Спутники», «Дороги»... Успех сопутствует поэту. Читатели имели возможность убедиться: увеличительное стекло своего искусства автор не направит на зряшное и несущественное. Да, только главное! К сожалению, не всегда удавалось Михаилу Пилипенко находить наиболее яркие слова в этих главных темах.

Стихам его иногда не хватало приподнятости, темперамента, нет-нет да и ощущалась излишняя «заземленность». Теперь, конечно, можно рассматривать эти недостатки как неизбежные издержки или даже как продолжение достоинств: поэт боялся встать на котурны, перейти на крик... И тогда ему говорили:

— Вот взгляни на альпинистов: стоят на земле, но головой-то неба касаются! Всегда ли надо бояться громких слов в поэзии?

Он отвечал:

— Что же, по-вашему, я должен постоянно подшивать ватные плечи под пиджак?..

И дался же ему этот образ — ватные плечи!

Михаил Михайлович ненавидел дешевую саморекламу. Обыденные вещи, интересные подробности иногда приходилось, что называется, вытягивать из него.

— Старик, у тебя отличные брючата,— говорю ему, разглядывая его белые, лимонного оттенка брюки.

— Такие выдавали всем участникам физкультурного парада в Москве.

— Так ты и там успел побывать?

Он молчит. Лишь слегка кивает головой.

Помню его живой рассказ о том, как маршал С. М. Буденный фотографировался с ним и другими свердловчанами — делегатами съезда комсомола. Михаил рассказывал — и чуть ли не оглядывался по сторонам: того гляди кто-то услышит и посчитает его хвастуном.

Однажды он приколол к пиджаку планку с наградными ленточками. Послевоенные годы,— тогда боевые ордена и медали носили многие. Но среди других мелькнула у него и сине-голубая муаровая ленточка.

— Послушай,— говорю ему.— Орден Трудового Красного Знамени у тебя? А я и не знал.

— Есть такой,— улыбнулся Пилипенко.— А почему бы ему не быть?

И сразу же осекся: не сказал ли чего-нибудь нескромного? Затем открыл ящик стола и, как колоду игральных карт, бросил на стекло фотоснимки. В тот год он увлекся фотографированием и под этим предлогом постарался моментально сменить тему разговора.

...На одном из обсуждений его рукописи я сделал ряд резких замечаний по стихам. Сегодня суть уже не в том, был ли я прав и насколько. Как я нынче понимаю, выступление мое было грубым по форме. Так вышло... А это значит — бесполезным для него: прислушаться к критике, высказанной в таком тоне, он не мог.

А месяцев через семь-восемь обсуждали рукопись моего сборника. Ну, думаю, сейчас отыграется... Конечно,

Михаил ничего не забыл; несколько раз глаза его встретились с моими — я уловил в них особенный блеск. «Давай, давай!» — твердил я про себя уныло. Но он оказался выше. Оценка его была объективной, доброжелательной. По-моему, то злополучное обсуждение даже помешало ему высказать до конца критику в мой адрес,— как бы не подумали, что мстит.

А разве можно забыть о приезде в Свердловск доброго старого поэта Павла Антокольского? Он-то один из первых и заметил Михаила Пилипенко, обратил внимание на других поэтов, в чьих стихах тогда еще робко поднималась рабочая тема. Большой мастер всячески приветствовал стремление Пилипенко к открытому разговору в лирическом монологе, он даже советовал ему заменить название поэмы «Письмо», сделать его острее — «Разрыв»...

В эти же годы проявилась и другая сторона дарования Михаила Пилипенко — начинается его плодотворное сотрудничество с композитором Евгением Родыгиным. Лучшее из написанного этими двумя авторами — «Уральская рябинушка», взявшая в плен сердца многих людей, и не только уральцев. Обращение к песенному жанру было для Пилипенко естественным, не случайным: его вещи хорошо организованы ритмически, в них нет уродующих речь канцеляризмов.

А если залетали ненароком и к нему прозаизмы, то на общем, чаще всего распевном фоне их и выловить было легче. Как-то поэт М. Светлов обратил внимание автора на слово «гост» в одном из его стихотворений. С простодушным видом Светлов спросил:

— Слушайте, Пилипенко, а что такое «гост»?

Не ожидавший подвоха, автор улыбнулся:

— Ну, Михаил Аркадьевич, это же всем известно: государственный стандарт на продукцию, на сырье, на...

— Н-нда,— невинно произнес Светлов в притихшей аудитории.— Нежданный «гост»...— Взрыв смеха оборвал фразу.

В целом же, повторяю, стихотворения Пилипенко вызывали то ощущение легкости (не надо путать с легковесностью), которое часто привлекает к себе внимание композиторов.

Русская и украинская литературы всегда развивались в таком близком контакте, плечом к плечу, что нет нуж-

ды прослеживать, искать пути их взаимопроникновения, которое, между прочим, вовсе не во вред национальной самобытности... А тут еще биография поэта. Конечно же, Михаил в этих вопросах не путался, знал, что к чему. Одна деталь — как доказательство.

Сразу же на память приходят десятки украинских песен, где в строке на особом — можно сказать, почетном — месте стоит определение (причастие, чаще прилагательное). Зачастую они — в конце строк, а если в середине — то все равно интонационно выделяются... А интонация в песнях Пилипенко? Вот типичная для него строфа:

В цехе и короткие встречи горячи,
А сойдемся вечером — сядем и молчим,
Смотрят звезды летние молча на парней,
Но не скажут ясные, кто из них милей.

Обратите внимание на то, как акцентируются слова «короткие», «летние», «ясные», то есть определения; какое привилегированное положение занимают они в стихах!

Отдельно хочется сказать вот о чем. Коммунист Михаил Пилипенко видел, как иногда бацилла равнодушия и чиновничества вползает в кабинеты даже молодых деятелей. Казалось бы, следует обрушиться на это пером сатирика или публициста. Но Пилипенко был лириком и отлично знал: лирико-ироническое оружие может быть использовано и здесь. Так и появилось его стихотворение «И откуда пошло вот такое», где есть, в частности, следующие строки:

Возле речки в прохладу такую
Заболею еще, загриппую.
Ни к чему нам ночные скитанья —
Приходила бы днем на свиданья —
Мы б в райкоме с тобою сидели,
Говорили при людях о деле.

Удивительно! Разговор идет от первого лица, но это не тот случай, когда читатель как бы подставляет свое собственное «я» в текст произносимого. Здесь он словно бы выходит на сцену, чтобы высмеять молодого самоуверенного чинушу. Видели бы нынешние молодые читатели, с каким азартом делали это тогдашние комсомольцы, и кое-кто, чего греха таить, опускал глаза долу.

23 Заказ 133

Пожалуй, еще сильнее прозвучал тот же мотив в стихотворении «Небо темно-синее»:

И знакома улица, и тропа знакомая —
Вот пойду, нежданная, стану у райкома я.
И скажу в открытую, не тая волнения:
— Что ж вы заседаете даже в воскресение?

Стихотворение было не только подхвачено сотнями юношей и девушек,— его даже запели! Да еще как!

У Михаила Пилипенко была излюбленная мишень, его враг номер один — мещанство. С первых до последних стихотворений автор вел по нему жесточайший огонь на поражение. И главное — в этих произведениях не только разоблачаются людишки, заботы которых не идут дальше скопидомства, кармана и личного благополучия, нет,— им почти всегда противопоставлены настоящие люди. Те, кто не мыслит своего существования без коллектива, без борьбы за светлые идеалы грядущего, без полной самоотдачи. Так появились его поэмы «Письмо», «В доме напротив», яркое, взволнованное стихотворение «Иначе я не мог», где строчки кажутся докрасна раскаленными и неостывающими.

Любознательный человек, непоседа, частенько бывающий в разъездах, Пилипенко никогда не принадлежал к тем, кто мечется по городам и весям в поисках удивительного и «высокопоэтичного». Он убежденно верил в плодоносную силу уральской земли, которая вот — под ногами.

Не за тысячу верст
отыскалась романтика,
Ни к чему нам поэзию где-то искать,—
Вы глазами парнишки безусого гляньте-ка
И увидите, как она людям близка.

Умер Михаил Михайлович Пилипенко внезапно, от разрыва сердца, в августе 1957 года. Слова «в расцвете сил», которые часто фигурируют в некрологах и сделались чуть ли не шаблонными для этого печального жанра, все-таки в данном случае щемяще правдивы. Да, в расцвете сил духовных и нравственных, в тот самый период, когда назревал, по всему, его новый творческий взлет и когда он уже принял всегда трудное в подобных случаях решение — целиком посвятить себя литературе.

На Урале чтут память Михаила Пилипенко. Переиздаются его стихи, друзья не забывают его.

Да и возможно ли забыть тех, с кем вместе отправлялись в неимоверно трудную, заманчивую дорогу, имя которой — Поэзия! Закрываешь глаза — и видишь те давние дни, вновь окунаешься в атмосферу горячих споров и бесконечного чтения стихов, от которых, казалось, и устать невозможно. И все-то молодые были. Без седин и лысин, без груза собственных книг, вызывающего не только уверенность, но и некоторую одышку... Помню, как-то я встретил Михаила и, едва поздоровавшись, выпалил:

— Вчера передавали концерт по заявкам. Знаешь, кто попросил исполнить твою «Рябинушку»?

Он явно заинтригован, но всегдашняя невозмутимость не покидает его — лишь веки слегка прищурились.

— Покрышкин попросил, трижды Герой,— заканчиваю я фразу.

Пилипенко, судя по всему, доволен, едва заметная улыбка скользит по лицу. Но он тут же меняет тему разговора. Михаил не любил «парадную» сторону писательского дела. О своих литературных успехах он никогда не говорил,— по крайней мере, я такого не слышал. Иногда скуповато отзывался о какой-нибудь своей вещи: «Вроде бы получилось» — и только...

Добрым словом встречал он молодых литераторов, уважительно и по-братски разговаривал с ними. При редакции «На смену!» было создано литературное объединение, и через десять лет после этого оно еще существовало, но уже называлось по-другому: «Клуб имени Пилипенко».

Лучшее из написанного этим талантливым поэтом неизменно пробивается к читателю и звучит нестареюще, свежо, убедительно.

Е. Хоринская

«УРАЛ — ЗЕМЛЯ ЗОЛОТАЯ»

На одной из моих книжных полок стоят рядом три дорогие для меня книги. Если устанавливать между ними родственные отношения, то старшую из них можно назвать родоначальницей, две младшие — родными сестрами. Все они не блещут красотой, бумага плохая, серая, первая из них даже в бумажной обложке. И тем не менее они представляют большую ценность, особенно сейчас, когда с их рождения прошли не годы, а десятилетия. Две — коренные уралки — носят одно имя: «Урал — земля золотая», а старшая — сибирячка — называется «База курносых».

...Август тысяча девятьсот тридцать четвертого. Залитая солнцем Москва. Цветы и солнце, солнце и цветы. Колонный зал Дома Союзов. И человек такой знакомый по портретам — Алексей Максимович Горький открывает Первый съезд писателей. Удивительные, необыкновенные, незабываемые дни... До конца жизни останется в памяти ощущение восторга, волнения, какого-то особенного, праздничного подъема. И живой, по-волжски окающий голос Алексея Максимовича:

— С гордостью и радостью открываю первый в истории мира съезд литераторов Союза Советских Социалистических Республик.

Мне выпала высокая честь быть делегатом этого съезда. Приехала я в составе делегации писателей Бурятии. Разве могла я, учительница из дальней таежной деревни Хоринского аймака, даже мечтать о таком?! Я увидела живыми, выступающими, смеющимися писателей, чьи книги выпрашивала в библиотеках, и писателей, о которых только слышала в своей дальней дали. Алексей Толстой и Демьян Бедный, Тихонов и Новиков-Прибой, Ольга Форш и Мариэтта Шагинян, Маршак и Чуковский. И тут же зарубежные гости — Луи Арагон, Жан-Ришар Блок, Мартин Андерсен Нексе...

Доклады, содоклады, выступления... Выступают и пожилые маститые писатели и совсем молодые — мои сверстники. Вот на трибуне один из них. Он говорит о молодой поэзии Урала. Это уральский поэт Николай Куштум.

Щедро был представлен на съезде рабочий Урал — уральская делегация состояла из двенадцати человек. С некоторыми из уральцев я тогда познакомилась. С Агриппиной Гавриловной Коревановой мы даже сфотографировались вместе с Мариэттой Сергеевной Шагинян. Снимок был помещен в журнале «Работница». Только никак не думалось тогда, что через год я окажусь на Урале, что делегаты съезда Алексей Петрович Бондин и Коля Куштум станут моими друзьями и что через сорок лет, на юбилейном пленуме, посвященном съезду, я буду представлять и Бурятию и Урал...

О немеркнущих съездовских днях можно рассказывать целыми часами. Но я вспомнила сейчас об этом из-за одной памятной съездовской странички.

Доклад С. Я. Маршака «О большой литературе для маленьких» мне, непосредственно работающей с детьми, был особенно важен. После доклада председательствующий на том заседании, если не ошибаюсь, Янка Купала объявил:

— Нас пришли приветствовать пионеры «Базы курносых»!

«База курносых»! Это наши сибирские, иркутские ребята, авторы первой ребячьей книги.

— Дорогие товарищи, старшие писатели! Мы привезли вам из далекой Восточной Сибири горячий-прегорячий привет! Вы, может быть, читали про книгу «База курносых»? Так вот это мы ее написали, хотя мы не писатели, мы — просто ребята, просто пионеры. У нас организовался литкружок. Нам в нашей работе помогает дядя Ваня, писатель, старший, взрослый — Молчанов... Эту книгу, изданную в Иркутске, мы привезли вам в подарок. Вот, ребята, она!

В ответ раздались бурные аплодисменты, смех, возгласы. А девочка закончила так:

— ...Давайте нам такие книги, которые бы нам весь мир показывали. Вы только об этом не забывайте. Помогайте нам расти, будет время, когда и мы вам поможем... Товарищи взрослые писатели, будьте готовы!

И снова взрыв аплодисментов, шум, веселые возгласы. И как-то особенно радовался Алексей Максимович Горький. Потом он принимал юных авторов у себя на даче. А позже помог рождению второй пионерской книги, написанной детьми Заполярья,— «Мы из Игарки». Но увидеть ее он уже не смог — книга вышла в Детгизе в 1938 году.

В судьбе книги принимал горячее участие С. Я. Маршак. А главным организатором был А. М. Климов.

В 1939 году Анатолий Матвеевич Климов приехал в Свердловск и стал организатором и составителем первой книги уральских ребят — «Урал — земля золотая». Исполнилось ему в то время двадцать девять лет, но выглядел он, пожалуй, еще моложе — очень живой, подвижный, энергичный.

Родился Климов в 1910 году в Башкирии, в заводе Тирлян, но родители его в том же году переехали в Троицк. Там прошли детство и юность, там он окончил среднюю школу, вступил в комсомол. Два года работал в троицкой газете «Вперед». Но манил «ветер дальних странствий» — по призыву ЦК ВЛКСМ юноша уехал в Заполярье. В качестве корреспондента первой на Ямальском Севере газеты Климов много ездил по округу. Когда в 1935 году в Омске вышла книга очерков «Сердце тундры», одним из ее авторов был двадцатипятилетний литератор Анатолий Климов. Ну а потом, как уже говорилось, он занялся составлением книжки «Мы из Игарки».

И вот Анатолий Матвеевич в Свердловске. Он быстро приступил к работе. Большую роль играло и то, что будущей книге сразу дали «зеленую улицу». Помню, как часто собирались мы в кабинете первого секретаря обкома комсомола В. В. Косова — совещались, советовались, просто читали рукописи.

Ядром юных авторов стали ребята из Дома художественного воспитания детей, где я в ту пору работала.

Пожилые учителя и наши давно выросшие питомцы хорошо помнят этот дом — областной штаб внеклассной работы. Сначала особняк на улице Шейнкмана, 18, потом дом на улице 8-го Марта, 43 (теперь его нет). Наш крошечный коллектив был удивительно дружным. Возглавляла его Клавдия Николаевна Барбова, человек редкой энергии, влюбленная в работу, увлекающаяся, неутомимая. Сокращенно наш дом назывался ОблДХВД. Сюда со всех концов области летели бандероли с рисунками, изделиями из пластилина и дерева, планами полетов на Луну, конверты со стихами, рассказами, пьесами, даже романами.

Наши юные литераторы были на редкость плодовиты. Сюда впервые принесла почта стихи мальчика Жени — ныне известного поэта Евгения Витальевича Фейерабенда; сюда пришел очень маленький и очень серьезный в длинном драповом пальто, с тетрадкой в две линейки, где были

записаны стихи, ученик второго класса Юлик Мячин. Многие из наших активистов вошли в число авторов первой книги уральских ребят — «Урал — земля золотая». В ней напечатаны стихи Лены Сиговой, песня Жени Фейерабенда (музыка Ю. Олесова), цикл стихов Эммы Поповой «Герои Урала». После запева о старых, овеянных славой знаменах идут стихи о Малышеве, Вайнере, Хохрякове...

При свете неярком и слабом,
Под сенью скрещенных клинков,
Начальник уральского штаба —
Матрос молодой — Хохряков...

В книгу вошел не весь цикл. Вспоминаются, например, такие строки:

...Ветры уральские, взвейте,
Сметите врагов на пути...
Уральцы! Спешите Авейде,
Марию Авейде спасти!

Даже теперь, перечитывая эти стихи, я слышу взволнованный голос девочки.

Предисловие к книге написал Анатолий Климов; состоит оно из маленьких разделов — «Письмо», «Книга находит авторов», «Обойдем весь Урал», «Как назвать книгу», «Гора Книгурр» (Книга уральских ребят), «Мартин Андерсен Нексе — соавтор нашей книги»... Действительно, после предисловия идет письмо Мартина Андерсена Нексе и отрывок из его воспоминаний — «Белая птица».

Дело в том, что еще в начале работы ребята завязали переписку с известным датским писателем, и он прислал в Свердловск это доброе письмо, которое открывает книгу:

«Дорогие друзья — пионеры и школьники Урала!

Желаю вам успеха в вашем смелом и благородном намерении написать книгу о своей родине. Правда, сам я Урала не видел, но достаточно читал о нем и знаю, что это богатый край чудесной красоты, население которого сделало героический скачок в своем развитии и отдает все силы для перестройки мира на основах широкой гуманности. Мне очень понятна испытываемая вами потребность описать свой родной край, где встречаются старина и новейшие достижения человеческой культуры, и я радуюсь за вас и за вашу работу совершенно так же, как если бы

мне это самому предстояло делать. Напишите же основательную книгу, не столь обильную цветами красноречия, сколько деловую, не парадное изваяние, а книгу о той прекрасной повседневности, которую вы, советские люди, первые на земле завоевали для всех.

Еще раз благодарю за ваш милый привет и надеюсь, что мне удастся побывать у вас — может быть, еще нынешним летом.

Стенлезе (Дания)
12 мая 1940 г.»

Но не суждено было осуществиться мечте писателя. Данию захватили фашисты...

Не суждено было и нашей книге выйти в срок...

Рукопись была совсем готова, бережно отредактирована Фридой Колышевой — молодой способной журналисткой, ранее работавшей в пионерской газете «Всходы коммуны», и нашим лучшим редактором — Клавдией Васильевной Рождественской. Но грянула война, и на несколько лет пришлось забыть о ребячьей книге. Многим ее авторам, старшим ребятам, ушедшим на фронт, так и не довелось увидеть свою первую книгу... Вышла она только в 1944 году, изданная на серой бумаге, в невзрачном оформлении — все, чем располагало в то время наше издательство. А ведь тогда заведовал там производственным отделом большой мастер книжного дела А. С. Асс, выпустивший первую «Малахитовую шкатулку» П. П. Бажова с теми драгоценными экземплярами, один из которых был подарен писателю, в день его 60-летия, а другой отправлен на международную выставку. Помнится, как, получив такую интересную рукопись с детскими рисунками, Александр Соломонович тяжело переживал свое бессилие чтонибудь сделать. То, что получилось,— потолок возможного.

Итак, книга вышла с большим опозданием. А между тем за это время накопился богатейший материал о жизни уральских ребят в грозные военные годы, когда Урал ковал оружие фронту и тысячи «малышков» сменяли у станков ушедших на фронт отцов, убирали хлеб в полях и, организуя тимуровские команды, опекали солдатские семьи. Разве можно было об этом не рассказать! Первая книга, кстати, заканчивалась обращением, которое прямо того требовало:

«Ребята! Мы написали свою книгу до начала Великой Отечественной войны советского народа с немецко-фашистскими оккупантами.

...Мы, ребята Урала, включились в битву с проклятым коричневым фашистским зверем. Мы забросили свои сачки и байдарки, геологические молотки и рюкзаки до новых, счастливых, мирных дней. Некоторые из ребят сменили у станков отцов и братьев, ушедших на фронт. Иные пошли работать в колхозы. После войны кто-нибудь подсчитает, сколько тысяч тонн металлолома собрали ребята Урала и сдали в фонд обороны Родины. Когда-нибудь будет подсчитано, сколько тысяч снарядов и мин было сделано и выпущено по фашистам из металла, собранного нами.

Есть у нас и такие ребята, которые ушли на фронт и с оружием в руках борются с врагом. Сейчас мы еще не все знаем о судьбе этих героических ребят.

О том, как и чем уральские ребята в Великой Отечественной войне помогали Родине громить врага, мы расскажем в следующей книге.

До новой встречи, читатель!

Авторы.
Свердловск, 1943 г.»

Итак, было просто необходимо приниматься за новую книгу. Но Анатолия Матвеевича Климова в Свердловске уже не было — он уехал в Челябинск. Инициатором и организатором второй книги стала Клавдия Николаевна Барбова — директор областного Дома художественного воспитания детей, который и оказался штабом всей работы. А окончательными составителями книги пришлось стать нам: Н. А. Поповой, Б. А. Дижур и автору этих строк. На этот раз, как говорится, оркестра не было. Совершенно понятно, что уже не могло быть ни того внимания, ни тех материальных возможностей, которые сопутствовали первой книге. Не те были годы... Обходились скудными командировочными Дома художественного воспитания, всячески стараясь сокращать выезды. Мы с Ниной Аркадьевной побывали тогда в Камышлове и несколько раз в Тагиле. Белла Абрамовна ездила в более отдаленные районы. В общем, работалось нам нелегко. Писалась книга долго, а издавалась того дольше — вышла она только в 1952 году. Но все-таки вышла!

Оформляли ее такие интересные художники, как Е. В. Гилева и В. Ф. Васильев, и при хорошей бумаге и

прочих возможностях книга имела бы, конечно, совсем другой вид... Но мы все равно радовались ее рождению. Самым важным было то, что эта книга — история большого и сложного периода жизни уральских ребят — еще один отклик на призыв А. М. Горького. Эта книга из числа тех, которые, не взирая на все их недостатки, с годами приобретают все большую ценность.

В книге есть такие разделы, как «По родному краю», «Будем мастерами», «Мы боремся за мир», «В нашей школе» и другие; но самый интересный, конечно, первый — «Мы помогали фронту». В стихотворении с одноименным названием один из юных авторов — Женя Фейерабенд — писал:

...Покидая цехи заводские,
Мастера уходят бить врага.
Кто заменит руки золотые,
Кто заступит место у станка?
К инструментам приучая пальцы,
В цехе у станков и у тисков
Обучались юные уральцы
Радостной работе заводской...

А вот рассказ одного из самых маленьких авторов Жени Медведевского «Танки, пушки, бомбы».

Мальчишки страшно обрадовались, найдя в углу двора кучу старого железа. Быстро собрали все до последнего гвоздя.

«— Не унести,— усомнился Лева.

— Как-нибудь,— ответил я.

— Ну, потащили! — скомандовал Ким.

...На улице Луначарского, на складе нас встретил хромой старичок.

— Вот принесли вам, дедушка,— говорит Ким.

— Что это? — спросил старик.

— Танки,— сказал Ким.

— Пушки,— сказал Лева.

— Бомбы,— сказал я».

В главе «Они учились в нашей школе» ребята рассказывают о своих старших товарищах, ушедших на фронт. Так впервые появился материал об отважном разведчике, бывшем ученике 36-й школы Свердловска Гере Борисове. Тогда еще не были известны обстоятельства его гибели. Только много позже Анатолию Пудвалю удалось завершить поиск и написать совместно с Д. Лившицем книжку о разведчике Георгии Борисове.

В первом разделе книги помещены стихи, которые мне особенно памятны. Вот стихотворение «Наша пушка». Оно написано на подлинном материале. Дело в том, что школьники уралмашевской 22-й школы действительно подарили фронту пушку. В школу отправился один из самых активных наших авторов — Ю. Фрадлин. Вот отрывок из его стихотворения:

...Мы решили школой нашей
Пушку целую купить.
Пушка школы Уралмаша
Пусть врага поможет бить.
Мы построились рядами,
Принаряжен каждый был.
А военный с орденами
Нам, волнуясь, говорил:
— Принимая пушку вашу,
Я клянусь, ребята, вам:
Пушка школы Уралмаша
Будет помниться врагам!

Ю. Фрадлин — ленинградский школьник. Он был эвакуирован на Урал вдвоем с матерью. Отец погиб в первые дни войны вместе со своим кораблем. Самые волнующие стихи сын посвятил отцу:

Простая фуражка морская,
Видавшая шторм и свинец,
Простая фуражка морская,
В которой ходил мой отец...

Фрадлин был тяжело болен. Жили они в маленьком холодном флигельке. Дров не было. Мы доставали их, где могли, и ребята привозили на санках хоть несколько поленьев.

Наши авторы часто приходили в Дом художественного воспитания. Вечерами сидели иногда у топящейся печки — читали стихи, спорили. Никому не хотелось уходить. Приходили ребята и ко мне домой и тоже помогали, когда приходилось особенно туго.

По какой-то дикой нелепости из книги выпало стихотворение Фрадлина «Фуражка», о котором говорилось выше, и стихи Иры Лапиной. Ира Лапина... Тагильская школьница. Мне помнятся и ее стихи, и наша переписка. Она была одним из наших активных авторов. Ира ушла на фронт семнадцати лет, в 1943 году. Ее не брали из-за возраста, но она окончила курсы медсестер и все-таки добилась своего. В сентябре сорок четвертого Ира геройски погибла...

Мне думается, что хорошо было бы переиздать книгу «Урал — земля золотая», может быть, из двух книг сделать одну, и рассказать в ней и о судьбах ее авторов. Были они все очень разные — Женя Фейерабенд и Эмма Попова, ярый спорщик Вилен Бинншток и задумчивый, все тонко понимающий Юлик Фрадлин, тагильчанка Ира Лапина, и Майя Никулина из 13-й свердловской школы, и самая энергичная участница книги Соня Ильясова, которой удалось съездить в Краснодон, связаться с семьями молодогвардейцев и написать об этом в книгу.

По разным дорогам ушли в жизнь наши когда-то юные авторы... Да и знаем мы, конечно, о немногих. Галя Созинова — ведущий инженер; Роза Куликова — врач — с самого детства лечила всех болящих кошек; Соня Ильясова — преподаватель... Некоторые наши ребята стали журналистами.

Нельзя не вспомнить удивительного человека, жившего в нашем городе и принимавшего в книге горячее участие,— краеведа, педагога, всегда увлеченного и увлекающего за собой ребят, основателя географического общества «Глобус» при свердловском Дворце пионеров,— Османа Садыковича Юсупова.

Ну и, конечно, необходимо помянуть самым добрым словом первого организатора книги — Анатолия Матвеевича Климова [1].

А переизданную книгу «Урал — земля золотая», нарядную, хорошо оформленную, непременно следует закончить словами:

— До новой встречи, читатель!

---

[1] А. М. Климов умер в июне 1945 г. (*прим. ред.*).

А. Ермаков

ДОКУМЕНТЫ ЭПОХИ

«Будто бы это случилось так. Когда проезжал Ермак Тимофеевич, то кони прилипали подковами к магниту. Это передали в царский чертог. Царь нашел в Демидове человека великого ума и послал его на Урал. Тот открыл руды, уехал, опять вернулся с заграничными учеными и приступил к работе. Построили домну плавить руду, построили плотину, прошли второе русло.

Рабочая сила была гната отовсюду, скупалась в разных губерниях у помещиков. Помещики выбирали крепостных похуже, и все эти люди из-под жестокой власти помещиков попадали к Демидову. Демидов тоже не миловал. Он своим помощникам давал право поступать с крепостными как хотят. Били, если кто не слушает. А не даст себя побить — отдавали в солдаты на 25 лет».

Так начиналось повествование в книге «Были горы Высокой» о прошлом уральского рабочего люда. Она вышла в 1935 году под редакцией и с предисловием Алексея Максимовича Горького. Это был волнующий рассказ ста авторов об истории овеянной славой и легендами чудо-горы, снабжавшей рудой металлургические заводы России.

Интересна история создания книги. В начале тридцатых годов по инициативе А. М. Горького стала издаваться серия книг по истории фабрик и заводов. Горняки горы Высокой подхватили начинание Алексея Максимовича. Многие из них тогда еще едва овладевали грамотой. В записи и обработке рассказов много помог составитель книги журналист Ю. П. Злыгостев. Когда рукописи были вчерне готовы (они едва уместились в чемодан), делегация горняков направилась к Горькому. И до сей поры делегаты — теперь уже глубокие старики — помнят, как тепло и радушно принял их Алексей Максимович. Дал советы, помог отредактировать и выпустить книгу. В предисловии к ней он писал:

«В ряду наших книг «Были горы Высокой» — целостное эпическое повествование, рассказанное участниками описываемых событий, героями тех дел, которые скромно и убедительно воспевает эта книга. Сто авторов — сто действующих лиц. Это не результат отбора

наиболее замечательных людей Железного и Медного рудников — это рассказ рядовых. Среди них партийцы и беспартийные, более и менее сознательные, грамотные и неграмотные, старые и молодые — отцы и дети, деды и внуки. Но это не мозаика воспоминаний, не хрестоматия отрывков. Суровый ход событий, их историческая последовательность, их логическое развитие определяют переход слова от одного автора к другому. Особенности личного восприятия событий, своеобразные детали, сохранившиеся в памяти, разный угол зрения и ширина охвата материала рассказывающими наглядно обнаруживаются каждым читателем».

Рабочие — авторы «Былей», рассказывая о людях горы Высокой, о событиях, связанных с ней, наверное, и не представляли себе, что гора эта станет символом трудового Тагила. Как рабочего человека украшают натруженные мозолистые руки, так и весь пейзаж города-труженика красит эта уже давно потерявшая свой первоначальный облик гора. Отсюда, от нее, тянутся бесчисленные нити в прошлое, настоящее и будущее города.

Три столетия прошло с тех пор, как по крутобоким склонам Каменного Пояса первые рудознатцы проторили тропы к сокровищам горы Высокой. Гора та, говорилось в летописи, «по верх длиннику 300 сажен, в высоту от Тагила-реки 70 сажен, а среди горы пуповина чистого магнита». Кругом же расстилались необъятные просторы нетронутого края — «лесы темны, горы каменные и круг гор бор большой».

Прошли годы. По тропам этим потянулся гонимый нуждой и неволей работный люд. Зазвенели топоры, глухо застучали лопаты, вольный бег реки Тагил взнуздала плотина. Закрутились водобойные колеса, задымили трубы. Студеным и гулким декабрьским вечером 1725 года вековые сосны соседки Высокой — Лисьей горы осветили огненные сполохи — потек первый тагильский чугун. Так родился Нижний Тагил, связанный действительно, как пуповиной, горой Высокой с неисчислимыми богатствами уральской земли.

Темной ночью окутала прошлое Урала жестокая демидовщина. Демидовы — это целая династия алчных заводчиков. Хитрый тулянин Никита и сын его, энергичный и жестокий Акинфий, меценатствующий Николай Никитич, честолюбивый Анатолий — князь Сан-Донато, безвольный и ничтожный Елим. Эти люди швыряли любовницам круп-

нейшие в мире бриллианты и драгоценности, тратили миллионы на удовлетворение своих прихотей.

И все эти несметные богатства создавали тысячи и тысячи работных людей, загнанных в «болота топучие, леса непроходимые». Крепостные и беглые, пришлые и приписные... Столетия их долей был тяжкий, подневольный, безрадостный труд.

Вплоть до Великого Октября Тагил был живым примером крепостничества.

«Без наказания не оставлять и поступать тирански без всякого милосердия»,— писал Акинфий в XVIII веке.

«Заковать в цепи и дать розг» — вторил ему Николай Никитич 100 лет спустя.

«Все не могущие и не желающие работать при предлагаемых платах должны быть по обнаружении немедленно уволены и занесены в особый список»,— заключали в 1911 году демидовские управители.

Но XX век зажег пламя освобождения человечества. И гора Высокая стала колыбелью нового: именно среди горняков зародилась первая в Тагиле большевистская группа. Иван Добродеев, Илья Баранов, Устин Копытцев, Федор Козьмин, Александр Каписко... Это они понесли в массы ленинские идеи, стали ядром славного отряда тагильских большевиков.

И вот пришло оно, главное событие XX века — Великий Октябрь 1917 года. Навсегда рухнули оковы ненавистной демидовщины.

Пришла своя, рабочая власть, провозгласившая Свободу, Равенство и Братство.

Однако враг не сдавался. Он двинул на молодую Советскую Республику полчища белочехов и Колчака. И дружины тагильской Красной гвардии, влившись в полки 29-й дивизии, отстаивали родной Урал у Таватуя, Верх-Нейвинска, на подступах к Тагилу.

Обо всем этом поведала книга «Были горы Высокой». Она рассказывала и о борьбе с разрухой, восстановлении и реконструкции рудников и заводов. Книга показала, как меняется лицо бывшего демидовского рабочего, как сознание своей силы, силы своего рабочего государства порождает новое, не виданное до этого отношение людей друг к другу, к труду. Одновременно в ней прямо назывались имена бывших белогвардейцев, доносчиков охранки, подрядчиков и саботажников, спекулянтов, кулаков и их помощников.

В дни первых пятилеток, когда вопрос «кто — кого?» хотя и был решен, но побежденный враг еще не хотел складывать оружия, «Были» встали в строй, как боец. Доказательство тому — подлый выстрел из-за угла в одного из самых активных авторов книги — горняка, рабкора Григория Быкова. Алексей Максимович Горький и правление Союза писателей прислали телеграмму: «Глубоко скорбим вместе с вами о смерти Быкова, погибшего от злодейской руки. Уверены в дальнейшей борьбе под руководством партии за социализм, против остатков классового врага».

Книга сыграла важную роль в строительстве новой жизни на руднике и во всем Нижнем Тагиле. Ее повествование заканчивалось на периоде реконструкции рудника в 1934—1935 годах.

Вторая часть книги — «Новые были горы Высокой» готовилась через четверть века с лишним. Изменилась за это время гора Высокая. Новый, социалистический Тагил уже давно перешагнул за другую гору — Федорину, что когда-то была его окраиной. На ней вырос могучий красавец — новый металлургический комбинат, дающий металла больше, чем выплавлялось во всей царской России до Великого Октября. Как мать своей грудью, вскормила Высокая гиганта индустрии: ежегодно выдавала руды столько, сколько ее добывали за два века до революции. А Тагил идет дальше — корпусами заводов-гигантов, Дворцами культуры, кварталами многоэтажных жилых массивов...

Но самое главное — еще более изменился человек, горняк и металлург. Другой стала его жизнь, новое содержание получила она. И сделал все это свободный и радостный социалистический труд.

Вот обо всем этом и рассказывается в «Новых былях...» Написана она по тому же принципу, что и первая: рассказы ведут сами участники событий, горняки и металлурги. Запись их вели журналисты, члены городского литературного объединения, писатель Владислав Николаев. Всего в книге выступило более семидесяти авторов.

Журналист Арнольд Уряшев, ныне редактор газеты «Уральский рабочий», записал рассказ сына Григория Быкова — скрепериста шахты Магнетитовая — «От отцов к сыновьям». Есть в нем такие строки:

«Добрую память оставили после себя люди старшего поколения. Оставил ее и мой отец. Его именем названа одна из городских улиц. Отправляются паровозы со стан-

ции Кедун-Быково, расположенной у горы Высокой. Его портрет встретишь в краеведческом музее.

Мы тоже оставим после себя хорошие памятники. Это будут новые шахты, новые заводские корпуса, сделанные из тагильского металла. Это будет величественное здание коммунизма, которое все мы возводим под руководством Ленинской партии».

Раздел Великой Отечественной войны в книге начинается рассказом первой в мире женщины-горновой Фаины Шаруновой:

«22 июня 1941 года... Не сотрется в памяти людей эта дата. Кто мог раньше предполагать, что погожее воскресное утро откроет двери в новую судьбу, полную событий драматических и героических!»

Фаина Васильевна неторопко ведет речь о том, как овладевали женщины мужскими профессиями, как приняла она, старшая горновая, доменную печь — невиданное в истории дело! По 12 часов не уходила она от пышущего жаром горна: металл нужен был фронту, мужьям и сыновьям. В рассказе приводятся выдержки из солдатских писем-треугольников, которые приходили со всех фронтов почти каждый день с коротким адресом — «Урал, Шаруновой».

«Разные судьбы» — так называется рассказ сталевара металлургического комбината Ю. Плосконенко. Нет, он считал себя коренным уральцем, а разгадку своей украинской фамилии дает не только по воспоминаниям дедов, но и ссылкой на словарь Верхотурского уезда, составленный И. Я. Кривощековым. В нем говорится:

«Николай Николаевич Демидов, сослуживец Потемкина-Таврического, выиграл у графа Разумовского людей из имения последнего в Черниговской губернии в 1824 году. Выигранные крепостные были пригнаны пешком на Урал; в первобытном лесу на реке Шиловке была расчищена площадь и наняты рабочие для постройки казарм. Во вновь построенные казармы и были водворены черниговцы в числе 90 семей. Таким же порядком из той же Малороссии еще водворены несколько семей в 1826 году».

«Так вот и появились украинские фамилии на Урале,— продолжает Юрий Петрович.— Надо ли говорить, сколь тяжела и бесправна была жизнь переселенных таким образом крепостных! Еще отцу пришлось хлебнуть горя на приисках... Только Октябрьская революция, Советская власть принесли иную, светлую судьбу потомкам демидовских крепостных».

24 Заказ 133

Ю. Плосконенко ведет рассказ о полнокровной жизни, творческой работе своей бригады, которой одной из первых на Урале присвоено было звание коллектива коммунистического труда. Кстати, предки его коллеги по печи — сталевара Юрия Михайловича Зашляпина тоже были крепостными Демидовых, о чем свидетельствуют переписи крепостных Висимо-Уткинского завода, хранящиеся в архиве. А оба Юрия — Плосконенко и Зашляпин — стали депутатами Советов.

Заканчиваются «Новые были...» рассказом депутата Верховного Совета СССР, старшего мастера второго мартеновского цеха В. Н. Лукьянова «Время больших скоростей».

Владимир Николаевич рассказывает, вначале от третьего лица, о жизни паренька из вятского села Романовка. Парню тому здорово повезло, потому что родился он в счастливое советское время. И в судьбе его нашла отражение общая судьба тех молодых людей, что вступили на трудовой путь в годы после Великой Отечественной войны. И только потом автор говорит, что паренек этот —он сам.

Когда рукопись «Новых былей...» была готова,— а получилась она толстая — больше четырехсот страниц (работали над ней более двух лет),— стали думать, к кому с ней обратиться: ведь Алексея Максимовича Горького нет в живых. Но размышления были недолгими — едем к Михаилу Александровичу Шолохову.

Составили делегацию — несколько человек, принимавших участие в создании книги. Два Героя Социалистического Труда — потомственный горняк машинист экскаватора Дмитрий Филиппович Пестов, о котором говорили, что он может ковшом уралмашевского экскаватора поднять с земли пятак, не зацепив породы, и проходчик Николай Николаевич Ржанников, больше двадцати лет проработавший в шахте. Затем — инженер металлургического комбината Николай Сергеевич Боташев, краевед, известный своей «Пушкинской находкой» (письма Карамзиных о последних днях поэта), писатель Владислав Николаев и я, составитель книги.

Отправились на Тихий Дон. Встретились с Михаилом Александровичем Шолоховым в Ростове, куда он приезжал к своим избирателям как депутат Верховного Совета СССР. Он пригласил нас позавтракать в гостиницу «Московская», где остановился. Утром мы пришли в номер.

Со стула поднялся небольшого роста человек в синем толстом свитере с высоким воротником, плотно охватывающим шею, в зеленых военных брюках, в мягких сапогах с отворотами. Поднялся и шагнул навстречу:

— Здравствуйте, дорогие уральцы!

Михаил Александрович выглядел постарше, чем на фотографии, напечатанной в тот день в ростовской газете «Молот». Высокий, очень высокий лоб, седые, с хохолком волосы, седые, щеточкой усы. А глаза молодые, добрые, с веселыми складочками в уголках. Он обнял и расцеловал каждого. В комнате у него секретарь Ростовского отделения Союза писателей Александр Бахарев, с которым мы виделись накануне, и еще один мужчина, худой, смуглый, с изрезанным морщинами лицом.

— Наш первый секретарь райкома Луговой,— представил его Шолохов.

Сели за стол. Осталось незанятым большое кресло. И Шолохов сказал с улыбкой:

— Пустует председательское место. Кого же посадим на него?

Утро было после Дня Советской Армии. Поэтому единодушно решили — ныне председательствует старший по воинскому званию. Им оказался сам Шолохов, полковник запаса.

— С чем пожаловали, дорогие уральцы? Чем могу служить? — спросил он.

Отвечал Николай Николаевич Ржанников:

— Наши отцы более четверти века назад написали книгу «Были горы Высокой». Предисловие к ней делал Максим Горький. Жизнь с тех пор далеко ушла вперед, и мы решили продолжить книгу. Вот привезли вам показать вторую часть. Нам очень хочется, чтобы предисловие к ней написали вы.

— Дело это хорошее,— подумав, произнес Шолохов и добавил, посмеиваясь: — Но вот ведь какой вы народ! Предисловие вам напиши — а нет, чтобы меня в гости пригласить.

— Как же! Обязательно! — привстав с мест, наперебой заговорили мы.— Привезли приглашение. Не только устное, но и письменное.

— Вот с этого надо было и начинать,— смеялся Шолохов.

Потом он расспрашивал о книге: похожа ли на первую, кто авторы, сколько их?

Мы знали, что Шолохов еще в 1939 году сам замышлял создать или принять участие в создании книги, подобной «Былям горы Высокой». «Недавно я возвратился из хутора Подкущевского,— писал он тогда.— Там встретил прекрасных людей. Если сам не напишу о них, то помогу им написать книгу по типу «Были горы Высокой».

В беседе — между прочим, но с серьезной озабоченностью — он произнес:

— Не люблю книг, что нетронутыми стоят на полках. Люблю, когда они зачитаны до дыр, в потертых обложках и с залатанными страницами. Это настоящие книги. А то, бывает, пишут для самого себя. Раскупит их автор, раздарит родственникам, и стоят они под стеклом, как семейные альбомы.

Говорил Михаил Александрович проникновенно, неторопливо, делая легкие движения пальцами, будто подбирал ими и ощупывал нужные слова. Хотелось стенографировать, но записывать было неудобно, и мы позже по памяти сообща восстанавливали его слова.

— Сегодня я что-то разговорился,— помолчав, сказал он.— По характеру да и по профессии я люблю больше слушать. Но сегодня я хозяин, ничего не поделаешь, приходится занимать гостей...

Шел общий разговор об Урале, Доне.

Любит Михаил Александрович шутку, острое словцо. Разговор то и дело прерывался смехом. Веселье очень хорошо поддерживал и наш Дмитрий Филиппович Пестов:

— Михаил Александрович, легонечко извините (это его любимая поговорка), но я сяду рядом с вами: я постарше всех в нашей делегации.

— Основания законные. Садись и давай на «ты». Годы у нас, наверное, одинаковые?

— Легонечко извините, но годы у нас разные. Вы с девятьсот пятого, а я с девятого, так что вы маленечко постарше.

— Четыре года — это не маленечко,— возразил Михаил Александрович.— Был у меня друг. Все командовал мной: «Слушай. Я старше».— «Так всего же на три года»,— протестовал я. А он мне резонно говорил: «Вот проживешь еще три года — посмотрю, какой ты будешь».

Николай Ржанников заметил:

— Дмитрия Филипповича дорогой мы дедом Щукарем прозвали.

— Ишь ты! — восхитился Михаил Александрович.—

Мой дед Щукарь выбился в люди,— и показал на Золотую Звезду Героя.

А когда узнал про рабочее мастерство Пестова, что тот ковшом поднимет пятак с земли, Шолохов встал и крепко поцеловал горняка.

Больше трех часов продолжалась беседа. Мы оставили писателю рукопись нашей книги. На прощанье Шолохов просил передать уральцам большой привет и высказал надежду побывать на Урале. А немного позже он прислал предисловие. Шолоховские строки напечатаны на первой странице изданных в Москве в Профиздате в 1963 году «Новых былей горы Высокой», которые стали теперь библиографической редкостью. Вот они, эти строки:

«Отличная книга о прекрасных тружениках горы Высокой.

Потомки рабов проклятой помещичьей России, они творят чудеса, самоотверженно, героически трудясь, трудом своим прославляя ныне свободную, великую Родину.

Каким же нерушимым памятником будет эта книга, как и предшествующая ей, для грядущих поколений, которые будут жить и работать уже при коммунизме, благодарно вспоминая тех, кто потом и кровью своей уготовил им счастливую жизнь!

М. Шолохов»

Семнадцать лет прошло с тех пор. И может быть, надо думать о записи новых былей — документов нашей героической неповторимой эпохи.

Л. Сорокин

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Я листаю страницы памяти — недели, месяцы, годы... Некоторые из этих страниц выцвели от времени, и уже с трудом различаются детали. А некоторые дни начисто смыты грозами и ливнями жизни так, что совсем не разобрать черты лиц тех, кто когда-то был рядом, не восстановить их слов. И все же многое осталось четким, ярким, словно память покрыла защитной пленкой краски давних встреч и разлук, споров и разговоров.

Вот я перелистнул дни 1948 года...

Сейчас я могу смотреть на себя со стороны — двадцатилетнего, длинного, худого после многих болезней, которые свалились на меня в детстве и юности. Нельзя без улыбки вспомнить, как я бегал по городу и скупал столичный журнал «Смена» с первыми опубликованными моими стихами «Богатство Урала» и газету «Уральский рабочий» с двумя стихотворениями... «Как мамонты, горы косматы, как мамонты горы вдали, сошлись у озер синеватых и там отдохнуть прилегли»,— перечитывал я свои стихи и украдкой следил за теми, кто покупал «Уральский рабочий»: читают ли они их? С огорчением убеждался, что людей больше интересуют международные события.

Потом я увидел себя, робко и нерешительно открывающим двери Дома литературы и искусства на Пушкинской улице, 12. Здесь начинало свою работу 1-е послевоенное областное совещание молодых писателей.

Мне казалось, что все писатели — необыкновенные люди... Я смотрел на прихрамывающего невысокого черноволосого Константина Мурзиди, автора многих книг, и слышал, как кто-то из молодых говорил про него: «Он грек из-под Анапы...» Я не понимал, как грек мог стать уральским поэтом, но это окружало Константина Мурзиди еще большей таинственностью необыкновенности. Я смотрел на Николая Куштума, зачинателя советской литературы на Урале, и удивлялся, что он, необыкновенный человек — поэт, выглядит тоже, как и Мурзиди, как-то очень приземленно. Редкие рыжеватые волосы, изрытое крупными оспинками лицо, узенькие глаза, маленький рост... И опять краем уха слушал комментарии более старших

по возрасту участников областного совещания: «Куштум — это у него псевдоним. Взял в честь деревни, где родился».

Кто-то из говорящих с молодым задором отрицания бросил небрежно: «А, так себе поэт...» Но с отрицавшим активно не согласились: «А ты читал куштумовскую первую книгу «Бой»? Да это же лирика, настоящий талант, талант ему богом дан... А знаешь, что он участник 1-го Всесоюзного съезда писателей СССР и выступал на съезде? Да еще как...»

Но мы, самые молодые, конечно, этого не знали. Той первой книги Николая Куштума, изданной в тридцать третьем году, в библиотеке не было, как и стенограммы 1-го Всесоюзного съезда писателей СССР...

Я только знал, что Николай Куштум — фронтовик. Ушел добровольцем на войну. А это тоже придавало необыкновенность такому вроде бы обыкновенному мужичку, каким я видел Николая Куштума. Добровольцем может быть только храбрый человек!

Я глядел на других фронтовиков — на прозаика Юрия Хазановича, на его лысеющую со лба голову, на умные глаза. Он рассказывал собеседнику, видимо, что-то остроумное, потому что оба весело смеялись.

Я следил за поэтом Ефимом Ружанским. Рассказывали, что он чуть не умер в блокаду в Ленинграде, но Урал его выходил, поставил на ноги, следов блокады на его улыбчивом лице уже нет. Я внимательно всматривался в него. И его веселье, жизнерадостность тоже были для меня таинственными. Ведь он пережил блокаду, блокаду Ленинграда, а улыбается... Вот он что-то сказал Хазановичу, и Юрий Яковлевич улыбнулся в ответ.

Мне припомнились веселые строки, которые вчера прочитал один из молодых и которые приписывались Ефиму Ружанскому:

Упал намоченный
Уполномоченный.

И на участников совещания — молодых писателей я поглядываю с почтением. Еще бы! Почти все они старше и опытнее меня. Многие из них тоже побывали на фронте.

Владимира Шустова, который сейчас в скромном пиджаке, я буквально вчера видел у нас во дворе в блеске орденов и медалей.

И Лев Румянцев, чьи стихи часто передавались по радио,— фронтовик.

Вот стоит невысокий молодой человек с круглой голо-

вой и чуточку оттопыренными ушами. Это поэт Николай Новоселов. И он повоевал, награжден высокими правительственными наградами. Его стихи о войне я уже читал в журнале «Звезда» и удивлен, что его творчество разбирается вместе с нашими самыми первыми литературными опусами.

Рядом с ним стоит Леонид Шкавро. Его лицо точно высечено из камня — мужественные черты. И он успел повоевать — на Дальнем Востоке с японцами.

И Михаил Найдич, почему-то показавшийся мне сверстником, во фронтовой гимнастерке. Он читал стихи о фронте, о разведке, о луне, которую хочется чем-то прикрыть, и на него с одобрением смотрели Константин Мурзиди и Николай Куштум.

И только Юрий Трифонов, красивый, с высокой копной волос, не успел побывать на фронте.

Областное совещание молодых литераторов отделение Союза писателей проводило совместно с обкомом ВЛКСМ, и секретарь его Петр Васильевич Помазкин, широкоплечий крепыш, подхватив под руку молодого поэта Михаила Пилипенко, тоже комсомольского работника — будущего редактора «На смену!» и автора слов знаменитой песни «Уральская рябинушка», — позвал всех в зал.

Сейчас я жалею, что не вел дневника, не вел ежедневных записей... Тогда я даже не предполагал, что из участников этого совещания будет создана секция молодых писателей при Свердловском отделении СП и меня изберут ответственным секретарем этой секции, а через десять лет, в 1958-м старшие товарищи окажут мне доверие, избрав ответственным секретарем правления областной писательской организации.

Мне посчастливилось работать с такими талантливыми писателями, как Нина Аркадьевна Попова, Ольга Ивановна Маркова, являвшимися председателями правления. И пусть я с ними проработал недолго — с Н. А. Поповой — два года, с О. И. Марковой — четыре, но я благодарен судьбе, что мне довелось хорошо узнать этих людей.

И прежде всего Нину Аркадьевну, человека долга, чести, человека необыкновенно скромного, требовательного не только к другим, но и к себе,— словом, настоящего коммуниста, отстаивающего и в литературе и в жизни высокую идейность... И это все не на словах. А на деле. Ни разу Нина Аркадьевна не попыталась избежать острых углов,— волнуясь, порой хватаясь за сердце, она говорила тихим

голосом резкие правдивые слова, если их надо было сказать. До самой смерти она прожила в общей квартире с соседями, хотя очень многим ее товарищам по перу улучшили жилищные условия. Но она заботилась о других. И наотрез, как руководитель, отказывалась получить квартиру, пока не все в организации устроены.

Многое мне дала и работа с Ольгой Ивановной Марковой, хотя характер у нее был сложным. Но она, даже ошибаясь, близко принимала к сердцу беды и заботы своих товарищей.

Да, жаль, что не вел я дневника. Сколько бы можно было записать неповторимого, интересного, важного для истории нашей организации, а значит, и поучительного для новых поколений литературной смены!

На моих глазах Свердловская областная писательская организация выросла в несколько раз. Если в начале 50-х годов она насчитывала 11 членов Союза писателей и 8 кандидатов в члены СП СССР, то на 1 января 1980 года у нас на учете пятьдесят один член СП СССР и около шестидесяти членов литературного актива, авторов одной, двух, трех и более самостоятельных книг, пьес и киносценариев.

И это при том, что мы понесли тяжкие потери, от нас ушли классик советской литературы Павел Петрович Бажов и такие самобытные писатели, как В. Бирюков, К. Боголюбов, А. Исетский, Н. Куштум, А. Ладейщиков, И. Ликстанов, П. Макшанихин, О. Маркова, М. Пилипенко, Н. Попова, Е. Ружанский, К. Рождественская, Ю. Хазанович, К. Филиппова, и такие представители более молодого поколения литераторов, как В. Шустов, Ю. Трифонов, Б. Марьев, Э. Бояршинова.

Надо вспомнить и о том, что от нас в Москву и в другие города уехали писатели, рожденные Свердловском,— К. Мурзиди, О. Коряков, В. Стариков, И. Акулов, В. Дагуров, Л. Ваганова. У нас начинали свой творческий путь И. Герасимов, Б. Можаев, С. Мелешин.

Да, мы имеем право сказать, что у нас в Свердловске активно растут профессиональные писатели, чьи книги одна за другой выходят в столичных издательствах, переиздаются за рубежом.

Книги свердловских авторов В. Крапивина, А. Малахова, В. Туболева, Б. Дижур и ряда других читают в ГДР, в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Франции, Японии. Они переведены и на многие языки народов СССР.

Фильмы, снятые на «Мосфильме», на Свердловской, Одесской и Киевской студиях по сценариям свердловчан, смотрят миллионы зрителей. И не только фильмы. Достаточно сказать, что пьеса Г. Бокарева «Сталевары» поставлена прославленным МХАТом и еще 72 театрами.

Когда я задумываюсь о работе нашей организации, я вспоминаю старших товарищей, которые заложили добрые непреходящие традиции постоянного доброжелательного, но требовательного внимания к молодым писателям. Они показывали пример кропотливого воспитания начинающих.

Вспомните строгие, взыскательные письма к молодым Павла Петровича Бажова. Вот что он писал в письме к одному начинающему писателю от 7 октября 1946 года: «Огромный жизненный опыт, высокое и многостороннее образование, наблюдательность, речевое богатство и природная одаренность еще недостаточны. Надо уметь любое явление жизни понять и осветить светом марксистско-ленинской философии и видеть перспективу с высоты этой же философии». Вспоминается мне неторопливая речь Бажова на одном из собраний нашей писательской организации, где Павел Петрович не обидно, но точно и беспощадно подметил недостатки тогда еще молодых писателей Олега Корякова и Вадима Очеретина.

Помню, как на все занятия нашей секции молодых писателей приходил Константин Мурзиди, как он доказывал, что необязательно увлекаться сногсшибательными сравнениями, образами, что главное в стихотворении — это образ времени, образ человека. Константин Гаврилович часто давал практические советы. Требовал, чтобы в стихотворении не было строф, без которых можно обойтись. Он прикрывал ладонью целые четверостишия в стихах одного из молодых поэтов, и в конце концов оставалось восемь строчек, но в них действительно отражалось время и тяготы похода через монгольские степи.

А как тщательно К. Мурзиди с Н. Куштумом отбирали произведения для альманаха «Уральский современник» № 13, который был полностью отдан творчеству начинающих авторов. Поэтическим безделушкам места не было, хотя стихи о любви котировались не ниже, чем стихи о труде.

Нередко на заседаниях нашей секции можно было видеть прозаиков И. Ликстанова, Н. Попову, О. Маркову.

Стоит у меня перед глазами и Михаил Пилипенко. Он уже был признанным поэтом, редактором газеты «На сме-

ну!» и делал все, чтобы приблизить молодых писателей к жизни. Бывало, вызывал к себе в кабинет Юрия Трифонова и меня, ставил задачу: написать «Октябрьский репортаж» о городе Свердловске, о его людях. Одну из глав он вызывался сделать сам. И мы уезжали на заводы, ходили по цехам, разговаривали с теми, кто должен был стать героями репортажа. Потом мучились над словом, спорили до хрипоты в редакции, собравшись вместе. Но поэтический репортаж появлялся в срок. Его нельзя было не заметить. Стихи занимали целых две газетных страницы.

Как-то он позвонил мне рано утром:

— Зайди в редакцию! Дело срочное.

С редакцией «На смену!» у меня были самые тесные связи. В первом номере газеты, которая возродилась после войны, были помещены мои стихи без подписи, и с тех пор я публиковался там иногда по нескольку раз в месяц. Хотя «На смену!» же не раз критиковала нас, молодых, в своих статьях, но я не мог обижаться,— я состоял на учете в комсомольской организации «На смену!», и в этом тоже проявлялась забота о начинающем авторе. Когда я пришел, Михаил Пилипенко принял меня сразу же:

— Ты знаешь о ЖБИ?

О строительстве завода железобетонных изделий я знал.

— Завод этот — Всесоюзная комсомольская стройка. Нужен немедленно репортаж в стихах.

У меня было удостоверение внештатного корреспондента «На смену!», и уже через полчаса я шагал по мокрой от осенних дождей лесной дороге туда, где гремели строительные взрывы, где гудели тяжелые грузовики.

Репортаж появился в срок.

Так индивидуально работали с молодыми писателями.

Много сил отдала воспитанию молодых Клавдия Рождественская, которая стояла у истоков детской уральской литературы, создав альманах «Боевые ребята». Она буквально выискивала способных авторов среди людей самых разных профессий.

Все свое свободное время отдавал руководству литобъединением начинающих прозаиков при журнале «Урал» Павел Макшанихин. Именно оттуда вышел драматург и сценарист Геннадий Бокарев. Первая его повесть «Мы» о рабочей молодежи обсуждалась на литобъединении и была опубликована затем в журнале «Юность» в начале 60-х годов.

Росту писательской организации несомненно помогли ставшие традиционными десять областных совещаний молодых авторов, на которых обсуждались произведения подавляющего большинства членов СП, состоящих ныне на учете в Свердловской областной писательской организации.

Успешному росту молодых способствовала забота старшего литературного поколения о создании на Урале двух литературно-художественных ежемесячных журналов «Урал» и «Уральский следопыт», выросших из альманахов «Уральский современник» и «Боевые ребята».

И все же не было бы у нас такой сильной писательской организации, если не было бы в Свердловске книжного издательства, которое с каждым годом набирает силу и которому в 1980 году исполняется уже 60 лет.

Первые книги почти всех писателей, живущих в Свердловской области, были выпущены этим издательством, носящим сегодня скромное имя — Средне-Уральское. Но оно выпускало и выпускает отнюдь не средние книги. Достаточно назвать выпущенные у нас, в Свердловске, собрания сочинений Д. Н. Мамина-Сибиряка и А. П. Бондина, а в самые последние годы — четырехтомник Е. А. Пермяка.

В 30-е же годы издательство создало уникальную библиотеку занимательного краеведения. В наше время широкую популярность получила многотомная «Уральская библиотека».

Издательство первым познакомило читателей с «Малахитовой шкатулкой», ныне известной всему миру, ставшей символом творческих возможностей и мастерства уральских умельцев.

В нашем издательстве появились: повесть «Моя школа» А. Бондина, включенная по указанию Максима Горького в серию лучших книг о детстве; повесть И. Ликстанова «Малышок», как и «Малахитовая шкатулка» удостоенная Государственной премии СССР; книга рассказов «Мои друзья» Б. Рябинина, общий тираж которой на сегодня исчисляется семизначной цифрой (включая переводы на разные языки).

Из стен нашего издательства широко шагнули в мир книги одного из самых известных советских детских писателей Владислава Крапивина, удостоенного премии Всесоюзного Ленинского комсомола.

Невозможно перечислить все произведения, даже наиболее примечательные, выпущенные за шесть десятилетий

издательством, которое носило различные имена — «Уралкнига», Уралогиз, Свердлгиз, Свердловское книжное...

Кстати, писатели Среднего Урала не только издавались в своем родном издательстве, но и работали в нем. В разное время редакторами нашего издательства были П. Бажов, А. Ладейщиков, А. Исетский, О. Маркова, Н. Попова, Н. Куштум, А. Салынский, К. Рождественская, Е. Хоринская, Ю. Хазанович, Э. Бояршинова.

Некоторые из писателей отдали издательской работе многие годы своей жизни, определяя генеральное направление издательской деятельности.

Выдающийся писатель Павел Петрович Бажов работал в Средне-Уральском книжном издательстве с небольшим перерывом с 1931 года почти до первых дней Великой Отечественной войны.

Клавдия Васильевна Рождественская, познавшая мудрость редакторского труда в Ленинградском Гослитиздате, у нас была редактором детской литературы с 1932 года, а с 1941 по 1948 год — главным редактором Свердловского областного издательства.

Николай Алексеевич Куштум, которому обязаны своим становлением все поэты моего поколения — М. Найдич, Ю. Трифонов, И. Тарабукин, Э. Бояршинова, вернувшись с фронта, стал ответственным секретарем альманаха «Уральский современник», а потом до самой пенсии работал редактором художественной литературы в издательстве.

Конечно, это помогло становлению литературной смены, так как писательский подход к редактированию рукописи никогда не был формальным или поверхностным. Писатели-редакторы сами прошли через муки поисков самобытного слова и бережно относились к каждому яркому обороту речи, к каждому образу, к своеобразию авторского стиля.

К тому же их жизненный опыт, их знания, были, как правило, выше знаний и жизненного опыта авторов. А этого так порой недостает молодым редакторам...

Примером настоящего, чуткого редактора-друга для меня является Николай Куштум.

Он не пропускал ни одного занятия секции молодых писателей, ни одного заседания секции поэзии. Всегда приходил с конкретными предложениями по той или иной рукописи. Так же он готовился и к редактированию книги. При встрече с автором он доставал длинный список пронумерованных стихов,— тех, которые нужно было оставить

в рукописи, и тех, которые требовалось снять. Водя по этому списку пальцем, он останавливался на каждом стихотворении и доказывал свои соображения. Потом начиналась построчная работа — над тем или иным словом он карандашом аккуратно выводил слово, которым можно было, по его мнению, заменить слово случайное, корявое. Когда автор не соглашался, Николай Алексеевич предлагал автору самому найти единственно необходимую метафору, эпитет.

Зная о конкретности мышления Николая Куштума, о его стремлении к краткости, начинающие самовлюбленные авторы, чаще всего студенты, нахватавшиеся мудреных мыслей, иной раз втихомолку посмеивались над ним. Однажды на заседании секции молодых писателей группа студентов из университета решила, видимо, подавить своей эрудицией Николая Алексеевича. В ход пошли философские категории, иностранные слова. Мы сочувственно смотрели на Николая Алексеевича. Он внимательно выслушал выступавших. Как-то буднично поднялся в своем потертом коричневом костюмчике и вдруг заговорил... языком своих оппонентов. Все удивленно взглянули на него. Оказалось, Николай Алексеевич отлично разбирался в философии. Пристыженные студенты замолкли.

Позже я узнал, что Куштум заочно закончил Литературный институт и постоянно занимался самообразованием. Мы вообще мало знали о нем. Николай Алексеевич был человеком скромным, не любил говорить о своих заслугах. Мы гордились, что наши стихи широко печатались в московских журналах — «Огонек», «Смена», «Советский воин», «Крестьянка», «Молодой колхозник». Николай Алексеевич помалкивал. Но однажды в библиотеке я обнаружил старые номера столичного журнала «Октябрь», в них печатались целые циклы стихов Николая Куштума. А его речь на Первом съезде Союза писателей СССР в 1934 году меня просто поразила своей партийностью, нестареющей сутью, знанием рабочего класса Урала, убедительными фактами плодотворности связи творчества с жизнью, поэтическим задором.

А как много он знал стихов наизусть! Он мог поправить кого-нибудь из нас, по-доброму сказать начинающему:

— Это уже было.— И подтвердит строками из классики или советской поэзии.

Он мог встать и с выражением прочитать, скажем, строки Гумилева:

...Или бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыплется
золото кружев
С розоватых брабантских манжет.

Голосом он показывал звукопись этих строк. И мы восхищенно смотрели на Куштума. Не меньше он знал наизусть уральских частушек.

Поражала меня его память, он был ходячей энциклопедией литературной жизни на Урале. Можно было его спросить:

— Николай Алексеевич, какой год надо считать годом рождения нашей Свердловской писательской организации?

И он отвечал:

— Октябрь, 1927 год. Первая Всеуральская конференция пролетарских писателей.

Его блокнотик, с которым он никогда не расставался, хранил даты рождения писателей, различных постановлений Совета Министров, которые касались литераторов. Он много пережил. Но о своем личном никогда не говорил. Мы догадывались, что у него не сложилась семейная жизнь, но он ни разу не пожаловался на свою судьбу. Мы искренне радовались, когда он встретил добрую женщину и его жизнь вновь озарила любовь. Нам казалось, что это поможет ему написать новые стихи, равные по силе его ранним стихам. Но в 50-е годы он уже в основном перешел на прозу, издал повесть о Великой Отечественной войне, о мальчишке, спасшем боевое знамя. Повесть называлась «Подвиг». Затем появилась повесть «Шумга» о его первых комсомольских годах.

Да, Николай Куштум был личностью, со своим взглядом на жизнь. Он бережно редактировал молодых, но был беспощаден в своих требованиях: «Поэт начинается со второй книги стихов. Первую помогает выпустить накопленный за всю жизнь материал. А второй книгой поэт подтверждает свои литературные способности и то, что он не случайный человек в литературе».

Вот эту же чуткость и требовательность я ощутил, работая над книгой «Солнце и снег» с Эмилией Бояршиновой, сменившей за редакторским столом Куштума.

Это не значит, что хуже работали с нами такие опытные редакторы, как Ирина Алексеевна Круглик, Тамара Владимировна Раздьяконова. Просто я сейчас пишу о писателях, которые были редакторами, пишу о тех счаст-

ливых случаях, когда писательский талант дополнялся талантом редакторским.

Нельзя забыть еще об одной форме участия писателей в работе издательства. Составителями многих сборников, получивших широкую известность, были наши литераторы. Составителями сборника «Молодые голоса» были К. Мурзиди и В. Стариков, сборника «Наступление» — Ю. Трифонов, сборника «Мы — коммунисты» — Е. Хоринская и Ю. Трифонов. Лично мне пришлось быть составителем многих сборников, в том числе «Наша юность», «Стихи о Свердловске», «Стихи о любви», двухтомной антологии «Поэты Урала» (совместно с И. А. Дергачевым).

Еще одна грань участия писателей в редакционной работе Средне-Уральского книжного издательства — общественные редколлегии книг, библиотек, серийных изданий. К примеру, в общественную редколлегию сборника «Тридцать влюбленных» входили Ю. Трифонов и Б. Марьев, в редколлегию «Дня Уральской поэзии» — М. Найдич, Е. Хоринская, Н. Куштум, в редколлегию «Уральской библиотеки» — И. Дергачев, О. Маркова, Н. Никонов и другие.

Активно трудятся писатели в редакционном совете.

Я бы мог еще много писать о своих товарищах. Но сменяются годы, сменяются поколения писателей и редакторов, они передают эстафету заботы о молодых друг другу. И если сегодня книги молодых выходят чаще, чем раньше, если многие первые книги сделаны мастеровитее, чем книги, выходившие в 50-е и даже 60-е годы, то в этом незримая заслуга и предыдущих литературных поколений, подготовивших для этого почву.

Забвение опыта старших, забвение их взлетов и просчетов приводит к неудачам, к открытиям уже открытого.

Надо не забывать о тех, кто стоял у литературных истоков Свердловской писательской организации и у истоков издательского дела на Урале. Без них не было бы сейчас в Свердловске одной из самых крупных писательских организаций в России. Продолжение роста нашей организации, роста писательского мастерства неотделимо от верности традициям, заложенным теми, кто был до нас.

У ИСТОКОВ УРАЛЬСКОЙ КНИГИ

Вместо послесловия

Нет писателя без книги. И чтобы полнее представить обстановку, в которой начиналось литературное движение на советском Урале, хочется рассказать о становлении издательского дела в нашем крае в те вихревые годы.

Становление это после погрома, который учинили на Урале белые, шло очень трудно. Ни материально-технической базы (наиболее ценное типографское оборудование колчаковцы или вывезли, или привели в негодность, бумажные фабрики стояли), ни квалифицированных кадров... Эти беды усугублялись межведомственной несогласованностью и неразберихой.

Вот почему в июне 1920 года решением Уральского бюро ЦК РКП(б) и Революционного совета 1-й трудовой армии было создано Уральское областное государственное издательство. В него вливались все существовавшие в Екатеринбурге издательства.

По своему положению Уралгосиздат приравнивался к отделу губисполкома. Его заведующим был назначен В. Воробьев.

Полгода понадобилось для того, чтобы Уралгосиздат смог наконец взяться за свое непосредственное дело. Причины этого нам помогут понять две заметки в «Уральском рабочем». Вот первая от 4 января 1921 года:

«БУМАГА ДЛЯ ГАЗЕТ И КНИГ

Уральскому областному отделению Государственного издательства отпущено на Екатеринбургскую, Челябинскую, Уфимскую и Пермскую губернии на издательские нужды на январь, февраль, март месяцы 3900 стоп печатной бумаги.

Кроме того, на тот же период времени на издание «Уральского рабочего» — 2000 пуд. роликовой бумаги».

Да, все предшествующее полугодие даже важнейшие документы, даже областную газету было порой почти не на чем печатать! Стоит только перелистать разноформатицу ломких листов в газетной подшивке или прикоснуться к важ-

25 Заказ 133

нейшим постановлениям, директивам той поры на стеллажах Государственного архива — оберточная бумага! — и все станет ясно. А почти не дающая оттиска типографская краска, а забитые, полуслепые литеры...

Но и это не все.

6 января «Уральский рабочий» сообщал:

«В Уральском областном отделении Государственного издательства идут организационные работы по налаживанию рабочего аппарата и подбирается кадр сотрудников...

Крайне неблагополучно отражается на организационных работах издательства недостаток работников».

Нехватка не только квалифицированных, но хотя бы просто грамотных кадров была тогда на Урале бичом во всех областях хозяйственной и культурной жизни. Поэтому поистине фантастическим кажется сообщение, появившееся в той же газете всего лишь через 28 дней:

«За январь месяц сего года Уральским областным отделением Государственного издательства издано книг и брошюр 20 названий (из них 2 на венгерском языке), листовок 13 названий, плакатов 5, лозунгов 23 и календарь-ежемесячник».

А уже в конце октября 1921 года Уралгосиздат приступил «к обширной работе по изданию художественных открыток и писем» нескольких серий. «Уральский рабочий» с радостью сообщал, что «спешно разрабатывается проект издания лубочных картин для деревни», в которых «будут изображены различные пейзажи Урала, крестьянский быт... а также смелые порывы труда к новой жизни», и что рисунки для открыток и эскизы для лубков «исполняются художниками Славиным и Парамоновым» [1]. Подумать только: своя, уральская тема в своей же, уральской художественной издательской продукции!

К сожалению, учтены далеко не все издания Уралгосиздата 1921 года. С волнением сейчас берешь в руки выпущенные многотысячными тиражами и разлетевшиеся по краю поистине «летучим дождем брошюр» ленинские издания «Внешняя и внутренняя политика Советской России», «Новый курс (Речи и статьи)», «О продовольственном налоге», «По новому пути», переиздание вышедшего в Москве альбома «50. Ко дню пятидесятилетия со дня рож-

---

[1] «Уральский рабочий», 1921, 30 окт., № 248.

дения Владимира Ильича Ульянова (Ленина)». А разве оставят кого-то равнодушным книжки Конкордии Самойловой «Что дала работницам Советская власть», Емельяна Ярославского «Почему в России голод и как с ним бороться? (Простая беседа с крестьянами)», Д. Элькиной, Н. Богуславской, А. Курской «Долой неграмотность. Букварь для взрослых» или многокрасочный плакат «Советская азбука»! Среди выявленных изданий 1921 года обращают на себя внимание и две уже чисто «художественных» книги — две пьесы (каждая в одном действии — применительно к красноармейской, заводской или крестьянской самодеятельной сцене): «За красные Советы» А. И. Арского (Царева) и «Стачки» (без указания автора). Слово «художественные» взято в кавычки не случайно — до подлинной художественности пьесам, увы, было еще далеко...

В 1921 году почти вся печатная продукция распространялась по-прежнему централизованным путем. И тем отраднее было встретить в объявлениях о выходе некоторых книг (например, сборника «Рабочая революция на Урале») приписку: «Часть тиража поступит в продажу». Правда, цены кажутся астрономическими: один экземпляр той же «Рабочей революции на Урале» стоил... 10 тысяч рублей. Но, кстати сказать, всего через пять месяцев и за номер «Уральского рабочего» платили по 20 тысяч...

1922 год был для Уралгосиздата менее плодотворным. Из выпущенных им книг надо, пожалуй, отметить «Советский Екатеринбург. Справочник-путеводитель» в 256 страниц с приложением плана города, его окрестностей и списка телефонов, «Геологическую экскурсию по городу» М. О. Клера и «Мои воспоминания из гражданской войны на Урале. Кн. 1 (1918)» И. А. Онуфриева. В разделе беллетристики появились два поэтических сборника: интересные «Стихи о Москве» столичного жителя Э. Германа (позднее он стал известен как поэт-сатирик, выступавший под псевдонимом Эмиль Кроткий) и «Осеннее» уральца Владимира Буйницкого (эта проникнутая унынием и тоской книжка, конечно же, славы издательству не принесла).

Материальное и финансовое положение Уралгосиздата в разгар нэпа становилось все более тяжелым. Как известно, в это время государство временно разрешило создание кооперативных и даже частных издательств. В Екатеринбурге этим не преминула воспользоваться Улита, организовав книгоиздательство Уральской литературной ассоциа-

ции (оно разместилось по улице Вайнера, 16 — в одной из комнат теперешнего магазина «Детский мир»). Уже летом 1922 года авторы-издатели выпустили свой первый поэтический альманах «Улита», книжку ученическую, слабую, почти лишенную общественной тематики, но достаточно претенциозную. Впрочем, этот альманах, как и сама ассоциация, заслуживает особого разговора.

У Улиты были обширные планы. Готовился к печати второй альманах, сборники стихов. Однако планы эти не осуществились: 16 июня 1923 года начала свою плодотворную работу «Уралкнига» — акционерное общество по изданию и распространению печатных произведений на Урале.

Время деятельности «Уралкниги» (16 июня 1923—27 июля 1927) — одна из ярких, хотя во многом и противоречивых страниц становления советского книгоиздательского и книготоргового дела в крае. Акционерами-учредителями «Уралкниги» выступили Уралбюро ЦК РКП(б), Екатеринбургский губком РКП(б), Камоураллес, Уралгосиздат и Екатеринбургский губисполком. Основной капитал, вложенный акционерами в дело, составил 1 млн. 200 тыс. рублей золотом — сумма и по тем временам огромная. Район обслуживания общества охватывал огромную Уральскую область и Вятско-Ветлужский район.

Издательский сектор «Уралкниги» возглавил редакционный совет, в который, наряду с другими семью членами, вошел и известный уральский партийный и советский работник, популярный журналист П. Быков. Редколлегии восьми редакций также включали видных специалистов своего дела. Скажем, редакцией научно-политической литературы руководил профессор А. Титов, заведовавший физической лабораторией Уральского университета, а помогали ему его ученые коллеги биолог Ф. Казанский, химик С. Карманов. В числе кураторов агрономической и политкрестьянской литературы были такие опытные работники областной «Крестьянской газеты», как П. Бажов, А. Поликашин, А. Шубин.

Чтобы получить более наглядное представление о работе всех восьми редакций, сделаем, для примера, выписку из плана изданий «Уралкниги» на 1924/25 операционный год. Вот по каким разделам и в каких размерах распределялся общий объем в 700—750 печатных листов: Ленинская библиотека — 50, марксистская литература — 60—70, экономика Урала — 60—70, история революцион-

ного движения в крае — 45—50, комсомольская и пионерская литература — 75—100, серия «Как работать» — 15—20, научно-популярная библиотечка для рабочего — 60, крестьянская литература — 150, пособия для клубов, изб-читален — 75, малый энциклопедический словарь — 60, беллетристика — 50—60 [1].

Эта несколько затянутая справка — информация для размышления. Вдумываясь в нее, сопоставляя факты и цифры, читатель представит, каких неимоверных усилий требовало проведение начинавшейся культурной революции, наконец просто подметит тот разительный шаг, который сделало издательское дело в нашем крае с образованием «Уралкниги». Добавим к этому, что если за первый, 1923 год своей работы (вернее, немногим более чем за полгода, с 16 июня) издательство выпустило книги 33 названий, то уже в следующем, 1924-м читатели Уральской области и Вятско-Ветлужского района получили 123 оригинальных издания. Примерно такой уровень сохранялся и в последующем.

Среди первых книг 1923 года были «Программа и устав РКП(б)»; «Отчет Уралбюро ЦК РКП(б) 1-й Уральской областной конференции», сборник «О газете», «Развитие социализма» Ф. Энгельса и сборник за подписью «Н. Ленин» с таким непривычно длинным заглавием: «О марксизме. С приложением статьи Н. Ленина «Три источника и три составные части марксизма» и с примечаниями проф. С. Бабинского».

Со следующего года начался выпуск уже упомянутой Ленинской библиотеки. Это 5—7 книжек тиражом в 15—20 тысяч экземпляров. Как правило, каждая из них содержала 20—40 страниц небольшого формата и включала в себя либо целиком одну небольшую по объему работу Владимира Ильича, либо представляла сборник важнейших ленинских высказываний на одну тему. Так, в мае — августе 1924 года читатель получил книги Ленина «О кооперации», «О концессиях», «О религии». 20-тысячные тиражи их разошлись молниеносно, и уже в начале 1925-го издательство приступило к переизданию. Такая же судьба ожидала ленинские брошюры «Об отношении к специалистам», «Буржуазная демократия и диктатура пролетариата» (ноябрь 1924— лето 1925). Ленинская библиотека

---

[1] ГАСО, ф. 60-р, оп. 1, д. 41, л. 4.

только за эти два года пополнилась книгами одиннадцати названий.

Большой спрос был и на литературу о вожде трудящихся. Издательство в меру возможностей пыталось удовлетворить и его. Уже в январе — феврале 1924 года оно приступило к выпуску большого сборника, посвященного памяти В. И. Ленина. В апреле вышла книга «Ленинизм», а в 1925 году предпринято издание большеформатного, с художественной стенкой Ленинского отрывного календаря.

Низкий поклон «Уралкниге» и за прекрасное начало научно-популярной серии — только за 1924—1926 годы было выпущено более двух десятков увлекательных книг. Среди них надо отметить книги С. Карманова по химии, В. Семеновского по геологии, Н. Полницкого о происхождении жизни на Земле. Кстати, появление одной из брошюр последнего связано с именем П. Бажова.

Как и всякое издательство, «Уралкнига» широко практиковала внутреннее рецензирование, причем нередко рукопись разбиралась и оценивалась сразу несколькими рецензентами, каждым с какой-то одной стороны. Так, 15 декабря 1924 года П. Бажов представил издательству свои заметки «О стилистике брошюры Н. Полницкого «Как появились люди на Земле», в которых мы находим, наверное, первое документальное подтверждение великолепного редакторского таланта писателя. Автограф заметок, подписанных не совсем привычно — «Пав. Бажов», хранится теперь в Государственном архиве Свердловской области[1].

Пожалуй, впервые за всю историю издательского дела в нашем крае широко занялась «Уралкнига» уроловедением. За 1923—1927 годы читатели получили по этому разделу около 40 книг.

Прежде всего это были издания о настоящем и будущем региона. Здесь надо хотя бы назвать «Урал. Очерки физической и экономической географии Уральской области», «Свердловск — столица Урала (Справочник-путеводитель)», «Атлас диаграмм по народному хозяйству Урала», книги Б. Дидковского «Карта Уралобласти», П. Уральца «Что дало районирование уральскому крестьянину» и др.

Широко отмечался в 1925 году 20-летний юбилей пер-

---

[1] Д .129, лл. 334—334 об.

вой русской революции. Внесла свой вклад в празднества и «Уралкнига». В числе ее изданий сборники «Пятый год», «20 лет революции 1905 года». К ним примыкает книга А. Поликашина «Почему была разбита первая русская революция в 1905 году». Несомненный интерес и для сегодняшнего читателя представляют изданные в то время книжки об отдельных уральских центрах революции — «Мотовилиха» Н. Лещинского, «Алапаиха» Н. Краснова, «Надеждинск» П. Мурашева, «Златоуст» (под редакцией А. Таняева).

Еще едва-едва успела стать вчерашним днем гражданская война, а «Уралкнига» уже спешила записывать ее историю. В 1924 году вышел 4-й выпуск книги И. А. Онуфриева «Мои воспоминания из гражданской войны на Урале» (1-я книга, как вы помните, издана в 1922-м Уралгосиздатом — «Уралкнига» приняла эстафету). В 1923-м выпущен потрясающий по своей правдивости документ «Год в колчаковском застенке» — дневник А. Герасимова, пробывшего в белогвардейском заключении с 27 июля 1918 по 14 июля 1919 года. Венчает серию сборник «Колчаковщина».

Но сегодня нас особенно интересует художественная литература, выпускавшаяся в течение четырех лет «Уралкнигой». Ведь именно эти годы совпали со временем становления писательской организации края. Какую же роль сыграло издательство в жизни уральских литераторов?

Когда 16 июня 1923 года проходило первое заседание правления «Уралкниги», его редакционно-издательский сектор сообщил, что он готов за оставшиеся полгода выпустить в свет до пятнадцати художественных произведений, причем 11 из них — современных советских авторов. Действительно до конца 1923 года в Екатеринбурге были изданы и имели успех «Вон самогон!» В. Маяковского и поэма Н. Асеева «Буденный», сказки Демьяна Бедного «Клад», «Диво дивное», «О красном петухе и мужицком грехе», «Рассказ о кандалах» Н. Ляшко — очень неплохой список!

В 1924 году читатель получил целую библиотечку первоклассной советской прозы — книги Вс. Иванова «Партизаны» и «Бронепоезд 14-69», Л. Сейфуллиной «Перегной», «Правонарушители», С. Подъячева «Предупредили» и «Мы по-хорошему». Чуть ли не всецело обязан своим становлением уральскому издательству П. Дорохов: в том же 1924-м здесь вышли четыре его книги — «Поло-

водье», «Колчаковщина», «Житье-бытье», «Новая жизнь», причем почти все они печатались впервые. Заметной страницей в деятельности «Уралкниги» стал выпуск в 1924—1926 годах пяти произведений А. Неверова — пьесы «Бабы», рассказов «Марья-большевичка», «Захарова смерть», «Андрон Непутевый», «Колька». Если еще хотя бы упомянуть здесь и несколько зарубежных писателей, ставших авторами «Уралкниги» — Э. Золя («Углекопы»), Дж. Лондона («Бывалый»), Э. Синклера («Джунгли»), Э. Сетона-Томпсона («Темногривый Билли»),— то станет ясно, что за четыре года работы «Уралкнига» и зарекомендовать себя успела хорошо, и надежды акционеров, надо думать, оправдала. По крайней мере, именно к концу 20-х годов уральская издательская марка стала известной в стране.

Правда, случались в работе «Уралкниги» и осечки. Видимо, некоторые издательские работники в простоте душевной всерьез полагали: достаточно того, чтобы автор понравился им, и совсем необязательно испрашивать у этого автора согласия на издание его произведения, а тем более заключать какой-то договор...

Издав и с успехом распространив в 1923 году 60-тысячные тиражи сказок Демьяна Бедного «Диво дивное» и «Клад» да еще 30 тысяч экземпляров сказки «О красном петухе и мужицком грехе», уралкниговцы решили вписать в свой актив уже не книжицу, а книгу избранных произведений популярного поэта-сатирика. Стихи были отобраны из периодики, из других книг, но составленную таким образом рукопись пометили не как перепечатку, а как оригинальное издание. Лишь когда издательскую машину запустили на полный ход, кто-то из работников решил все-таки известить обо всем и автора, надеясь, что в ответе Ефима Алексеевича будет и согласие на издание — не потребует же он остановить запущенную машину! А такое авторское согласие было на этот раз нужным: ведь речь шла не о небольшой агитке, а о солидном, в 8—10 печатных листов сборнике избранного. Кроме того, уральцы, конечно же, не могли не знать и о том, что у Демьяна Бедного в начале 1924 года заключен договор с Госиздатом на право издания всех его произведений. А это могло обернуться неприятностями.

Уралкниговцам Ефим Алексеевич, разумеется, ответил, но — как...

«Братишки! — писал он 7 июля 1924 года,— ...Что с вами сделалось? Почему вы переменили свой з о л о т о й

(для себя, а не для авторов!) характер? Впрочем, вы остались изрядными юмористами, обратившись ко мне за разрешением печатать «уже набранный и иллюстрированный» сборник моих произведений. Изворачивайтесь, как знаете, потому что м н е неохота из-за вас ссориться с Госиздатом.

Вы там что-то из моих стихов уже издавали. Но хотя бы для ознакомления по одному экземплярчику послали автору.

Жду от вас дальнейших сюрпризов.

С неизменной симпатией к вам

Демьян Бедный»[1]

Здесь не место рассказывать обо всех драматических и комических перипетиях переписки редакционно-издательского сектора, а потом и правления «Уралкниги» с Д. Бедным. Скажем только, что издательству она стоила немалых моральных издержек. И это была, к сожалению, не единственная осечка в его практике...

Однако вернемся опять к 16 июня 1923 года — к первому заседанию правления «Уралкниги».

Когда руководителей редакционно-издательского сектора спросили, как они намерены выполнять свое программное заявление о том, что «будут издаваться наиболее выдающиеся произведения уральских рабочих и крестьян», издатели назвали имя Ю. Либединского, «в недавнем прошлом челябинца, одно время работавшего токарем». И его повесть «Неделя», действительно целиком построенная на свежем (весна 1920-го) и чисто уральском материале (в Верхне-Уральске без особого труда узнавался Челябинск), была вскоре выпущена в свет. А что же дальше? Увы, уральских авторов «в запасе» больше не имелось. Правда, еще с 1923-го в заделе были две рукописи Л. Сейфуллиной и четыре — П. Дорохова. Но «явочный метод приураливания писателей со стороны» показал свою абсолютную непригодность. И уралкниговцам пришлось всерьез взяться за работу с местными авторами.

Однако даже через шесть лет, выступая на ноябрьском (1929) пленуме УралАПП, ответственный секретарь правления этой организации И. Панов вынужден был признать: «У нас нет писателей-профессионалов. У нас есть уралаповский актив человек в тридцать»[2]. В 1923—1924 годах

---

[1] Д. 90, л. 516.

[2] Ф. 1616-р, оп. 1, д. 10, л. 48.

говорить даже о таком писательском активе не приходилось. Поэтому ставка делалась в основном на журналистов «Уральского рабочего» и «Крестьянской газеты» да на людей других профессий, лишь «пробующих перо».

Еще в конце 1923-го редакционно-издательский сектор рискнул заключить несколько договоров с такими авторами на создание художественно-документальных книг исторического характера. И первый опыт увенчался успехом. Уже в январе-феврале 1924 года читатель получил две первые чисто «уральские» книги — «Дубинщину» Л. Каптерева и «Пугачевщину» А. Берс. В июле вышли «Уральские партизаны» М. Голубых. 30 октября издательство сдало в печать рукопись очерка В. Быкова «Возмутители» — о восстании ревдинских углежогов, а 21 января 1925 года автор уже держал в руках сигнальный экземпляр книги.

Однако наибольшую популярность снискали два других автора, открытых «Уралкнигой»,— А Бондин и П. Бажов.

А. Бондин, ставший потом известным уральским прозаиком, начинал, как известно, с агитационной драматургии. Из пьес, написанных им в 1919—1921 годах, большим успехом пользовалась «На пороге великих событий». Ее-то Алексей Петрович и рискнул (подозреваю, не без совета П. П. Бажова) предложить только что созданному издательству. Уралкниговцев вещь заинтересовала. В августе 1924-го пьеса под названием «Враги» вышла отдельным изданием. В рецензии на нее «Уральского рабочего» за подписью «П. К.» говорилось:

«Бондин как писатель еще молодой — самоучка, начинает только совершенствоваться. «Враги» — одно из его самых первых произведений. Здесь есть погрешности и шероховатости, но здесь же ярко вырисовывается и то, что перед нами не случайный рабочий, написавший под вдохновением свои воспоминания, а действительный рабочий писатель, умеющий художественным образом обрисовать свою родную обстановку, свой родной быт, психологию своего брата рабочего и крестьянина...

Следует приветствовать начинание «Уралкниги» по выявлению уральских рабочих писателей и поэтов» [1].

Трудно понять, почему «Враги» оказались в те годы единственным изданием Алексея Петровича. Можно, вероятно, согласиться, что предложенная им в 1924 году из-

---

[1] «Уральский рабочий», 1924, 14 окт.

дательству повесть «Две сестры», как писал рецензент П. Нестеров, «по своему содержанию... очень неглубока» [1]. Но почему не увидела света пьеса «Эмигранты» — остается только гадать. Ведь она под номером 14 была включена в план изданий марта 1926 года [2], на титульной странице рукописи, тоже хранящейся в госархиве, столь авторитетный рецензент, как Н. Клементьев, оставил пометку: «По сравнению с «Врагами» прогресс очень большой» [3],— а на предыдущей странице записано распоряжение секретаря редакционно-издательского сектора Ю. Анненковой от 25. II. 1926 года: «Т. Клементьев, надо приготовить эту пьесу к печати» [4]. И все-таки 27 апреля рукопись была сдана в архив...

Удачнее отношения с «Уралкнигой» сложились у Бажова. Почти с первых же дней работы в «Крестьянской газете» Павел Петрович стал своим человеком в издательстве — был включен в состав редколлегии политкрестьянской литературы, активно участвовал в обсуждении планов, рецензировал рукописи. Известно, что с первой серьезной бажовской литературной работой — девятью очерками, опубликованными в майских номерах «Товарища Терентия» за 1924 год под общим заголовками «Из недавних уральских былей», уралкниговцы ознакомились еще в рукописи. Вероятно, тогда же они предложили выпустить их отдельным изданием. Однако в свет «Уральские были» вышли не в мае, как это считают некоторые исследователи. Книжку читатель получил только 11 ноября [5].

Рецензируя «Уральские были» в областной газете, П. К-ов писал:

«Нам нужен бытописатель уральских заводов с психологией рабочего, умеющий глазами рабочего взглянуть и по-рабочему оценить жизнь и быт дореволюционных уральских заводов...

Маленькая книжка тов. Бажова — но она большой вклад в уральскую литературу. Ее следует широко рекомендовать...» [6].

Когда первый литературный труд Бажова еще печатался, автор, по-видимому, уже в полную силу работал над

---

[1] ГАСО, ф. 60-р, оп. 1, д. 129, л. 48.
[2] Д. 98, л. 106.
[3] Д. 283, л. 2.
[4] Там же, л. 1.
[5] Д. 237, л. 87.
[6] «Уральский рабочий», 1925, 18 янв., № 14.

второй своей книжкой — «К расчету», посвященной забастовке сысертских рабочих в 1905 году. Как уже говорилось, к 20-летию первой русской революции «Уралкнига» готовила целую тематическую серию изданий. Сюда как нельзя лучше вписывалась и бажовская художественно-документальная повесть. И хотя выход этой книги планировался на начало 1926 года, издательство все-таки сумело выпустить ее в декабре 1925-го [1].

Несколько раньше, в сентябре 1925 года «Уралкнигой» была издана повесть Павла Петровича «За советскую правду» [2].

В 1924 году Бажов работал еще над двумя уралкниговскими заказами — брошюрами для «Крестьянской библиотеки» по отделу советского и общественного строительства и политики. Павлу Петровичу поручили рассказать деревенскому читателю об обществах крестьянской взаимопомощи, их роли в деревне и написать популярную книжку «Что дала Октябрьская революция крестьянам». По первой теме автор должен был представить рукопись 15 декабря, но по какой-то причине обязательства не выполнил, и договор аннулировали [3]. Что касается второй брошюры, то в «Списке рукописей, напечатанных и принятых к печати с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г.» есть пометка: «Напечатана» [4]. К сожалению, ни самой брошюры, ни других документов, подтверждающих ее выпуск, найти пока не удалось.

Нет слов, открытие для уральского читателя только названных имен делает честь «Уралкниге». Но то было лишь самое начало. Уральская тема, добротно поднятая уральским автором,— эта проблема и в последующие годы оставалась самой острой, злободневной и для читателей, и для издателей. «Дайте хорошую книжку об Урале!» — призывал «Уральский рабочий» в августе 1929-го. Но этот призыв был обращен уже не к уралкниговцам. Акционерное общество по изданию и распространению печатных произведений на Урале свою роль сыграло и 27 июля 1927 года было ликвидировано. Окрепла издательская база, выросли кадры, и полномочия «Уралкниги» взял в свои руки Уралогиз.

Шло становление советской литературы. В нашем крае

---

[1] ГАСО, ф. 60-р, оп. 1, д. 98, лл. 3 об., 14.
[2] Д. 237, л. 104.
[3] Д. 237, лл. 182, 187.
[4] Там же, л. 199.

в ее ряды вливались все новые силы: И. Панов, А. Маленький, Н. Попова, К. Боголюбов, А. Исетский, Н. Куштум. Они-то вслед за А. Бондиным и П. Бажовым и сумели поднять по-настоящему уральскую тему. Работал с ними, издавал их книги вплоть до 1934 года Уралогиз. Потом, в связи с образованием Свердловской области, его эстафету подхватил Свердлгиз, а затем Свердловское (ныне Средне-Уральское) книжное издательство, которому в 1980 году исполняется 60 лет.

А. Пудваль

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ ВОСПОМИНАНИЙ

Бажов Павел Петрович (1879—1950) — писатель.

Багреев Евгений Яковлевич — в годы Отечественной войны и. о. и заместитель редактора, а позже редактор газеты «Уральский рабочий».

Боголюбов Константин Васильевич (1897—1975) — писатель.

Великанов Василий Дмитриевич (г. Иваново) — член Союза писателей с 1949 г.

Дижур Белла Абрамовна — член Союза писателей с 1957 г.

Долинова Евгения Алексеевна — член Союза писателей с 1953 г.

Ермаков Александр Дмитриевич — редактор газеты «Вечерний Свердловск», в 50—60-х годах работал в редакции газеты «Тагильский рабочий».

Коряков Олег Фокич (1920—1976) — писатель.

Медякова Евгения Петровна — свердловский литератор.

Найдич Михаил Яковлевич — член Союза писателей с 1962 г.

Рябинин Борис Степанович — член Союза писателей с 1939 г.

Сорокин Лев Леонидович — член Союза писателей с 1958 г.

Стариков Виктор Александрович (г. Москва) — член Союза писателей с 1953 г.

Фейерабенд Евгений Витальевич — член Союза писателей с 1958 г.

Хоринская Елена Евгеньевна — член Союза писателей с 1935 г.

Хорунжий Павел Федорович (1904—1975) — журналист и литератор. В 30-х годах работал на Урале, после войны — на Украине.

СОДЕРЖАНИЕ

С48 **Слово** о товарищах. Воспоминания об уральских писателях. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1980.— 400 с., вкл. 8 с.

ИСБН

В сборник вошли воспоминания о писателях-уральцах П. Бажове, А. Бондине, И. Панове, А. Савчуке, К. Рождественской, Н. Поповой, О. Марковой, И. Ликстанове, Н. Куштуме, К. Мурзиди и ряде других литераторов, внесших весомый вклад в развитие литературы на советском Урале.

С $\frac{70202—072}{М 158(03)—80}$ 8Р2

ИБ № 747

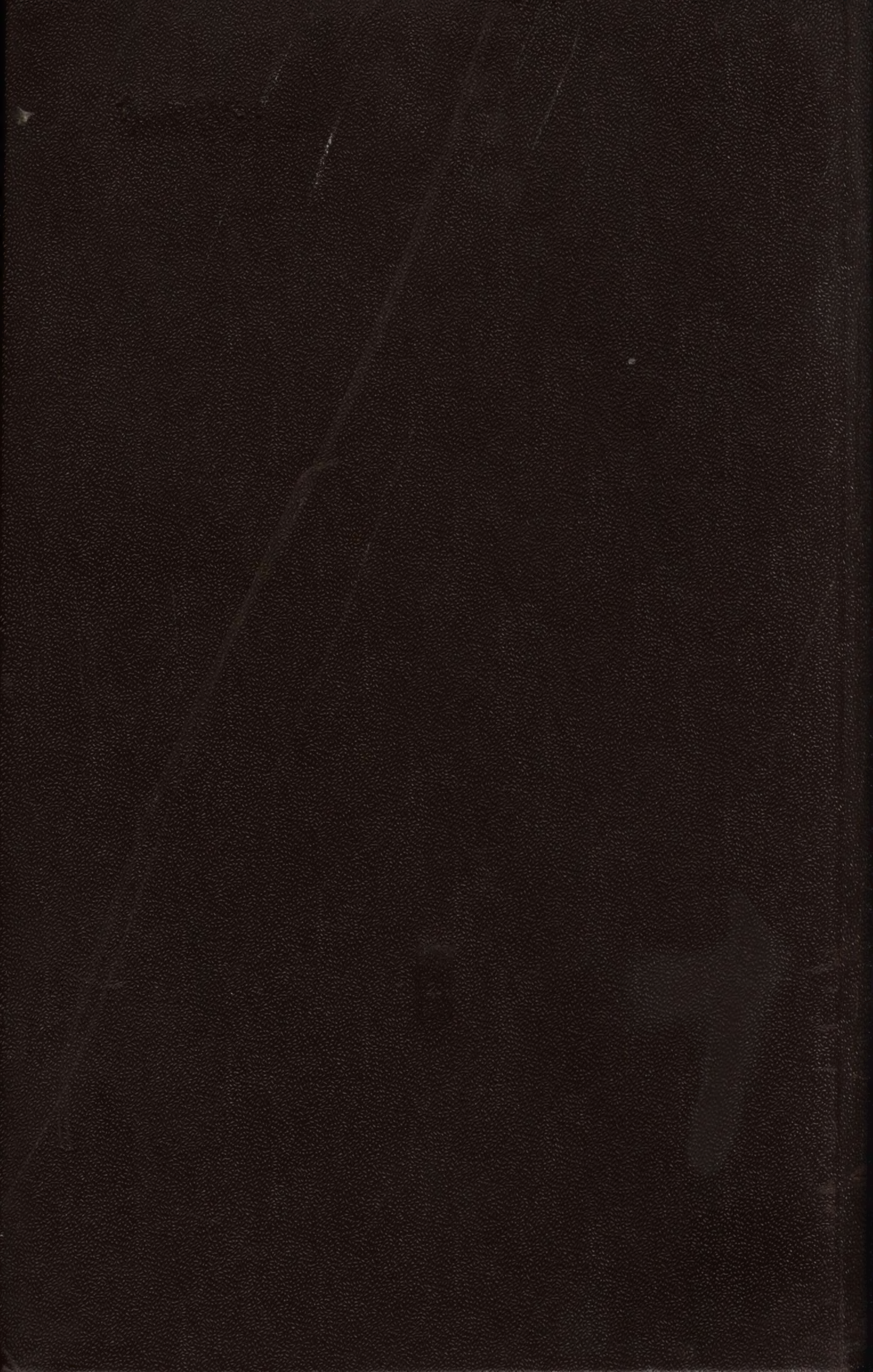
СЛОВО
О ТОВАРИЩАХ

Составитель
Борис Степанович Рябинин

Редактор М. П. Немченко
Художник А. В. Голощук
Художественный редактор А. В. Вохмин
Технический редактор Т. В. Меньщикова
Корректор Г. Г. Быкова

Сдано в набор 18.03.80. Подписано в печать 5.08.80. НС 12549. Формат бумаги 84×108/32. Типографская № 2. Академическая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,4. Уч.-изд. л. 22,3. Тираж 15000. Заказ 133. Цена 1 р. 60 к.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.




СЛОВО О ТОВАРИЩАХ